

АНДРЕ МАЛЬРО

# НАДЕЖДА







**АНДРЕ МАЛЬРО**

**НАДЕЖДА**

Р о м а н

Перевод с французского  
А. Косс и Е. Кушкина



Ленинград  
«Художественная литература»  
Ленинградское отделение  
1990

**ББК 84.4Фр  
М21**

**André Malraux**

**L'ESPOIR**

Рецензент  
полковник в отставке,  
кандидат филологических наук  
Г. ХОРШУНОВ

Предисловие  
Е. КУШКИНА

Оформление художника  
Т. ПАНКЕВИЧ

**М** 4703010100-062 144-90  
028[01]-90

**ISBN 5-280-00944-X**

© Кушкин Е. П. Предисловие, 1990.  
© Косс А. М., Кушкин Е. П. Перевод, 1990.

## НАДЕЖДА — ПЕРВЫЙ ВРАГ АБСУРДА

Полвека отделяет нас от трагедии, пережитой испанским народом. Ее уроки, исторические итоги и смысл в свете последовавших за ней событий продолжают привлекать самое пристальное внимание ученых, писателей, общественных и политических деятелей. Вслед за свидетельствами участников и просто современников национально-революционной войны в Испании, среди которых Э. Хемингуэй и М. Кольцов, А. де Сент-Экзюпери и Ж. Р. Блок, Ф. Мориак и Ж. Бернанос и многие другие, к испанским событиям второй половины 1930-х годов и их последствиям до сих пор обращаются писатели самых разных стран.

В этой обширной литературе особенно важное место занял роман Андре Мальро (1901—1976) «Надежда». Он был создан в 1937 г. — в самый разгар событий — писателем, без колебания связавшим свою судьбу с судьбой республиканской Испании. В «Надежде» Мальро ставил для себя и вместе с тем для значительной части западной интеллигенции ряд фундаментальных политических и философских вопросов. И в наши дни не потеряли своего значения мастерски нарисованные Мальро картины борьбы, фигуры участников первого в истории открытого сражения с фашизмом, а также размышления писателя о долге интеллигенции, о людской солидарности, о назначении человека и смысле человеческого существования.

И если сегодня Испания тридцатых годов может восприниматься, как некогда античность воспринималась классицистами, а средневековье — романтиками, то есть как некое символическое место, куда переносятся проблемы современности, то для Мальро родина Сервантеса осталась не только символом, но и нравственным стержнем его жизни. Тридцать лет спустя опыт участия в национально-революционной войне в Испании вместе с опытом Сопrotивления он назвал «честью» своей жизни. «Испанская война отдаляется во вре-

м е н и , — писал он в 1970 г. , — но таинственным образом остается живой в душе». Испанский период составил короткий, но едва ли не самый яркий эпизод его окруженной легендами биографии. В Испании Мальро получил реальную возможность проявить то, чем он любил наделять своих героев, — «культуру, ясность ума и способность к действию».

К испанской теме в той или иной степени стягиваются глубочайшие переживания и раздумья Мальро — писателя и человека действия. В послевоенные годы, уже будучи министром культуры Франции и последовательным сторонником генерала де Голля, он писал: «Сражаясь вместе с республиканцами и испанскими коммунистами, мы защищали ценности, которые считали и которые я продолжаю считать общечеловеческими». После смерти Мальро в 1976 г. Жорж Сория — писатель-публицист и участник боев в Испании — писал в «Юманите»: «Как Пабло Неруда, до последнего дыхания Мальро хранил Испанию в сердце. Несмотря на наши разногласия по некоторым вопросам, слово «Испания» всегда означало, что у нас есть бесценный общий знаменатель — антифашизм». После Испании Мальро никогда не отрекался от тех идей глубокого гуманизма, которые нашли художественное выражение в его лучшем романе «Надежда», так же как не отрекался он и от тех, с кем сражался в Испании и кому посвятил свой роман.

К замыслу «Надежды» Мальро пришел с философскими, политическими и моральными критериями, выработанными им в результате пятнадцати лет «жизни в водовороте века». В самом начале 1920-х годов Мальро, блестящий эрудит, хотя и самоучка, страстный любитель древнего и современного искусства, вступил в литературу как автор весьма причудливых текстов в духе модного тогда сюрреализма. Они передавали преимущественно одно чувство — чувство нелепости человеческого существования. Как вспоминают о нем литераторы старшего поколения, уже в молодые годы Мальро был поразительно умен и энергичен. Он «торопился жить», искал действия, играл на бирже, что не мешало ему остро переживать абсурд жизни. Абсурд предстал в его сознании и как трагический разрыв между человеком и миром — общий смертный удел людей, и как возмущающая человека нелепость современного социального порядка.

Отчаянный искатель приключений, словно подбирающий себе биографию на сцене жизни, он отправился в 1923 г. в тропические леса французского Индокитая, в Камбоджу на поиски буддийского Храма Женщины. Эта отдающая авантюрой археологическая экспедиция закончилась для Мальро катастрофой: колониальные власти увидели в нем анархиста, покусившегося на собственность Франции, и писатель был приговорен к трем годам тюремного заключения за похищение кхмерских статуй. Проведя полгода под следствием, затем — после суда — еще полгода в ожидании пересмотра дела, он

сполна изведаль унижение и травлю со стороны колониальной администрации и «благонадежной» прессы. Вместе с тем он получил возможность познакомиться с жизнью Индокитая, с сочувствием отнесся к тем, кто выступал против нелепого, как он убедился, порядка. В конце 1924 г. ему удалось вернуться в Париж.

Но уже в марте 1925 г. Мальро снова в Индокитае. Целый год он ведет активную борьбу с французскими властями, выпуская антиколониальную газету «Индокитай» и отстаивая в ней интересы туземного населения. Запрещенная властями газета Мальро продолжала еще несколько месяцев выходить под названием «Индокитай в цепях». В начале 1926 г. Мальро, в глазах генерал-губернатора «большевицкий журналист» и «похититель древностей», был вынужден оставить Индокитай.

Восточный опыт, бурный, но во многом разочаровывающий, заставил Мальро «повзрослеть», прямее взглянуть на действительность. Это нашло отражение в эссе «Искушения Запада» (1926), «О европейской молодежи» (1927) и в романах «Завоеватели» (1928) и «Королевская дорога» (1930). В этих произведениях определены основные черты литературы французского экзистенциализма.

Кризис традиционного гуманизма, совпавший с кризисом христианской веры, заставил молодого Мальро обратиться к узловым проблемам человеческого существования, определить для себя роль и возможности человека в хрупкой, как показала катастрофа первой мировой войны, европейской цивилизации. Мальро интересуют главные вопросы жизни: что такое человек? ради чего он живет? куда ведут его поиски смысла жизни? каковы неотвратимые предпосылки, определяющие человеческий удел? каковы реальные возможности человека, что он может и должен делать? «Тревога» и «надежда» определяют для Мальро «удел человеческий»: это константы его творчества.

В самом начале 1930-х «красных» годов Мальро стал одной из ведущих фигур международного антифашистского движения. Как и многие его собратья по перу, он открыл для себя в эти годы возможность реальной борьбы с миром насилия ради утверждения величия и достоинства человека, «перечащего судьбе». В 1932 г. он вступил в Ассоциацию революционных писателей и художников Франции, в 1933-м вместе с Андре Жидом отправился в Берлин требовать освобождения Димитрова и организовал Международный комитет защиты Тельмана. Мальро обращается к проблемам революционного гуманизма и переносит поиски свободной личности из плоскости индивидуалистической в плоскость коллективного действия.

Роман «Удел человеческий», удостоенный Гонкуровской премии, сделал Мальро одним из первых писателей Франции. Роман



о «героическом выступлении шанхайского пролетариата в 1927 г., потопленного в крови чанкайшистами, знаменовал собой важный поворот в творчестве писателя. Острота классовых конфликтов, глубина и напряжение ищущей мысли, стремительно разворачивающейся вместе с действием, братская солидарность и трагическая гибель повстанцев, наконец, правдивость изображения событий китайской революции придали роману политическое звучание, близкое и понятное европейцам.

Вместе с тем почти каждого из персонажей романа ожидает «встреча» с загадками человеческого существования, с осознанием конечности жизни и с чувством вселенского одиночества. Невозможность проникнуть в субъективное «я» другого человека, даже самого близкого, становится сущностью людского удела. «Всякий человек — безумец, — говорит в романе один из героев, — но что такое человеческая судьба, если не жизнь, преисполненная усилий соединить этого безумца с миром». Вот почему смысл, который человек придает своей жизни, зависит в романе Мальро от природы отношений, устанавливаемых человеком с другими людьми.

Одним из первых писателей, ставших во Франции «попутчиками» коммунистов, Мальро увидел в Советской России оплот антифашистской борьбы. Он часто встречался с Р. Ролланом, Ж. Р. Блоком, П. Низаном и И. Эренбургом. Летом 1934 г. в составе французской делегации Мальро прибыл в Москву для участия в съезде советских писателей. «Отвращение к империалистической войне и личное знание «прав» французской «просвещенной» буржуазии в Индокитае были теми глубокими причинами, которые сделали меня революционным писателем, — сказал он тогда. — Но я не пацифист! Если разразится война — а я думаю, что ее начнет Япония, — я первый займусь формированием иностранного легиона и в его рядах, с винтовкой в руках, встану на защиту Советского Союза, страны свободы». Он беседовал с Бухариным и Горьким, Пастернаком и Бабелем, Фединым и Пильняком, Эйзенштейном и Мейерхольдом. Эйзенштейн тогда начал работу над экранизацией «Удела человеческого» (музыку должен был писать Шостакович). Мейерхольд намеревался перенести роман на сцену (музыка Прокофьева). Но этим замыслам не суждено было сбыться.

В советских писателях Мальро увидел художников, которые «впервые за тысячелетия оказали доверие человеку». Подлинно революционное искусство заключалось для него тогда не в «подчинении» какой-либо доктрине, не в фотографировании фактов, а в «завоевании» культуры, в победе как над «подсознательным», так и над плоской «логикой». Искусство, говорил он, должно «помочь людям осознать величие, которое, не ведая того, они несут в себе».

В предисловии к роману об узниках нацистских лагерей «Годы презрения» (1935) Мальро так сформулировал свои итоговые раз-

мышления: «Индивид противостоит общности, но он ею питается. И куда важнее знать, что именно его питает, чем то, чему он противостоит». Коммунизм, полагал автор, должен возратить человеку его плодородность. Индивидуализму, иссушающему художника, противопоставлялось «мужественное братство». Пафос романа формулировался так: «Трудно быть человеком. Но стать им легче, углубляя свою соборность, чем культивируя свою особость. Во всяком случае первая питает столь же сильно, как и вторая, то, благодаря чему человек есть человек, благодаря чему он себя же превосходит, созидает, творит, изобретает, благодаря чему постигает смысл своей жизни».

Братство немецких антифашистов в романе «Годы презрения» лежит в основании человеческого достоинства, но преодолевает трагизм «удела человеческого», экзистенциалистский абсурд и бессилие.

Осенью 1939 г., в первые дни второй мировой войны, Мальро идет рядовым в танковые войска. Раненый, он попадает в плен к немцам, но вскоре бежит на юг Франции. Горькие раздумья времен поражения и поиски новых ценностей легли в основу вышедших в нейтральной Швейцарии «Орешников Альтенбурга» — первой части задуманной книги «Борьба с ангелом» (2-я и 3-я части рукописи были уничтожены гестапо при обыске в парижской квартире писателя). В 1944 г. Мальро командует крупным партизанским соединением в маки Корреза. Снова раненый, он оказывается в руках у гитлеровцев. Чудом избежав казни, он освобожден из тулузской тюрьмы наступающими частями Сопротивления. В сентябре 1944 г. он сформировал бригаду «Эльзас-Лотарингия», во главе которой дошел до Нюрнберга. «Как и многие в пору Сопротивления, я вступил в брак с Францией», — напишет он позднее.

В послевоенные годы, отдалившись от коммунистов, Мальро становится другом и соратником генерала де Голля, с которым он связывает надежду на возрождение Франции; в 1945—1946 гг. он — министр информации, а в 1956—1969 г г . — министр культуры. Теперь Мальро ратует за национальное самосознание и сосредоточивает свои интересы на культурном строительстве. Философскому осмыслению роли искусства посвящены в послевоенное время пространственные эссе писателя: «Психология искусства» (1947—1949), «Голоса безмолвия» (1951), «Воображаемый музей мировой скульптуры» (1952—1954), «Метаморфоза богов» (1957—1977) и «Бренный человек и литературы» (1977). Искусство для Мальро выступает теперь как «анти-Судьба». Это самая высокая из человеческих возможностей — та, что позволяет человеку превзойти самого себя, прийти без насилия над человеческой природой, в неустанном творчестве

к единению с родом человеческим. Бренной человеческой участи поздний Мальро противопоставляет и героизм действия, и напряжение ищущей мысли, и разгадки великих тайн бытия.

В 1967 г. Мальро опубликовал первый том воспоминаний с несколько агрессивным названием «Антимемуары». В них причудливо переплетаются подлинные факты и художественный вымысел, вопрошающие раздумья писателя и его беседы с видными политическими деятелями современности. Не меньшим своеобразием были отмечены и следующие книги, составившие второй том воспоминаний Мальро «Веревка и мыши» (1976). В последние месяцы жизни Мальро соединил оба тома в гигантский мемуарно-эссеистический цикл «Зеркало лимба».

Мальро, мемуарист и знаток искусства, совершает полет, подчас слишком головокружительный, над веками и цивилизациями. И вместе с тем он продолжает размышлять: что могут люди, живущие современностью, каковы их физические и умственные возможности, на что способны их воля и знания? Он думает о том, какой ответ может дать жизнь непредсказуемому ныне развитию мира, истории — «первой цивилизации, способной завоевать всю землю, но не способной создать ни собственных храмов, ни гробниц».

Содержание «Зеркала лимба» позволяет судить о неизменном интересе автора к тому, что было им названо «уделом человеческим». Размышления на эту тему и составляют развивающееся единство его философско-эстетической мысли. Это единство не исключает противоречий, присущих всякому живому мировоззрению, но оно в конечном счете позволяет почувствовать и в мемуарах писателя постоянство его гуманистической озабоченности.

Возвращаясь в «Зеркале лимба» к отдельным эпизодам испанского опыта, сценам из романа «Надежда», Мальро напишет свой последний афоризм: «Конечно, первый враг абсурда — это надежда».

В 1936 г. Испанской республике исполнилось всего пять лет. После апрельских выборов 1931 г., на которых почти во всех городах Испании победили республиканцы, король Альфонс XII отправился, не отрекшись от трона, в изгнание. В полуграмотной стране крестьяне-поденщики и рабочие очень часто становились безработными, зато их дети начинали работать за гроши с младенческих лет. Ларго Кабальеро, будущий председатель Совета республики, вынужден был зарабатывать на жизнь с восьми лет, а читать смог научиться только в двадцать четыре года. Церковь учила бедняков лишь молитвам, смирению и жертвенности. Не случайно в этой стране с давними и устойчивыми католическими традициями первыми при народных волнениях пылали церкви.

Политическая карта Испанской революции отличалась крайней пестротой. Национальному фронту, объединившему монархистов, католиков, традиционалистов, аграрников и независимых, а также центристам противостояли левые и правые республиканцы, автономисты, социалисты и коммунисты. Самый широкий размах приобрели выступления анархистов. В 1934 г. реакционные силы потопили в крови восстание горняков Астурии. И все же на выборах в феврале 1936 г. победил не национальный, а народный фронт. Генералы и церковь при поддержке фашистских режимов в Европе готовили переворот.

В мае 1936 г. по приглашению испанского правительства Народного фронта Мальро вместе с Жаном Кассу и Анри Рене Ленорманом прибыли в Мадрид, где французских делегатов Международной ассоциации в защиту культуры горячо приветствовали Федерико Гарсиа Лорка, Антонио Мачадо и Хуан Рамон Хименес. Мальро встречался с политическими деятелями, сблизился с Рафаэлем Альберти, Антонио Мачадо и Хосе Бергамином, который послужит прототипом писателя Гернико в «Надежде». В своих выступлениях в испанской прессе он настаивает на необходимости сплочения испанской и французской интеллигенции в деле защиты культуры и завоеваний Народного фронта. Он убежден, что столкновение между демократией и фашизмом неизбежно. «Нас всех объединяет общая цель, — убеждал он испанцев, — мы готовы защищать наши завоевания и, если понадобится, с оружием в руках. <...> Нечего дискутировать о действиях, которые стали необходимы. Мы знаем, что наши разногласия с фашистами должны будут разрешиться пулеметными очередями».

Мальро вхож и в правительственные сферы. С премьер-министром и президентом республики он обсуждает вопросы боеспособности Народного фронта, технического оснащения его авиации. Вернувшись во Францию, он выступает на многолюдных митингах с отчетом о своей поездке и мобилизует общественное мнение на защиту Испанской республики. Это был конкретный анализ расстановки политических сил, динамики социального развития и перспектив народного фронта в Испании. Прозорливость и трезвость суждений оратора могли удивить тех, кто хотел видеть в нем «современного Байрона», «блестящего волшебника слова» или «будущего губернатора в Испании». Несмотря на злобную кампанию, развернутую против Мальро — «советского лектора» — в правой прессе, он настойчиво продолжал разъяснять соотечественникам степень угрозы, нависшей над демократическими завоеваниями в Испании, где он видел неорганизованность и слабость левых партий, тяжелое экономическое положение и все возрастающий революционный напор народных масс.

Сразу после начала путча мадридское правительство поручило Мальро срочную закупку самолетов во Франции и комплектование их экипажей. Уже к концу июля он прочно связан с поставкой оружия республиканцам. Постоянно курсируя между Францией и Испанией, Мальро удалось закупить повсюду, где это было возможно (чуть ли не на Блошином рынке, шутили друзья), около шестидесяти самолетов и переправить их вместе с экипажами в Испанию до официального закрытия границы. В то же время он успевал выступить в печати Народного фронта с репортажами о военных действиях, убеждал в необходимости оказания срочной помощи Испанской республике. К середине августа из добровольцев и вольнонаемных летчиков им была сформирована интернациональная эскадрилья «Эспанья», командование которой испанское правительство поручило Мальро, присвоив ему чин полковника.

С первых же дней по несколько раз в сутки летчики эскадрильи Мальро вылетали на боевые задания. Восемнадцатого августа Михаил Кольцов записал в своем дневнике: «На аэродроме много народу, почти все военные. Бродит Андре — он устал, худ, взвинчен, не спал много ночей. Его отзывают то в одну, то в другую сторону: все управление эскадрильей происходит на ходу, в торопливых разговорах». До прибытия советских летчиков-добровольцев эскадрилья Мальро была, пожалуй, единственным эффективным звеном республиканской авиации. Ее первой победой было уничтожение в районе Медельина моторизованной колонны фашистов, шедших на Мадрид. Затем будут трудные бои в небе над Толедо, Мадридом и Теруэлем. Мальро был одновременно организатором эскадрильи, ее администратором и командиром.

Эскадрилья теряла самолеты, в большинстве своем старые и плохо приспособленные для современного боя, теряла летчиков. От вольнонаемных профессионалов, отличавшихся недисциплинированностью, пришлось освободиться, их заменяли добровольцами из уже формировавшихся тогда интербригад. В ноябре, когда начались кровопролитные бои за Мадрид, «Эспанья» получила новое название — «Эскадрилья Андре Мальро».

Роман «Надежда» был посвящен «товарищам по Теруэльской битве». Мальро не мог не помнить те декабрьские дни 1936 г., когда его эскадрилья бомбила врага в районе Теруэля. Двадцать седьмого декабря его самолет разбился при взлете, а другой самолет после успешно выполненного задания был сбит и упал близ высокогорной деревни Вальделинарес; один летчик погиб, пятеро остальных были тяжело ранены. Мальро организовал поиски своих товарищей и вместе с испанскими крестьянами доставил их в госпиталь.

К середине февраля 1937 г. потери эскадрильи были уже столь велики, что командование приняло решение расформировать ее. Она выполнила свое последнее задание, прикрывая с воздуха эвакуа-

ацию жителей Малаги, которых преследовали итальянские фашисты. В перерывах между боями Мальро делал наброски к роману, многие страницы которого посвящены боевой жизни его эскадрильи.

В конце февраля Мальро отправился в США и Канаду, чтобы собрать средства, необходимые для закупки оружия и медикаментов, в которых остро нуждались испанские республиканцы. Перед отъездом Долорес Ибаррури вручила ему памятный диплом за эффективную помощь республике. Через тридцать пять лет в Москве она скажет биографу Мальро: «Я уважаю его, это мой друг, потому что он любит Испанию и оказал нам большую помощь».

В течение месяца Мальро вел кампанию в поддержку Испанской республики на Восточном побережье США, затем отправился в Калифорнию и завершил свою поездку в Монреале в начале апреля 1937 г. Выступления Мальро, его речи и рассказы мало что знавшей об Испании американской аудитории уже содержат не только фактический материал для «Надежды», но и гладные темы, составившие идейное содержание романа.

Обращаясь к американской интеллигенции, Мальро рассказывал, с каким уважением испанский народ относится к своим писателям: «Я видел в Испании, как поэт Альберти читал на арене свои стихи двумстам тысячам крестьян, которые слушали его, затаив дыхание. Я видел, как одного анархиста, который хотел спалить церковь, где находится могила Сервантеса, остановил другой анархист и показал ему, чья эта могила; и тогда первый начертил углем над распятием: «Тебе повезло, он тебя спас» со стрелкой. Он — это был Сервантес».

Отношение Мальро к вопросу о роли и месте писателя в современном мире вполне определенно характеризует другая история. Ноябрьской ночью 1936 г., рассказывал Мальро, в осажденном Мадриде он встретил на улице во время бомбежки прохожего, который тащил огромный свиток бумаги. «На подобной бумаге редко пишут, и такая рукопись всегда заинтересует писателя. Я останавливаю прохожего: «Что это у вас за рукопись?» — Слышны разрывы б о м б . — «Это не рукопись, — отвечает он к р о т к о . — Я меняю обои в своей квартире».

Человек, писатель он или нет, вправе, по мнению Мальро, менять свои обои по ночам, когда, может быть, решаются судьбы мира. «Возможно, — говорил Мальро, — что книги этого человека, если он писатель, не будут от этого ни лучше, ни хуже; но было бы лучше, если бы он не требовал от других такой же позиции и не забывал, что уважение, которым окружены писатели в этом мире, было заслужено скорее теми из них, кто с незапамятных времен бросался в сражения, а не теми, кто остался в стороне. И, конечно, он не сможет забыть, что дань уважения, которую отдадут впоследствии испанским писателям, будет такой глубокой благодаря их лучшему

поэту — Гарсиа Лорке, смерть которого обогатила бессмертный дух мужества».

Вернувшись в Европу, Мальро продолжал работу над рукописью «Надежды», оставаясь в то же время в гуще антифашистской борьбы — выступал в прессе, на митингах, на майских днях солидарности с испанским народом, продолжал нелегальную переправку антифашистов через Пиренеи, вернулся в Испанию для участия во Втором международном конгрессе писателей в защиту культуры. В конце 1937 г., за пятнадцать месяцев до конца войны, он опубликовал «Надежду».

Роман был написан по горячим следам и в разгар событий. Его действие охватывает период от начала франкистского мятежа до первой крупной победы республиканцев при Гвадалахаре в марте 1937 г. — события, ставшего символом «Надежды». Мальро создал политический роман-эпопею, который прозвучал для современников призывом занять свое место в борьбе с фашизмом. Он писал его торопясь, как бы устремляясь в атаку, и эта сознательная поспешность вошла в самую структуру повествования, придав ему черты репортажа, стремительный ритм и интеллектуальное напряжение. «Надежда» была воспринята как реалистическое произведение, документально правдивое и, несмотря на его полифоничность, безусловно «ангажированное». Персонажи романа, наделенные каждый «суверенным» сознанием, в смуте истории ищут сплав действия и мысли. Они устремлены к разрешению труднейших, а для иных и роковых вопросов жизни: что может человек, как ему победить, как сделать надежду реальностью?

Если в романах Мальро о китайской революции еще трудно увидеть живой Китай, его крестьян, рабочих и солдат, то «Надежда» передает глубоко национальный — испанский — и в то же время интернациональный характер войны. Испанский народ живет в романе и в своей массе, и в его отдельных представителях, таких как Ларго Кабальеро, Д. Ибаррури, М. де Унамуно и др., и в вымышленных персонажах. С первых же строк автор погружает читателей в трагедию анархистов Барселоны, пожарников Мадрида, бойцов, идущих на приступ Алькасара, гражданской гвардии Хименеса, солдат Мануэля, летчиков Маньена. Стремительно сменяющие друг друга сцены строятся в романе вокруг двух фабульных стержней — действий эскадрильи Маньена и создания народной армии (линии Мануэля). Книга написана от третьего лица, действия в ней показаны через восприятие персонажей — их около тридцати. Главные, выделяющиеся характерными силуэтами, — испанцы (за исключением француза Маньена и итальянца Скали), и хотя об их личной жизни мы знаем мало, Мальро удалось создать незабываемые литературные образы, живые не столько своим индивидуальным психологическим измерением, сколько своей укорененностью в испанских

и, как ощущали современники, общечеловеческих проблемах. Эти проблемы определили основные темы романа: справедливый характер антифашистской войны, трудное формирование республиканской армии и «мужественное братство» республиканцев, питающее «надежду».

Ключевое понятие Мальро-антифашиста — «братство» — противопоставлено в романе «унижению», на которое обрекает миллионы испанцев старый порядок. Мотив извечной нищеты людского удела, метафизической тревоги, звучавший как один из сильнейших в первых романах Мальро, в «Надежде» уступает место героике коллективного действия в больших и малых эпизодах войны и одновременно напряженной мысли о необходимости эффективно действовать, оставаясь верным своим убеждениям.

«Есть справедливые войны, — говорит руководитель республиканской разведки Гарсиа, — как наша сейчас», и в этой мысли заключается одна из важнейших тем романа. Сто восемьдесят пять (из двухсот!) генералов с благословения церкви подняли мятеж против законно избранного правительства; их всячески поддерживают режимы Муссолини и Гитлера. Мальро показывает, как неразрывно сопротивление испанского народа путчистам связано с его стремлением к революционным изменениям в стране — праву на труд, образование, человеческое достоинство. Летчик Маньен видит, что неграмотные крестьяне яростно сражаются с охотничьими ружьями в руках, чтобы отстоять свое право на землю, — первое условие их достоинства. «Я хочу, чтобы люди знали, ради чего они работают», — говорит Маньен. Старый виноградарь Барка никогда не мог смириться с презрительным отношением помещиков к крестьянам, с тем унижительным положением, при котором крестьяне обязаны выказывать почтение своим хозяевам. В госпитале, страдая от полученных ранений, он тем не менее уверен в своей правоте, только «братство», считает он, может противостоять «унижению». Ученый-этнограф Гарсиа надел военную форму не потому, что ждет от народного фронта «самого благородного правительства», а потому, что хочет, чтобы «изменились условия жизни испанских крестьян». Коммунист Рамос убежден, что в любой местности, занятой Франко, восстанавливаются еще более тяжкие формы гнета — вот почему простой люд сражается. Писатель-католик Гернико, наблюдая за женщинами, которые после штурма казарм Ла-Монтанья сдают свою кровь для раненых республиканцев, видит «народ Испании» и понимает, что эта война, «что бы там ни было» — его война, и решает оставаться всегда там, где испанский народ.

Мальро не упрощает вопроса. Республиканцы ведут справедливую войну, но насколько она разумна? Может быть, худший компромисс с националистами предпочтительнее сотен тысяч жертв и бесчисленных страданий при победе любой ценой, тем более при воз-



можно, несмотря на героические усилия, военном поражении республиканцев?

Не раз персонажей романа поражает пронзительное и понятное читателям чувство: чего стоят слова, произведения искусства, самые высокие идеи при виде растерзанных тел и чудовищных ран? В финале романа Гарсиа даже предвидит возможность того, что Франко в конце концов будет вынужден пойти на определенные уступки в социальной политике, чтобы избежать бесконечной герильи. «Что меня больше всего беспокоит, — говорит он, — так это видеть, как много на любой войне каждый берет у своего врага, хочет он того или нет». Не направить ли усилия на самоусовершенствование? Старый и мудрый Альвеар после страшного ранения сына замкнулся в своем горе и утратил надежду. «Если бы каждый, — говорит он, — направил на себя треть усилий, которые он затрачивает сегодня, чтобы создать желаемое правительство, в Испании стало бы возможно жить».

Но Мальро отказывается от искушения замкнуться в мораль «качества человека», и персонажи романа ответили на этот вопрос не предположением, а по существу: для того, чтобы люди могли духовно возвыситься, им надо обрести жизнь, при которой они смогут почувствовать свою душу.

Конечно, освободить человека экономически — еще далеко не все, но это основа того, чтобы он стал хозяином своей судьбы.

Центральное место в романе занимает проблема организации Народной армии. Рисую мозаичную картину республиканского лагеря, Мальро показывает людей самых разных политических и моральных убеждений, разных вкусов и темпераментов, но объединенных единой целью. Их первые победы и героический энтузиазм, лихорадочно-восторженную атмосферу счастья и безумства — «хоть раз пожить по велению сердца, а там будь что будет!» — он называет «лирической иллюзией». Однако против самолетов, танков и регулярных частей Франко баррикады и отчаянная самоотверженность республиканцев победы принести не смогут. В первых главах «Надежды» плохо вооруженная и недисциплинированная республиканская вольница переживает Апокалипсис, бесстрашно идет на смерть и празднует, как внезапное откровение, сбывшуюся на какой-то миг мечту о Свободе, Справедливости, Достоинстве и Братстве. Но Апокалипсис братства хочет всего и сразу и по самой своей природе лишен будущего. Анархисты умеют драться, погибать на баррикадах, «мужество становится их родиной», но они не умеют воевать. Апокалипсис должен преобразиться в боеспособную армию или погибнуть. Самой трудной победой республиканцев в романе Мальро будет организация Апокалипсиса, победа эффективности над «лирической иллюзией».

Молодой коммунист Мануэль проходит нелегкий путь от командира роты до командира бригады. Он упорно учится руководить бойцами, и эта наука дается ему не без духовных потерь. Стремление к победе может потребовать от него выбора между эффективностью и простыми человеческими чувствами, например, жалостью к слабым. Трудно действовать, не умаляя братства. Мануэль не отменил смертного приговора двум добровольцам, которые, поддавшись страху, бежали с поля боя. И в то же время он чувствует, что, стремясь во что бы то ни стало к эффективности, он все больше отдаляется от людей и становится все менее человеческим. Католик Хименес знает, что братство может быть обретено только во Христе, и советует Мануэлю восполнить этот углубляющийся разрыв укоренением в лоне партии, на что Мануэль отвечает: «Не имеет смысла укореняться в партии, если это удаляет от тех, ради кого партия работает. Какими бы ни были усилия партии, эта связь живет, может быть, только благодаря усилиям каждого из нас».

Мануэль хочет делом завоевать любовь своих солдат, никогда «не соблазняя их, не соблазняя и себя», учится терпению, организованности, суровости и постепенно начинает как бы «физически» ощущать, что такое боевая бригада. Когда ему удалось остановить бежавших с поля боя добровольцев, вернуть им боевой дух, организовать оборону, накормить, устроить на ночлег, наконец, раздобыть мыла, он «впервые ощутил, как братство принимает форму действия». Те же чувства переживает и летчик Скали. Как бы предвосхищая пафос «Земли людей» Сент-Экзюпери, он говорит: «Людям, объединенным надеждой и любовью, доступной области, к которым они не приблизятся поодиночке. Целое нашей эскадрильи благороднее, чем почти все, кто в нее входит».

Ставя при этом вопросы революционной нравственности, цели и средств на материале конкретной действительности, Мальро заставляет некоторых из своих героев переживать трагические коллизии, расширяет их исторический и психологический опыт и даже доводит до полного душевного разлада. Такова судьба Морено, познавшего камеру смертников; старого Альвеара, сын которого ослеп в бою; капитана Эрнандеса, столкнувшегося с низостью, названной «объективной необходимостью» в политике. «Люди с трудом могут поверить в низость тех, с кем они вместе сражаются», — замечает Скали.

Особое значение в романе приобретает в этой связи трагическая судьба Мигеля де Унамуно, реальные обстоятельства которой приводятся на многих страницах романа. «Этическая оппозиция» великого испанского писателя призвана оттенить «ангажированность» героев Мальро, а само название романа — «Надежда» — контрастирует с «отчаянием» — понятием, которым Унамуно определил исток разрушительной стихии испанской революции. Вот почему

войне в романе Мальро предстает и как война идеологическая, в ходе которой постоянно ощущается преисполненная драматизма связь политики с моралью.

«Политики не сделаешь с вашей моралью», — говорит коммунист анархисту. «Ни с любой другой», — слышится в ответ. «Сложность», — обобщает Гарсиа, — и, может быть, драма революции в том, что и без морали ее не сделаешь». Ход мысли здесь по-своему ясен: человек, вовлеченный в действие, живет представлениями, которые противоречат одно другому: миролюбие и необходимость защищаться, христианское чувство вечности и земное строительство, справедливость и эффективность действия. Ясно и то, что вседозволенность и забвение справедливости во имя благих целей роковым образом искажают конечные результаты. Персонажи Мальро чувствительны к этой проблеме, видя, однако, свою насущную задачу в том, чтобы как можно скорее преобразовать Апокалипсис в армию. Мужество для них — тоже вопрос организации.

Гарсиа понимает, что многие ждут от Апокалипсиса решения своих собственных проблем, в частности, этических, которые Революция не решает, она может лишь создать для этого благоприятные условия. Для таких людей жить, твердо следуя определенной морали, — всегда драма, как в Революции, так и вне ее. Эрнандес, кадровый офицер и честный человек, будучи в армии, то есть участвуя в политике, поглощен, как замечает Гарсиа, сравнением того, что он видит, с тем, о чем он мечтает. «Действие мыслится только в понятиях действия, — настаивает Гарсиа. — Политическая мысль возможна только в сравнении одной конкретной вещи с другой конкретной вещью, одной возможности с другой возможностью. Наши или Франко, одна организация или другая организация, а не организация против какого-либо желания, мечты или апокалипсиса». Моральное совершенство, испанское благородство, считает Гарсиа, — проблемы индивидуальные, и революция далека от того, чтобы быть в них прямо вовлеченной.

Что же человек может сделать со своей жизнью, на что направить ее? — задается вопросом Скали во время одного из разговоров об Унамуну, когда за окном слышны сирены санитарных машин. «Претворить в сознание как можно более широкий опыт», — отвечает Гарсиа формулой, которая сегодня известна едва ли не каждому французского лицеисту. Но для чего? Излюбленные персонажи Мальро — интеллигенты, носители духа и как бы мирские преемники священнослужителей, каждый по-своему отвечают на этот вопрос — для того, чтобы вписать свой широкий опыт в действие, диктуемое обретенным долгом.

Конечно же, путь от этики к политике тернист, и Мальро проводит своих героев через «горнило сомнений». О фактах, могущих на-

нести ущерб республике, он упоминает как бы мимоходом. Известно, кто одержал бы верх в словесном бою — Гарсиа или Альвеар, доведись им встретиться в романе. Как справедливо отметил видный французский исследователь Поль Гайяр, «оба персонажа борются и всегда будут бороться в сердце Мальро». Даже простые человеческие чувства, такие как дружба, могут получать далеко не бесспорную трактовку у персонажей Мальро, подчиненных партийности: «Дружба — это не значит быть с друзьями, когда они правы, это — быть с ними, даже когда они не правы».

Следует, однако, помнить и о том, что после мартовских событий 1937 г., которыми завершается роман, война продлится два года. Жизнь внутри республиканского лагеря еще более осложнится, станет трагичнее, чем в ее первые восемь месяцев. Но смысл романа в том, что персонажи продолжают действовать, и их «надежда» несет в себе веру в безграничные возможности человека. Антиномии действия разрешаются в значительной мере самой композицией романа и его фабульным движением — от Апокалипсиса к Надежде, от разрозненной партизанщины к боеспособной армии.

Сцена спасения раненых летчиков — одна из самых патетических и волнующих во французской литературе 30-х годов. Растянувшийся по горной дороге кортеж братства — сотни крестьян, приветствующих летчиков сбитого самолета, «которых никто не заставлял воевать», — символизирует победу человека над одиночеством и «нищетой» его удела, ту солидарность людей, которая, казалось, несла в себе силу, не меньшую, чем первозданная сила природы: «не смерть в тот момент была созвучна горам, а воля людей».

В финале романа, словно ведя репортаж о победе, которую республиканцы одержали на фронте Гвадалахары, Мануэль видит конец герильи и рождение народной армии, видит испанскую землю, которую совсем недавно изнуренные нищетой крестьяне не имели права обрабатывать и которая теперь принадлежала им. Они никогда не смиряются с прежней участью.

При первой передышке после победы у стен Мадрида Мануэль слышит музыку Бетховена и вспоминает об уже пройденном пути. Кажется, что в душе достигнуто какое-то трудное и хрупкое равновесие. Он словно заново родился с войной — для ответственности за жизнь и смерть своих бойцов. До него доносятся звуки музыки, шум города, у стен которого когда-то были остановлены мавры, впервые он слышит «голос того, что важнее крови людей, что волнует больше, чем их присутствие на земле — беспредельные возможности их судьбы». И это — голос надежды. Будущее остается открытым.

Мальро назвал свой роман словно наперекор судьбе. Закончив его, он вернулся в Испанию, где до января 1939 г. снимал фильм о защитниках республики. Вскоре, однако, произойдут события, ко-

торые заставят отложить на пять лет его демонстрацию. Он будет показан в уже освобожденном Париже под названием «Надежда».

Надежда осталась непобежденной. «Великие кровавые маневры» — так Мальро назвал гражданскую войну в Испании — не привели фашизм к мировому господству. Идеалы республиканского братства питали своей силой движение Сопротивления. Победа осталась за теми, кто «воевал, ненавидя войну».

Есть поражения, которые со временем показывают людям, что они не проиграли, что только так, как они жили, и стоило жить.

*Е. Кушкин*

# НАДЕЖДА



Моим товарищам по Теруэльскому бою

## ЛИРИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

### I. ЛИРИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

I

#### Глава первая

Грохот мчащихся грузовиков с винтовками взрывал тишину спустившейся на Мадрид летней ночи. Вот уже несколько дней рабочие организации оповещали о неизбежности фашистского мятежа, о подрывной работе в казармах, о переброске боеприпасов. Фашисты уже заняли Марокко. В час ночи правительство решило наконец раздать народу оружие; в три часа его выдавали по предъявлении профсоюзного билета. Медлить было нельзя: телефонные звонки из разных провинций, с двенадцати до двух вполне оптимистичные, становились тревожными.

Коммутатор Северного вокзала вызывал одну за другой железнодорожные станции. Здесь распоряжались секретарь профсоюза железнодорожников Рамос и Мануэль, назначенный на эту ночь ему в помощь. Не считая отрезанной Наварры, отовсюду поступали схожие ответы: либо правительство остается хозяином положения, либо рабочие организации держат город под своим контролем в ожидании распоряжений правительства. Однако через некоторое время разговоры стали принимать иной оборот.

— Алло! Уэска?

— Кто говорит?

— Рабочий комитет Мадрида.

— Скоро конец твоему комитету, дерьмо! Arriba España!<sup>1</sup>

На стене — приколотый кнопками экстренный выпуск «Кларидад»<sup>2</sup>, вышедший в семь часов вечера, через всю полосу — призыв «К оружию, товарищи!»

---

<sup>1</sup> Вставай, Испания! (исп.) — лозунг испанских фашистов. (Здесь и далее *примеч. А. Косс.*)

<sup>2</sup> «Кларидад» (исп. claridad — ясность) — название газеты.

— Алло! Авила? Как у вас дела? Говорит вокзал.  
— Катись подальше, сволочь! Да здоровствует Христос — Царь Небесный!<sup>1</sup>  
— До скорого! Salud!<sup>2</sup>  
Рамоса куда-то срочно позвали.  
Линии связи от Северного расхотились к Сарагосе, Бургосу и Вальядолиду.  
— Алло! Сарагоса? Рабочий комитет вокзала?  
— Расстрелян! Скоро ваша очередь. Arriba España!  
— Алло! Таблада? Говорит Мадрид-Северный, уполномоченный профсоюза.  
— Звони в тюрьму, сукин сын! Скоро и тебя за уши притащим!  
— Встретимся на Алькала<sup>3</sup>, второе кафе налево.  
Телефонисты глядели на Рамоса, его озорную физиономию кудрявого бандита.  
— Алло! Бургос?  
— Говорит комендант.  
Больше нет начальника вокзала. Рамос повесил трубку.

Звонок.

— Алло! Мадрид? Кто вы?  
— Профсоюз железнодорожников.  
— Говорит Миранда. Вокзал и город наши. Arriba España!  
— А Мадрид наш! Salud!  
Значит, с севера рассчитывать на подкрепления, кроме как через Вальядолид, не приходится. Осталась еще Астурия.  
— Алло! Овьедо? Кто говорит?  
Рамос стал осторожнее.  
— Уполномоченный по вокзалу.  
— Это Рамос, секретарь профсоюза. Как там у вас?  
— Полковник Аранда верен правительству. В Вальядолиде неважно: посылаем на помощь нашим три тысячи горняков с оружием.  
— Когда?  
Из-за стука прикладов вокруг ничего не слышно.

---

<sup>1</sup> Лозунг, традиционно бывший в ходу у крайних правых.

<sup>2</sup> Привет! Букв.: здоровья! (исп.) — приветствие, принятое у республиканцев.

<sup>3</sup> Алькала — одна из центральных улиц Мадрида.



- Когда?
- Сейчас.
- Salud!

— Следи за этим поездом по телефону, — сказал Рамос Мануэлю, а сам вызвал Вальядолид:— Алло! Вальядолид? Кто у телефона?

— Уполномоченный по вокзалу.

— Как дела?

— Наши удерживают казармы. Ждем подкрепления из Овьедо; сделайте все, чтобы оно прибыло как можно скорей. Не беспокойтесь, у нас все будет в порядке. А что у вас?

На улице пели. Рамос не слышал собственного голоса.

— Как, как? — спрашивал Вальядолид.

— Все в порядке.

— Войска взбунтовались?

— Пока нет.

Вальядолид дал отбой.

Все подкрепления с севера могли быть задержаны там.

Среди звонков по поводу вокзальных стрелок, в которых он мало что понимал, среди запаха конторских папок, железа и вокзального дыма (дверь была раскрыта в душную ночь) Мануэль отмечал вызовы городов. На улице — пение и стук ружейных прикладов; ему все время приходилось переспрашивать (фашисты просто вешали трубку). Он наносил обстановку на железнодорожную карту: Наварра отрезана; вся восточная часть Бискайского залива, Бильбао, Сантандер, Сан-Себастьян — верны, но путь перерезан в Миранде. С другой стороны Астурия, Вальядолид — верны. Телефонные звонки не прекращались ни на минуту.

— Алло! Говорит Сеговия. Кто вы?

— Уполномоченный профсоюза, — сказал Мануэль, пристально глядя на Рамоса. В самом деле, что он за человек?

— Подожди, скоро мы тебя кастрируем!

— Посмотрим. Salud!

Теперь станции, занятые фашистами, сами вызывали: Саррасин, Лерма, Аранда-дель-Дуэро, Сепульведа, снова Бургос. Из Бургоса к Сьерре опасность приближалась быстрее, чем поезда с подкреплением.

— Говорит министерство внутренних дел. Телефонный узел Северного? Передайте по линии, что гражданская и штурмовая гвардия<sup>1</sup> на стороне правительства.

— Говорит Мадрид-Южный. Что у вас на севере, Рамос?

— Похоже, что они заняли Миранду и продвинулись далеко на юг. Три тысячи горняков отправились в Вальядолид. Оттуда придет подкрепление. А как у вас?

— Вокзалы Севильи и Гранады у них. Остальные держатся.

— А Кордова?

— Неизвестно. Когда они захватывают вокзалы, бои продолжаются в предместьях. Отчаянно дерутся в Триане. И в Пеньяройе. А насчет Вальядолида ты меня удивил. Он еще наш?

Рамос схватился за другой аппарат.

— Алло! Вальядолид! Кто говорит?

— Уполномоченный по вокзалу.

— Да? А нам сказали, что у вас уже фашисты.

— Ошибка. Все в порядке. А у вас? Солдаты взбунтовались?

— Нет.

— Алло! Мадрид-Северный? Кто говорит?

— Ответственный за перевозки.

— Говорит Таблада. Ты сюда не звонил?

— Нам сказали, вы расстреляны или за решеткой.

— Мы оттуда выбрались. Теперь там сидят фашисты. Salud!

— Говорит Народный дом. Передайте по всем захваченным станциям, что правительство с помощью

---

<sup>1</sup> Гражданская гвардия (исп. *guardia civil*) — традиционное название испанской жандармерии. Штурмовая гвардия (исп. *guardia de asalto*) — особые силы охраны внутреннего порядка (созданы в 1931 г.).

ополчения удерживает Барселону, Мурсию, Малагу, всю Эстремадуру и весь Левант.

— Алло! Говорит Тордесильяс. Кто у телефона?

— Рабочий совет Мадрида.

— Такие сволочи, как ты, уже расстреляны. Arriba Eспаña!

Медина-дель-Кампо — тот же разговор. Линия на Вальядолид оставалась единственной надежной линией связи с севером.

— Алло! Леон? Кто у телефона?

— Уполномоченный профсоюза. Salud!

— Говорит Мадрид-Северный. Поезд с шахтерами из Овьедо прошел?

— Да.

— Где он сейчас?

— Думаю, около Майорги.

За окном на мадридских улицах по-прежнему песни и стук прикладов.

— Алло! Майорга? Говорит Мадрид. Кто у телефона?

— А вы кто?

— Рабочий совет Мадрида.

Отбой. Так что же? Где поезд?

— Алло! Вальядолид? Вы уверены, что продержитесь до прибытия шахтеров?

— Безусловно.

— Майорга не отвечает.

— Неважно.

— Алло! Мадрид? Говорит Овьедо. Только что полковник Аранда примкнул к мятежникам. Идет бой.

— Где поезд с шахтерами?

— Между Леоном и Майоргой.

— Поддерживайте с ними связь.

Вызывал Мануэль. Рамос ждал.

— Алло! Майорга? Говорит Мадрид.

— Да?

— Рабочий совет. Кто у телефона?

---

<sup>1</sup> Ополчение, или народная милиция — отряды, созданные республиканцами в 1936 г.

— Испанская фаланга. Начальник центурии<sup>1</sup>. Ваш поезд прошел, идиоты. Все станции до Вальядолида — наши. Вальядолид с полуночи тоже. Ваших шахтеров поджидают с пулеметами. Аранда от них избавился. До скорого!

— До скорого.

Мануэль вызвал подряд все станции от Майорги до Вальядолида.

— Алло! Сепульведа? Говорит Мадрид-Северный. Рабочий комитет.

— Ваш поезд прошел, болваны. Бабы вы, а не во-яки, на этой неделе мы вас кастрируем всех до единого!

— Бредовая идея с точки зрения физиологии. Salud!

Вызовы продолжались.

— Алло! Мадрид? Алло! Алло! Мадрид? Говорит Навальпераль-де-Пинарес. Вокзал. Городишко снова в наших руках. Фашисты? Разоружены, сидят за решеткой. Сообщите. Ихние звонят каждые пять минут, справляются, в чьих руках город. Алло! Алло!

— Надо бы передавать ложные сведения, — сказал Рамос.

— Они будут проверять.

— Все равно это собьет их с толку.

— Алло! Мадрид-Северный? Говорит ВРС<sup>2</sup>. Кто у телефона?

— Рамос.

— Нам сообщили, что идет фашистский поезд с новейшим оружием. Вроде бы из Бургоса. Ты что-нибудь слышал?

— Нет, мы бы знали. Все станции до Сьерры в наших руках. Надо все-таки быть начеку. Подожди минутку... Мануэль, вызови Сьерру.

---

<sup>1</sup> Центурия — принятое у фалангистов название воинского подразделения численностью в сто человек (по образцу древнеримских сотен-центурий).

<sup>2</sup> ВРС (Всеобщий рабочий союз) — организация, объединившая ряд профсоюзов.

Мануэль вызвал все станции подряд. Он держал в руках линейку и как будто отбивал ею такт, Вся Сьерра оставалась верной. Он вызвал коммутатор почтамта: те же сведения. По эту сторону Сьерры фашисты или не выступали, или были разбиты.

Однако половина Севера была у них в руках. В Наварре — Мола <sup>1</sup>, бывший начальник мадридской службы безопасности; против правительства — три четверти армии, на стороне правительства — штурмовая гвардия и народ, возможно, гражданская гвардия.

— Говорит ВРС. Это Рамос?

— Да.

— Ну, что с поездом?

Рамос вкратце изложил обстановку.

— А как вообще дела? — спросил он в свою очередь.

— Хорошо. Очень хорошо, кроме военного министерства. В шесть часов они заявили, что все пропало. Мы им сказали, что они трусы, а они утверждают, что ополченцы разбегутся. Нам наплевать на их болтовню. На улице так поют, что я тебя еле слышу.

Рамос слышит в трубке пение, оно смешивается с пением на вокзале.

Хотя мятеж, по-видимому, вспыхнул почти одновременно в разных местах, казалось, что на Мадрид надвигается единый фронт: станции, занятые фашистами, все теснее сжимали кольцо вокруг столицы. Однако в последние недели напряжение было так велико, и народ с такой тревогой ждал мятежа, который, возможно, пришлось бы встретить без оружия, что военная атмосфера этой ночи казалась великим избавлением.

— Твоя таратайка еще здесь? — спросил Рамос у Мануэля.

— Да.

Он посадил за телефоны одного из дежурных по вокзалу. Несколько месяцев тому назад Мануэль купил небольшую подержанную машину, чтобы ездить кататься на лыжах в Сьерру. По воскресеньям Рамос пользовался ею, когда отправлялся на митинги. Этой ночью Мануэль снова предоставил ее в распоряжение коммунистов. И сам помогал своему приятелю.

<sup>1</sup> Мола Видаль, Эмилио (1887—1937) — генерал, один из участников фашистского путча, известный своим вероломством и жестокостью.

— Тысяча девятьсот тридцать четвертый год не должен повториться!<sup>1</sup> — сказал Рамос. — Едем в Тетуан-де-лас-Викториас.

— Где это?

— В Куатро Каминос.

Через триста метров их остановил первый контрольный пост.

— Документы.

Документом служил профсоюзный билет. Билета коммунистической партии Мануэль с собой не носил. Он работал на киностудии звукооператором и одевался с легким налетом монпарнасской небрежности, что позволяло, как ему казалось, не путать его с буржуа. К тому же густые брови на его очень смуглом, немного тяжеловатом лице с правильными чертами могли напоминать нечто пролетарское. Впрочем, ополченцы едва взглянули на них. Они узнали смеющееся лицо Рамоса, его курчавые волосы. Машина тронулась после похлопываний по плечу, поднятых кулаков и криков «Salud!»: это была ночь братства.

А между тем в последние недели борьба между правыми и левыми социалистами обострилась. Сопротивление Кабальеро<sup>2</sup> возможному назначению Прието<sup>3</sup> министром было довольно ожесточенным. У второго поста члены ФАИ<sup>4</sup> передавали показавшегося им подозрительным человека рабочим из ВРС — своим старым противникам.

«Это хорошо», — подумал Рамос. Раздача оружия еще не закончилась: подошел грузовик с винтовками.

— Можно подумать, это подошвы! — сказал Рамос.

Действительно, из грузовика торчали лишь металлические оковки прикладов.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду прорыв к власти крайне правых и последовавшее за тем «черное двухлетие», ознаменовавшееся жестокими репрессиями (разгром Астурийской коммуны и др.).

<sup>2</sup> Ларго Кабальеро, Франсиско (1869—1946) — один из руководителей социалистической партии Испании, с октября 1936 г. по май 1937 г. председатель совета министров; в 1939 г. эмигрировал.

<sup>3</sup> Прието Туэро, Индалесио (1883—1962) — один из руководителей социалистической партии, член правительства.

<sup>4</sup> ФАИ (Федерация анархистов Иберии) — организация, созданная ядром «чистых» анархистов, ставившая целью установление «либертарного коммунизма».

— В шамо м д е л е , — сказал М а н у э л ь , — подошвы.

— Что это ты шепелявишь?

— Я шломал жуб жа едой. Теперь только и делаю, что трогаю языком это мешто: не до антифашизма!

— А что ты ел?

— Вилку.

Какие-то расплывчатые фигуры людей держали в обнимку только что полученные винтовки. Позади них в темноте, стиснутые, как спички в коробке, бранились ожидающие своей очереди. Проходили женщины с корзинами, полными патронов.

— Наконец-то, — послышался чей-то голос. — Сколько можно ждать, что они схватят нас за горло.

— Я уж было подумал, что правительство позволит нас раздавить.

— Не беспокойся, теперь посмотрим, долго ли они продержатся, банда сволочей!

— Сегодня ночью народ охраняет Мадрид, народ...

Через каждые пятьсот метров — новая проверка: в городе появились фашистские машины с пулеметами. И все те же поднятые кулаки и то же братство. И все те же странные движения часовых, без конца ощупывающих свои винтовки: целая вечность без винтовок.

Когда они прибыли на место, Рамос бросил сигарету и раздавил ее ногой.

— Перестань курить, — сказал он Мануэлю.

Он куда-то исчез, но через десять минут вернулся в сопровождении трех парней. У всех в руках было что-то завернутое в газеты и перевязанное веревками.

Мануэль спокойно закурил новую сигарету.

— Брось сигарету, — тихо сказал Р а м о с , — это динамит.

Парни уложили свертки в машину на переднее и заднее сидения и вернулись в дом. Мануэль вышел из машины и, нагнувшись, притушил сигарету о подошву. Он поднял к Рамосу огорченное лицо.

— Ну что? В чем дело? — спросил тот.

— Ты мне надоел, Рамос.

— Ну ладно. А теперь едем.

— Разве нельзя найти другую машину? Я мог бы вести и чужую.

— Мы едем взрывать мосты и начнем с моста Авилы. Мы возем динамит, его нужно немедленно доста-

вить куда нужно — в Пегуэринос и так далее. Ты ведь не собираешься терять два часа? Твоя машина по крайней мере на ходу.

— Ладно, — грустно согласился Мануэль.

Он дорожил не столько самой машиной, сколько ее великолепным оборудованием. Машина тронулась. Мануэль сидел впереди, Рамос — сзади, прижимая к животу сверток с гранатами. И внезапно Мануэль почувствовал, что машина стала ему безразлична. Машины больше не было, была только эта ночь, полная смутной и безграничной надежды, эта ночь, когда у каждого было дело на земле. Рамос слышал отдаленную дробь барабана, как биение собственного сердца.

Каждые пять минут их останавливали для проверки документов.

Ополченцы, часто неграмотные, как только узнавали Рамоса, хлопали их по спине, а услышав его окрик «Не курить!» и разглядев пакеты в машине, начинали приплясывать от радости: динамит был старым романтическим оружием в Астурии<sup>1</sup>.

Машина ехала дальше.

На улице Алькала Мануэль прибавил газу. Впереди справа от него грузовик ФАИ, набитый вооруженными рабочими, резко свернул влево.

В эту ночь все машины неслись со скоростью восемьдесят километров в час. Мануэль попытался избежать столкновения, почувствовал, как его легкую машину подбросило, и подумал: «Конец».

Он очнулся лежа на животе среди свертков с динамитом, катившихся, как каштаны, к счастью, по тротуару. Перед глазами в свете электрического фонаря блестела кровь; он не чувствовал боли, но из носа шла кровь. Он слышал крик Рамоса: «Не курите, товарищи!» Он тоже крикнул и, перевернувшись наконец, увидел своего друга. Тот стоял, широко расставив ноги, судорожно прижимая к животу гранаты; пряди курчавых волос свешивались ему на лицо; его окружали люди с винтовками, они суетились среди свертков, не решаясь дотронуться до них. Рядом дымился окурок (Рамос воспользовался тем, что сидел сзади один, чтобы выкурить лишнюю сигарету). Мануэль растер его но-

---

<sup>1</sup> Речь идет о народном восстании в Астурии в октябре 1934 г. и создании Астурийской коммуны.



гой. Рамос распорядился складывать свертки у стены. Об автомобиле лучше было не вспоминать.

Из громкоговорителя несло:

«Войска мятежников двигаются к центру Барселоны. Правительство контролирует положение».

Мануэль помогал укладывать свертки. Рамос, всегда такой деятельный, не трогался с места.

— Чего ты ждешь? Помогай!

«Внимание! Войска мятежников двигаются к центру Барселоны».

— Не могу двинуть рукой: я слишком крепко сжимал сверток. Сейчас пройдет. Остановим первую свободную машину и едем дальше.

## Глава вторая

Над прохладными после полива улицами Барселоны занималась летняя заря. В не закрывавшемся всю ночь тесном кафе на широкой пустынной улице Сильс прозванный Негусом член Федерации анархистов Иберии и профсоюза транспортников раздавал товарищам револьверы.

Мятежные войска подходили к окраине города.

Говорили все разом:

— А что будет делать гарнизон?

— Стрелять в нас, можешь быть уверен.

— Вчера офицеры опять присягали на верность Компанису<sup>1</sup>.

— А ты послушай, что радио говорит.

Маленький репродуктор в глубине тесного зала повторял теперь через каждые пять минут:

«Войска мятежников продвигаются к центру».

— Правительство раздает оружие?

— Нет.

— Вчера арестовали двух парней из ФАИ, которые расхаживали с винтовками. Потребовалось вмешательство Дуррути<sup>2</sup> и Оливера<sup>3</sup>, чтобы их освободили.

---

<sup>1</sup> Компанис Луис (1883—1940) — видный деятель левого крыла республиканской партии, борец за автономию Каталонии, правительство которой он возглавил в 1936 г.; был расстрелян фашистами.

<sup>2</sup> Дуррути Буэнавентура — лидер анархо-синдикалистов, выступал за создание народного фронта, активный участник обороны Мадрида; погиб 13 ноября 1936 г.

<sup>3</sup> Оливер Гарсиа — один из анархистских лидеров.

— Беда!

— А что говорят в «Транкилидад»? <sup>1</sup> Будут у них винтовки или нет?

— Скорей всего нет.

— А револьверы?

Негус продолжал раздачу.

— Эти револьверы любезно предоставлены в распоряжение товарищей анархистов господами фашистскими офицерами. Моя борода внушает доверие.

Прошлой ночью с двумя друзьями и еще несколькими сообщниками он ограбил кают-компания двух военных кораблей. На нем и сейчас был синий комбинезон механика, который он надел, чтобы проникнуть на корабли.

— А теперь, — сказал он, протягивая последний револьвер, — сложим наши деньжата. Как только откроются оружейные магазины, надо купить патронов. Сейчас у нас по двадцать пять на каждого, этого мало.

*«Войска мятежников продвигаются к центру...»*

— Оружейные магазины не откроются: сегодня воскресенье.

— Неважно, сами откроем. Пусть каждый приведет сюда своих людей.

Шестеро остаются, остальные уходят.

*«Войска мятежников...»*

Негус командует. Не из-за своей должности в профсоюзе. А потому что он пять лет просидел в тюрьме; потому что, когда трамвайная компания Барселоны выгнала после забастовки четыреста рабочих, Негус с десятком товарищей поджег ночью трамваи в депо на холме Тибидабо и пустил горящие вагоны с отпущенными тормозами к центру города. Они неслись под оглушительный вой обезумевших автомобильных сирен. Потом он организовал еще какой-то саботаж, который продолжался два года.

В голубоватом рассвете они вышли на улицу, и каждый спрашивал себя, что принесет ему наступающее утро. На перекрестках к ним присоединялись группы людей, приведенные теми, кто ушел из кафе раньше. Когда они добрались до улицы Диагональ, из утренних сумерек выступили вперед войска.

<sup>1</sup> «Транкилидад» (исп. *tranquilidad* — спокойствие, тихий уголок) — кафе, где собирались анархисты.

Топот шагов замер; вдоль бульвара прогремел залп: по самой широкой и прямой улице Барселоны солдаты из казармы Педральбес во главе с офицерами направлялись к центру города.

Анархисты укрылись за углом первой поперечной улицы; Негус и еще двое повернули обратно.

Таких офицеров они видели не впервые. Точно такие же посадили в тюрьму тридцать тысяч астурийцев, такие же свирепствовали в тысяча девятьсот тридцать третьем году в Сарагосе, подобные им подавили восстание крестьян, из-за таких вот конфискация имущества ордена иезуитов, решение о которой принималось шесть раз в течение века, так и осталось на бумаге. Это они согнали с земли родителей Негуса. Каталонский закон разрешает. По каталонскому закону фермеров-виноградарей прогоняют с их участков, если они остаются необработанными. Во время нашествия филлоксеры таковыми считали все пораженные виноградники и крестьян лишали насаждений, которые они возделывали на протяжении двадцати, а то и пятидесяти лет. Тем же, кто приходил на их место, платили меньше, поскольку они на эти виноградники не имели прав. И может, эти же самые фашистские офицеры...

Они шли по обе стороны от шагавших посреди мостовой солдат, а впереди по тротуарам двигались патрули охранения, останавливаясь на каждом перекрестке и стреляя в глубь улицы, прежде чем идти дальше.

Еще горели электрические фонари, и неоновые вывески светились ярче занимающейся зари. Негус вернулся к своим товарищам.

— Они нас наверняка заметили. Надо пойти в обход и напасть на них в другом месте.

Они побежали, не делая шума: почти все были в альпаргатах<sup>1</sup>. Засели в подъездах на улице, пересекающей Диагональ. Богатый квартал, красивые, просторные подъезды. Деревья на бульваре кишат птицами. Каждый видел на противоположной стороне улицы неподвижно застывшего товарища с револьвером в руке.

Мало-помалу пустынная улица стала наполняться размеренным топотом. Один анархист упал: в него

---

<sup>1</sup> Альпаргаты — традиционная обувь беднейших слоев населения Испании — парусиновые туфли на веревочной подошве.

выстрелили из окна. Из какого? Отряд был в пятидесяти метрах. Как хорошо должны были просматриваться двери подъездов из-за жалюзи с противоположной стороны! Застыв в парадных пустынной улицы, наполнявшейся топотом приближающихся солдат, анархисты ждали, что всех их сразят из окон, как мишени в ярмарочном тире.

Залп патруля. Пули пролетели стайей саранчи; патруль двинулся дальше. Как только отряд появился на перекрестке, из всех подъездов грянули револьверные выстрелы.

Анархисты стреляют неплохо.

— Вперед! — скомандовали офицеры; их целью была не эта улица, а центр города: всему свое время. Из-за лепных украшений подъезда, в котором он укрывался, Негус видел только ноги солдат. Ни одного приклада: из винтовок стреляли на ходу. То и дело из-под шинелей мелькали штатские брюки: к военным присоединились члены фашистской партии.

Прошли патрули арьергарда, топот затих.

Негус собрал товарищей, все перешли на другую улицу, остановились. То, что они делали, было бесполезно. Настоящий бой, по-видимому, произойдет в центре, на площади Каталонии. Следовало бы напасть на солдат с тыла. Но как?

На первой же площади военные оставили небольшой отряд прикрытия. Так что, может, было бы рискованно... У отряда был ручной пулемет.

Пробежал рабочий с револьвером в руке.

— Вооружают народ!

— наших тоже? — спросил Негус.

— Я тебе говорю: вооружают народ.

— И анархистов?

Рабочий не оглянулся.

Негус зашел в ближайшее кафе, позвонил в газету анархистов. Действительно, вооружали народ, но анархисты до сих пор получили всего лишь шестьдесят револьверов. «Уж лучше самому сходить за ними на корабли!»

В утренней тишине проревел заводской гудок. Как в обычные дни, когда не решаются судьбы страны. Как в дни, когда Негус и его товарищи, заслышав этот рев, торопливо шли вдоль бесконечных серых и желтых стен. Таким же ранним утром, при свете тех же еще не погашенных электрических фонарей, как будто подве-

шенных к трамвайным проводам. Второй гудок... десятый... двадцатый... сотый.

Вся группа застыла посреди мостовой. Ни одному из товарищей Негуса не приходилось слышать более пяти гудков разом. Как в былые времена города Испании, которым угрожал враг, содрогались от колокольного звона своих церквей, так теперь пролетариат Барселоны отвечал на залпы надрывным набатом заводских гудков.

— Пуч на площади Каталонии, — крикнул кто-то, бежавший к центру города; за ним бежали еще двое. У этих были винтовки.

— Я думал, он еще в больнице, — сказал один из товарищей Негуса.

Рев гудков, слившись воедино, уже не напоминал печальный звук сирен уходящих в плавание пароходов; казалось, это снимается с якоря взбунтовавшаяся эскадра.

— Раздачей оружия займемся с а м и, — сказал Негус, поглядывая на свой отряд и на ручной пулемет.

Он злобно усмехался: между черными усами и бородой слегка выдавались зубы. Рев заводских гудков, то протяжный, то отрывистый, заполнял дома, улицы, воздух и весь залив, до самых гор.

Войска из казармы Парка, как и все остальные, направлялись к центру города.

Пуч в черном свитере с тремя сотнями бойцов, занимал площадь. Он был самым маленьким и самым коренастым из всех. Тут были не только анархисты: более ста человек получили винтовки из розданных правительством. Те, кто не умел стрелять, просили объяснить им, как обращаться с винтовкой.

— Неважно, чьи это винтовки, право собственности здесь ни при ч е м, — говорил Пуч, при всеобщем одобрении распределяя их среди лучших стрелков.

Солдаты надвигались по самому широкому проспекту. Пуч распределил своих людей по всем улицам на противоположной стороне площади.

Подошел Негус со своими товарищами и с ручным пулеметом, но только он умел с ним обращаться. Ничего не было слышно: ни ополченцев в альпаргатах, ни трамваев, ни даже топота солдат — они были еще да-

леко. После того, как умолкли гудки, над Барселоной нависла настороженная тишина.

Солдаты шли с винтовками наготове под огромными рекламными щитами гостиницы и парфюмерного магазина. «Реклама — это уже прошлое?» — думал Пуч. Анархисты вскинули винтовки.

Первая шеренга солдат — в штатских брюках — открыла огонь по одной из улиц, развернулась под взлетевшей стайей белых голубей, многие из них за-мертво упали на землю. Вторая шеренга открыла огонь по другой улице и тоже развернулась. Люди Пуча стреляли из укрытий, но не по отрезку улицы, как это делали люди Негуса, а перекрестным огнем: площадь была невелика. Первая шеренга солдат перешла на бег, накатилась на ручной пулемет Негуса и под яростным огнем отхлынула назад, оставляя после себя гирлянду распостертых или скрюченных тел, словно гальку, выброшенную на берег схлынувшей волной.

Стоя у окон одной из гостиниц, мужчины без пиджаков аплодировали (кому — штатским или солдатам?): это были иностранные спортсмены, приехавшие на Олимпийские игры. Снова заревел заводской гудок.

Рабочие бросились преследовать солдат.

— По местам! — орал Пуч, размахивая короткими руками. Его не слышали.

Не прошло и минуты, как треть преследовавших упала: теперь солдаты укрылись в подъездах, а рабочие оказались в том положении, в котором за пять минут до этого находились солдаты. В глубине площади — убитые и раненые в форме цвета хаки, впереди — убитые и раненые в темной или синей одежде, между ними — подстреленные голуби; надо всеми снова заревели гудки, прорезая знойный воздух.

Отряд Пуча, все более увеличивавшийся, несмотря на потери, преследовал солдат под прерывистый треск выстрелов и затихающий вой гудков. Солдаты быстро отступали: бойцы народного фронта могли обойти их по параллельным улицам и встретить под прикрытием своей баррикады.

Ворота казармы с лязгом захлопнулись.

— Пуч!

— Я. В чем дело?

Подходили все новые ополченцы. Поскольку гражданская гвардия и штурмовая гвардия сражались в центре города, а коммунистов в Барселоне было не-

много, боями руководили вожди анархистов. Пуча знали сравнительно мало: он не писал в «Рабочей солидарности». Но было известно, что он организовал помощь сарагосским детям, и поэтому предпочитали иметь дело с ним, а не с руководителями ФАИ. (Весной тысяча девятьсот тридцать четвертого года в течение пяти недель рабочие Сарагосы под руководством Дуррути выдержали самую крупную забастовку, когда-либо организованную в Испании. Они отказались от всякой денежной помощи и обратились к солидарности пролетариата с призывом поддержать только их детей; более ста тысяч человек принесли в «Солидарность» съестные припасы и деньги, тотчас же распределенные Пучем; собранная им колонна грузовиков привезла детей сарагосских рабочих в Барселону.) Но, с другой стороны, поскольку анархисты не платили членских взносов, Пуч вместе с Дуррути и всей группой «Солидарности» однажды захватил грузовики, перевозившие золото Испанского банка, чтобы оказать помощь забастовщикам и «Анархистской книге»<sup>1</sup>. Все, знавшие его романтическую биографию, были удивлены, увидев очень маленького хищного крепыша с горбатым носом и насмешливым взглядом; с самого утра он не переставал улыбаться. Только черный свитер Пуча как бы напоминал о его биографии.

Он оставил здесь для возведения баррикад треть своего уже многочисленного отряда и ручной пулемет. Один из вновь прибывших умел с ним обращаться. Много перешедших на сторону народа солдат приходило сюда; чтобы избежать неразберихи, они скинули мундиры, оставшись в одних рубашках, но каски снимать не стали. Перебежчики рассказали, что на рассвете им выдали по два стакана рома и сказали, что надо идти подавлять коммунистический бунт.

Пуч отправился с остальными на площадь Каталонии. Нужно было разгромить мятежников в центре города и потом вернуться к казармам.

Они пришли на площадь Каталонии. Перед ними возвышался отель «Колумб» с башней, похожей на ананас, где были установлены пулеметы. Войска из ка-

---

<sup>1</sup> «Анархистская книга» — издательство и книжная лавка анархистов.

зармы Педральбес занимали три главных здания: в глубине площади — отель, справа — центральную телефонную станцию, слева — «Эльдорадо». Солдаты не хотели сражаться, но офицеры и фашисты, надевшие гимнастерки, а также те, кто «стали солдатами» две недели назад, удерживали площадь с помощью пулеметов.

Человек тридцать рабочих бросились через возвышавшийся в центре площади сквер, пытались укрыться за деревьями. Затрещали пулеметы, рабочие упали. Тени голубей, высоко круживших над площадью, пронеслись над распростертыми телами, над одним еще не упавшим человеком с поднятой над головой винтовкой.

Вокруг Пуча теперь мелькали значки левых партий. Тут были тысячи человек.

Впервые либералы, члены ВРС и НКТ<sup>1</sup>, анархисты, республиканцы, социалисты, профсоюзные деятели вместе шли на врага под огнем пулеметов. Впервые анархисты приняли участие в голосовании с тем, чтобы освободить узников Астурии. Пролитая в Астурии кровь питала единство Барселоны и надежду Пуча на то, что красно-черное знамя, бывшее до сих пор под запретом, будет развеваться свободно.

— Войска из Парка вернулись в казармы! — крикнул на бегу какой-то бородач с петухом под мышкой.

— Приехал Годед<sup>2</sup> с Балеарских островов, — крикнул другой.

Годед был одним из лучших фашистских генералов.

Проехала автомашина с выписанными белой краской буквами СБП<sup>3</sup> на капоте.

«Вот наша реклама», — подумал Пуч, вспомнив рекламные щиты на маленькой площади.

Другие атакующие пытались пробраться вдоль стен под прикрытием карнизов и балконов, находясь все время под огнем по меньшей мере двух пулеметных гнезд. Чувствуя жар в пересохшем горле, как будто он

---

<sup>1</sup> НКТ (Национальная конфедерация труда) — профсоюз испанских анархистов.

<sup>2</sup> Годед Мануэль (1882—1936) — генерал, участник фашистского заговора, пытался совершить переворот в Барселоне; будучи взят в плен, по предложению президента Компаниса обратился по радио к мятежникам с призывом прекратить сопротивление.

<sup>3</sup> СБП (Союз братьев-пролетариев). — Так называли себя низовые комитеты, которые руководили начавшейся 5 октября 1934 г. всеобщей забастовкой в Астурии.



выкурил три пачки сигарет, Пуч смотрел, как они падают один за другим.

Они наступали, потому что такова традиция восстаний — наступать на врага. Остановись они перед отелем, там, на тротуаре, заставленном круглыми столиками кафе, их всех бы перестреляли в ярком свете солнца. Героизм, который только подделывается под героизм, ни к чему не приводит. Пуч любил стойкость, вот почему он любил этих людей, которые падали мертвыми. Он был потрясен. Одно дело драться с несколькими жандармами, чтобы захватить государственное золото, другое — взять отель «Колумб», но даже его скромного опыта было достаточно, чтобы понять, что у наступавших не было ни точных целей, ни согласованности в действиях.

На асфальте широкого бульвара пули подпрыгивали, словно насекомые. Сколько окон! Пуч сосчитал окна отеля: больше сотни; ему показалось, что в буквах «о» огромной вывески на крыше — COLON<sup>1</sup> — торчат пулеметы.

— Пуч!

— Ну что? — почти враждебно ответил он лысому человеку с седыми усами: сейчас у него потребуют приказаний, но все, что было в нем основательного и надежного, отказывалось их давать.

— Пошли?

— Подожди.

Небольшие группы людей все еще пытались пробраться на площадь. Пуч велел своим остановиться; ему верили и ждали. Чего?

Новая волна — служащие в белых воротничках и даже в шляпах — хлынула из улицы Кортесов и рухнула на углу улицы Грасия, подкошенная огнем пулеметов с башни отеля «Колумб» и с «Эльдорадо».

Над распростертыми телами и лужами крови светило солнце.

Пуч услышал первый орудийный выстрел. Если это орудия рабочих, можно считать, что отель взят, но если это орудия войск, идущих из казарм на площадь, тогда сопротивление народа, как и в тридцать третьем, как и в тридцать четвертом...

Пуч бросился к телефону: только два орудия, и те фашистские.

---

<sup>1</sup> Колумб (исп.).

Он собрал своих людей, в первом же гараже усадил их на грузовики и помчался под деревьями, распугивая воробьев.

Оба семидесятипятимиллиметровые орудия находились на огневой позиции с двух сторон широкого проспекта, который они полностью простреливали. Перед орудиями стояли солдаты, на этот раз в штатских брюках, с винтовками и пулеметом; позади — еще больше солдат, около сотни, но, кажется, без пулемета. Проспект кончался метрах в двухстах за орудиями, пересекаемый под прямым углом другой улицей. На Т-образном перекрестке — портик, из-под портика стреляла тридцатисемимиллиметровая пушка.

Пуч послал несколько человек разведать, сколько солдат прикрывает там артиллеристов, и расставил своих людей на перпендикулярной к проспекту улице.

Сзади в прерывистом реве рожков и клаксонов вынеслись два «кадиллака», описывая крутые зигзаги, как в фильмах о гангстерах.

Первая машина, которую вел лысый человек с усами, промчалась под огнем винтовок и пулемета, под снарядами, летящими слишком высоко. Проскочив между двух орудий, разметав по сторонам солдат, словно снегоочиститель, машина врезалась в стену рядом с тридцатисемимиллиметровым орудием. В него она, по-видимому, и метила. Черные обломки среди пятен крови — муха, раздавленная на стене.

Тридцатисемимиллиметровая пушка продолжала стрелять по второй машине, которая под вопль своего клаксона пронеслась между двух семидесятипятимиллиметровых орудий и влетела под портик со скоростью сто двадцать километров в час.

Тридцатисемимиллиметровое орудие больше не стреляло. Из всех улиц в наступившей тишине, когда умолк вой клаксона, рабочие смотрели в черный провал портика. Они ждали появления тех, кто был в машине. Никто не появился.

Снова заревели заводские гудки, как если бы вой клаксонов, еще стоявший в воздухе, разросся до небывалой громкости и заполнил весь город, возвещая похороны первых героев революции. Большая стая голубей, привыкших к постоянному шуму, кружила над улицей. Пуч завидовал убитым товарищам, и все же ему хотелось увидеть завтрашний день. В Барселоне осуществлялись мечты всей его жизни.

— Ну, хватит, — сказал Негус, — работа приличная, но не серьезная.

Возвратились те, кого Пуч посылал в разведку. «Позади орудий, там, справа, не больше десятка солдат».

По-видимому, фашистов было слишком мало, чтобы охранять все прилегающие улицы. Барселона — город, похожий на шахматную доску.

— Прими командование, — сказал Пуч Негусу. — Я попытаюсь пробраться к ним; подойди как можно ближе к орудиям и, когда мы зайдем в тыл, двинь на них.

Он ушел с пятью товарищами.

Негус со своими людьми двинулся вперед.

Не прошло и десяти минут, как машина Пуча с пулеметом у ветрового стекла, смяв охрану, летела прямо на орудия; ее кузов неистово раскачивался из стороны в сторону. Растерявшиеся солдаты и прислуга попытались повернуть орудия.

Пуч видел их, уже не укрытых щитами пушек, фигуры надвигались на него, как с экрана. Надвигался и стрелявший фашистский пулемет. Четыре круглых отверстия в ветровом стекле. Наклонившись вперед, проклиная свои короткие ноги, Пуч изо всех сил нажал на газ, словно хотел продавить пол машины и очутиться рядом с товарищами по ту сторону орудий. Еще два отверстия в треснувшем стекле. Судорога в левой ноге, руки, вцепившиеся в руль, дула винтовок у самого ветрового стекла, грохот пулемета в ушах, покачнувшиеся дома и деревья, стая голубей, меняющих направление полета и цвет оперения, крик Негуса...

Придя в сознание, Пуч вернулся в революцию, увидел захваченные орудия. Он только сильно ударился затылком, когда машина перевернулась. Двое из его товарищей были убиты. Негус перевязывал ему голову.

— Вот ты и в тюрбане. Стал арабом. Ну, а в остальном все в порядке.

В другом конце проспекта проходили бойцы гражданской и штурмовой гвардии. Офицеров и людей в штатском уводили в управление общественной безопасности, а обезоруженных солдат — в казармы. Солдаты шли, разговаривая с конвоировавшими их рабочими, которые распределили между собой захваченные у них винтовки. Все остальные вновь отправились на площадь Каталонии.

Там положение не изменилось, только убитых стало еще больше. На этот раз Пуч прошел с улицы Грасиа, на углу которой находился отель «Колумб».

Громкоговоритель выкрикивал:

*«Эскадрилья Прата перешла на сторону защитников народной свободы».*

Прекрасно, но где она?

Снова из всех улиц вокруг отеля двинулись анархисты, социалисты, мелкие буржуа в крахмальных воротничках, крестьяне; близился полдень, и крестьян становилось все больше. Пуч остановил своих людей. Волна наступавших, сметенная огнем трех пулеметов, отхлынула, оставив после себя убитых.

Брошенные из окон фашистские листовки, подобно стае голубей, медленно кружились в воздухе и падали на деревья.

Впервые Пуч чувствовал, что это не безнадежная попытка, как в 1934-м, как всегда: победа была возможна. Несмотря на то, что он вычитал у Бакунина (вероятно, Пуч был единственным в отряде, хоть кое-как прочитавшим его книги), революция в его глазах всегда была жакерией<sup>1</sup>. Перед лицом безнадежного мира он ждал от анархии только примеров героического бунтарства; все политические проблемы разрешаются, по его разумению, личной отвагой и силой характера.

Он вспомнил, как Ленин приплясывал на снегу в тот день, когда Советы просуществовали на сутки дольше Парижской коммуны. Сегодня речь шла уже не о примерах героизма, а о необходимости победить. Но если бы его люди пошли на штурм, как те, другие, они погибли бы вслед за теми, так и не взяв отеля.

По двум бульварам, сходящимся на площади у отеля «Колумб», и по пересекающей их улице Кортесов одновременно подошли три отряда гражданской гвардии. Пуч смотрел на блестявшие под солнцем треуголки своих давних врагов. Судя по тому, что их встречали приветственными криками, они были на стороне правительства. На площади воцарилась такая тишина, что слышен был полет голубей.

---

<sup>1</sup> Жакерия (от Жак-простак, прозвища, данного крестьянину французскими дворянами) — крестьянские восстания во Франции в 1358 г., вызванные усилением феодального гнета и разрухой в период Столетней войны. Мальро употребляет это слово для обозначения стихийной народной борьбы.

Фашисты тоже молчали, изумленные тем, что силы охраны порядка на стороне правительства. И они прекрасно знали, что гражданские гвардейцы — отличные стрелки.

Полковник Хименес, прихрамывая, поднялся по ступеням сквера и направился к отелю. Он был без оружия. Он прошел треть площади — никто не стрелял. Потом с трех сторон сразу возобновился пулеметный огонь. Пуч взбежал на второй этаж дома, перед которым стоял. Из всех своих врагов анархисты больше всего ненавидели гражданскую гвардию. Полковник Хименес был ревностным католиком. И вот сегодня они сражались вместе, связанные странным братством.

Хименес обернулся; он поднял свой жезл командира гражданской гвардии, и люди в треуголках из всех трех улиц бросились вперед. Хименес, все так же прихрамывая (Пуч вспомнил, что гвардейцы звали его Старым Селезнем), снова шел к отелю, один под пулями посреди огромной площади. Левый фланг гвардейцев продвигался вдоль центральной телефонной станции, правый — вдоль здания «Эльдорадо». Отвечно стрелять нельзя, и пулеметчикам с «Эльдорадо» следовало бы вести огонь по левому флангу гвардейцев. Но каждая из фашистских групп старалась защитить себя, вместо того чтобы помогать своим же.

Пулеметы отеля «Колумб» стреляли то по правому, то по левому флангу без особого успеха: гвардейцы наступали не цепью, а колонной, умело пользуясь прикрытием деревьев; за ними шли анархисты, выходившие теперь из всех улиц; одновременно перед Пучем, грохоча сапогами, беглым шагом прошли гвардейцы с улицы Кортесов. В них никто больше не стрелял. Посреди площади, прихрамывая, прямо вперед шел полковник.

Через десять минут отель «Колумб» был взят.

Гражданская гвардия занимала площадь Каталонии. Ночная Барселона наполнилась пением, криками и выстрелами.

Вооруженные добровольцы, служащие, рабочие, солдаты, штурмовые гвардейцы проходили по площади, освещенной огнями кафе. За всеми столиками сидели гвардейцы и пили вино.

Полковник Хименес тоже пил в маленьком зале на втором этаже, превращенном в командный пункт. Он руководил всем районом; вот уже в течение нескольких часов командиры отрядов приходили к нему за распоряжениями.

Вошел Пуч. На нем была кожаная куртка, грязный окровавленный тюрбан и револьвер — костюм, не лишенный романтизма. В таком наряде он казался еще ниже ростом и коренастее.

— Где теперь необходима наша помощь? — спросил он. — У меня тысяча человек.

— Нигде, пока все в порядке. Они попытаются выйти из казарм, по крайней мере из Атарасанских. Лучше всего подождать с полчаса, сейчас неплохо иметь и ваш резерв помимо моего отряда. Кажется, они взяли верх в Севилье, Бургосе, Сеговии и Пальме, не говоря уже о Марокко. Но здесь они будут разбиты.

— Что вы делаете с пленными солдатами?

Анархист вел себя непринужденно, как будто они уже целый месяц сражались вместе, и давал понять своим видом, что он пришел не за приказаниями, а за советом. Хименесу были знакомы черты его лица: в прошлом он не раз заглядывал в его антропометрическую карточку. Он был удивлен малым ростом этого коренастого корсара. Хотя Пуч был не из главных руководителей, он интересовал его больше остальных. Из-за организации помощи сарагосским детям.

— Распоряжение правительства — разоружить солдат и отпустить их на свободу, — сказал полковник. — Офицеры будут преданы военно-полевому суду... Ведь это вы вели машину, которая позволила захватить орудия?

Пуч вспомнил, что видел в конце улицы треуголки гражданских гвардейцев рядом с фуражками бойцов штурмовой гвардии.

— Да.

— Ловко сработано. Если бы они пришли на площадь с орудиями, все могло бы сложиться иначе.

— Большая удача, что вас не убили на площади...

Полковник, страстно любивший Испанию, был признателен анархисту, и не за похвалу, а за стиль, присущий стольким испанцам, за ответ, достойный полко-

водца времен Карла V <sup>1</sup>. Ибо было ясно, что, говоря «удача», Пуч подразумевал «мужество».

— Я боялся, что не доберусь до пушки, — сказал Пуч. — Живым или мертвым, но добраться! А вы, о чем вы думали?

Хименес улыбнулся. Он сидел с непокрытой головой; его коротко остриженные седые волосы напоминали утиный пух. Недаром солдаты прозвали его Селезнем за маленькие черные глаза и утиный нос.

— В подобных случаях ноги говорят: «Что ты делаешь, дурак!» Особенно та, которая хромает...

Он закрыл один глаз и поднял указательный палец.

— Но сердце говорит: «Давай!..» Я никогда раньше не видел, как рикошетят пули — точно капли дождя при ливне. Сверху легко спутать человека с его тенью, и это затрудняет попадание в цель.

— Славная была атака, — с завистью сказал Пуч.

— Да. Ваши люди умеют драться, но не умеют сражаться.

Внизу по тротуару проносили пустые запятнанные кровью носилки.

— Они умеют драться, — подтвердил Пуч.

Продавщицы цветов бросали на носилки гвоздики, белые цветы падали рядом с пятнами крови.

— Когда я сидел в тюрьме, — сказал Пуч, — я не думал, что возможно такое братство.

При слове «тюрьма» Хименес вспомнил, что он, полковник гражданской гвардии Барселоны, пьет вместе с главарем анархистов, и снова улыбнулся. Все эти руководители крайне левых показали себя храбрцами, многие были ранены или убиты.

Для Хименеса, как и для Пуча, мужество тоже было родиной. Огни отеля освещали почерневшие лица проходивших бойцов-анархистов: бой начался рано, никто не успел побриться. Пронесли еще носилки с гладиолусом, прикрепленным к одной из ручек.

Рыжеватый свет вспыхнул за площадью, потом дальше, над одним из холмов, затем со всех сторон поднялись в воздух дрожащие ярко-красные шары. Как на рассвете Барселона звала на помощь ревом

---

<sup>1</sup> Карл V (1500—1558) — император «Священной Римской империи» в 1519—1556 г., испанский король из династии Габсбургов (Карл I, 1516—1556). Под знаменем католицизма вел войны с Францией и Османской империей, мечтал создать «мировую христианскую державу».

всех своих гудков, так этой ночью она пылала всеми своими церквями. Запах гари проникал в широко распахнутые окна кафе. Хименес посмотрел на огромные клубы багрового дыма, вздымавшиеся над площадью Каталонии, встал и перекрестился. Не нарочито, как подчеркивают свою набожность, а так, как если бы он был один.

— Вы знакомы с теософией? — спросил Пуч.

У входа в отель суетились не видимые им журналисты, говорили о нейтралитете испанского духовенства, о монахах Сарагосы, убивавших распятиями наполеоновских гвардейцев<sup>1</sup>. Их голоса слышались в ночи очень отчетливо, несмотря на отдаленные выстрелы и крики.

— Г м . . . — проворчал Хименес, продолжая глядеть на дым. — Бог существует не для того, чтобы его совали в человеческие игры, как вор сует в карман дарохранительницу.

— Кто говорил о Боге с рабочими Барселоны? Разве не те, кто от его имени проповедовали как добродетель репрессии в Астурии?

— Нет! Ценно только то, что человеку действительно понятно в жизни: детство, смерть, мужество... Не людские речи! Допустим, испанская церковь недостойна больше своего предназначения. Чем же убийцы, которые действуют от вашего имени — а таких немало, — мешают вам выполнять ваше предназначение? Нельзя видеть в людях лишь их низость...

— Когда простой люд вынуждают жить низменно, это не располагает к возвышенным мыслям. Кто на протяжении уже четырех веков «пасет их души», как вы говорите? Если бы их так старательно не учили ненавидеть, может быть, они научились бы любить?

Хименес смотрел на далекое зарево.

— Случалось ли вам видеть портреты или лица людей, защищавших самые возвышенные идеалы? Они должны бы выражать радость или, по крайней мере, умиротворение... Они выражают прежде всего грусть.

— Одно дело — священники, другое — сердца. Мне трудно объяснить вам это. Я привык говорить, и я не невежда, я типограф. Но тут другое; в типографии я часто разговаривал с писателями, они — как вы:

---

<sup>1</sup> Имеется в виду борьба против вторгшихся в Испанию в 1808 г. войск Наполеона, в которой принимали участие все слои испанского народа, в том числе и духовенство.



я вам говорю о попах, а вы мне о святой Тересе <sup>1</sup>; я вам — о катехизисе, а вы — о... как его... Фоме Аквинском <sup>2</sup>.

— Катехизис для меня гораздо важнее святого Фомы.

— Ваш катехизис и мой — разные вещи: слишком различаются наши жизни. Я перечитал катехизис в двадцать пять лет, я нашел его в канаве (поучительная история!). Нельзя учить подставлять другую щеку тех, кто две тысячи лет только и получал что оплеухи.

Пуч смущал Хименеса, потому что ум и глупость в нем были распределены иначе, чем у людей, с которыми обычно общался полковник.

Последние клиенты отеля выходили из бельевых, уборных, подвалов и чердаков, куда их заперли фашисты; на растерянных лицах отражался багровый отсвет пожара. Облака дыма сгущались, а запах гари был таким сильным, как если бы горел сам отель.

— Духовенство... Слушайте, прежде всего я не люблю людей, которые много говорят и ничего не делают. У меня другая натура. И все-таки я немного похож на них, вот почему я их не люблю. Нельзя внушать беднякам, рабочим, чтобы они одобряли репрессии в Астурии. И самое отвратительное — требовать, чтобы они делали это во имя любви! Товарищи говорят: дураки, лучше бы вы жгли банки! А я говорю — нет. Буржуи занимаются тем, чем им положено. А священники — нет. Церкви, где были благословлены тридцать тысяч арестов, пытки и все прочее, пусть они горят, это справедливо. За исключением, конечно, произведений искусства, их нужно сохранить для народа: собор ведь не горит.

— А Христос?

— Это единственный анархист, который преуспел. А что касается священников, скажу вам одну вещь, которой вы, возможно, не поймете, потому что вы не были бедны. Я ненавижу человека, который хочет простить мне то лучшее, что я сделал в жизни.

---

<sup>1</sup> Святая Тереса (в миру Тереса Санчес Сепеда Давила-и-Аумада, 1515—1582) — испанская монахиня, автор религиозных сочинений, блестяще написанных и сыгравших важную роль в истории испанской литературы.

<sup>2</sup> Фома Аквинский (1225/26—1274) — философ и теолог, систематизатор схоластики на базе христианского аристотелизма.

Он тяжело, как будто перед ним снова был противник, глянул на полковника.

— Я не хочу, чтобы меня прощали.

На ночной площади кричал громкоговоритель:

*«Войска Мадрида еще не определили свою позицию.»*

*В Испании царит порядок.*

*Правительство контролирует положение.*

*Генерал Франко только что арестован в Севилье.*

*Народ Барселоны одержал полную победу над фашистами и мятежными войсками».*

Размахивая руками, вошел Негус и крикнул Пучу:

— Солдаты снова выступили из казармы Парка. Они сооружают баррикаду.

— Salud! — сказал Пуч Хименесу.

— До свидания, — ответил полковник.

Пуч и Негус умчались на реквизированной машине в ночь, освещенную огнями пожаров; повсюду слышалось пение. В районе Караколес ополченцы сбрасывали из окон публичных домов матрацы на грузовики, которые тотчас отправлялись к баррикадам.

Их было теперь множество по всему ночному городу: матрацы, булыжники, мебель... Одна из них, очень причудливая, была сооружена из исповедальных кабин; другая, перед которой лежали убитые лошади, в свете фар показалась нагромождением мертвых лошадиных голов.

Пуч не понимал, для чего фашисты построили свою баррикаду; теперь они сражались одни, солдаты относились к ним с неприязнью. Они отстреливались из-за груды беспорядочно сваленной мебели с торчавшими отовсюду ножками стульев, еле видимой в полумраке: электрические фонари были разбиты выстрелами. Как только бойцы узнали Пуча в его тюрбане, радостные крики наполнили улицу: как во всяком затянувшемся бою, люди начинали испытывать потребность в командире. Вместе с Негусом Пуч вошел в первый попавшийся гараж и взял грузовик.

Длинный проспект был обсажен деревьями, казавшимися синими в ночи. Фашисты стреляли, оставаясь невидимыми. У них был пулемет. У фашистов всегда были пулеметы.

Пуч включил самую большую скорость, нажал изо всех сил на газ, как он проделал это при взятии орудий. Когда шум мотора утих, Негус в промежутке

между двумя пулеметными очередями услышал одиночный выстрел и увидел, как Пуч, внезапно выпрямившись, оперся обоими кулаками на руль, словно на стол, и крикнул, как кричит человек, которому пуля выбила зубы.

Зеркальный шкаф баррикады стремительно налетел на фары грузовика, отражавшиеся в нем; под оглушительный треск ручного пулемета Негуса гряда мебели распалась, как высаженная дверь.

Бойцы ворвались через образовавшуюся брешь и обходили грузовик, застрявший среди мебели. Фашисты бежали к соседней казарме. Негус, продолжая стрелять, смотрел на Пуча, который в съехавшем на лицо тюрбане, мертвый, упал на руль.

### *Глава третья*

*20 июля.*

Гвардейцы в треуголках и штурмовики тщетно пытались водворить порядок среди мужчин без пиджаков, а то и без рубашек, среди женщин, которых отгоняли, но которые снова возвращались; толпа, разрезанная впереди, а сзади стоявшая необозримой плотной стеной, непрерывно гудела. Какой-то офицер вел солдата, только что бежавшего из казармы Ла-Монтанья. Хайме Альвеар, видя, что они направляются к бару, вошел туда раньше их. Через равные интервалы, словно это билось сердце толпы, грохотала пушка, заглушая ружейные выстрелы, раздававшиеся едва ли не из всех окон и дверей. Крики людей, запах горячих камней и асфальта стояли над Мадридом.

Посетители бара облепили солдата, словно мухи. Он часто дышал.

— Полковник сказал — нужно спасать... республику.

— Республику?

— Да. Потому что она попала в руки большевиков... евреев и анархистов.

— А что ответили солдаты?

— Браво!

— Браво?

— Ну да! Им наплевать. По правде, отвечали больше новички. За последнюю неделю появилось много новых.

— А солдаты из левых? — спросил кто-то.

В неподвижных рюмках коньяк и мансанилья вздрагивали в такт канонаде. Солдат отпил глоток. Он мало-помалу приходил в себя.

— Остались только те, про которых неизвестно, кто они. Остальные вот уже две недели как переметнулись. Ребят из левых у нас оставалось человек пятьдесят, но в тот момент их там не было. Говорят, что их связали и упрятали куда-то.

Мятежников заверили, что правительство не будет вооружать народ, и они ждали выступления мадридских фашистов, которые пока сидели тихо.

Вдруг все замолчали: заработал громкоговоритель. Поскольку газеты выходили лишь раз в день, о судьбе Испании лучше было узнавать по радио.

*«Сдача казарм в Барселоне продолжается.*

*Казармы Атарасанас взяты анархо-синдикалистами под предводительством Аскасо<sup>1</sup> и Дуррути. Аскасо убит во время штурма казармы.*

*Крепость Монжуик<sup>2</sup> без боя сдалась народу...»*

В баре раздались восторженные крики: даже в Астурии не было столь зловещего названия, как Монжуик.

*«...после того, как солдаты отказались выполнять приказы офицеров, узнав из радиосообщений законного правительства Испании, что они освобождены от обязанности подчиняться мятежным офицерам.»*

— Кто сейчас защищает казарму?

— Офицеры и новобранцы. А ребята разбежались кто куда. Подвалы, поди, переполнены. Когда начала стрелять ваша пушка, мы отказались повиноваться; усекли, в чем дело: ведь у анархистов и большевиков пушек нет. Я сказал ребятам: речуга полковника — еще один фашистский трюк. Стрелять в народ — как бы не так! И я рванул к вам.

Солдат не мог унять нервную дрожь в плечах. Пушка продолжала стрелять, взрывы снарядов эхом отвечали на выстрелы.

Хайме видел орудие. Его обслуживал капитан штурмовой гвардии, не артиллерист; он умел стрелять,

---

<sup>1</sup> Аскасо — два брата, лидеры каталонских анархо-синдикалистов; один из них погиб при штурме казармы.

<sup>2</sup> Крепость Монжуик была воздвигнута на горе Монжуик в 1640 г. после подавления восстания каталонцев против испанского абсолютизма.

но не умел наводить. Тут же суетился скульптор Лопес, командир отряда социалистов, в который входил и Хайме. Расположение орудия не позволяло навести его на ворота казармы, поэтому капитан стрелял по стенам, наугад. Первый снаряд — перелет — взорвался на окраине города, второй — у кирпичной стены, подняв огромное облако желтой пыли. При каждом выстреле незакрепленное орудие сильно откатывалось назад, и бойцы Лопеса, упершись обнаженными до плеч руками в спицы колес, как на гравюрах времен французской революции, кое-как водворяли его на место. Один снаряд все же попал в окно и разорвался внутри казармы.

— Вы там полегче, когда войдете в казарму, — сказал солдат. — Потому что ребята в вас не стреляли. Нарочно не стреляли.

— А как нам распознать новых?

— Сразу же? Не знаю... Потом можно... Я вам скажу: они все без жен...

Он имел в виду, что фашисты, вступившие в армию, чтобы бороться против народного движения, прятали своих слишком элегантных жен; ближайšie улицы были полны ожидающими солдатскими женами — только их группы и молчали в гудящей толпе.

Ружейная пальба вдруг усилилась, перекрывая громыхание подъезжающих грузовиков: прибыло подкрепление штурмовой гвардии. Один из броневиков был уже тут. Орудийные выстрелы по-прежнему сотрясали вино в стаканах. Бойцы забегали в бар и, не выпуская винтовок из рук, рассказывали новости, как киноактеры на студии забегают в буфет пропустить стаканчик между двумя съемками, не снимая костюмов. Но на светлых плитках, которыми был выложен пол, оставались следы от их окровавленных подошв.

— Еще таран!

Действительно, человек пятьдесят в воротничках и без воротничков, но с ружьями за спиной, согнувшись, как бурлаки, тащили огромное бревно, напоминавшее какого-то монстра геометрической формы. Бревно проплыло над развороченной мостовой, кусками штукатурки и обломками решетки, ударило в ворота, точно в гигантский гонг, и подалось назад. Хотя казарма была полна криков, грохота выстрелов и дыма, она ответила на удар как будто гулом монастырских сводов. Трое из тех, кто тащил бревно, упали под

пулями фашистов. Хайме встал на место одного из них. В тот момент, когда таран снова тронулся, высокий анархист с густыми бровями схватился обеими руками за голову, словно хотел заткнуть себе уши, и упал на движущийся таран, свесив руки с одной стороны, а ноги — с другой. Большинство не заметило случившегося, таран продолжал медленно и тяжело двигаться с повисшим на нем человеком. Для двадцатилетнего Хайме народный фронт воплощал в себе братство в жизни и смерти. От рабочих организаций он ждал тем больше, чем меньше верил всем, кто веками правил его страной. Он знал главным образом этих безвестных «рядовых членов» — олицетворение испанской самоотверженности. Толкая под палящим солнцем и пулями фашистов огромную балку, несущую к воротам мертвого товарища, он всем сердцем отдавался бою. Таран снова гулко ударил в ворота, мертвое тело закачалось; двое из находившихся рядом — один из них Рамос — сняли его и унесли. Таран медленно отступил. Упали еще пятеро. Там, где прошел таран, между двумя рядами раненых и убитых была пустая дорога.

Июльский день близился к полудню, лица бойцов блестели от пота. Под глухое уханье пушки и тарана, как бы отбивавших ритм атаки, на окрестных улицах, у подножия лестниц, ведущих к казарме, толпы служащих, рабочих, мелких буржуа с винтовками на бечевке (правительство раздавало винтовки без ремней), с подсумками на груди (ремешки были слишком коротки) ждали начала штурма, не спуская глаз с ворот.

Таран остановился, пушка умолкла, непокрытые головы и треуголки запрокинулись назад, даже фашисты прекратили стрельбу. Послышался низкий вибрирующий гул авиационного мотора.

— Что это?

Все покосились в сторону Хайме. Товарищи из его отряда знали, что этот высокий краснокожий с черными космами был инженером авиационного завода «Испано». Самолет был одним из старых «бреге» испанской армии, но ведь в армии служили и фашисты. Самолет спустился, описывая плавную кривую над застывшей в молчании толпой; во дворе казармы разорвались две бомбы; как конфетти, разлетелись листовки и долго кружились в летнем небе под крики толпы.

Толпа вверх по лестницам ринулась на приступ. Таран, встреченный ожесточенной пальбой, еще раз гулко ударил в ворота; в тот момент, когда он отступал назад, в одном из окон фасада взвилась простыня, на конце которой был завязан огромный узел: так было легче ее выбросить. Таран не увидел этого, разбежался и вышиб ворота, которые фашисты начинали открывать.

Внутренний двор был пуст.

За этой пустотой, за закрытыми дверями и окнами, выходящими на двор, ждали сдавшиеся.

Сначала вышли солдаты, размахивая профсоюзными билетами. Многие были без гимнастеров. Один, в переднем ряду, шатался; пока толпа засыпала его вопросами, он стал на четвереньки и принялся пить из канавы. Затем с поднятыми руками показались офицеры. У них были равнодушные лица, а может, они старались казаться равнодушными. У одних фуражки низко надвинуты на лицо, другие улыбались, как будто все это было лишь веселой шуткой. Некоторые поднимали руки только до уровня плеч, и поэтому казалось, что они идут обниматься с бойцами.

Сверху упал ставень одного из средних окон, задевший осколком; на полуразрушенный балкон стремительно выскочил хохочущий парень с тремя винтовками за спиной и двумя в левой руке. Он волочил их за стволы, как собаку за поводок, потом сбросил на улицу и крикнул: «Salud!»

Жены солдат, ополченцы, тащившие таран, гражданские гвардейцы бросились в казарму. Женщины звали своих мужей, бегая по сводчатым коридорам, удивительно тихим после того, как умолкла пушка. Хайме и его товарищи с винтовками наперевес взбежали на второй этаж. Другие входили через брешь в стене; под конвоем сияющих от радости штатских в белых воротничках и с подсумками поверх пиджаков шли офицеры.

Брешь была, по-видимому, большой, и бойцов набралось много. От оглушительного «ура» огромной толпы внезапно дрогнули стены. Хайме посмотрел в окно: тысяча обнаженных рук со сжатыми кулаками разом поднялась вверх, как на уроке гимнастики. Началась раздача захваченного оружия.

Стена, у которой оказались сваленными винтовки новейшего образца и парадные сабли, скрывала от толпы большой двор. Хайме он был виден сверху. В глубине двора находился склад велосипедов. Пока ополченцы сражались, склад разграбили, и во дворе валялись кучи оберточной бумаги, рули, колеса. Хайме думал о свесившемся по обе стороны тарана анархисте.

В первой комнате над лужей собственной крови, растекавшейся по столу, сидел, уронив голову на руки, офицер. Двое других лежали на полу; рядом с ними валялись револьверы.

Во второй, довольно темной комнате лежали солдаты; они кричали: «Salud! Эй! Salud!», но не шевелились; они были связаны: фашисты подозревали их в верности республике или в сочувствии рабочему движению. От радости связанные стучали каблуками по полу, невзирая на веревки. Хайме со своими дружинниками развязывали их и обнимали по испанскому обычаю.

— Там внизу еще наши, — сказал один из освобожденных.

Они бросились вниз по внутренней лестнице в еще более темную комнату, собираясь обнять и этих товарищей; лежавшие там были накануне расстреляны.

## Глава четвертая

1 июля.

— Ну, здравствуй, — сказал Шейд недоверчиво смотревшему на него черному коту, встал из-за столика кафе «Гранха» и протянул руку; кот юркнул в толпу и в ночь. — Теперь, когда революция свершилась, кошки тоже свободны, а я им по-прежнему противен; я так и остался угнетенным.

— Садись, черепаха, — сказал Лопес. — Кошки — зловредные твари, должно быть, они фашисты. Собаки и лошади — недотепы: с них скульптуру не вылепишь. Единственное животное друг человека — это пиренейский орел. Когда я увлекался хищниками, был у меня пиренейский орел; эта птица питается только змеями. Змеи стоят недешево, а так как таскать их из зоосада я не мог, то покупал мясо подешевле, нарезал его узкими полосками и помахивал ими перед клювом орла,



а он — из любезности — делал вид, что поверил обману, и жадно пожирал их.

*«Говорит «Радио-Барселона»!* — выкрикнул громкоговоритель. — *Орудия, захваченные народом, установлены против капитании*<sup>1</sup>, *где укрылись главари мятежников».*

Поглядывая на улицу Алькала и делая заметки для своей завтрашней статьи, Шейд думал, что скульптор с его орлиным носом, несмотря на отвисшую губу и торчащий чуб, похож на Вашингтона, а еще больше на попугая ара, тем более что Лопес в это время размахивал руками, как крыльями.

— На сцену! — орал он. — По местам! Снимаем!

Залитый ярким светом электрических фонарей, выряженный во все костюмы революции, Мадрид наполнил огромную киностудию ночью.

Наконец Лопес успокоился: ополченцы подходили позать ему руку. Художники, завсегдатаи кафе «Гранха», ценили его не столько за то, что накануне он палил, как в XV веке, из пушки по казарме Ла-Монтанья, даже не столько за его талант, сколько за его ответ аташе посольства, который пришел заказать ему бюст герцогини Альба: «Только если она будет позировать мне, как гип-по-по-там». И сказано это было совершенно серьезно: скульптор, вечно пропадавший в зоологическом саду, знавший животных лучше, чем Франциск Ассизский<sup>2</sup>, утверждал, что гиппопотам выходит по свистку, стоит совершенно неподвижно и уходит, когда он больше не нужен. Впрочем, легкомысленной герцогине повезло: Лопес работал в диорите, и после нескольких часов неистовой стукотни его натурщики убеждались, что работа продвинулась всего на несколько миллиметров.

Проходили солдаты без мундиров, сопровождаемые приветственными криками, за ними бежали дети... Это были солдаты, покинувшие своих фашистских командиров в Алькала-де-Энаресе и перешедшие на сторону народа.

— Погляди на этих детей, — сказал Шейд, — они себя не помнят от гордости. Вот это я люблю: люди

---

<sup>1</sup> Капитания — резиденция командующего военным округом, а также обозначение самого округа.

<sup>2</sup> Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозно-поэтических произведений.

стали как дети. То, что я люблю, всегда так или иначе напоминает детей. Ты смотришь на мужчину, видишь в нем ребенка — совершенно случайно — и не можешь глаз от него оторвать. Если это женщина, то, понятно, тебе крышка. Ты погляди, детскость, которую они обычно прячут, так и рвется наружу: одни здесь слоняются без дела, ковыряя в зубах, другие там, на Сьерре, погибают, и это одно и то же... В Америке представляют себе революцию как взрыв гнева. А здесь сейчас главное — хорошее настроение.

— Не только хорошее настроение.

Лопес бывал златоустом, только когда говорил об искусстве. Сейчас он не нашел нужных слов и сказал только:

— Слушай!

По улице в обоих направлениях бешено мчались машины, на них белой краской были обозначены огромные начальные буквы названия профсоюзов или СБП. Сидевшие в них приветствовали друг друга поднятым кулаком и кричали: «Salud!» И вся ликующая толпа, казалось, была объединена этим криком, как в нескончаемом братском хоре. Шейд закрыл глаза.

— Каждый человек должен когда-нибудь найти то, что его одухотворяет, — сказал он.

— Гернико говорит, что величайшая сила революции — это надежда.

— Гарсиа тоже это говорит. Все это говорят. Но Гернико меня злит: меня злят христиане. Продолжай.

Шейд походил на бретонского кюре, и в этом Лопес видел главную причину его антиклерикализма.

— И все же это так, черепаха! Возьми меня, чего я добиваюсь вот уже пятнадцать лет? Возрождения искусства. Хорошо. Здесь все просто. Напротив стена, они мелькают по ней тенями, все эти болваны, и не замечают ее. У нас полно художников, хоть пруд пруди; я нашел одного на прошлой неделе — спал себе под сводами Эскуриала<sup>1</sup>. Им нужно дать стены. Когда нужна стена, ее всегда можно найти, пусть грязную, покрашенную охрой или сиеной. Ты ее белишь и отдаешь художнику.

Шейд курил свою глиняную трубку с величием индейского вождя и внимательно слушал: он знал, что

<sup>1</sup> Эскуриал — знаменитый монастырь близ Мадрида, основанный испанским королем Филиппом II.

теперь Лопес говорит серьезно. Безумец подражает художнику, а художник похож на безумца. Шейд остерегался различных теорий искусства, опасных, по его мнению, для любой революции. Но он знал творчество мексиканских художников, а в Испании — огромные неистовые фрески Лопеса, щетинившиеся когтями и рогами. В них действительно чувствовался язык бунтаря.

Два автобуса, набитые ополченцами с торчавшими за спиной винтовками, отправлялись в Толедо. Там мятеж еще не был подавлен.

— Мы даем художникам стены, старина, голые стены: валяйте, рисуйте, пишите! Те, кто будет проходить мимо, нуждаются в вашем слове. Нельзя создавать искусство для масс, когда нечего им сказать, но мы боремся вместе с ними, мы хотим вместе с ними строить новую жизнь, и нам многое нужно еще сообщить друг другу. Соборы вели борьбу за всех вместе со всеми против дьявола, у которого, кстати сказать, морда Франко. Мы...

— Осточертели мне эти соборы! Здесь, на этой улице, гораздо больше братства, чем у них там во всех соборах. Валяй дальше!

— Искусство — не проблема сюжета. Нет большого революционного искусства. Почему? Потому что все время только и рассуждают о директивах, когда нужно говорить о назначении искусства. Значит, надо сказать художникам: есть у вас потребность сообщить что-нибудь бойцам? (Конкретным людям, а не такой абстракции, как масса.) Нет? Тогда займитесь другим делом. Да? Тогда вот вам стена. Стена, братец, и все. Каждый день мимо нее будут проходить две тысячи человек. Вы их знаете. Вы хотите с ними говорить. Так вот, устраивайтесь. У вас есть возможность, и вы хотите ее использовать. Пусть мы не создадим шедевров, это не делается по заказу, но мы создадим свой стиль.

Роскошные здания испанских банков и страховых компаний там, наверху, в полумраке, и колониальная помпезность министерств понижее уплывали в былые времена, в ночную тьму и с ними уплывали причудливые катафалки, люстры клубов, канделябры и знамена с галер, неподвижно повисшие во дворе морского министерства в эту душную ночь.

Какой-то старик выходил из кафе; он слышал слова Лопеса и положил ему руку на плечо.

— Я напишу картину, а на ней — умирающего старика и моющего молодца. Моющийся кретин — спортивный, безмозглый энтузиаст, словом, фашист...

(Лопес поднял голову: это был хороший испанский художник. И он подумал: «Или коммунист».)

— ...фашист, стало быть. А уходящий из жизни старик — это старая Испания. Дорогой Лопес, я вас приветствую.

Он ушел, прихрамывая, среди неистового ликования, наполнявшего ночь: штурмовая гвардия, разбившая мятежников в Алькала-де-Энаресе, возвращалась в Мадрид. С тротуаров, из-за столиков кафе поднялись кулаки для приветствия. Гвардейцы тоже проходили с поднятыми кулаками.

— Как можно, — продолжал Лопес, разгорячившись, — чтобы люди, у которых есть желание говорить, и люди, у которых есть желание слушать, не создали своего стиля. Пусть только их оставят в покое, как можно скорее дадут им аэрографы и распылители краски, всю современную технику, а потом керамику, и тогда мы посмотрим!

— В твоём проекте, — задумчиво проговорил Шейд, подергивая концы своего галстука-бабочки, — хорошо то, что ты идиот. Я люблю только идиотов. Тех, о ком в старину говорили «не от мира сего». Слишком много развелось умников. Только они не знают, что делать со своим умом. Все эти ребята такие же идиоты, как и мы с тобой...

К скрежету проезжавших машин, людскому говору и топоту ног примешивались звуки «Интернационала». Мимо кафе прошла женщина, прижимая к груди швейную машину, точно больное животное.

Шейд сидел неподвижно, положив ладонь на трубку. Потом легким щелчком сдвинул на затылок свою мягкую шляпу с загнутыми полями. Какой-то офицер с медной звездой на синем комбинезоне на ходу пожал руку Лопесу.

— Как дела на Сьерре? — спросил Лопес.

— Фашисты не пройдут. Бойцы все время получают подкрепления.

— Превосходно, — сказал Лопес вслед офицеру. — Когда-нибудь этот стиль водворится во всей Испании, как некогда соборы в Европе, как теперь стиль революционных фресок по всей Мексике.

— Согласен. Но при условии, что ты обещаешь не надоедать мне со своими соборами.

Все автомобили города, реквизированные для военных целей, под крики приветствий на полной скорости носились по улицам. На террасе кафе по рукам ходили фотографии, снятые в казарме Ла-Монтанья репортерами бывших фашистских газет, национализированных сегодня утром; бойцы, узнавали на них себя. Шейд обдумывал тему очередной статьи: проект Лопеса, живописные сцены в кафе «Гранха» или надежда, наполнившая улицу. Может быть, все это вместе. (Позади него размахивала руками одна из его соотечественниц; у нее на груди был американский флажок в сорок сантиметров, потому что, как ему объяснили, она была глухонемой.) Родится ли новый стиль из расписанных художниками стен, из людей, которые будут проходить мимо них, тех же людей, которые в это мгновение проходят мимо него, потрясенные праздником свободы? Они были связаны со своими художниками внутренним причастием, которое раньше было христианским, а теперь — революционным; они выбрали ту же жизнь, ту же смерть. И все же...

— Это просто твоя фантазия или то, что должно быть организовано — тобой, или ассоциацией революционных художников, или министерством, или обществом орлов и гиппопотамов, или еще кем-нибудь? — спросил Шейд.

Проходили люди с узелками белья, со свернутыми простынями, которые они с достоинством держали под мышкой, как адвокатские папки; перед освещенным кафе низкорослый буржуа нес ярко-красную перину, так же крепко прижимая ее к груди, как та женщина — швейную машину; другие несли на голове перевернутые кресла.

— Там видно будет, — ответил Лопес. — Я, во всяком случае, сейчас занят другим делом: мой отряд отправляется на Сьерру. Но все это будет, не беспокойся!

Шейд дунул, разгоняя дым своей трубки.

— Если б ты знал, Лопес, как мне осточертели люди!

— Не лучший момент ты для этого выбрал...

— Не забывай, позавчера я был в Бургосе. И там было то же самое. Увы, то же самое... Бедные идиоты братались с войсками...

— Надо же, черепаха! А здесь с бедными идиотами братаются войска.

— В роскошных отелях настоящие графини пили с крестьянами-монархистами в беретках и с одеялами через плечо...

— И крестьяне шли умирать за графинь, а графини и не думали умирать за крестьян; точность прежде всего.

— И они плевались, когда слышали слово «республика» или «профсоюз», жалкие олухи... Я видел одного священника с винтовкой, он думал, что защищает свою веру; а в другом квартале — слепого. У него на глазах была новая повязка, и на ней написано фиолетовыми чернилами: «Да здравствует Христос — Царь Небесный». Наверное, и этот считал себя добровольцем...

— Но он был слепой!..

Снова, как всегда, когда громкоговоритель голосом чревоушателя прокричал: «Внимание!», вокруг них воцарилась тишина.

*«Говорит «Радио-Барселона». Вы услышите выступление генерала Годед».*

Все знали, что генерал Годед был руководителем барселонских фашистов и главой мятежных войск. Тишина, казалось, разлилась до самых окраин Мадрида.

*«Говорит генерал Годед, — послышался голос, усталый, безразличный, но не лишенный достоинства. — Я обращаюсь к испанскому народу, чтобы заявить: судьба обернулась против меня, я в плену. Я это говорю для того, чтобы все те, кто не хочет продолжать борьбу, считали себя свободными от всяких обязательств по отношению ко мне».*

Это было заявление Компаниса, потерпевшего поражение в тысяча девятьсот тридцать четвертом году. Возгласы ликования пронесли над ночным городом.

— Это подтверждает то, что я только что хотел сказать, — продолжал Лопес и в знак радости залпом опорожнил свой стакан. — Когда я высекал барельефы, которые ты называешь моими скифскими штуками, у меня не было камня. Хороший стоит довольно дорого, а вот на кладбищах его сколько угодно — одни камни. Ну и по ночам я обкрадывал кладбища. Все мои скульптуры тогда были высечены из этой «безутешной скорби»; так я и бросил свой диорит. Теперь масштабы будут другие. Испания — кладбище, полное камней;

из них мы будем делать скульптуры, понимаешь, черепаха!

Люди несли пожитки, завернутые в черный люстрин, какая-то старушка тащила стенные часы, мальчик волок чемодан, еще один — пару башмаков. Все пели. В нескольких шагах позади мужчина катил ручную тележку, нагруженную всякой рухлядью; он невпопад подтягивал поющим. Молодой человек, возбужденно размахивавший руками, словно мельница крыльями, остановил их, чтобы сфотографировать. Это был журналист; у него был аппарат со вспышкой.

— Куда это они переезжают? — спросил Шейд, надвигая на лоб свою маленькую шляпу. — Обстрела бояться?

Лопес поднял глаза. Он впервые посмотрел на Шейда спокойно, без позы.

— Ты знаешь, в Испании много ломбардов. Сегодня правительство распорядилось открыть их и выдать все заложенное без выкупа. Пришла вся голь Мадрида, и заметь — не то чтоб кинулась, отнюдь нет, а довольно спокойно (должно быть, не верили). Теперь они возвращаются со своими перинами, цепочками от часов, швейными машинами... Это ночь бедноты...

Шейду было пятьдесят лет. Он немало пережил на своем веку (среди прочего и нищету в Америке, и продолжительную, кончившуюся смертью болезнь той, кого он любил) и теперь придавал значение только тому, что называл идиотизмом или животностью, то есть первоосновам жизни: боли, любви, унижению, невинности. По улице спускались небольшими группами люди, толкая ручные тележки с торчащими ножками стульев, за ними несли стенные часы; и мысль о мадридских ломбардах, открытых ночью для всех бедняков, об этой толпе, уносящей в нищие кварталы возвращенные заклады, впервые заставила Шейда понять, что может означать для этих людей слово «революция».

Навстречу летевшим по темным улицам фашистским машинам с пулеметами мчались реквизированные машины республиканцев; и над ними — неумолчное «salud», то тихое, то громкое, то разрозненное, то скандируемое, связующее в ночь этой передышки всех людей братским единением, еще более суровым ввиду предстоящего боя: фашисты подходили к Сьерре.

Добровольцы интернациональной эскадрильи (за исключением тех, кто был в комбинезонах на молнии — форма милисиано<sup>1</sup>), возбужденные, в расстегнутых из-за августовской жары рубашках, казались курортниками, вернувшимися со взморья. На боевые задания вылетали только бывшие пилоты гражданской авиации и пулеметчики, воевавшие в Китае или в Марокко. Остальные — добровольцы прибывали каждый день — дожидались испытаний.

Посреди гражданского аэродрома Мадрида трехмоторный «юнкерс», захваченный республиканцами (его пилот приземлился, поверив переданному по «Радио-Севилья» известию о взятии Мадрида), сверкал алюминиевой обшивкой.

По крайней мере двадцать человек разом закурили сигареты, когда Камуччини, делопроизводитель штаба эскадрильи, сказал:

— У «Б» на два часа с четвертью...

Это значило, что у тяжелого бомбардировщика «Б» запас горючего рассчитан только на это время; все — и Леклер, сидевший по-обезьяньи на стойке бара, и те, кто обсуждал возможные усовершенствования пулемета, — все знали, что с тех пор, как самолет с их товарищами взял курс на Сьерру, прошло два часа пять минут.

В баре дым от сигарет уже не подымался одинокими длинными спиральями, а расплзался бесчисленными струйками. Все взгляды через большие окна были устремлены на вершины холмов.

Сейчас или завтра — скоро — не вернется первый самолет. Каждый знал, что его смерть для оставшихся товарищей будет не больше, чем этот дым от нервно закуранных сигарет. Надежда в нем бьется, словно задышающийся человек.

Польский, по прозвищу Польш, и Рэмон Гарде вышли из бара, не спуская глаз с холмов.

— Главный в «Б».

---

<sup>1</sup> Милисиано (исп. *miliciano*) — боец народной милиции, ополченец.



- Ты уверен?
- Не валяй дурака. Ты же видел, как он вылетал. Все сочувственно думали о своем командире: он был в самолете.
- Два часа десять.
- Погоди! Твои часы врут: было около часа, значит, прошло два часа пять минут.
- Да нет же, Рэмон, не спорь, старина; говорят тебе — десять. Взгляни-ка наверх, Скали там висит на телефоне.
- Кто он такой, Скали? Итальянец?
- Кажется.
- Его можно принять за испанца, погляди на него. Как и у всех жителей западного Средиземноморья, лицо Скали слегка напоминало лицо мулата,
- Смотри, как разошелся!
- Плохо дело, плохо... Я тебе говорю...
- И, словно оба они прятались от смерти, беседа продолжалась вполголоса.

Из министерства Скали только что сообщили, что два испанских истребителя и два бомбардировщика интернациональной эскадрильи были подбиты семью «фиатами». Один из бомбардировщиков упал на позиции республиканцев, другой, получив повреждения, пытается дотянуть до аэродрома. Скали бегом бросился к Сембрано; его курчавые волосы торчали во все стороны.

Маньен, «главный», командовал интернациональной эскадрильей, Сембрано был начальником гражданского аэродрома и командовал пассажирскими самолетами, переоборудованными в боевые; он был похож на молодого и доброго Вольтера. При поддержке старых военных самолетов с мадридских аэродромов девять новеньких «дугласов», закупленных испанским правительством, могли на худой конец вступить в бой с итальянскими боевыми самолетами. Временно...

Внизу говор «пеликанов»<sup>1</sup> вдруг затих, однако не слышно было ни звука мотора, ни сирены. Но «пеликаны», подняв руки, что-то показывали друг другу: на бреющем полете над одним из холмов появился бомбардировщик. Оба мотора не работали. Над желтым

---

<sup>1</sup> Так называли военнослужащих республиканских ВВС.

полем, которому знойный полдень придавал вид мертвой мавританской пустыни, скользил фюзеляж самолета с живыми или мертвыми товарищами внутри.

— Холм! — сказал Сембрано.

— Даррас — пилот почтовых линий, — ответил Скали, поднеся указательный палец к носу.

— Х о л м , — повторил Сембрано, — холм...

Самолет перевалил через холм, как лошадь через препятствие. Он начал кружить над аэродромом. Внизу в стаканах не звякала ни одна льдинка; все прислушивались, не раздадутся ли крики.

— Опрокинется, — снова сказал Скали. — Конечно, ничего не осталось от колес...

Он размахивал короткими руками, как будто хотел помочь самолету. Тот коснулся земли, накренился, зацепил крылом землю и не опрокинулся. «Пеликаны» с криком окружили запертую кабину.

Едва не поперхнувшись леденцом, Поль смотрел на неподвижную дверцу самолета. Там, внутри, было восемь товарищей. Гарде, наклонив стриженную бобриком голову, тщетно дергал изо всех сил ручку, и все лица были обращены к его руке, яростно сражавшейся с дверцей, которую, очевидно, заклинило. Наконец дверца открылась до половины; показались ступни, затем штанины окровавленного комбинезона. По медлительности движений было видно, что человек ранен. При виде этой крови, пока еще неизвестно чьей, этих еле двигавшихся ног Поль, давясь леденцом, думал: «Сейчас они всей своей плотью постигают, что такое солидарность».

Пилот мало-помалу выдвигал из кабины ногу, с которой капала, алая на ослепительном солнце, кровь. Наконец показалось красноватое лицо винодела с берегов Луары в широкополой шляпе, его талисмана.

— Привел-таки свою калошу! — орал Сембрано.

— А Маньен? — крикнул Скали.

— Ц е л , — ответил Даррас, пытаясь опереться о край дверцы, чтобы спуститься на землю.

Сембрано бросился к нему и обнял, их шляпы свалились. Даррас был весь седой. «Пеликаны» нервно посмеивались.

Как только Дарраса спустили, Маньен соскочил на землю. Он был в летном комбинезоне, его обвислые

светло-серые усы, шлем и очки в роговой оправе делали его похожим на изумленного викинга.

— А как «С»? — крикнул он Скали.

— На нашей территории. Поврежден. Но у них ранения легкие.

— Займись ранеными. Побегу доложусь по телефону.

Те, кто не был ранен, прыгнув на землю, наскоро отвечали на вопросы своих товарищей, хотели снова подняться в кабину помочь остальным. Гарде и Поль были уже там.

В кабине среди красных пятен и кровавых следов от подошв лежал юноша, почти мальчик. Его звали Хаус, «кэптен Хаус», и ему еще не успели выдать комбинезон. Люковый стрелок; пять пуль в ноги — для первого вылета. Он говорил только по-английски, может быть, еще на древних языках, потому что маленький томик Платона в оригинале, который утром кто-то стащил у разорвавшегося по этому поводу Скали, торчал из окровавленного кармана его синего в красную полоску пиджака. Бомбардир с двумя пулями в бедре ждал, прислонившись к сидению наблюдателя. Матрос-бретонец, выдавший виды, бомбардир еще в Марокканскую войну<sup>1</sup>, он стискивал зубы, причем несмотря на раны, радостное выражение не сходило с его сияющей рожи, пока Гарде медленно вытаскивал его из самолета.

— Пойдите, братцы! — озабоченно кричал Поль, тараща глаза. — Я схожу за носилками. Иначе дело не пойдет, мы его помнем.

Леклер, тощая обезьяна в комбинезоне, но в серой шляпе-котелке, опершись на плечо своего друга Серюрье, прозванного Летучий Лопух по причине его постоянно ошалелого вида, начал балагурить:

— Потерпеть, любезный, надо, пока тебя на флаге вытащат. Чтоб ты не скучал, расскажу тебе историю. Мои последние дела с легавыми. Опять же из-за дружка-приятеля. Консьерж его невлюбил, такая сволочь — перед жильцами с деньгой на брюхе ползает и скотина скотиной с пролетарием, что объедки подбирает! Со свету сживал дружка моего, что, мол,

---

<sup>1</sup> В 1912 г. в Марокко на значительной части территории был установлен французский протекторат, и французские войска принимали активное участие в подавлении национально-освободительного движения племен против иноземного владычества (1921—1926).

тот, как притащится ночью, не откликается ему, молчит. Ну, думаю, погоди. В два часа ночи выпрягаю какую-то клячу и тащу ее в подъезд и эдаким замогильным голосом объявляю: «Лошадь». Потом, сами понимаете, потихонечку смылся...

Бомбардир поглядел на Леклера и Серюзье, даже не пожав плечами, окинул сверху царственным взглядом «пеликанов» и приказал:

— Пусть мне принесут «Юманите».

И снова замолк, пока не оказался на носилках.

## *Глава                      вторая*

Над хребтом Сьерры показался маленький круглый дымок. Стаканы подпрыгнули, и за десятую долю секунды до оглушительного взрыва раздался звон чайных ложечек: в конце улицы упал первый снаряд. Потом на стол свалилась черепица с крыши, покатались стаканы, послышался топот бегущих ног: должно быть, второй снаряд упал посередине улицы. Крестьяне с оружием бросились в кафе, речь их была тороплива, но взгляд настороженный.

От третьего снаряда (в десяти метрах) разлетелись стекла больших окон, осколки посыпались на лица застывших вдоль стен людей, опоясанных патронташами.

Один осколок врезался в забрызганную киноафишу.

Еще взрыв. За ним другой, гораздо дальше, на этот раз слева; теперь над всей деревней стоял крик. Мануэль держал в руке орех. Стиснув его двумя пальцами, он поднял руку. Взорвался еще снаряд, ближе.

— Вот так! — сказал Мануэль, показывая расколотый орех (он его раздавил пальцами).

— Что же это такое? — спросил один из крестьян вполголоса, чтобы не привлечь сн аряды. — Что будем делать?

Никто не ответил. Рамос был в бронепоезде. Все оставались в комнате и то выходили на середину, то жались к стене в ожидании следующего снаряда.

— Нечего нам тут делать, — сказал торопливым шепотом папаша Барка. — Торчать здесь — с ума сойти можно... Врезать им надо как следует...

Мануэль внимательно посмотрел на него: голос не внушал ему доверия.

— На площади есть грузовики, — сказал он.

— Водить умеешь?

— Да.

— И тяжелый грузовик тоже?

— Да.

— Ребята! — заорал Барка.

Взрыв. Такой силы, что все плашмя бросились на пол; когда они поднялись, у дома напротив уже не было фасада. Только балки стропил еще валялись в пустоту и звенел телефон.

— Есть грузовики, — повторил Барка. — Едем и набьем им морды.

И тотчас все сразу:

— Валяй!

— Нас всех уложат!

— Приказа нет!

— Черт бы вас побрал, сучьи дети!

— Вот тебе приказ: иди к грузовикам, вместо того чтобы орать!

Мануэль и Барка выбежали. Почти все последовали за ними. Все лучше, чем оставаться здесь. Еще снаряды. Позади шли отставшие, те, кто ценил благоразумие.

Человек тридцать вскарабкались на грузовик. Снаряды падали на окраине деревни. Барка понял, что фашистским артиллеристам видна деревня, но не видно, что в ней происходит (пока самолетов в воздухе не было). Грузовик тронулся, нагруженный людьми, размахивавшими ружьями. Пением «Интернационала» они заглушали скрежет сцепления.

Крестьяне знали Мануэля еще с тех пор, как Рамос вел пропаганду на Сьерре. Они относились к Мануэлю со сдержанной симпатией, усиливавшейся по мере того, как он обрастал щетиной, и его несколько массивное лицо римлянина со светло-зелеными глазами, глядящими из-под очень черных бровей, превращалось в лицо матроса-средиземноморца.

Грузовик катился под палящим солнцем; над ним с шелестом голубиных крыльев пролетали по направлению к деревне снаряды. Мануэль, напряженно глядя вперед, вел грузовик. Это не мешало ему распевать во все горло арию из «Манон»:

«Про-щай, наш маленький дом!..»

Остальные, тоже сосредоточенные, тянули «Интернационал». Прямо на дороге они увидели двух убитых

в штатском и смотрели на них с тем тревожным участием, какое испытывают к первым павшим идущие в бой. Барка недоумевал, где же орудия.

— По дымкам точно не определишь.

— Кто-то упал!

— Останови!

— Жми! Жми! — кричал Барка. — К пушкам!

Все замолчали. Теперь командовал Барка. Грузовик, меняя скорость, словно ответил на взрыв снаряда стоном раненой машины. Он уже мчался мимо убитых.

— За нами еще три грузовика!

Все бойцы обернулись, даже сидевший за рулем Мануэль, и завопили: «Ура!»

И во всю глотку, теперь уж на мотив польки и при-топтывая, все разом подхватили по-испански:

«Прощай, наш маленький дом!..»

У входа в туннель, откуда наподобие высунувшегося носа торчал паровоз бронепоезда, Рамос следил за грузовиками с четырехсотметровой высоты склона, покрытого раскидистыми соснами.

— Девять шансов из десяти, дружок, что они погибнут, — сказал он Саласару.

Рамос занял на бронепоезде место командира, удравшего не то к фашистам, не то в мадридские кабачки.

Среди величественных гор грузовики казались крохотными. Солнце поблескивало на капотах; невозможно, чтобы фашисты их не заметили.

— Почему бы их не поддержать? — спросил Саласар, закручивая великолепные усы. Раньше он служил сержантом в Марокко.

— Приказ — не стрелять. Никакой возможности добиться другого: твой веревочный телефон работает, как настоящий, но на проводе там никого нет.

Три ополченца в комбинезонах, не сводя глаз с грузовиков, которые продвигались по бледно-голубой асфальтовой дороге, поперек которой лежали два трупа, расстилали на рельсах в нескольких метрах от бронепоезда две ризы и епитрахиль.

— Трогаемся? — крикнул один из них.

— Нет, — ответил Рамос. — Приказ — стоять на месте.

Грузовики по-прежнему продвигались вперед. В промежутках пушечной канонады отчетливо слышался шум моторов. Ополченец, соскочив с тендера, подобрал ризы и сложил их.

Это был один из тех кастильских крестьян, чьи узкие лица похожи на морды их лошадей. Рамос подошел к нему.

— Что ты делаешь, Рикардо?

— Наши так хотят...

Растерянный, он немного развернул епитрахиль; парча блеснула на солнце.

Грузовики все шли и шли. Машинист, высунув голову из паровоза, насмешливо скалился на солнце. Грузовики приближались к батареям.

— Потому что, — продолжал Рикардо, — надо быть осторожным. Как бы из-за этой дряни бронепоезд не сошел с рельсов, да и ребятам с грузовиков она может принести несчастье.

— Отдай это своей жене, — сказал Рамос. — Она себе что-нибудь сошьет.

Этот рослый курчавый детина, весельчак с повадками деревенского сердцеда, внушал крестьянам доверие, но они никогда не знали точно, шутит он или нет.

— Это... это на моей жене?!

Крестьянин с размаху швырнул позолоченный сверток в овраг. Размеренными очередями застрочили неприятельские пулеметы.

Первый грузовик забуксовал, описал четверть круга, опрокинулся и вытряс, как из корзины, всех своих пассажиров. Те, что остались в живых и не были ранены, стреляли, укрывшись за машиной. Из бронепоезда ничего уже не было видно, кроме полевого бинокля и курчавых волос Рамоса. По радио кто-то пел андалузскую песню, и смола вырванных с корнем сосен наполняла запахом свежеструганного гроба дрожащий воздух, словно сотрясаемый пулеметными очередями.

По обе стороны опрокинутого грузовика росли оливы. Один..., другой... пятеро бойцов отбежали от грузовика, кинулись к деревьям и попадали друг за другом. Остальные грузовики остановились, так как опрокинутый преградил им путь.

— Только бы они залегли, — сказал Саласар, — позиция хорошая...

— К черту приказ! Беги к бронепоезду, пускай стреляют.

Саласар побежал к поезду, воинственный и неуклюжий в своих великолепных сапогах.

Теперь, когда добровольцы были вынуждены остановиться, Рамос мог стрелять без риска попасть в своих. Был один шанс из ста накрыть неприятельские пулеметы, расположения которых он не знал...

На запасном пути стояли товарные вагоны с еще не стертой надписью «Да здравствует забастовка!». Бронепоезд вышел из туннеля, угрожающий и слепой. И еще раз Рамос почувствовал, что бронепоезд — это только пушка и несколько пулеметов.

Люди, укрывшиеся за грузовиком, стреляли вслепую. Они начинали понимать, что на войне приблизиться к неприятелю важнее и труднее, чем сражаться; что дело не в том, чтобы помериться силами, а в том, чтобы убивать друг друга.

Сегодня убивали их.

— Не стреляйте, пока ничего не видите! — крикнул Барка. — Иначе не останется патронов, когда они навалятся на нас.

Как всем хотелось, чтобы фашисты пошли в атаку! Драться, а не отсиживаться, как больным. Один ополченец побежал вперед, к батареям; на седьмом шагу он повалился, как и те, что пытались спрятаться за оливами.

— Если их орудия начнут палить в нас... — сказал Мануэль Барке.

Очевидно, по какой-то причине это было невозможно, иначе это уже было бы сделано.

— Товарищи! — послышался женский голос.

Почти все в изумлении обернулись. Подошла девушка из ополчения.

— Тебе тут не место, — сказал Барка неуверенно, ибо все были благодарны ей за то, что она здесь.

Она волокла толстый короткий мешок, набитый консервными банками.

— Как это ты пробралась? — спросил Барка.

Она знала местность: ее родители были крестьяне из ближайшей деревни. Барка внимательно посмотрел в ту сторону: сорок метров открытого пространства.



— Так что, можно пройти? — спросил один из бойцов.

— Да, — сказала девушка. Ей было семнадцать лет, она была хороша собой.

— Нет, — сказал Барка. — Поглядите, никакого прикрытия. Нас там всех перебьют.

— Она-то прошла, почему мы не можем?

— Слушайте. Конечно, они нарочно дали ей пройти. Мы и так влипли, зачем же лезть по самые уши?

— А по-моему, можно пробраться в деревню.

— Неужто вы хотите уйти отсюда? — с отчаянием закричала девушка. — Народная армия должна удерживать все свои позиции, так сказали по радио час тому назад.

Она говорила театральным голосом, столь свойственным испанским женщинам, и складывала в мольбе руки, сама того не замечая.

— Мы вам принесем все, что хотите...

Словно обещали детям игрушки, чтобы их успокоить. Барка задумался.

— Товарищи, — сказал он, — дело не в этом. Девчушка говорит...

— Я не девчушка...

— Ладно. Товарищ говорит, что можно уйти, но нужно остаться. А я говорю — надо бы уйти, но нельзя. Не будем путать.

— У тебя красивые волосы, — вполголоса говорил девушке Мануэль, — подари мне один волосок.

— Товарищ, я здесь не ради глупостей.

— Хорошо, оставь его себе. Ну и скупая же ты!

В его голосе не было особой настойчивости, он все время прислушивался.

— Слушайте, — крикнуло он, — слушайте...

В тишине, не нарушаемой даже птичьими голосами, неприятельские пулеметы выпускали очередь за очередь. Один замолк, нет, просто заело; стрельба возобновилась. Но ни одна пуля не долетала до грузовика.

— Там! — крикнул ополченец, указывая пальцем.

— Нагнись, дурень!

Он нагнулся. В направлении, куда он показывал, параллельно дороге и используя каждый бугорок, к фашистским батареям приближались голубые пятна — штурмовые гвардейцы.

— Конечно, — сказал Барка, — если бы мы так же сделали...

По мере того как они продвигались вверх, часть их исчезала за укрытиями.

— Вот это работа! — сказал один из ополченцев. — Ну, ребята, пошли?

— Внимание! — крикнул Мануэль. — Только не вразброд. Рассчитывайтесь по десяти. Первый в каждом отделении — за старшего. Продвигаться на расстоянии не менее десяти метров друг от друга. Наступать четыремя группами. Прибыть на место всем вместе. Первые придут раньше, но это не важно, потому что они будут разворачиваться дальше, чем другие.

— Чего-то не ясно, — сказал Барка.

— Ладно, рассчитайтесь по десяти.

Они построились. Старшие подошли к Мануэлю. Там, наверху, орудия продолжали обстрел деревни, но пулеметы обстреливали только штурмовых гвардейцев, которые продолжали подниматься по склону. Мануэль привык иметь дело с людьми своей партии, но здесь их было слишком мало.

— Ты командуешь первым десятком. Все развернемся направо от дороги, а то рискуем, что нас отрежут друг от друга, если эти сволочи прикатят на броневике или черт знает на чем. А так мы будем ближе к штурмовикам. Десять товарищей — на сто метров. Ты дуешь первым со своим десятком. Пройдешь триста метров и оставляй одного на месте через каждые десять метров. Когда увидишь, что группа слева от тебя продвигается, иди вперед. Если что-нибудь неладно, передашь командование соседу и вернешься. В тылу будет...

Кто? Мануэль хотел отправить Барку за другими грузовиками. А он сам? В такой обстановке он должен быть впереди. Ну, ладно.

— ...будет Барка.

К грузовикам он отправит другого.

— Если я свистну, все отступают к Барке. Понял?

— Понял.

— Повтори.

Все в порядке.

— Кто здесь из ответственных профсоюзников или партийцев?

— Ребята, бронепоезд стреляет!

От радости они чуть было не бросились целоваться. Бронепоезд стрелял наугад по предполагаемым позициям батарей и пулеметов. Но ополченцы, заслышав, как их орудие отвечает на стрельбу фашистов, перестали чувствовать себя затравленными. Все громкими криками приветствовали второй выстрел бронепоезда.

Мануэль послал одного коммуниста к Рамосу, одного члена ВРС — к штурмовикам и самого старшего из анархистов — к бойцам с других грузовиков объяснить обстановку.

— Возьмите с собой по е с т ь , — сказала де ву ш к а , — так будет лучше.

— Ну, ребята, пошли!

— Я понесу за вами е д у , — сказала она деловито.

Как только они двинулись, Барка побежал к грузовикам. По ним стреляли, но только из винтовок. Ушла вторая группа, третья, потом последняя, которой командовал Мануэль.

Далеко впереди просматривались ряды оливковых деревьев. Барка увидел, как в одной из этих длинных и неподвижных рощ появился сначала один ополченец, потом с десятком, потом длинная цепь. Дальше пятисот метров ничего не было видно; цепь людей, продвигавшихся в такт размеренному грохоту орудий, заполнила поле его зрения, протянувшись по всему лесу. С соседнего склона, который Барка, оказавшись среди деревьев, уже не видел, вели огонь штурмовые гвардейцы. Вероятно, у них был ручной пулемет, потому что механический стук выстрелов перекрывал ружейную пальбу и перемежался с очередями неподвижно установленных фашистских пулеметов. Цепь ополченцев продвигалась вверх по склону. Фашисты стреляли по ней из винтовок, но больше мимо. Мануэль побежал; вся цепь последовала за ним, похожая на неровную линию кабеля под водой. Барка тоже бежал, охваченный каким-то смутным и страстным порывом, который он мог определить одним словом: народ; в него вливались и деревня под обстрелом, и бесконечная неразбериха, и опрокинутые грузовики, и орудие бронепоезда, — все это разом ринулось сейчас навстречу фашистским пушкам.

Они бежали по срезанным веткам: пулеметы до появления штурмовиков били по оливковой роще. Пахло уже не смолой, а пересохой от жары землей. Изрешеченные пулями листья отделялись от веток

и падали, словно в осеннюю пору; фигуры ополченцев, все еще бегущих в такт канонаде, появлялись и исчезали, то ослепительно яркие на солнце, то почти незаметные в тени олив. Барка прислушивался к ручному пулемету и к орудию бронепоезда, как к предзнаменованию: не отнимут больше виноградников у тех, кто их возделывает.

Им предстояло преодолеть двадцать метров открытой местности. Как только они появились из оливковой рощи, фашисты повернули туда один из своих пулеметов. Пули с осиным гудением прорезали воздух вокруг Барки. Он бежал навстречу выстрелам среди звонкого гудения, забыв об опасности. Он упал с перебитыми ногами. Превозмогая боль, он продолжал смотреть вперед: половина ополченцев упала и не поднималась, другая шла дальше. Рядом с ним лежал убитый сельский лавочник; на его лице плясала тень бабочки. Первая линия ополченцев с других грузовиков медлила на опушке оливковой рощи. Барка начал различать гул авиационных моторов — свои? чужие? Совсем близко от того места, где стрелял ручной пулемет, в ослепительное небо взвилась ракета. Бронепоезд прекратил огонь.

— Штурмовики на батарее? — спросил Саласар.

Мануэль предупредил бронепоезд: они пустят ракету, как только доберутся до батарей. Наверное, они расположены очень близко одна от другой. Рамос прекратил стрельбу.

— Надо думать, — ответил он.

— А что с ополченцами?

— Их больше не видно... Они не прошли, раз пушки и пулеметы стреляют.

— Хочешь, я пойду туда?

— Кажется, Мануэль и Барка действуют, как надо. Они присылали ко мне связного.

Бинокль Рамоса различал только безмятежный покой скал, сосен и олив, за которым таилось столько страдания. Никакой возможности узнать что-нибудь. Оставалось лишь прислушиваться.

— Погано, что они-то воюют — те, а вот мы — нет, — сказал он.

Фашисты обстреливали местность, расчищали путь своим солдатам и затем посылали их на подготовленные позиции. Народ же сражался без командиров и почти без оружия...

— Бедняги, сейчас их там, внизу, крошат, наверно...

— Но раз уж они атаковали, может, штурмовые гвардейцы и займут батарею.

Рамос говорил нервно, его пухлые губы сделались тонкими, улыбка исчезла, всклокоченная шевелюра походила на парик.

— Во всяком случае, фашисты не прошли.

— Батарея слева замолкла.

У обоих ломило в висках от долгого напряженного вслушивания.

Приближался самолет, золотистый в сверкающем небе. Это была довольно скоростная спортивная машина. Он сбросил бомбу в пятистах метрах от бронепоезда: вероятно, на нем не было ни бомбардировочного прицела, ни бомбосбрасывателя, и бомбу швырнули через окно. Машинист, которого Рамос заранее проинструктировал, спокойно отвел бронепоезд в туннель. Сбросив все бомбы на сосны, самолет браво удалился. Запах смолы стал еще крепче.

Из бронепоезда ничего уже не было видно. В промежутках между выстрелами семидесятипятимиллиметровой пушки, от которых со звоном наковальни сотрясался весь вагон, астуриец Пепе объяснял своим потным полуголым товарищам:

— Вот здесь вместо брони — цемент. Хреново, конечно, но крепко и прочно. Поезд как будто из картона склеен, но с ним все в порядке. В Астурии в тридцать четвертом вагоны обшивали броней и как следует. Работали что надо! Да вот случилось — не досмотрели: и на революцию бывает проруха. Забыли тогда парни про паровоз, не обшили броней. Так представляешь, бронепоезд на всех парах врывается в позиции иностранного легиона, а паровоз-то обычный! Через пятьдесят километров он был весь как решето. О нем и говорить больше нечего, да и о машинисте тоже. Ну, а мы сумели проскочить ночью на другом составе с другим паровозом — теперь уж бронированным — и забрать наших ребят, пока легионеры не подтянули артиллерию.

— Пепе!

— Что?

— Их батарея все молчит.

Выйдя из туннеля, Рамос стал наводить бинокль на позиции мятежников, как слепой, который пытается что-то понять на ощупь.

— Наши откатываются к деревне, — сказал он.

Ополченцы отступали, отстреливаясь. Они исчезли в траншее. Фашисты должны были пройти за ними триста метров по открытому месту.

Рамос вскочил на паровоз, отдал приказ выдвинуть бронепоезд на опушку леса, но так, чтобы не попасть под огонь фашистских батарей.

Фашисты шли вперед. После беспорядочного отступления ополченцев их движение казалось автоматическим.

Пулеметы бронепоезда вступили в дело.

Фашисты начали падать, беспомощно вскидывая руки или прижимая кулаки к животу.

Вторая волна, остановившись в нерешительности на опушке у последних деревьев, затем решила, бросилась вперед, и люди снова начали падать; пулеметчики бронепоезда были плохими солдатами, но меткими стрелками. Впервые за весь день Рамос наблюдал врага в одной и той же странной позе: вытянутая рука, подкосившиеся ноги, словно он пытался в прыжке схватить смерть. Так они гибли на бегу. Те, кто остался цел, пытались добраться до леса, откуда вели огонь фашисты, укрывшиеся от пулеметов бронепоезда.

Справа донеслись винтовочные выстрелы. Это наступал еще один отряд ополченцев. Фашисты уходили лесом, беспорядочно отстреливаясь.

«У них есть командиры, у них есть оружие, — говорил себе Рамос, запустив руку в курчавые волосы, — но они не пройдут. Это факт: они не пройдут».

### *Глава третья*

Испытания летчиков продолжались.

В тишине знойного дня к Маньену подошел доброволец в свитере.

— Капитан Шрейнер.

Он был похож на юркого волчонка с острым носом и жестким взглядом, бывший помощник командира эскадрильи Рихтхофен. Маньен дружелюбно рассматривал его.

— Вы давно не летали?

— С войны.

— Черт побери! Сколько же вам понадобится времени, чтобы снова войти в форму?

— Думаю, несколько часов.

Маньен молча посмотрел на него.

— Думаю, несколько часов, — повторил Шрейнер.

— В авиации работали?

— Нет. На шахтах Алеса.

Отвечая Маньену, Шрейнер глядел не на него, а на вращающиеся пропеллеры учебного самолета. Пальцы его правой руки дрожали.

— Вызов пришел слишком поздно, — сказал он. — До Тулузы пришлось добираться на грузовиках.

Он закрыл узкие глаза и прислушался к шуму двигателя. Его дрожащие пальцы судорожно вцепились в свитер. Маньену был понятен этот жест: он страстно любил самолеты и чувствовал свою близость к Шрейнеру. Не открывая глаз, Шрейнер глубоко вдыхал сотрясавшийся от шума воздух. «Так, должно быть, дышат, выходя из тюрьмы», — подумал Маньен. Этот смог бы командовать (Маньен искал себе заместителей), в его голосе была четкость, присущая многим коммунистам и военным.

Главный инструктор Сибирский возвращался по летному полю в дрожащем от зноя воздухе; его заместитель позвал Шрейнера, и тот направился к учебному самолету, не торопясь, но все еще не разжимая пальцев на свитере.

Все летчики смотрели на него — из бара и со взлетной полосы.

Многие участвовали в мировой войне, но Маньен был не вполне в них уверен; глядя же на этого человека, сбившего двадцать два самолета союзников, даже наемные летчики, следившие, не отрывая глаз, за учебным самолетом, испытывали только одно чувство — профессиональное соперничество.

Скали, Марчелино и Хайме Альвеар, стоявшие возле бара, по очереди смотрели в бинокль. Хайме Альвеар, учившийся во Франции, был прикомандирован военным переводчиком к интернациональной эскадрилье. Рядом с этим огромным краснокожим индейцем, на шишковатое лицо которого все время спадали пряди волос, стоял другой — маленький багрово-красный индеец Вегас по прозвищу Святой Антоний, который по поручению БРС щедро снабжал «пелика-

нов» сигаретами и патефонными пластинками. Между ними просунул длинный нос Коротыш, черная такса Хайме, по общему мнению приносящая счастье. Отец Хайме, как и Скали, был искусствоведом.

С другого конца аэродрома, где Карлыч проводил испытания пулеметчиков, донеслась дробь очередей. Самолет оторвался от земли довольно сносно.

— С добровольцами будет трудно, — сказал Сибирский Маньену.

Маньен и сам знал, как нелегко будет добровольцам контролировать действия наемных летчиков, окажись их собственный профессиональный уровень ниже.

— Вы назначили меня инструктором, господин Маньен. Спасибо за доверие.

Они сделали еще несколько шагов, не глядя друг на друга: оба следили за летящим в небе самолетом.

— Вы меня знаете?

— Вроде бы да...

«Я ровным счетом ничего о нем не знаю», — думал Маньен, покусывая свой галльский ус. Ему нравился Сибирский; несмотря на светлые завитки волос и щеголеватые усики, грустный голос Сибирского выказывал в нем ум, по меньшей мере жизненный опыт. Маньен, в сущности, знал о нем только то, что он несомненно был превосходным летчиком, профессионалом.

— Вот что я хочу вам сказать, господин Маньен: здесь меня принимают за красного... Может, оно и лучше... Спасибо... Мне хотелось бы только, чтобы вы знали, что я и не белый... Все эти летчики, даже те, кто постарше, не слишком хорошо знают жизнь...

Сибирский смущенно смотрел себе под ноги. Потом поднял глаза к самолету, с минуту следил за ним взглядом и сказал:

— В общем, летает — это все, что можно сказать...

В его голосе не было иронии — тревога. Шрейнер был одним из самых пожилых пилотов; и сейчас на этом поле не было никого, кто не думал бы тревогой о том, что сорок шесть лет жизни — из которых десять на шахтах — могут сделать из бывалого аса.

— Завтра для Сьерры нужно по меньшей мере пять самолетов, — озабоченно сказал Маньен.

— Я ненавижу жизнь, которую вел у своего дяди в Сибири. Я постоянно слышал разговоры о боях, а сам



ходил в гимназию... И вот, когда пришли белые, я ушел с ними... Попал в Париж. Шофер, механик, потом летчик. Я лейтенант французской армии.

— Знаю. Вы хотите вернуться в Россию, да?

Многие русские, в прошлом белые, сражаются в Испании, чтобы доказать свою лояльность и вернуться на родину.

С конца залитого солнцем летного поля снова донесся рокот пулемета.

— Да. Но не как коммунист. Беспартийным. Я здесь по контракту, но даже за двойную плату я не пошел бы к тем, к другим. Я — то, что вы называете «либерал». Вот Карлыч любил порядок и был белогвардейцем; сейчас порядок и сила у других, и он красный. А я люблю демократию — Соединенные Штаты, Францию, Англию... Только вот Россия — моя родина...

Он снова посмотрел на самолет, на этот раз чтобы не встретиться взглядом с Маньеном.

— Разрешите обратиться к вам с просьбой... Я ни в коем случае не хотел бы бомбить объекты, расположенные в черте города. Возможно, для истребителя я уже и не молод... Но для разведки или бомбежки фронта...

— Бомбардировка городов запрещена испанским правительством.

— Как-то раз я получил задание разбомбить штаб, а бомбы упали на школу.

Маньен не решился спросить, что это были за школа и штаб — немецкие или большевистские. Самолет Шрейнера выбирал место для посадки.

— Слишком медленно! — проворчал Маньен, обеими руками держа бинокль у глаз.

— Может, он надумал еще полетать.

Действительно, Шрейнер снова набирал высоту. Маньен и Сибирский остановились, не сводя глаз с самолета: поле было очень большое, и если вот так не получилась первая посадка... У Маньена был опыт в пробных полетах: во Франции он возглавлял одну авиационную компанию.

Самолет повернул и довольно круто начал приземляться. Пилот дернул ручку на себя, самолет подскочил, как пущенный рикошетом камень, и всем своим весом тяжело упал.

Счастье, что этот учебный самолет для войны непригоден, подумал Маньен.

Сибирский побежал к машине, затем вернулся. Шрейнер и помощник инструктора шли за ним.

— Простите м е н я , — сказал Шрейнер.

Он сказал это таким тоном, что Маньен не решился посмотреть ему в лицо.

— Я вам сказал, что мне хватит двух часов... Ни двух часов, ни двух дней. Я слишком много работал на шахтах. Потерял реакцию.

Сибирский и его помощник отошли в сторону.

— Поговорим чуть п о з ж е , — сказал Маньен.

— Бесполезно. Спасибо. Я больше видеть не могу самолеты. Откомандируйте меня в ополчение. Прошу вас.

В грохоте все приближавшихся пулеметных очередей ополченцы выталкивали на поле второй учебный самолет — из спортивных, для сеньорито<sup>1</sup>.

Шрейнер уходил, глядя в пустоту. Летчики сторонились его, как умирающего в муках ребенка, как всякой глубокой трагедии, перед которой бессильны человеческие слова. Война объединяла наемников и добровольцев своей романтикой, но авиация объединяла их, как женщин объединяет материнство. Леклер и Серюрье уже не рассказывали анекдотов. Каждый знал, что стал свидетелем своего будущего. И никто не решался встретиться взглядом с немцем, который смотрел мимо них.

Но один взгляд был устремлен на Маньена — взгляд Марчелино, летчика, который должен был лететь вслед за Шрейнером.

— Завтра нужно пять самолетов для Сьерры, — повторял себе под нос Маньен.

Пулемет выпускал семь пуль, десять пуль и останавливался. Когда Карлыч, командир пулеметчиков, увидел подходившего Маньена, он пошел ему навстречу, поздоровался, отвел его в сторону и, не говоря ни слова, вынул из кармана три патрона: на капсюлях были следы удара бойка, но пули не вылетели.

— Толедский завод, — сказал Карлыч, указывая ногтем на марку.

— Саботаж?

---

<sup>1</sup> Сеньорито — букв.: барчонок; распространенное в Испании обозначение представителей «золотой» молодежи.

— Нет, брак. А когда в воздухе во время боя заклинит...

Карлыч прибыл в Англию полностью бесправным человеком, и годы нищеты уничтожили в нем то, что прежде он считал своими убеждениями. После нескольких лет мытарств он, в прошлом лучший пулеметчик армии Врангеля, вступил в общество «Возвращение на Родину» — так называлось движение в поддержку СССР, утверждавшееся в эмигрантской среде. Он был, вероятно, единственным добровольцем, который ненавидел врага только потому, что это был враг.

— А как наземные пулеметы? — спросил Маньен. — Для Сьерры нужны пулеметы, и как можно скорее.

Ополченцы не умели пользоваться никакими пулеметами, тем более ремонтировать их; лучшие пулеметчики Маньена работали инструкторами под руководством Карлыча. Одновременно с обучением пулеметчиков стрельбе из авиационных пулеметов лучших среди ополченцев обучали способам наземной стрельбы. Маньен хотел сформировать моторизованный отряд пулеметчиков.

— Ополченцы, — сказал Карлыч, — в порядке. Хорошо подобраны. Есть дисциплина, сознательность, собранность. С ними все в порядке. А вот с Вюрцем, товарищ Маньен, плохо: вечно партийные дела, никакой работы. Помогает мне только Гарде. А наши знают теперь авиационный пулемет. На практике не проверял, пробной стрельбы в воздухе произвести не могу: нет ни авиабензина, ни фотопулемета, ни подвижных мишеней, мало патронов, да и те плохие. Мишени, на худой конец, я могу сделать, но горючее никак. Они умеют обращаться с турелями; в задние я посажу только тех, кто работал в авиации, чтобы они не стреляли по хвосту. Тренироваться будем на неприятеле.

И Карлыч залился пронзительным смехом, по-мальчишески сморщив нос под растрепанными бровями. Он снова обрел свои пулеметы, как Шрейнер обрел бы свой самолет. Скали, который слышал конец разговора, начал понимать, что война имеет и свою физиологию.

Тех летчиков, которые забросили военное дело из-за своих пацифистских убеждений, нужно было или

вновь обучать, или отчислять; но, так или иначе, остановить наступление Франко нужно было сейчас. Вполне Маньен мог рассчитывать только на летчиков гражданской авиации и на тех, кто прошел военные сборы.

Он только что избавился от нескольких летчиков, участников Марокканской войны, привыкших к устаревшим самолетам и беззащитному неприятелю, которые при виде первых раненых ударились в возвышенные рассуждения: «Вы понимаете, идти драться с людьми, ничего плохого нам не сделавшими, это в сущности...» Однако вовсе расторгнуть свои контракты они при этом не желали. Во Францию всех этих!

Подошла очередь Дюгея, который первым из добровольцев просил личной аудиенции. Ему было пятьдесят лет, на смуглом лице белели усы.

— Не надо отправлять меня во Францию, товарищ Маньен, — сказал он. — Поверьте мне, не надо меня отправлять. Я был инструктором во время войны. Хорошо, допустим, я слишком стар для пилота. Но велите дать мне тряпку и оставьте меня помощником механика, кем хотите. Только при машине. При машине.

К ним подлетел Сембрано, размахивая правой рукой.

— Слушай, Маньен, сейчас же нужен один самолет в Сан-Бенито... Они двигаются к Бадахосу...

— Гм... да... да... Ты знаешь, что истребители в полете. Как же без истребителей?

— Я получил приказ: три самолета, а у меня только два «Дугласа».

— Ладно, ладно. Это моторизованная колонна?

— Да.

— Хорошо.

Он снял телефонную трубку. Сембрано убежал, выпятив нижнюю губу.

— Так как же, товарищ Маньен? — сказал Дюгей. — Как же со мной?

— Гм... ладно, договорились, вы остаетесь. погодите, я что-то забыл...

Он ничего не забыл: перегруженность работой стала как бы его привычным состоянием, как сама эта фраза, однако действия его были четки.

Дюгей вышел; его сменили несколько пройдох: со свидетельством пилотов спортивных самолетов они готовы приступить к тренировкам. Затем несколько падких на деньги субъектов, явившихся ради большого

жалованья наемников и твердо решивших сачковать. Все они, получив энергичное напутствие, взяли обратный курс на Пиренеи.

Вошел Хайме с Коротышом, путавшимся у него в ногах. Маньен не ждал его.

— Товарищ Маньен, я хотел вам сказать... я пришел к вам не как переводчик, а... Словом, вот что: конечно, пробный полет Марчелино не... Только вы, может быть, не знаете, товарищ Маньен, что Марчелино отсидел два года в тюрьме при фашистах...

Маньен дружески слушал этого верзилу в тесном комбинезоне, с выпуклым лбом, выдающимся подбородком, очень горбатым носом; забота о друге бесильна была изменить суровые черты его лица и только смягчала взгляд.

— Он был пилотом на гидроплане. Так вот, после смерти Лауро де Бозиса<sup>1</sup> он сбрасывал листовки над Миланом. Ясное дело, самолеты Бальбо<sup>2</sup> его сбили, ведь он был на спортивном самолете. Его приговорили к шести годам, он бежал с Липарских островов. Он не водил тяжелых самолетов со времени суда, а истребителей — после того, как ушел из итальянской армии. Он просто... убит. И я хотел вам сказать, товарищ Маньен, никак не вмешиваясь в ваши распоряжения... конечно, не пилотом... но если бы вы смогли как-нибудь устроить его, это порадовало бы наших испанских летчиков.

— И меня тоже, — сказал Маньен.

Хайме вышел; входил капитан Мерсери. И ему было под пятьдесят. Прямые седые усы на обветренном лице, вид старого пирата, сознательно подчеркнутый, сапоги и штатский костюм.

— Что же вы хотите, месье Маньен, это вопрос техники. Вот, техника...

— Вы возвращаетесь во Францию?

Мерсери воздел руки.

— Месье Маньен, моя жена была здесь шестнадцатого на конгрессе филателистов. Двадцатого она мне написала: «Мужчина не может допустить гнусности, которые творятся здесь». Женщина, месье

---

<sup>1</sup> Лауро де Бозис (1901—1931) — писатель и переводчик, вначале примыкавший к фашизму, а затем отошедший от него, что, по слухам, послужило причиной его смерти.

<sup>2</sup> Бальбо Итало (1896—1940) — итальянский фашист, министр ВВС (1926—1935).

Маньен! Женщина! Но я уже выехал. Я служу Испании. В любой должности, но на службе Испании. Надо покончить с фашизмом, как я им и сказал в Нуази-ле-Сек, нашим консерваторам: «Не мумии сохраняют Египет, а Египет сохраняет мумии, господа!»

— Хорошо, хорошо... Ведь вы — капитан, хотите, я вас направлю в распоряжение военного министерства?

— Да, то есть... я капитан... В общем, я мог бы легко быть офицером запаса, но я отказался проходить военные сборы из-за своих убеждений.

Маньену сказали, что Мерсери на войне был сержантом и что он капитан пожарной команды. Маньен думал, что это шутка.

— Да... Гм... конечно.

— Но позвольте, я знаю, что такое окопы: я был на войне.

За его чудаковатой внешностью чувствовалось подлинное великодушие. В конце концов, подумал Маньен, хороший сержант здесь не менее полезен, чем капитан...

Подошла очередь Марчелино. Он вошел в комбинезоне без ремня, виновато опустив глаза, — прямо с картины «Разбитый кувшин»<sup>1</sup>. Он грустно посмотрел на Маньена.

— В тюрьме, знаете ли... реакцию не сохранишь...

Пулеметная очередь прервала его — это Карлыч упражнялся в конце поля.

— Я был хорошим бомбардиром, — снова заговорил Марчелино. — Это я, наверное, еще могу.

Две недели тому назад, когда Маньен между выступлением с призывом к добровольцам и вербовкой наемников пытался закупить для испанского правительства все, что можно было найти на европейском рынке, он, возвращаясь домой — с обвислыми усами, шляпой на затылке, в запотевших очках, — застал этого парня в дверях своей квартиры. Все телефоны звонили, не знакомые друг с другом посетители возбужденно расхаживали взад и вперед по всем комнатам. Он усадил Марчелино на кровать в комнате сынишки спиной к открытому шкафу и забыл про него. Вернувшись около двух часов дня, он застал итальянского летчика,

---

<sup>1</sup> Картина французского художника Ж. Б. Греза (1725—1805).

окруженного куклами, которых он вытащил из шкафа и с которыми вел беседу.

— Если мне полететь бомбардиром, я смог бы, пожалуй, чем-то помочь и механику. Я уверен, что быстро войду в форму.

Маньен разглядывал лицо Марчелино, его вьющиеся, как на венецианских медалях, волосы и сидящий на нем мешком комбинезон.

— Завтра сделаем пробную бомбардировку цементными бомбами.

«Дугласы» Сембрано и самолет Маньена приближались к концу поля.

После аварии в Алжире итальянских военных самолетов с оружием на борту правительства некоторых стран согласились продать Испанской республике устаревшие военные самолеты без вооружения; но эти самолеты, катившиеся теперь по летной дорожке, не могли бы долго держаться против современных «савой», окажись итальянские летчики похрабрее.

Маньен повернулся к Шрейнеру, который сменил Марчелино. Молчание Шрейнера не было ни робкой настойчивостью молодого итальянца, ни замешательством Дюгея — это было молчание зверя.

— Товарищ Маньен, я передумал. Я вам сказал — не видеть мне больше самолетов. Но так не годится — не видеть больше самолетов. Я хороший стрелок. Стрелять я еще не разучился. Я это знаю по ярмарочным тирам и по своему револьверу.

Черты его лица были неподвижны, но в голосе чувствовалось напряжение от ненависти. Он пристально глядел на Маньена своими узкими глазами, втянув голову в плечи, как хищник, подстерегающий добычу. Маньен смотрел на автомобиль анархистов, ехавший мимо ангара: он впервые видел черный флаг.

— Самолетам я больше не нужен. Зачислите меня в противовоздушную оборону.

Еще три-четыре пулеметных очереди.

— Прошу в а с , — сказал Шрейнер.

Есть ли у революции свой стиль? Вечером ополченцы, похожие одновременно и на мексиканских революционеров, и на парижских коммунаров, проходят мимо построек аэродрома в стиле Ле Корбюзье. Все самолеты закреплены. Маньен, Сембрано и его друг

Вальядо пьют теплое пиво: с тех пор как началась война, на аэродроме не бывает льда.

— На военном аэродроме дела неважные, — говорит Сембрано. — Революционную армию еще нужно создавать с начала до конца... Иначе Франко сам наведет порядок при помощи кладбищ. А как, по-твоему, они в России делали?

В свете бара выделялся его профиль с тонкой выпяченной нижней губой; он все больше походил на Вольтера, на доброго Вольтера в белом летном комбинезоне.

— У них были винтовки. Четыре года военной дисциплины и фронт. А кроме того, и коммунисты — это сама дисциплина.

— Маньен, — спросил Вальядо, — почему вы революционер?

— Гм... да. Я руководил работой многих заводов; такие люди, которые, как мы, всегда увлечены своей работой, плохо представляют себе, что значит терять всю жизнь по восемь часов в день... Я хочу, чтобы люди знали, зачем они работают.

Сембрано думает, что крупные собственники в Испании в большинстве своем не способны руководить своими предприятиями, этим занимаются инженеры, а он как инженер хочет трудиться на благо рабочих завода, а не его владельца (так же думает и Хайме Альвеар, и почти все левые инженеры).

Вальядо — тот жаждет возрождения Испании и ничего не ждет здесь от правых. Вальядо — из крупной буржуазии, но это он разбрасывал листовки над казармой Ла-Монтанья, и это у него лицо сеньорито, только без усиков: он их сбрил после начала мятежа.

Маньена изумляют оправдания, которые разум людей находит их страстям.

— Да и что там говорить, — продолжало он, — я был левым, потому что был левым... и многое связывало меня с левыми — узы дружбы и верности; я понял, чего они хотят, я им помогал; и чем больше им мешали, тем ближе они мне становились...

— Пока ты еще только женат на политике, это не так важно, — сказал Сембрано, — но когда от нее пошли дети...

— Ну, а ты кем был? Коммунистом?

— Нет, правым социалистом. А ты коммунист?



— Нет, — сказал Маньен, подергивая у с ы , — тоже социалист, но крайний левый.

— А я, — ответил Сембрано с грустной улыбкой, созвучной наступающей н о ч и , — я был, в общем, пацифистом...

— Идеи меняются, — сказал Вальядо.

— Люди, которых я защищаю, не изменились. А это главное.

Вокруг них кружится мошкара. Они беседуют. На летное поле опускается ночь, величественная, как на всяком большом пространстве, теплая ночь, похожая на все теплые ночи.

## *Глава                      четвертая*

Человек двадцать ополченцев в комбинезонах спускались с Сьерры к обеду. Без офицеров. Вероятно, командиры, не уверенные в охране перевалов, остались на постах. К счастью, подумал Мануэль, примерно то же самое происходит и на той стороне.

Пятеро подходивших бойцов были в дамских шляпах по моде 1935 года — фисташковые и бледно-голубые тарелки — и с трехдневной щетиной. В шляпы были воткнуты свежие цветы шиповника Сьерры.

— Впредь, — сказал Мануэль, — моды будут демонстрироваться только товарищами, назначаемыми рабочими и крестьянскими организациями. Предпочтительно товарищами в возрасте, имеющими рекомендации с печатями по меньшей мере двух профсоюзов. Так будет внушительнее.

— Когда мы шли в атаку, солнце било в глаза, ничего не видно было; увидели шляпную мастерскую, закрытую, правда, но мы не растерялись, а потом шляпы оставили себе.

Деревня, где в тот день была их база и стоянка бронепоезда, находилась в шестистах метрах: площадь с деревянной галереей, похожая на внутренний двор хутора, островерхая башня наподобие башни Эскуриа-ла и несколько летних палаток, выкрашенных в оранжевый или ярко-красный цвет; одна из них была украшена большим зеркалом.

— Они нам здорово идут! — заметил один б о е ц . — Красота!

Не снимая немислимых шляп, с винтовками за плечами, они уселись за столиками кафе; позади них на

расстоянии тридцати километров по склонам, над сжатым полем рыжели пятна последних гиацинтов, покрывавших два месяца назад горный хребет Сьерры. Послышался шум несущегося на полной скорости автомобиля, и вдруг из-под навеса фермы вынырнул «форд» защитного цвета, откуда в фашистском приветствии параллельно вытягивались три руки. Под поднятыми руками, освещенными ярким солнцем, — наполеоновские треуголки и желтые канты на зеленоватых мундирах: гражданские гвардейцы. Они не заметили ополченцев, обедавших налево от двери, и думали, что приехали в фашистскую деревню. Вооруженные крестьяне из второго кафе неторопливо встали.

— Свои, — закричали гвардейцы, круто затормозив, — мысвами!

Крестьяне вскинули винтовки. Ополченцы уже стреляли: много гражданских гвардейцев действительно переходило фронт, но не с фашистским приветствием. Раздалось не менее тридцати выстрелов. Мануэль различил резкий звук пробиваемых шин; почти все крестьяне целились в машину. Однако один из гвардейцев был ранен. Ветер наполнял площадь запахом горелых цветов.

Мануэль велел разоружить гвардейцев, тщательно обыскать, отправить под конвоем ополченцев (крестьяне ненавидели гражданских гвардейцев) в помещение аюнтамьенто<sup>1</sup> и позвонил в штаб полковника Мангады.

— Дело серьезное? Срочное? — спросил дежурный офицер.

— Нет.

— Тогда только без «скорой расправы». Мы придем офицера для военно-полевого суда. Через час их будут судить.

— Хорошо. Вот еще что: их появление показывает, что с фашистских позиций добраться досюда легко. Я поставил одного часового у въезда в деревню, другого — на дороге. Этого мало...

Суд происходил в аюнтамьенто. Позади подсудимых в большом зале с побеленными стенами молча стояли крестьяне в серых и черных рубахах и ополчен-

---

<sup>1</sup> Аюнтамьенто — название муниципалитета в Испании.

цы; в первом ряду — жены крестьян, убитых фашистами. Суровость воинствующего ислама.

Двое из гражданских гвардейцев уже были допрошены. Конечно, они отдали честь на римский манер, но они думали, что деревня занята фашистами, и хотели проскочить, чтобы добраться до линии республиканцев. Ложь, которую одинаково мучительно было и слушать, и говорить, как всякую явную ложь; гвардейцы, казалось, барахтались в ней, задыхаясь, словно удавленники, в своих тугих мундирах. К судейскому столу подошла крестьянка. Фашисты заняли ее деревню — она тут поблизости, — потом ее отбили республиканцы. Она видела гвардейцев, когда они подъехали на машине.

— Когда они меня вызвали насчет сына... меня, когда они меня вызвали, я думала, чтобы похоронить его. Нет, чтобы меня допросить, душегубы...

Она отступила на шаг, словно для того, чтобы лучше разглядеть.

— Вот этот был там, он был там... Вот если б убили его сына, что б он тогда сказал? А? Что б он сказал? Что б ты сказал, тварь?

Раненый гвардеец оправдывался, судорожно хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная из воды. Мануэль подумал, что он, возможно, и не виновен: сын был расстрелян до того, как допрашивали мать, и ей повсюду мерещились его убийцы. Гвардеец говорил о своей верности республике. На бритом лице его соседа понемногу выступал пот; с нафабранных усов стали падать капли, и эта жизнь — капля за каплей — высвечивалась на неподвижном лице, словно это была собственная жизнь страха.

— Вы приехали, чтобы перейти к нам, — сказал председатель, — и не можете сообщить нам никаких сведений?

Он повернулся к третьему гвардейцу, который еще ничего не сказал. Тот посмотрел на председателя в упор, давая понять, что он обращается только к нему.

— Послушайте. Вы — офицер, несмотря на то что вы с ними. Мне все это надоело. У меня военный билет фалангиста Сеговии № 17. Вы должны меня расстрелять — понятно, и, я думаю, сегодня. Но перед смертью я хотел бы иметь удовольствие видеть своими глазами, как расстреляют этих двух подлецов. У них билеты № 6 и № 11. Мне противно на них смотреть.

Теперь я обращаюсь к вам, как солдат к солдату: прикажите им замолчать или выведите меня отсюда.

— Гляди, какой гордец, — сказала старая крестьянка, — а сам-то детей убивает.

— Я с вами! — кричал председателю раненый гвардеец.

Председатель наблюдал за говорившим офицером: сильно приплюснутый нос, мясистые губы, короткие усы, курчавые волосы — лицо из мексиканского фильма. В какой-то момент председателю показалось, что офицер даст пощечину раненому гвардейцу, но он этого не сделал. Его руки не походили на руки жандарма. Может быть, фашисты внедрили своих людей в гражданскую гвардию, как в казарму Ла-Монтанья?

— Когда вы вступили в гражданскую гвардию?

Офицер не отвечал, уже безучастный к военному суду.

— Я с вами! — снова завопил раненый, и впервые его голос прозвучал убедительно. — Я вам говорю, я с вами!

Мануэль вышел на площадь после того, как раздался залп взвода. Все трое были расстреляны на соседней улице; тела упали ничком, головы на солнце, ноги в тени. Крохотный пушистый котенок тыкался усиками в лужу крови возле офицера с приплюснутым носом. Подошел какой-то парень, отстранил котенка, смочил указательный палец в крови и начал писать на стене: «СМЕРТЬ ФАШИЗМУ». Молодой крестьянин засучил рукава и направился к фонтану мыть руки.

Мануэль смотрел на тело убитого, на лежавшую поблизости треуголку, на парня, склонившегося над водой, и на еще почти красную надпись. «Надо создать новую Испанию — и против тех, и против других, — подумал он. — И вряд ли одно окажется легче другого».

Солнце нещадно пекло желтые стены.

## *Глава пятая*

Рамос и Мануэль идут вдоль железнодорожной насыпи. Вечер как вечер, без пушечной стрельбы. На фоне сумеречного неба, напоминающего фон на

портретах всадников, в запахе сосен и горной травы Сьерра клонится живописными холмами к мадридской равнине, над которой ночь опускается, как над морем. И неуместный бронепоезд, притаившийся в туннеле, кажется забытым войной, ушедшей вместе с солнцем.

— Сполчаса, наверное, ругался с ребятами, — сказал Рамос. — Более десятка желают обедать у себя дома, а трое — в Мадриде.

— Сейчас охотничий сезон, они путают. И каков же результат твоих ругательных переговоров?

— Пятеро остаются, а семеро уходят. Будь они коммунистами, все бы остались.

Несколько одиночных выстрелов и отдаленный орудийный раскат еще сильнее подчеркивают покой горных вершин. Прекрасная будет ночь.

— Почему ты стал коммунистом, Рамос?

Рамос подумал.

— Потому что постарел... Сорок два — еще не старость. Но куда я был анархистом, я гораздо больше любил людей. Для меня анархизм — это профсоюзная работа и прежде всего отношения между людьми. Рабочий не сразу приходит к самостоятельности в политических взглядах: сначала все зависит от того, под чье влияние он попадет...

— Послушай, Мануэль, объясни-ка мне, если сам что-нибудь в этом смыслишь. Нам противостоит испанская армия. Допустим, это в основном офицеры. На Филиппинах им здорово врезали<sup>1</sup>. На Кубе тоже<sup>2</sup>. Из-за американцев? Пожалуй: качество продукции, первоклассная промышленность. И в Марокко им досталось: от Абд-аль-Керима<sup>3</sup>, не от американцев.

Почему же наши господа с усиками кисточкой удирали от Керима, а теперь не удирают? Всегда говорили: опереточная армия. Почему же они драпали в Мелилье, а здесь нет?

---

<sup>1</sup> Филиппины, захваченные испанцами во второй половине XVI в., получили независимость после национально-освободительной войны 1896—1898 гг.

<sup>2</sup> Национально-освободительная война кубинского народа в 1895—1898 гг., а также поражение Испании в испано-американской войне 1898 г. привели к провозглашению Кубы независимой республикой.

<sup>3</sup> Абдаль-Керим (1881 или 1882—1963) — вождь восстания рифских племен Марокко, нанесший несколько сокрушительных ударов по испанским войскам.

Отношения между Мануэлем и Рамосом постепенно менялись. До сих пор это были отношения опытного синдикалиста с тридцатилетним человеком, серьезным, несмотря на свои шутки, старающимся понять тот мир, с которым он связывал свои надежды, и не смешивать то, что он видел, с тем, о чем он мечтал, но человеком без политического опыта. Теперь он начинал приобретать этот опыт, и Рамос понимал, что знаний у Мануэля куда больше, чем у него. Мануэль размахивал сосновой веткой с пучком игл на конце, словно метелкой, — так же на центральной телефонной станции он размахивал линейкой; он не выносил, чтобы в правой руке ничего не было.

— Нет опереточных армий, Рамос; есть только оперетки про армию. То, что называют опереточной армией, — это армия для ведения гражданской войны. В нашей испанской армии на шестерых рядовых один офицер. И ты думаешь, наивный ты человек, что ее бюджет рассчитан на ведение войны? Как бы не так — на содержание офицеров (а они либо сами помещики, либо служат помещикам) да на закупки автоматического оружия, на чем иные здорово греют руки. Оружие это для настоящей войны непригодно, а для полицейских расправ вполне годится. Пример: наши пулеметы образца 1913 года, наши самолеты десятилетней давности — нуль для войны с любой страной, но для подавления восстаний — то, что надо. С таким оружием не поведешь войну ни с одним государством, даже колониальную войну. Об испанской армии только и говорят что в связи с поражениями или с взяточничеством. Да еще с подавлением восстаний. Но это не оперетка, а плохой рейхсвер<sup>1</sup>.

Из долины доносится гул далеких взрывов. На одеялах, держа их за углы, проносят раненых бойцов.

— Народ каждый день спасает Мадрид, — сказал Мануэль, глядя на гребни гор, за которыми засели фашисты Сеговии.

— Да. А потом он идет спать.

— Но наутро начинает снова.

— Ты растешь, Мануэль... Это хорошо. Ты отлично командовал штурмом батареи...

---

<sup>1</sup> Рейхсвер — вооруженные силы Германии в 1919—1935 гг., ограниченные по составу и численности условиями Версальского мирного договора 1919 г.

— Может быть, что-то изменилось во мне, и на всю жизнь; но это не из-за штурма батареи позавчера; это случилось сегодня, когда я увидел парня, который писал на стене кровью убитого фашиста. Я почувствовал свою ответственность, не меньшую, чем когда командовал в оливковой роще или когда раньше управлял своей машиной.

— Раньше, — повторил Рамос. — И месяца не прошло.

— Прошлое — не вопрос времени. Но при виде того парня, что отчаянно писал на стене, я почувствовал нашу ответственность. Так становишься командиром, друг мой Рамос...

Далеко в тылу правительственных войск ярко горит костер пастуха или крестьянина.

Огромная пелена тумана тянется к нему в глубокой ночи. Земля исчезает, пламя — единственное пятно света на склонах холмов; покой, согнанный с гор, забившийся под землю, как бронепоезд в свой туннель, словно вырывается наружу через этот пляшущий огонь. И справа — намного дальше — горит другой костер.

— Кто ведает ранеными? — спрашивает Мануэль.

— Главврач санатория. Вполне спокойный человек, терпеливый.

— Левый республиканец?

— Кажется, правый социалист. Женщины из ополчения тоже отлично помогают.

Мануэль рассказывает, как у грузовиков появилась девушка. Рамос, запустив пальцы в курчавые волосы, улыбается.

— Что ты думаешь о женщинах в ополчении, Мануэль?

— Для атаки — нуль: бойцам, в сущности, только трепка нервов. В оборонительном бою — превосходны. С храбростью по-разному: не хуже, чем у мужчин зачастую, а иногда просто здорово.

— Знаешь, что любопытно: везде, куда приходят франкисты, всеобщее рабство усугубляется. Я не про то, что делают с нами, республиканцами, это понятно. Но ребятишек снова пихают к попам, а женщин загоняют на кухню. Все, кого так или иначе угнетали, сражаются вместе с нами...

Странно притяжение огня: то поднимаясь, то падая, словно подчиняясь ритму кузнечного горна, он, ка-

жется, горит над всеми павшими в этот день и расстилает над человеческим безумием густую тьму ночи.

Рамос чувствует, как улыбка сбегает с его лица. Он замечает еще один костер. Снова берется за бинокль.

Это не костры пастухов, это сигнальные огни.

Уж не чудятся ли ему, как ополченцам, повсюду сигналы? Он знает световую сигнализацию; впрочем, он считает, эти скоты передают сигналы по Морзе, да еще и кодируют их.

Второй огонь тоже сигнальный. Фашисты хорошо подготовились. На всех склонах, на сколько может видеть Рамос и откуда доносится стрекот цикад, лежат спящие бойцы. Восклицаний больше не слышно. Тела тех, кто погиб в этот день, уже приникли всей своей тяжестью к асфальту шоссе, примяли жесткую траву на склонах; для них начинается первая ночь в смерти. В безмятежном покое, воцарившемся над Сьеррой, только беззвучная речь предательства заполняет надвигающийся мрак.

### III

#### *Глава первая*

Мануэль начал понимать, что война — это значит делать все возможное и невозможное, чтобы куски железа вонзались в живую плоть.

Исступленные крики мужчины или женщины (при нестерпимой боли тембр голоса неразличим), прорезали палату госпиталя Сан-Карлос и терялись в ней.

Палата была очень высокая, свет падал сверху, через отдушины, почти полностью закрытые широкими зелеными листьями, пронизываемыми ярким летним солнцем. Этот зеленоватый свет, бесконечные стены без отверстий, если не смотреть вверх, и эти странные люди в пижамах, чьи фигуры скованно передвигались на костылях в тревожной тишине госпиталя, как тени, одетые в бинты, словно в карнавальные костюмы, — все это казалось вечным царством страданий вне времени и пространства.

Этот огромный «аквариум» сообщался с палатой для тяжелораненых, откуда доносились крики. Потолок там обычной вышины, восемь коек и обычные окна. Войдя, Мануэль сначала увидел только большие



квадраты кисейных занавесок и сиделку на стуле у двери. Залитая светом комната казалась пустынной — просторная госпитальная палата, столик непохожая на подземелье инквизиторов, где бродили, где скользили забинтованные призраки; но звуки выдавали ее подлинную суть.

С одной из коек в среднем ряду раздавались те непрерывные лающие стоны, одинаковые у человека и животного, которые исторгает нестерпимая боль, когда голос — только обнаженный вопль страдания. Это какой-то дикий лай, подчиненный лишь ритму дыхания, и тот, кто его слышит, чувствует, что он прервется с последним вздохом. И когда на самом деле вопли умолкли, их сменил страшный скрежет зубов, мучительный, как у рожениц.

Мануэль чувствовал, что крики снова начнутся, как только возобновится дыхание.

— Что с ним? — шепотом спросил он у сиделки.

— Летчик. Его самолет сбили вместе с бомбами на борту. При падении они взорвались. Пять пулеметных пуль, двадцать семь осколков.

Кисейная занавеска шевельнулась от движения изнутри, как будто раненый сел на койке.

— Его м а т ь , — сказала сиделка. — Ему двадцать два года.

— Вы привыкли, — с горечью произнес Мануэль.

— У нас не хватает сиделок. Я-то хирург.

Крики возобновились и усилились, словно раненый, стараясь потерять сознание, всеми силами вызывая боль, — и вдруг оборвались. Мануэль уже не слышал даже скрежета зубов. Он не решался подойти.

Почему он чувствовал, что раненый судорожно хватается пальцами за простыню? Послышались новые звуки, сначала еле слышные, настолько тихие, что Мануэль терялся в догадках, затем более внятные: поцелуи. Что значат слова рядом с истерзанным телом? Теперь, когда юноша заставил умолкнуть свою боль, мать делала то, что только и могла дел а т ь , — целовала его.

Мануэль отчетливо слышал звуки поцелуев, все более и более торопливые, словно женщина, сознавая, что боль притаилась и готова вернуться, хотела остановить ее силой своей нежности. Рука схватилась за занавеску и сжала ее в кулаке. Мануэль почувствовал эту боль, вцепившуюся в пустоту, так, словно она впи-

лась в его собственную руку. Пальцы разжались, и крики возобновились.

— И... давно так? — спросил Мануэль.

— Третий день.

Он взглянул наконец на сиделку: маленькая, очень молодая, она была без косынки. Волосы у нее были черные и блестящие.

Она замялась.

— Мы тоже... — наконец произнесла она. — К крику раненых привыкаешь, а к крику их близких — нет: если их не вывести, оперировать невозможно.

— Барка все еще тут? — спросил Мануэль, как только крики затихли. Казалось, они навечно вселились в палату.

— Нет, рядом.

Мануэль облегченно вздохнул. Он был чувствителен к чужому страданию, но не способен выразить свое сочувствие и терзался этим неумением.

Палата, где лежал Барка, была смежная с той, из которой он вышел, и с «аквариумом». Мануэль открыл дверь и с секунду помедлил, как если бы закрыть ее за собой значило опустить крышку гроба над раненым. И он оставил дверь приоткрытой.

Барка сидел на койке. Нет, ему ничего больше не нужно. У него есть апельсины, иллюстрированные журналы. И дружеское расположение. Худо только, что его не хотят колоть морфием. Если они боятся, что он станет морфинистом — это в его-то годы! — то катись они к черту! А так как ему к ступне привесили груз — нога перебита в двух местах, — спать он не может. Если бы ему дали чего-нибудь, чтоб он мог заснуть, был бы порядок.

— И ты смог бы спать, когда...?

Мануэль намекал на стоны раненого, которые приглушенно доносились через приоткрытую дверь.

— Только не в той же палате. Не знаю, почему. Если в другой — могу. Больных, что не кричат, надо бы класть вместе. Закрой дверь: в этой палате никто не кричит...

— Кем он был? — спросил Мануэль, словно разговор о раненом снова открывал только что закрытую дверь.

— Механиком. Сначала в ополчении, потом в авиации. Бомбардиром.

— Почему он пришел к нашим?

— А к кому, по-твоему, ему еще идти, механику-то? К фашистам?

— Мог бы оставаться ни с кем.

— Ну, знаешь...

Барка поднял брови, запрокинул голову: боль возобновилась. Он опустил голову на подушку, и на его постаревшем лице снова появилось выражение неутихающей боли — запавшие глаза, черты лица, готовые в любой момент исказиться, — выражение детскости, незащитное и полное достоинства в одно и то же время, когда страдание выявляет в человеческом лице скрытое благородство. Мануэль заметил глаза Барки еще на Сьерре. Лицо у него было самое обычное, кожа темная, темнее волос, седых усов, даже темнее глаз; выразительность ему придавали только веки, тяжелые, набрякшие, веки человека, который пережил много горького, но не смирился, а в бесчисленных морщинках, похожих на трещинки на фарфоре, угадывалась крестьянская хитреца.

— Как дела на бронепоезде?

— Кажется, хорошо, — сказал Мануэль. — Ноточно не знаю, я теперь не там. Меня назначили командиром роты пятого полка<sup>1</sup>.

— Доволен?

— Многому надо учиться...

Несмотря на закрытую дверь, они снова услышали крики.

— Этот парнишка, он был с нами, потому что был с нами...

— А ты, Барка?..

— Ну, тут полно причин...

Его лицо исказила гримаса, он попытался пошевелиться и повернулся к Мануэлю, как будто ожидая, что тот скажет.

— Тебя ничего не заставляло.

— Да ты что, я же был в профсоюзе!

— Конечно, но не активистом, тебе ничто прямо не угрожало.

— Слушай-ка, а вот тебе их штуки с филлоксерой понравились бы?

---

<sup>1</sup> Знаменитый пятый полк, созданный коммунистами в августе 1936 г., положил начало формированию регулярной армии республиканцев. С августа по декабрь 1936 г. в нем прошли военную подготовку от 50 до 70 тысяч добровольцев.

Когда-то Барка был виноделом в Каталонии, как его отец и дед. Помещики воспользовались филлоксерой, чтобы и у него отнять плоды более чем пятидесяти-летнего труда.

— Ты ведь устроился, жить можно было...

По тону Мануэля Барка понимал, что тот хочет не столько спорить, сколько понять.

— Ты хочешь знать, почему я не остался в стороне?

— Да.

Барка улыбнулся, и казалось, боль придавала его улыбке своеобразный отпечаток пережитого.

— В стороне не остаются всегда одни и те же. Где и когда я был в стороне?

В «аквариуме» люди на костылях один за другим скользили мимо открытой двери.

— Однако вопрос это не шуточный, серьезный вопрос. Даже наихудший фашизм не так плох, как смерть!..

Он закрыл глаза.

— Боль в ноге посильнее обид на фашистов... И все же я...

Еще до нового приступа боли слабость остановила его жест.

— И все-таки нет, нет, несмотря ни на что, я все равно пошел бы.

Крики раненого снова донеслись до них. А он пошел бы опять? Именно об этом размышлял сейчас Барка.

— Кстати, ты меня не так уж удивил своим вопросом: когда я подумал, что... что, видно, конец пришел, там, под соснами, я начал соображать. Как и все. Может быть, не как ты, но я соображал. Могу выучиться иной раз тому, чего не знаю, постаравшись, конечно. Но вот понять, что я т а к о е, — не очень-то. Со словами тяжело. Понимаешь меня?

— Конечно.

— Потому что умен ты. Короче, вот что: не хочу, чтобы меня презирали. Ты слушай меня.

Он не повышал голоса, говорил только медленнее и таким тоном, точно сидел за столом, подняв указательный палец.

— В этом все дело. Остальное — мелочь. Из-за денег — ты прав — я, может быть, и поладил бы с ними. Но они желают, чтобы их уважали, а я не хочу их уважать. Потому что их не за что уважать. Я хочу ува-

жать, но не их. Я хочу уважать сеньора Гарсиа, он ученый. Но не их.

Гарсиа был одним из лучших испанских этнологов. Он проводил лето в Сан-Рафаэле, и Мануэль успел заметить, как его любили активисты этого района Сьерры.

— И потом вот еще что. Я тебе скажу про один случай. Может, посмеешься надо мной, может, нет. Когда я еще работал на земле, еще не уехал в Перпиньян, к нам пожаловал маркиз. Он говорил со своими. Говорил о нас. И вот он сказал, слово в слово: «Видите, что это за люди. Они предпочитают человечество своей семье!» И с такой презрительной миной! Спорить с ним я тогда еще не смог бы, но призадумался в тот раз. И понял: когда мы хотим сделать что-нибудь для человечества, это и для нашей семьи. Это одно и то же. А вот они-то, они выбирают. Понимаешь меня? Они выбирают.

Он помолчал.

— Сеньор Гарсиа приходил навестить меня. Мы давно знакомы. Это человек, который всегда все хотел знать. Теперь он в военной разведке, он хочет знать, что творится в деревнях. Но он меня спрашивает: равенство? Слушай, Мануэль, я хочу тебе сказать кое-что, чего вы не знаете — вы оба, потому что вы слишком... ну, слишком... вам в жизни слишком везло, скажем так... Такой человек, как Гарсиа, не очень-то знает, что такое обиды. И вот что я могу тебе сказать: обратное этому «унижению», как он говорит, не равенство. Все-таки не такая уж ерундовая надпись на мэриях у этих французов, потому что обратное обидам — это братство.

Мимо открытой двери большой палаты брели раненые, похожие в профиль на искалеченных конкистадоров былых времен, далеко отставляя руки в гипсе или туго забинтованные на перевязи, словно скрипачи, приставившие скрипку к горлу. Это было страшнее всего: рука в гипсе вызывает впечатление жеста, и все эти привидения в облике скрипачей, неся перед собой замотанные и неподвижные руки, двигались, как статуи, подталкиваемые сзади, в тишине «аквариума», подчеркнутой приглушенным жужжанием мух.

В невыносимой жаре, среди всеобщего возбуждения шесть самолетов современной конструкции готовились к старту. Колонна марокканцев, развивавшая наступление в Эстремадуре, двигалась от Мериды на Медельин. Это была сильная моторизованная колонна, вероятно, лучшая ударная часть фашистов. Из штаба только что звонили Сембрано и Маньену: колонной командовал сам Франко.

Ополченцы Эстремадуры без командиров, без оружия пытались сопротивляться. Шорник и хозяин кафе, содержатель постоянного двора, батраки и несколько тысяч человек из самых обездоленных в Испании выходили из Медельина с охотничьими ружьями против ручных пулеметов марокканской пехоты.

Три «Дугласа» и три бомбардировщика с пулеметами образца 1913 года занимали в ширину половину аэродрома. Ни одного истребителя: все на Сьерре. Сембрано, его друг Вальядо, пилоты гражданской авиации Маньен, Даррас, Карлыч, Гарде, Хайме, Скали, новички — папаша Дюгей с механиками у ангара, такса Коротыш — вся авиация была в деле.

Хайме напевал мелодию фламенко<sup>1</sup>.

Двумя треугольниками самолеты взяли курс на юго-запад.

В самолетах было прохладно, но видно было, что над самой землей стоит зной, как воздух над печными трубами. Кое-где в хлебах виднелись широкополые соломенные шляпы крестьян. От гор Толедо до гор Эстремадуры, по эту сторону войны, в полуденной дремоте земля цвета жнивья покойно простиралась от горизонта до горизонта. В пыли, подымавшейся к жаркому солнцу, холмы и косогоры выглядели плоскими силуэтами; а по другую сторону — Бадахос, Мерида, взятая восьмого фашистами, Медельин — ничтожные точки в беспредельности дышащей зноем равнины.

Все чаще стали появляться скалы. И вот наконец Бадахос: такой же неприветный, как каменистая почва, на которой он стоит, как его крыши, между которыми нет ни единого дерева, как черепицы, выцветшие до какого-то сероватого оттенка, — берберийский остов

<sup>1</sup> Фламенко — музыка, песни, танцы, связанные с южноиспанским народным искусством, а также соответствующий стиль исполнения.

на африканской земле; вот его алькасар<sup>1</sup>, его пустые арены для боя быков. Пилоты смотрели на карты, бомбардиры — в прицелы, стрелки — на маленькие вертушки, вращавшиеся за бортом. Под ними — старинный, изъеденный временем испанский город, за его окнами — женщины в черном, ведра оливок и аниса, опущенные в прохладу колодцев, пианино, на которых дети играют одним пальцем, и тощие коты, прислушивающиеся к звукам, один за другим тающим в зное... И такая сушь кругом, что кажется, от первой же бомбы черепица и камни, дома и улицы покроются трещинами и рассыплются прахом в грохоте костей и щебня. Над площадью Карлыч и Хайме помахали носовыми платками. Испанские бомбардиры сбрасывали шейные платки, раскрашенные в цвета республики.

Затем фашистский город: наблюдатели узнают развалины античного театра Мериды; город, похожий на Бадахос, похожий на всю Эстремадуру. Наконец Медельин.

По какой дороге шла колонна? Дороги без деревьев на обочинах были желты под солнцем, немного светлее земли, и пустынно, насколько мог охватить глаз.

Эскадрилья пролетела над квадратной площадью и окружавшими ее домами — Медельин — и взяла курс вдоль дороги к неприятельским позициям — на солнце. Оно слепило глаза, с трудом можно было различить раскаленную ленту дороги. Два «Дугласа», шедшие за Сембрано, замедлили полет, затем выстроились в одну линию: показалась неприятельская колонна.

Даррас, передав управление первому пилоту, наполовину высунувшись из кабины, весь превратился в зрение. В мировую войну ему случалось высматривать какую-нибудь одну из германских бригад; теперь же он искал то, против чего он по-разному боролся столько лет. И в мэрии, и в рабочих организациях, которые создавались упорно и терпеливо, распадалась, снова создавались против фашизма. После России это было в Италии, Китае, Германии... Здесь, в Испании, где едва начала воплощаться надежда всей жизни Дарраса, снова фашизм — почти под его самолетом; и все, что он видел сейчас, — это самолеты своих, меняющие курс.

---

<sup>1</sup> Алькасар — крепость или королевский дворец.

Чтобы занять место в боевом порядке, самолет, в котором он находился — самолет Маньена, первый из интернациональной эскадрильи, — повернул. Прямо впереди перед ними на протяжении километра через равные промежутки виднелись красные точки. Самолет был высоко; солнце снова ударило в глаза, и Даррас не видел уже ничего, кроме белой дороги.

Затем дорога отклонилась, солнце отодвинулось, красные точки показались снова. Слишком маленькие для автомобилей, слишком механически движущиеся для людей. А дорога шевелилась.

Внезапно Даррас понял. И, словно мысль заменила ему глаза, он различил движущиеся очертания: грузовики, покрытые пожелтевшим от пыли брезентом. Красными точками казались окрашенные суриком незамаскированные капоты грузовиков.

Дороги, расходившиеся лучами, словно следы гигантских птичьих лап, убегали от трех городов до самого горизонта в безмолвном покое полей; и среди этих трех неподвижных дорог вот эта. Фашизм для Дарраса был этой дрожащей дорогой.

По обеим сторонам дороги грохнули бомбы. Десятикилограммовые: высокое узкое пламя взрыва и дым над полями. Ничто не указывало на то, что фашистская колонна ускорила движение, но дорога дрожала сильнее.

Грузовики и самолеты шли навстречу друг другу. Из-за солнца Даррас не видел, как падают бомбы, но видел, как они — словно кто-то перебирает четки — взрываются сериями, но пока еще в полях. Его раненая нога снова давала о себе знать. Ему было известно, что в одном из «дугласов» нет бомболюка, и бомбы сбрасывали через увеличенное отверстие в клозете. Вдруг часть дороги застыла на месте: колонна останавливалась. Одна бомба попала в грузовик, и он лежал поперек дороги, но Даррас его не видел.

Как если бы червяка разрезали на части, голова колонны уходила к Медельину. Бомбы все падали и падали. Самолет Дарраса летел теперь над этой головой.

Второму пилоту не видно, что происходит внизу.

Скали, бомбардир третьего самолета интернациональной эскадрильи, смотрел на бомбы, падающие все ближе к дороге. Хорошо обученный в итальянской ар-



мии, где он до эмиграции каждый год проходил военные сборы, Скали вновь обрел высокие летные качества, выполнив три боевых задания на Сьерре. Сегодня из самолета, который Сибирский уже пятнадцать секунд вел по вертикали на дорогу, он видел, как разрывы приближаются к грузовикам. Метить в голову колонны было уже поздно. Остальные машины пытались обойти слева и справа грузовик, лежащий поперек дороги (очевидно, развороченный). С высоты полета грузовики выглядели приклеенными к дороге, как мухи к липкой бумаге. С самолета Скали казалось, что они вот-вот улетят или свернут в поля; но дорога, вероятно, была отгорожена с обеих сторон насыпью. Колонна, только что бывшая одной четкой линией, пыталась распасться на два потока вокруг разбитого грузовика, как река вокруг утеса. Скали ясно видел белые точки тюрбанов марокканцев; он вспомнил охотничьи ружья бедняков из Медельина и разом открыл оба контейнера с легкими бомбами, когда сбившаяся колонна грузовиков появилась в его прицеле. Потом он наклонился над люком и стал ждать результата падения бомб: девять отсчитанных судьбой секунд между ним и этими людьми.

Две, три... Через люк не разглядеть, что делается позади. Через боковое отверстие было видно, как на земле несколько человек бросились в стороны, подняв руки: очевидно, соскакивали с насыпи. Пять, шесть... Спаренные пулеметы открыли огонь по самолетам. Семь, восемь... (как они драпали вниз!) девять: двадцать красных точек разом вспыхнули, и все остановилось. Самолет продолжал полет, словно это его несколько не касалось.

Самолеты кружили, снова выходя к дороге. Когда взорвались бомбы Скали, самолет Маньена возвращался, и Даррас отчетливо увидел груды перевернутых вверх колесами грузовиков. Если бы не красные вспышки при разрыве бомб, смерть, казалось, не принимала в этом участия: он видел только пятна цвета хаки под белыми точками тюрбанов, бежавшие по дороге, словно исполошившиеся муравьи, уносящие личинки.

Сембрано видел лучше других: первый из «Дугласов» летел позади последнего самолета интернацио-

нальной эскадрильи, замыкая круг. Он знал, по существу, гораздо больше, чем Скали, о положении добровольцев в Эстремадуре: они ничего не смогут сделать, если им не поможет авиация. Он снова летел над дорогой, чтобы бомбардиры, у которых остался запас легких бомб, могли уничтожить еще несколько грузовиков: моторизованные части были главной силой фашистов. Нужно было до прибытия неприятельской авиации настигнуть головную часть колонны, двигавшуюся к Медельину.

Еще несколько грузовиков подбросило и перевернуло колесами вверх. Как только их сбрасывало с дороги, за ними обозначались длинные тени; поэтому их становилось отчетливо видно лишь после того, как они превращались в лом. Так оглушенная динамитом рыба всплывает на поверхность уже мертвой.

Пилоты успели точно определить свое местоположение над дорогой. Тени разрушенных грузовиков тянулись теперь и спереди и сзади колонны, словно заслоны.

Придется Франко попотеть, прежде чем он приведет это в порядок, подумал Сембрано, выпятив нижнюю губу, и взял курс на Медельин.

Оставшись в душе пацифистом, он бомбил точнее всех испанских летчиков; однако, чтобы успокоить свою совесть, когда летал один, спускался очень низко: опасность, которой он подвергался, которую искал, разрешала его этические проблемы. По природе своей он был отважен, как Марчелино, как многие застенчивые люди. Либо грузовики в городе, думал он, и тогда их нужно разнести вдребезги, либо они туда еще не добрались и их нужно опять-таки разнести вдребезги. Как иначе спасти от гибели бойцов? Он летел к Медельину со скоростью двести восемьдесят километров в час.

Грузовики, образовавшие головную часть колонны, сгрудились на площади в тени. Они не решились рассредоточиться — городок еще удерживали республиканцы. Сембрано спустился как можно ниже, пять остальных самолетов — за ним.

Узкие улицы освещал ровный солнечный свет. С высоты трехсот метров можно было различить цвета домов — розоватые, бледно-голубые, фисташковые — и очертания грузовиков. Некоторые из них успели спрятать на прилегающих к площади улицах.

Один «дуглас» летел навстречу Сембрано вместо того, чтобы следовать за ним. Пилот, очевидно, потерял строй.

Самолеты зашли на первый круг над площадью Медельина. Сембрано вспомнил, как он первый раз бомбил вместе с Варгасом, теперь начальником штаба, и как рабочие Пеньярройи, окруженной фашистами, вывесили в окнах и расстелили во дворах занавески, покрывала с кроватей, самые красивые ткани для республиканских летчиков.

Сброшенные бомбы блеснули на солнце, исчезли, продолжая свой самостоятельный путь, как торпеды. Огромные языки рыжего пламени с оглушительным треском вырывались из дыма, заволакивавшего площадь. Над самым высоким пламенем в коричневых клубах появилась белая дымка: крохотный черный силуэт грузовика взлетел на воздух и упал в разноцветное облако. Сембрано, выжидая, пока рассеется дым, взглянул вперед, снова увидел «дуглас», потерявший строй, и два других. В эскадрилью было включено только три «Дугласа», считая и его: четвертого быть никак не могло.

Он покачал крыльями самолета, приказывая построиться в боевом порядке.

Занятый тем, что происходило на земле, он почти не смотрел вокруг: это были не «дугласы», это были «юнкерсы».

Как раз в эту минуту авиация казалась Скали отвратительным оружием. Как только марокканцы бежали, ему все время хотелось вернуться. Тем не менее он выжидал, как кошка, чтобы площадь показалась в точке прицела (у него оставались две бомбы по пятьдесят килограммов). Не обращая внимания на зенитные пулеметы, он чувствовал себя одновременно судьей и убийцей, причем быть убийцей казалось ему не так противно, как судьей. Шесть «юнкерсов» — три перед ним (те, что увидел Сембрано) и три пониже — освободили его от душевного разлада.

Три «Дугласа» попытались ускользнуть: с их жалким пулеметом возле пилота не могло быть и речи о том, чтобы принять бой с немецкими самолетами, оснащенными тремя пулеметными установками новейшего

образца. Сембрано всегда считал скорость лучшим средством защиты бомбардировщиков. И действительно, все три «Дугласа» на полном газу ушли по косяку, в то время как три бомбардировщика интернациональной эскадрильи атаковали три нижних «юнкерса». Три против шести; к счастью, против шести без истребителей.

Задание было выполнено. Надо было не ввязываться в бой, а уходить. И Маньен решил атаковать самолеты снизу, рассчитывая, что они будут четко выделяться на небе, тогда как его, раскрашенные в маскировочные цвета, будут в это время дня почти незаметны на фоне полей. Три остальных «юнкерса», может быть, не успеют построиться для боя. И тогда он тоже включил полную скорость.

Нижние самолеты приближались, их корпуса были похожи на подводные лодки, а люковые пулеметные установки висели, подобно маятникам, между обтекателями шасси. Один из них еще заворачивал, и летчики интернациональной эскадрильи отчетливо видели его антенну и над кабиной профиль хвостового стрелка. Гарде в носовой турели со своей игрушкой — деревянным ружьем — выжидал. Сидя слишком далеко, чтобы его услышали, он показывал на «юнкерсы» пальцем и размахивал левой рукой. Маньен, находясь рядом с Даррасом, видел, как они становились все больше, словно разбухали.

Весь экипаж вдруг почувствовал, что любой самолет может просто быть сбит.

Гарде повернул свою турель; пули из всех пулеметов с необыкновенной частотой простучали по фюзеляжу «юнкерса», машины встретились и разлетелись. В самолеты интернациональной эскадрильи попало очень мало пуль — только из люковых пулеметов. «Юнкерсы» были позади; один из них опускался, но все же не падал. Хотя дистанция между ними все увеличивалась, вдруг кабину Маньена прошило с десятков пуль. Расстояние продолжало возрастать; под огнем хвостовых пулеметов интернациональной эскадрильи пять «юнкерсов» уходили по направлению к своим позициям, шестой еле держался над полями.

Как только они вернулись, Маньен доложил по телефону и велел позвать Гарде.

— Он в «юнкерсе», который приземлился здесь, полагая, что Мадрид взят, — сказал Камучини.

— Тем более.

К удивлению Маньена, его ожидал представитель управления безопасности.

— Товарищ Маньен, — сказал тот, предварительно обшарив взглядом все углы выбеленной канцелярии, — начальник управления поручил мне поставить вас в известность, что трое немцев из ваших добровольцев...

Он вытащил из кармана бумагу.

— Крей... фельд, Вюрц и Шрей... нер, верно, Шрейнер — гитлеровские осведомители.

Ошибка, хотел было ответить Маньен. Но в таких случаях всегда предполагают ошибку. Карлыч его предупреждал, что Крейфельд постоянно фотографирует (стал бы шпион так открыто снимать?); и однажды Маньен очень удивился, услышав от него имя одного чина из французской контрразведки.

— Хорошо, Крейфельд... Ну так что? В конце концов, это ваше дело. Однако, что касается Шрейнера, вы меня очень удивляете. Вюрц и Шрейнер — коммунисты, и, мне кажется, не со вчерашнего дня. За них отвечает партия...

— В партиях, товарищ Маньен, как и везде, верят своим друзьям; ну, а мы верим сведениям.

— Чего же хочет начальник управления?

— Чтобы эти трое не появлялись больше на аэродромах.

— А дальше?

— Дальше он берет ответственность на себя.

Маньен размышлял, подергивая ус.

— Со Шрейнером дело действительно ужасное... И... короче, нет, я не верю этому. Нельзя ли сделать дополнительное расследование?

— О, конечно, торопиться не будем. Начальник вам сейчас позвонит, но только чтобы подтвердить мои полномочия.

Вошел Гарде (свое ружьецо он оставил в цейхгаузе) — жесткие волосы бобриком, насмешливый взгляд. Агент из управления вышел.

Щетка волос, плоские скулы делали Гарде похожим на игрушечного кота; но когда он улыбался, мелкие, редкие зубы придавали его треугольному лицу выражение неистощимой энергии.

— Что ты делал в «юнкерсе»? Усаживался за пулеметы?

— Я ведь хитрый. Я шел туда и, представляете, думал, что чего-то не понимаю. Оказывается, все-таки разобрался — не такой лопух! А теперь, после того как мы с ними сразились, я уж и не сомневаюсь: спереди самолет почти слепой. Поэтому они в нас не попали первыми очередями, а попали только после, когда мы были сзади.

— И я так думаю.

Маньен изучал «юнкерс» по техническим журналам. Третий мотор помещается там, где на двухмоторных тяжелых самолетах находится носовая турель, и он сомневался, чтобы можно было защищать переднюю часть самолета люковым пулеметом, стреляющим между колес, и хвостовым пулеметом. Вот почему он решился пойти один против двух.

— Скажите, вы думаете, они погнались за нами на полном газу?

— Конечно.

— Так что же они, эти фрицы, смеются над нами, что ли, целых два года? Скорость-то километров на тридцать меньше, чем у наших старых калов. Это и есть знаменитый флот Геринга? Но только вот что: пулеметы их не сравнить с нашими, испанскими. Их ни разу не заело. Я прислушивался. Вот если б русские или наши чертовы соотечественники нам наконец подбросили такие же...

Маньен с озабоченным видом отправился в штаб.

Но сначала он решил зайти в госпиталь.

Бомбардир-бретонец оказался отстраненным и взвинченным. Он разговаривал со своим соседом, испанским анархистом. Кровать была завалена номерами «Юманите» и романами Куртелины<sup>1</sup>. Хаус лежал в отдельной палате этажом выше, что не предвещало ничего хорошего.

Маньен открыл дверь; англичанин в знак приветствия, улыбаясь, поднял кулак, но глаза его не улыбались.

— Как дела?

---

<sup>1</sup> Куртелин Жорж (1858—1929) — известный французский писатель и драматург, много писавший об армейской жизни.

— Не знаю, никто не понимает по-английски.

«Кэптен» отвечал не на вопрос, а на собственную терзавшую его мысль: он не знал, ампутируют ему ноги или нет.

Со светлыми усиками под острым носом он походил на примерного воспитанника колледжа, улегшегося в постель. Как этот поднятый кулак казался случайным, неуместным! Разве не были куда ближе к правде его руки, смиренно вытянутые поверх одеяла, его лицо, которое некая миссис Хаус в каком-нибудь коттедже представляла себе покоящимся на подушке? И была другая правда, о которой не ведала миссис Хаус: правда о ногах, пробитых пятью пулями, ногах, аккуратно закрытых сейчас простыней. Этому мальчику нет и двадцати пяти, подумал Маньен. Что тут скажешь? Мало толку в идее, когда лишаешься обеих ног.

— Э... да, ну так... — сказал Маньен, подергивая у с . — Я забыл... У меня там апельсины внизу...

Он вышел. Увечья волновали его больше, чем смерть; он не любил лгать и не знал, что ответить. Прежде всего он хотел узнать правду, и он взбежал вверх по лестнице к главному врачу.

— Н е т , — сказал ему т о т . — Английскому летчику повезло: кости не задеты. Об ампутации не может быть и речи.

Маньен спустился бегом. Позвякивание ложечек, наполнявшее лестницу, отдавалось в его сердце.

— Кости не за д е т ы , — сказал он, входя. Он забыл о придуманных апельсинах.

Хаус снова приветствовал его поднятым кулаком: в госпитале никто не понимал его языка, и он привык к этому жесту, единственному способу выразить чувство братства.

— Вопрос... ампутация... не встает, — продолжил, путаясь в словах Маньен, с трудом переводя на английский то, что сказал ему врач по-испански.

Не зная, надеяться ли ему или бояться, что это только дружеская ложь, Хаус опустил глаза и, овладев дыханием, спросил:

— Когда я смогу ходить?

— Сейчас спрошу у врача.

Врач примет меня за идиота, подумал Маньен, поднимаясь по ступенькам лестницы.

— Простите, — сказал он врачу, — он спрашивает, когда сможет ходить, мне не хотелось бы ему лгать.

— Через два месяца.

Маньен снова спустился. Едва он произнес «два месяца», как наяву ощутил, что такое ликование узника, которому вернули свободу, — незримое, потому что его ничто не выражало. Хаус не мог пошевелить ногами, его руки неподвижно лежали на простыне, голова на подушке; только пальцы судорожно сжимались и резко выступающий кадык поднимался и опускался. Эти движения, вызванные безграничной радостью, могли быть вызваны и страхом...

В предместьях Мадрида было меньше бойцов, потрясавших из автомобилей винтовками, меньше автомобилей, меньше надписей на этих автомобилях. У Толедских ворот молодежь училась шагать в ногу. Маньен думал о Франции. К этой войне основу немецкой бомбардировочной авиации составляли «юнкерсы». Это были переделанные транспортные самолеты, а Европа, почитавшая немецкую технику, увидела в них военно-воздушный флот. Вооружение «юнкеров» — превосходное — не было эффективным; они не могли преследовать «дугласы», транспортные американские самолеты. Конечно, они были не хуже «дилижансов», купленных Маньеном на всех рынках Европы. Но они не устояли бы ни перед современными французскими моделями, ни перед советской авиацией. Однако все скоро изменится: в мире начались великие кровавые маневры. В течение двух лет Европа отступала перед постоянной угрозой войны, которую Гитлер технически был не способен начать...

### *Глава третья*

Когда Маньен пришел в министерство, Гарсиа читал донесение Варгасу, начальнику штаба.

— Добрый вечер, Маньен!

Варгас приподнялся, но остался на краю дивана; его комбинезон, из-за жары спущенный до пояса, но не стянутый по лености или чтобы всегда быть наготове, словно шкурка кролика, не содранная с лап, мешал ему ходить. Он снова уселся, вытянув длинные ноги в комбинезоне, на его узком и костлявом лице Дон Кихота без бороды появилась приветливая улыбка.



Варгас был одним из офицеров, вместе с которыми Маньен еще до мятежа разрабатывал линии полетов над территорией Испании, и вместе с ним Сембрано и Маньен взорвали рельсы на участке Севилья — Кордова. Он познакомил Гарсиа с Маньеном и велел принести вина и сигарет.

— Поздравляю, — сказал Гарсиа. — Вы одержали первую победу в войне...

— Вот как? Ну что ж, тем лучше. Я передам ваши поздравления: командиром группы был Сембрано.

Они дружелюбно рассматривали друг друга. Маньен впервые лично сталкивался с одним из начальников военной разведки; что касается Гарсиа, то он слышал о Маньене каждый день.

Все в Гарсиа удивляло Маньена: и то, что этот испанец высок и широк в кости, и то, что у него лицо крупного английского или нормандского помещика, и его большой вздернутый нос; и что у этого интеллигента лицо благодушное и веселое, и острые уши; и что этот этнолог, подолгу живший в Перу и на Филиппинах, даже не загорел. Кроме того, он всегда представлял себе Гарсиа в пенсне.

— Небольшая колониальная экспедиция, — снова заговорил Маньен, — всего шесть самолетов... Разбомбили несколько грузовиков на дороге.

— Самой результативной была бомбардировка не дороги, а Медельина, — сказал Гарсиа. — На площадь упали несколько бомб крупного калибра. Заметьте, что серьезно марокканцев бомбили впервые. Колонна вернулась в отправной пункт. Это наша первая победа. Но все же Бадахос взят. Значит, армия Франко соединяется теперь с армией Мола.

Маньен вопросительно посмотрел на него.

И поведение Гарсиа тоже удивляло его: он ждал от него скорее замкнутости, нежели добродушной открытости.

— Бадахос ведь у самой португальской границы, — сказал Гарсиа.

— Шестого «Монтесармиенто» выгрузил в Лисабоне четырнадцать немецких самолетов и сто пятьдесят специалистов, — сказал Варгас. — Восемнадцать бомбардировщиков вылетели восьмого из Италии. Позавчера двадцать прибыли в Севилью.

— «Савой»?

— Не знаю. И еще двадцать итальянских вылетели.

— Помимо восемнадцати?

— Да. В каких-нибудь две недели против нас будет сотня современных самолетов.

Если «юнкеры» были плохи, то бомбардировщики «савой» превосходили по своим качествам всё, чем располагали республиканцы.

Вместе с запахом листьев в открытое окно врываются звуки республиканского гимна из двадцати репродукторов.

— Я продолжаю, — сказал Гарсиа, снова принимаясь за чтение. — Это о Бадахосе, сегодня утром, — сказал он Маньену.

*5 часов. Марокканцы только что заняли форт Сан-Кристоваль, уже почти разрушенный бомбардировкой.*

*7 часов. Вражеская артиллерия, установленная в форте Сан-Кристоваль, непрерывно обстреливает город. Ополченцы держатся. Областная больница разрушена воздушной бомбардировкой.*

*9 часов. Восточные укрепления города в развалинах. На юге горят казармы. У нас остается только два пулемета. Артиллерия Сан-Кристовалья продолжает огонь. Ополченцы держатся.*

*11 часов. Вражеские танки.*

Он отложил напечатанный на машинке текст, взял другой.

— Второй рапорт краткий, — с горечью сказал он.

*12 часов. Танки у собора. За ними следует пехота. Она отброшена.*

— Хотел бы я знать — чем. В Бадахосе было всего четыре пулемета.

*16 часов. Враг входит в город.*

*16 час. 10 мин. Идет бой за каждый дом.*

— В четыре часа? — спросил Маньен. — Но позвольте, в пять нам сообщили, что Бадахос наш.

— Сведения только что поступили.

Маньен представил себе залитые в этот час солнцем улицы тихого города, вымощенные щебнем. В тысяча девятьсот четырнадцатом он начинал войну артиллеристом; там его не удивляло, что он ничего не знает о ходе боя; но там он ничего и не видел. И этот город по-прежнему казался ему тихим и мирным, а там ручьями текла кровь. Он был так же далеко от него, как и от Бога. «Танки у собора...» Собор отображает огромную тень, рядом — узкие улочки, арены цирка...

— В котором часу кончился бой?

— За час до вашего полета, если не считать боев в домах...

— Вот последнее донесение, — сказал Гарсиа, — примерно от восьми часов. Может быть, немного раньше; передано с наших позиций, если таковые еще существуют...

*Арестованные фашисты освобождены целыми и невредимыми. Ополченцы и все подозреваемые задержаны и расстреляны. Расстреляно уже около тысячи двухсот человек. Обвинение: вооруженное сопротивление. Два бойца расстреляны в соборе, на ступенях главного алтаря. Марокканцы носят скапуларий<sup>1</sup> и «Сердце Иисусово»<sup>2</sup> на груди. Расстреливали весь день. Расстрелы продолжаются.*

Маньен вспомнил, как Карлыч и Хайме в знак приветствия размахивали платками над теми, кого расстреливали.

Ночная жизнь Мадрида, республиканский гимн из всех громкоговорителей, песни и приветственные возгласы, то громкие, то тихие, — весь этот гул надежды и энтузиазма, которыми жила эта ночь, снова наполнил тишину. Варгас покачал головой.

— Хорошо, что поют... — И, понизив голос: — Война будет долгой... Народ полон оптимизма. Политические руководители тоже. Майор Гарсиа и я, по своей натуре мы тоже...

Он озабоченно поднял брови. Когда Варгас подымал брови, лицо его становилось добродушным и сразу молодело; и Маньен подумал, что он никогда не представлял себе Дон Кихота молодым.

— Подумайте об этом дне, Маньен: с вашими шестью самолетами (маленькая колониальная экспедиция, как вы говорите) вы остановили колонну. А колонна своими пулеметами смела ополченцев и взяла Бадахос, причем ополченцы отнюдь не были трусами. Эта война будет войной техники, а мы ее ведем, говоря только о чувствах.

— Однако Сьерру отстоял народ.

Гарсиа внимательно рассматривал Маньена. Как и Варгас, он считал, что это будет война техники, и не

---

<sup>1</sup> Скапуларий, или нараменник — наплечная повязка, которую носят у католиков лица духовного звания или особо набожные миряне.

<sup>2</sup> «Сердце Иисусово» — одна из католических эмблем.

верил, что руководители рабочих станут специалистами по мановению волшебной палочки. Он предвидел, что судьба народного фронта отчасти будет находиться в руках специалистов, и все в Маньене интересовало его: его скованность, кажущаяся рассеянность, усталость, от которой он валится с ног, облик старшего мастера (на деле он был инженером-электриком), взгляд за старомодными очками, выражавший энергию и выдержку. В Маньене — из-за усов — было что-то от типичного краснодеревщика парижского предместья Сент-Антуан; и вместе с тем в тюленьих губах, выдававших его годы, в глазах, когда он снимал очки, в жестах, в улыбке проступала сложная духовная жизнь интеллигента. Маньен был инженером одной из главных французских линий, и Гарсиа, который никогда не судил людей по престижности их должностей, старался разглядеть в Маньене просто человека.

— Народ великолепен, Маньен, великолепен! — сказал Варгас. — Но он бессилен.

— Я был на Сьерре, — сказал Гарсиа, тыча в сторону Маньена чубуком своей трубки. — Разберем по порядку. Сьерра озадачила фашистов; позиции там были исключительно благоприятны для герильи<sup>1</sup>, народ способен на очень сильный и очень короткий удар. Дорогой господин Маньен, мы одновременно и питаемся и отравляемся двумя-тремя мифами. Прежде всего — французы. Народ — с большой буквы — совершил Французскую революцию. Прекрасно. Но из того, что сотня пик может одержать верх над плохими мушкетами, еще не следует, что сотня охотничьих ружей уничтожит хороший самолет. Дело еще осложнило русская революция. В политическом отношении она — первая революция XX века. Но, заметьте, в военном отношении она — последняя в XIX. Ни авиации, ни танков в царских войсках, у революционеров — баррикады. Как появились баррикады? Чтобы сражаться против королевской кавалерии, потому что у народа кавалерии никогда не было. Сегодня Испания покрыта баррикадами против авиации Франко. Наш милейший председатель совета министров тотчас после отставки отправился с ружьем на Сьерру... Может быть, вы недостаточно знаете Испанию, господин Маньен? Хиль,

---

<sup>1</sup> Герилья (исп. guerrilla) — партизанская война.

наш единственный стоящий конструктор самолетов, только что погиб на фронте рядовым пехотинцем.

— Позвольте, революция...

— Это не революция. Спросите лучше у Варгаса. Мы — народ, да; но это не революция, хотя мы только об этом и говорим. Я называю революцией следствие восстания, руководимого кадрами (политическими, техническими, какими хотите), спаянными в борьбе, способными быстро занять место тех, кого они уничтожают.

— И главное, Маньен, — сказал Варгас, подтягивая свой комбинезон, — инициатива исходила не от нас, как вам известно. Мы должны сформировать кадры. У Франко вовсе нет кадров, кроме военных, но с ним два известных вам государства. Никогда добровольцы не разобьют современную армию. Врангели были разбиты Красной Армией, а не партизанами...

Гарсиа скандировал слова, отбивая такт своей трубкой:

— Отныне не будет социальных перемен, а тем более революций, без войны, как и войны без техники. А...

Варгас одобрительно кивал головой в такт опускавшейся трубке Гарсиа.

— Люди не пойдут на смерть ради техники и дисциплины, — сказал Маньен.

— В таких обстоятельствах, как наши, меня меньше всего интересует, ради чего люди идут на смерть. Меня интересуют способы уничтожения врага. С другой стороны, заметьте: когда я говорю «дисциплина», я вовсе не подразумеваю то, что в вашей стране называют «муштра». Я думаю о совокупности средств, которые обеспечивают сражающемуся коллективу наибольшую эффективность (у Гарсиа была страсть к определениям). Это та же техника. И не мне вам говорить: кто как козыряет, это меня не интересует.

— То, что происходит сейчас за окнами, есть несомненное благо. И вы не хуже меня знаете, что его не слишком хорошо используют... Вы говорите: мы — не революция. Так будем же революцией! Неужели вы все-таки надеетесь на помощь западных демократий?

— Вы слишком категоричны, Маньен! — сказал Варгас.

Гарсиа направил на обоих свою трубку, словно дуло револьвера.

— Я видел, как демократии выступают против чего угодно, но только не против фашизма. Единственная страна, которая рано или поздно может нам помочь, кроме Мексики, это Россия. А она нам не поможет, потому что она — слишком далеко. А то, что происходит за окнами, господин Маньен, это Апокалипсис братства. Он действительно волнует. Я вас отлично понимаю: это одно из самых будоражащих явлений на свете, и видишь его не часто. Но его нужно преобразовать под страхом смерти.

— Вполне возможно... Но позвольте: со своей стороны я не допускаю, не хочу допустить конфликта между тем, что представляет собой революционная дисциплина, и теми, кто еще не понимает ее необходимости. Мечта о полной свободе, о власти самых достойных и так далее — все это, по моим представлениям, и составляет то целое, ради чего я здесь. Я хочу для каждого такой жизни, которая не определяется лишь тем, что он требует от других. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Боюсь, что вас не полностью ознакомили с ситуацией. Мы имеем дело с двумя государственными переворотами, последовавшими один за другим. Первый, самый обыкновенный семейный пронунсиамьенто<sup>1</sup>, знакомая история: Бургос, Вальядолид, Памплона, вся Сьерра. В первый день мятежа в руках фашистов были все гарнизоны Испании. Теперь у них осталась только треть. В общем, это пронунсиамьенто побеждено. И побеждено Апокалипсисом.

Но фашистские государства, которыми правят не одни дураки, вполне предвидели провал пронунсиамьенто. И вот здесь-то и возникает проблема Юга. Учтите: у нее уже другой характер.

Оставим для ясности слово «фашизм». Во-первых: Франко наплевать на фашизм, это венесуэльский подмастерье диктатора. Во-вторых: Муссолини в глубине души наплевать, устанавливать или нет фашизм в Испании. Моральные проблемы — это одно, международная политика — другое. Муссолини хочет здесь правительству, на которое он мог бы воздействовать. Ради этого он выбрал Марокко как базу для агрессии. Оттуда идет современная армия, с современным вооружением. Поскольку они не могут рассчитывать на

---

<sup>1</sup> Пронунсиамьенто — путч, военный переворот.

испанских солдат (в этом они убедились в Мадриде и в Барселоне), они опираются на немногочисленные, но технически хорошо оснащенные части марокканцев, иностранный легион и т. д.

— В Марокко всего двенадцать тысяч солдат, Гарсиа, — сказал Варгас.

— За сорок тысяч я ручаюсь. Никто здесь не обращал ни малейшего внимания на связь высшего духовенства ислама с Муссолини. Погодите! Францию и Англию ожидают сюрпризы. И если не хватит марокканцев, против нас, дорогой друг, пошлют итальянцев.

— А чего, по-вашему, хочет Италия? — спросил Маньен.

— Трудно сказать. По-моему, хочет контролировать Гибралтар, то есть иметь возможность автоматически превратить англо-итальянскую войну в войну европейскую, заставив Англию вести эту войну силами одного из своих европейских союзников. Во время относительного разоружения Англии Муссолини предпочитал столкнуться с ней один на один, но ее перевооружение в корне меняет итальянскую политику. Все это, правда, только гипотезы доморощенных дипломатов из кафе. А серьезно здесь вот что: самым непосредственным образом опираясь на Португалию, с помощью двух фашистских стран армия Франко — моторизованные колонны, ручные пулеметы, итало-немецкое командование, итало-немецкая авиация — попытается пойти на Мадрид. Чтобы обеспечить свои тылы, она прибегнет к массовому террору, как она это уже начала в Бадахосе. Что же практически мы противопоставим этой второй войне, которая ничего общего не имеет с боями на Сьерре, вот вопрос.

Гарсиа поднялся с кресла, подошел к Маньену, его остроконечные уши четко вырисовывались в свете настольной лампы.

— Для меня, господин Маньен, вопрос стоит просто: народное движение, как наше, или революция или даже восстание, удерживают свои завоевания только с помощью методов, противоположных тем средствам борьбы, которые обеспечили им первую победу. Иногда нужно действовать и вопреки чувствам. Подумайте об этом, исходя из вашего собственного опыта. Ибо я сомневаюсь, чтобы вы создали свою эскадрилью на основе одного только братства.

Апокалипсис хочет всего, сразу; решимость добивается малого — медленно и с трудом. Опасность в том, что в каждом человеке живет тяга к Апокалипсису. А в борьбе эта тяга неминуемо приводит к поражению и по весьма простой причине: в самой природе Апокалипсиса нет будущего.

Даже когда он уверяет, что оно у него есть.

Он спрятал трубку в карман и грустно сказал:

— Наше скромное назначение, господин Маньен, — организовать Апокалипсис.

## АПОКАЛИПСИС В ДЕЙСТВИИ

### I

#### *Глава первая*

Гарсиа, выставив вперед трубку и нос, собирался войти в помещение, где прежде была сапожная мастерская, а теперь находился один из толедских командных пунктов.

Справа от двери была наклеена крупноформатная фотография, вырезанная из иллюстрированного журнала: заложники, которых фашисты увели в Алькасар и о безопасности которых надо будет позаботиться, когда республиканцы начнут штурмовать подземелья. «Супруга такого-то... дочь такого-то... малолетний сын такого-то...» Словно бойцы во время боя смогут припомнить все эти лица. Гарсиа вошел. После яркого солнца, поливавшего голые спины и мексиканские шляпы, темнота показалась ему непроглядной.

— Батарея жарит по нашим! — орал кто-то.

— Какая еще батарея, Негус?

— Наша.

— Я сказал по телефону: «Вы даете сплошные недолеты!» Офицер ответил: «Мне осточертело бить по своим! Вот и меняю прицел».

— Это вызов священнейшим принципам цивилизации и, — произнес голос, весьма аффектированный и с очень заметным французским выговором.

— Одним предателем больше, — проговорил не так громко, голосом, усталым и ожесточенным одно-



временно, капитан, лицо которого Гарсиа уже почти мог разглядеть.

Капитан повернулся к какому-то лейтенанту:

— Возьмите два десятка людей, пулемет, и живым духом туда. — Затем повернулся к секретарю: — Поставьте в известность полковника.

— К этому, с батареи, — сказал Негус, — я отправил троих ребят, посчитаться.

— Да я ведь его уже отстранил, чего вы хотите, если бы ФАИ не вернула его обратно...

Конец Гарсиа не расслышал. Хотя здесь было далеко не так шумно, как на улице. Взрывы периодически дробили «Полет валькирий», гремевший из радиору-пора на площади. Гарсиа притерпелся к полумраку и теперь видел ясно капитана Эрнандеса: капитан походил на испанских королей со знаменитых портретов, которые, в свою очередь, все как один похожи на Карла V в молодости; смутно поблескивали золотые звезды у него на комбинезоне. На стене у него за спиной постепенно вырисовывались правильной формы пятна, окружавшие его фигуру, подобно тому как короткие лучики окружают изваяния некоторых испанских святых: то были подметки и колодки. Их так и не вынесли из мастерской. Рядом с капитаном сидел Сильс, барселонец, один из анархистских функционеров.

Наконец взгляд Эрнандеса обнаружил Гарсиа, тот улыбнулся, зажав трубку в углу рта.

— Майор Гарсиа? Мне звонили из разведки.

Эрнандес пожал Гарсиа руку, они вместе вышли на улицу.

— Что вы собираетесь делать?

— Побывать при вас несколько часов, если позволите. А там видно будет...

— Я направляюсь в Санта-Крус. Попытаемся подвести динамит под корпуса военного губернаторства.

— Я с вами.

Негус, шедший следом за ними, поглядывал на Гарсиа с приязнью: наконец-то из Мадрида прислали человека, у которого хоть морда симпатичная. Уши потешные, крепыш, и вид не слишком буржуйский: Гарсиа надел кожаную куртку. Рядом с Негусом шагал, жестикулируя, хрящеватый тип с седой шевелюрой в романтическом беспорядке, на нем была чесучовая тужурка, галифе и сапоги: капитан Мерсери, которого Маньен послал в военное министерство, а оттуда его

откомандировали в распоряжение военного коменданта Толедо.

— Товарищ Эрнандес, — крикнул кто-то из мастерской, — звонит лейтенант Ларрета, говорит, командир батареи слинял.

— Пусть займет его место.

Эрнандес с отвращением передернул плечами, перешагнув швейную машинку, валявшуюся посреди улицы. Следом за ними шагала охрана.

— Кто здесь командует? — спросил Гарсиа почти без иронии.

— А как по-вашему, кто? Все... Никто... Вы улыбаетесь...

— Я всегда улыбаюсь, такой веселенький тик. Кто отдает приказы?

— Офицеры, сумасшедшие, делегаты от политических организаций, еще всякие, забыл, кто именно...

Эрнандес говорил не враждебно, но с гримасой безнадежности, кривившей щетку черных усов над чуть припухлой губой.

— В каких отношениях ваши кадровые офицеры с политическими организациями? — поинтересовался Гарсиа.

Эрнандес поглядел на него, но не сделал ни жеста, не произнес ни слова, словно никакими средствами нельзя было выразить, насколько эти отношения катастрофичны. В ярком солнечном свете разорались петухи.

— Почему интересуюсь? — спросил Гарсиа. — Потому что любой болван воображает, что облечен властью. Вначале революция — всегда простор для незаконного присвоения власти.

— Это в первую очередь. А потом, что вы хотите, невежество тех, кто является обсуждать с нами специальные вопросы, а сам ничего не смыслит. Чтоб стереть в порошок этих ополченцев, хватило бы двух тысяч солдат, знающих свое дело. В сущности, даже настоящие политические деятели веруют в то, что народ — воинская сила!

— Я — нет. Во всяком случае, на начальной стадии. Так, что еще?

На улицах, поделенных пополам тенью, продолжалась жизнь, среди лотков с помидорами торчали охот-

ничьи ружья. Из радиорупора на площади уже не доносился «Полет валькирий», оттуда звучал напев фламенко, гортанный, интенсивный: в нем было что-то от похоронного песнопения и от отчаянного вопля, каким погоняют верблюдов погонщики. Казалось, он судорожно бьется над городом и над трупным смрадом — так пальцы убитых судорожно хватаются за землю.

— Видите ли, майор, прежде всего, чтобы вступить в социалистическую партию, или в коммунистическую, или в одну из наших либеральных, нужно, хотя бы, представить минимум каких-то поручительств, но в НКТ двери открыты всем и каждому, как двери мельницы. Для вас это не новость, но что вы хотите, для нас это самое серьезное: стоит нам задержать фалангиста, при нем обязательно билет НКТ! Разумеется, есть анархисты, на которых можно положиться, например, этот товарищ позади нас; но куда будет соблюдаться принцип открытых дверей, в эти двери будут врваться худшие беды! Вы уже знаете, что произошло с командиром батареи.

— Те из ваших кадровых офицеров, которые остались на нашей стороне, почему они на нашей стороне?

— Есть такие, которые считают: раз Франко не победил сразу же, стало быть, его разобьют. Другие связаны с кем-то из высшего офицерства, кто враждует с Франко, с Кейпо<sup>1</sup>, с Молой или с прочими; некоторые остались на месте либо из нерешительности, либо из апатичности: были у нас, вот у нас и остались. Но с тех пор как члены политических комитетов стали на них орать, они жалеют, что не отбыли...

Гарсиа в Сьерре уже видел, как офицеры, утверждавшие, что они за республику, одобряли самые нелепые действия ополченцев и плевали им вслед, когда те уходили; видел он кадровых офицеров авиации, которые выносили из офицерской столовой свои столы и стулья, когда туда входили плохо одетые иностранные добровольцы. Но он видел также, как кадровые офицеры с неустанным терпением исправляли ошибки ополченцев, обучали, организовывали... И он знал судьбу офицера-республиканца, назначенного коман-

---

<sup>1</sup> Кейпо де Льяно-и-Сьерра Гонсало (1875—1951) — испанский генерал, активный участник франкистского мятежа.

диром тринадцатого уланского полка, одного из полков, взбунтовавшихся в Валенсии: он отправился в казарму принять командование, прекрасно сознавая, чем рискует: дверь затворилась, и раздался залп.

— Из ваших офицеров с анархистами никто не ладит?

— Отчего же, самые худшие — превосходно. Единственный, кого слушаются анархисты, вернее, те, кто называет себя анархистами, это капитан-француз. Они не очень-то принимают его всерьез, но любят.

Гарсиа вопрошающе поднял трубку.

— Он дает мне нелепые советы по части тактики, — сказал Эрнандес, — и превосходные по части практики.

Все улицы сходились к площади. Она отделяла осаждавших от Алькасара; поскольку Гарсиа и Эрнандес не могли пересечь площадь, они бродили по улицам, и на мостовой времен Карла V отдавалась четкая поступь Гарсиа и небрежная Эрнандеса. Площадь была видна в перспективе из каждой улочки, перегороженной матрацами либо слишком низенькой баррикадой из мешков.

Люди стреляли лежа, сгруппировавшись как попало, подставившись под огонь пулеметов.

— Какого вы мнения об этих баррикадах? — спросил Гарсиа, искоса поглядев на Эрнандеса.

— Такого же, как и вы. Но вот сейчас увидите.

Эрнандес подошел к человеку, который, судя по всему, был при баррикаде за командира: добродушная кучерская физиономия, усищи (ох, что за усищи!), мексиканская шляпа в лучшем виде, татуировка. Над локтем левой руки на резинке — алюминиевый череп.

— Надо бы поднять баррикаду на полметра, рассредоточить стрелков и расставить их у бойниц.

— До-ку-мен-ты? — прорычал мексиканец сквозь грохот ближних выстрелов.

— Как?

— Документы твои, ну, бумаженции!

— Капитан Эрнандес, командующий сокодоверским подразделением.

— Стало быть, ты не из НКТ. Стало быть, чего цепляешься к моей баррикаде?

Гарсиа разглядывал диковинную шляпу: вокруг тульи — венки из бумажных роз, над венком — ма-

терчатая лента с надписью чернилами: «Террор Панчо Вилья»<sup>1</sup>.

— Что это значит — «Террор Панчо Вилья»? — поинтересовался Гарсиа.

— И так понятно, — ответил тот.

— Ну, ясно, — сказал Гарсиа,

Эрнандес молча поглядел на него. Они пошли дальше. Изумительная песня, передававшаяся по радио, кончилась. На одной из улиц перед молочной лавкой выстроились в ряд кувшины, возле каждого лежала картонка с фамилией. Женщинам было скучно стоять в очереди, они оставляли кувшины, молочник разливал молоко, и женщины приходили забрать его, если только не...

Перестрелка прекратилась. Какой-то миг тишину дробили только шаги охраны. Гарсиа расслышал: «Как мне написала госпожа Мерсери, весьма просвещенная женщина, товарищи, они заблуждаются, если полагают, что смоят кровью рабочих позорные пятна своих поражений в Африке!» Вслед за чем из недоступной для пуль улочки послышалось шуршанье самоката.

Перестрелка возобновилась. Новые улицы, уже не простреливающиеся из Алькасара и тоже разделенные пополам тенью; в тени у дверей домов беседовали люди, одни стояли, опираясь на охотничьи ружья, другие сидели. На углу одной из улочек к ним спиной, совсем один, стоял человек в мягкой шляпе и в пиджаке, несмотря на жару, и стрелял.

Улочка упиралась в очень высокую стену одной из пристроек Алькасара. Ни окна, ни бойницы, ни единого противника. Человек методически сажал в стену пулю за пулей, вокруг него вились мухи; расстреляв всю обойму, он вставил новую. Услышав, что шаги у него за спиной стихли, мужчина обернулся. Ему было лет сорок, лицо хмурое.

— Я стреляю.

— В стену?

— Куда могу.

Он поглядел на Гарсиа тяжелым взглядом.

— У вас за этой стеной есть дети?

---

<sup>1</sup> Панчо Вилья (1877—1923) — мексиканский революционер и политический деятель, руководил крестьянским движением на севере Мексики в период мексиканской революции 1910—1917 гг. Настоящее имя — Доротео Аранго, взял псевдоним Панчо Вилья в память о легендарном мексиканском «справедливом разбойнике».

Гарсиа молча глядел на него.

— Вам не понять.

Мужчина отвернулся и снова стал всаживать пули в огромные глыбы.

Они пошли дальше.

— Почему мы до сих пор не взяли Алькасар? — спросил Гарсиа Эрнандеса, легонько постукивая трубкой по тыльной стороне левой руки.

— А как его взять?

Они шагали рядом.

— Никому еще не удалось взять крепость, обстреливая окна... Осада осадой, необходимо идти на приступ. А раз так...

Они смотрели на башни Алькасара.

— Я скажу вам одну вещь, майор, которая удивит вас, особенно в сочетании с трупным смрадом: Алькасар — это игра. Мы перестали ощущать противника. Первое время ощущали, теперь ничуть, чего вы хотите... Так вот, если мы перейдем к решительным мерам, мы почувствуем себя убийцами... Были вы на Сарагосском фронте?

— Нет еще, но я знаю Уэску.

— Когда летишь над Сарагосой, видишь: окрестности сплошь изрыты авиабомбами. Причем стратегические пункты, казармы и прочее бомбят вдесятеро реже, чем пустое пространство. И причиной не трусость и не оплошность: просто гражданская война вспыхивает быстрее, чем успевает зародиться постоянная ненависть. Необходимость есть необходимость, что говорить, и мне не нравятся эти воронки вокруг Сарагосы. Но только я испанец, и я понимаю...

Грохот аплодисментов, растворившийся в солнечном свете, перебил Эрнандеса. Они проходили мимо захудалого мюзик-холла, обклеенного афишами. Эрнандес снова, уже не в первый раз, устало пожал плечами и продолжал еще медленнее:

— Те, кто осаждает Алькасар, — не только толедские ополченцы: дело в том, что многие осаждающие — сами из Толедо; и ребятишки, которых фашисты заперли в Алькасаре, — дети толедских ополченцев, чего вы хотите...

— Сколько всего заложников?

— Не выяснить... Здесь всякое расследование уходит в песок... Немало, причем полно женщин и детей: вначале они хватали кого попало. Причина нашей ско-

ванности — не столько сами заложники, сколько легенда о них... Возможно, их далеко не так много, как мы все опасаемся...

— И никак не выяснить хоть приблизительно?

Так же, как Эрнандес, Гарсиа уже видел фотографии женщин и детей, выставленные в комендатуре (эти-то по крайней мере наверняка были заложниками) и видел фотографии опустевших комнат с брошенными игрушками.

— Мы четырежды пытались...

Пробираясь сквозь облако пыли, летевшей из-под лошадиных копыт (крестьяне-верховые были похожи на монгольских всадников), они подходили к музею Санта-Крус. За зданием музея виднелись окна резиденции военного губернатора, занятой противником; выше был Алькасар.

— Вы хотите попробовать динамит именно здесь?

— Да.

Они прошли сквозь хаос сожженных садов, прохладных залов и лестниц, вошли в музей. Окна были заложены мешками с песком и обломками статуй. Было душно, как в котельной, ополченцы вели огонь, оголившись до пояса, и солнечные блики пятнали им кожу, как черные кляксы пантерью шкуру: неприятельские пули изрешетили верхнюю — кирпичную — часть стены. За спиной у Гарсиа на простертой руке апостола, словно сушащееся белье, висели пулеметные ленты. Гарсиа повесил свою кожаную куртку на вытянутый указательный перст.

Мерсери наконец-то подошел к нему.

— М а й о р , — сказал он, вытянувшись в струнку, — считаю долгом уведомить вас, что прекрасные статуи в надежном месте.

«Будем надеяться», — подумал Гарсиа, держа руку апостола в своей.

Миновав коридоры и темные комнаты, они выбрались на крышу. За морем черепиц, блеклых от солнечного света, до белой линии горизонта пламенела Кастилия — спелые хлеба, порыжевшие цветы. Гарсиа, ошавший от нестерпимой реверберации, ощущавший дурноту от зноя и слепящего света, разглядел кладбище, и ему стало не по себе, словно эти могильные камни, эти склепы, такие белые на охряном фоне, обладали властью, от которой всякий бой становился чем-то ничтожным. Пули на лету мягко жужжали, как

осы, и одновременно слышались звонкие щелчки других пуль, дробивших черепицы. Эрнандес с револьвером в руке пробрался вперед, пригибаясь, за ним следовали Гарсиа, Мерсери и ополченцы с динамитными пакетами; всех нещадно пекло: сзади — солнцем, спереди — жаром, поднимавшимся от перегретых черепиц. Фашисты стреляли с десятиметровой дистанции. Один из милисиано швырнул пакет, тот взорвался на соседней крыше: осколки черепицы выплеснулись через стену, которая прикрывала Эрнандеса, Гарсиа и подрывников; у них над головами наискосок одна за другой проносились пули.

— Скверная работа, — сказал Мерсери.

Подключился пулемет. «Одна граната — и весь этот динамит...» — подумал Гарсиа. Мерсери встал, голова и туловище оказались над стеной. Фашисты видели его только до пояса и палили вразупки по этой немислимой фигуре в чесучовой тужурке и красном галстукe; динамитную шашку Мерсери метнул, словно спортивный диск, уши его были заложены ватой.

Вся крыша взлетела на воздух с адским грохотом. Пока обломки черепиц под вопли падали вниз, Мерсери присел на корточки за стеной рядом с Эрнандесом.

— Вот как надо! — сказал он ополченцам, пробравшимся вдоль стены со своими зарядами.

Лицо его оказалось в двадцати сантиметрах от лица капитана.

— А в четырнадцатом как было? — спросил тот.

— Выжить... Не выжить... Ждать... Делать что нужно... Испытывать страх...

Мерсери и сейчас чувствовал, что ему становится страшно, оттого что он сидит неподвижно. Он схватил револьвер, прицелился, подняв голову, так что она вся оказалась на виду, выстрелил. Он снова действовал; страх прошел. Взорвалась третья шашка.

Кисточка пилотки Эрнандеса была как раз напротив трещины в стене, и стружкой воздуха, словно щелчком, ее перебросило в другую сторону — пилотка упала. Эрнандес был лыс; надев пилотку, он снова помолодел.

Несколько пуль прошили стену либо пролетели в бойницу у самого носа Гарсиа, и он решился наконец погасить трубку и сунуть в карман. Выступ фасада на здании, занятом фашистами, взлетел в воздух, словно сработала мина; справа от Гарсиа рухнул один из



ополченцев, рука, метнувшая динамит, замерла в воздухе, брызнула кровь, Гарсиа показалось — прямо из головы. Нет, из пулевой раны в затылке; голова ополченца уже не загораживала просвет, и видно было, что перед кладбищем, на одном из спусков, ведущих от Алькасара, на фоне бушующего пламени стоит автомашина, невредимая с виду, под нещадным солнцем: два человека впереди, три сзади, и все неподвижны. Десятью метрами ниже на склоне лежала женщина, кудрявая голова упала на сгиб руки, вторая рука была вытянута (голова была обращена вниз), и можно было бы подумать, что женщина спит, если бы не чувствовалось, что тело под опавшим платьем стало таким плоским, каким оно у живых не бывает, прилипло к земле, как прилипают к ней трупы; и еще запах свидетельствовал, что эти призраки, освещенные палящим солнцем, действительно мертвецы.

— Вам известно, есть в Мадриде специалисты подрывники? — спросил Эрнандес.

— Н е т , — ответил Гарсиа.

Он все глядел на кладбище, ощущая нутром то неопределимое и вечное, что было в этих кипарисах и в этих камнях, впитывая всем естеством, вплоть до биенья сердца, всезаполняющий запах гниющей плоти и видя, как ослепительный свет в своем буйстве перемешивает усопших и убитых. Последний заряд взорвался в остатках здания, занятого фашистами.

В зале музея по-прежнему стояли жара и гомон. Динамитчики, ополченцы, сражавшиеся в подземельях, и ополченцы, занимавшие музей, поздравляли друг друга.

Гарсиа снял свою куртку с апостольского указательного перста; подкладка за что-то зацепилась, апостол не хотел отдавать куртку. На лестнице, которая спускалась в какой-то погреб, появились голые до пояса ополченцы, они тащили ворох церковных облачений, смутно поблескивало зеленоватое золото и бледно-розовый шелк; еще один милисиано — в круглой шапочке шестнадцатого века, сдвинутой на затылок, и с татуировкой на одной руке — составлял опись.

— Какой смысл в том, что мы только что проделали? — спросил Гарсиа.

— Разрушение этих зданий исключает для мятежников возможность вылазки. Вот и все; чего вы хотите, это — наименее нелепое... А до сих пор мы пользовались бомбами с заполнением из серной кислоты и бензина, их заворачивали в вату с поташом и сахаром... Ну так все же...

— А кадеты еще пытаются выбраться?

Мерсери, стоявший около Гарсиа, воздел руки.

— Вот величайший обман, который когда-либо знала История!

Гарсиа вопросительно поглядел на него.

— Разрешите доложить, майор.

Но Эрнандес успел опустить ладонь на рукав Гарсиа, и Мерсери, соблюдая субординацию, отступил в сторону. Эрнандес глядел на майора с тем же самым «потусторонним» выражением, которое появилось у него в глазах, когда речь зашла об отношениях между офицерами и организациями анархистов, но сейчас к этому примешивалось удивление. Послышался гул самолета.

— И вы тоже! Служба информации!..

Гарсиа ждал, вскинув голову, пристально глядя на капитана острыми беличьими глазами.

— Кадеты в Алькасар — великолепная пропагандистская выдумка; там и двух десятков не наберется: в момент мятежа все слушатели военного училища были на каникулах. Алькасар обороняют гражданские гвардейцы под командованием офицеров из преподавательского состава общевоинской академии, Москардо<sup>1</sup> и прочих...

Бегом подоспели ополченцы, человек десять, среди них Негус.

— Опять они с огнеметом!

По лестничным переходам Эрнандес, Гарсиа, Негус, Мерсери и ополченцы попали в подвал с высокими сводами, полный дыма и грохота и выходящий в широкий коридор, где дым приобретал багровый оттенок. Мимо пробежали ополченцы, они несли ведра с водой, по ведру в каждой руке или в обхват. Шум боя сюда почти не доносился, запах бензина полно-

---

<sup>1</sup> Москардо Итуарте Хосе (1878—1956) — кадровый офицер, один из активных участников франкистского мятежа.

стью вытеснил запах падали. В коридоре были фашисты.

По достоверным данным, в Алькасаре находились семь кадетов военного училища, шестьсот заложников: девять десятых — женщины, одна десятая — дети и свыше тысячи фашистов.

Струя пламени из огнемета, светившаяся в темноте, почти долетала до бойцов и орошала потолок, стену напротив и пол, двигаясь достаточно медленно, словно действовавший огнеметом фашист старался все время держать на весу длинный столб бензина. Ограниченный дверным проемом, этот прогибающийся пылающий столб не мог задеть ни правую, ни левую стены подzemелья. Бойцы выплескивали воду на стены и на потрескивающее пламя с яростным ожесточением, но Эрнандес все же чувствовал, что при всем том они ждут момента, когда в дверях покажутся фашисты, и по тому, как некоторые жались к стенке, он чувствовал, что они готовы отступить. Люди боролись со стихией, их борьба не имела никакого отношения к войне. Пылающая струя пробиралась вперед, бойцы поливали стены, вокруг слышались плеск воды о камень, клекот пара, слышался адский кашель, сотрясавший людей, которым перехватывало горло от едкого запаха бензина, слышалось жутковатое приглушенное шипенье огнемета. Пламя бурлило все ближе, исступление бойцов нарастало в его голубоватых судорожных языках, отбрасывавших на стены гроздь обезумевших теней, и ошалевшие призраки дергались вокруг близких к помешательству живых людей. И люди были менее реальны, чем эти сумасшедшие тени, чем этот удушливый туман, превращавший все в силуэты, чем дикий клекот воды и пламени, чем отрывистые, как лай, стоны обожженного.

— Я ничего не вижу, — вопил он, прижимаясь к полу, — ничего не вижу! Унесите меня!

Эрнандес и Мерсери схватили его за плечи и оттащивали в сторону, но он все вопил: «Унесите меня!»

В дверях появился сам огнемет. Негус стоял у косяка, прижавшись к стене, держа в правой руке револьвер. Едва только медь огнемета показалась из-за двери, Негус схватил ее всей ладонью левой руки (его взлохмаченная грива размылась голубым ореолом в свете бензинового факела) и тотчас отдернул ладонь, кожа которой осталась на металле. Пули летели со

всех сторон. Фашист отскочил наискосок, чтобы направить огненную струю Негусу в грудь, огонь почти коснулся цели; Негус выстрелил. Мечущий пламя ствол со звоном упал на плиты пола, переместив все тени на потолок; фашист пошатнулся, огнемет ярко высветил снизу его лицо — это был офицер, уже в годах. Затем тело офицера скользнуло мимо Негуса, очень медленно, как в кадре замедленной съемки, и он рухнул головой прямо в огонь; струя бензина заклокотала, голову отшвырнуло, словно пинком. Негус повернул огнемет в обратном направлении: все исчезло в абсолютной темноте, только впереди виднелся подземный переход, полный дыма, в котором темнели силуэты бегущих.

Бойцы беспорядочной толпой ринулись в коридор, куда теперь била струя голубого пламени, крики и выстрелы смешивались в оглушительную неразбериху. Вдруг все погасло, кроме двух фонарей у кого-то в руках, керосинового и электрического.

— Они прекратили подачу бензина, когда увидели, что огнемет у нас, — сказал в темноте чей-то голос. И добавил, после секундной паузы: — Я знаю, что говорю, я возглавлял пожарную команду.

— Стой! — крикнул Эрнандес тоже из глубины коридора. — У них баррикада в конце.

Негус вернулся обратно. Бойцы зажигали фонари.

— Выродком по своему желанию не станешь, — сказал Негус Эрнандесу. — Дело решилось в четверть секунды. Ему хватило бы времени навести огнемет на меня, прежде чем я успею выстрелить.

Я смотрел на него. Нелепая штука — жизнь...

Видно, нелегко сжечь заживо человека, когда он на вас смотрит...

В коридоре, ведшем к выходу, было темно, только в самом конце тускло светлел прямоугольник дверного проема. Негус закурил сигарету, те, кто шли сзади, все разом последовали его примеру: возвращение к жизни. На мгновение огонек спички или зажигалки высветил лицо каждого; затем все снова погрузилось в полутьму. Они шли к залу музея Санта-Крус.

— Над облаками какой-то самолет, — оповестили их крики в зале.

— Что нелегко, — снова заговорил Негус, — так это не колебаться, понятное дело. Вопрос секунд. Два дня назад француз вот тоже отвел огнемет. Может, этот

же самый... И не обжегся, но и того не убил. Француз говорит, он это дело знает, в того, кто на тебя смотрит, огнемёт не нацелишь, это точно. Не решишься... Все-таки не решишься...

## *Глава            вторая*

Каждый день кто-нибудь из офицеров интернациональной авиации заходил в оперативное управление и иногда — в госбезопасность. Маньен почти всегда посылал Скали; благодаря своей образованности Скали без труда находил общий язык с офицерами из главного штаба военно-воздушных сил, которые все почти служили в армии до республики (Сембрано и его пилоты — статья особая). Скали без труда находил общий язык со всеми, включая госбезопасность, — вся его фигура, пока еще коренастая, но из таких, которым суждено расплыться в старости, излучала пронизательное добросердечие. Он в той или иной мере приятельствовал со всеми итальянцами эскадрильи, которые выбрали его своим представителем, да и с большинством остальных летчиков тоже; к тому же он отлично говорил по-испански.

Сейчас его срочно затребовали в полицию.

Вход в здание охранялся пулеметчиками. Близ кресел с разлоаченными вогнутыми спинками, надменных и пустовавших, переминались с ноги на ногу люди со смиренными лицами горемык, характерными для всех войн. В небольшой столовой (из особняка, куда недавно вселилось армейское отделение госбезопасности, ничего не вывезли) между двумя конвоирами психовал Серюзье, приятель Леклера, более чем когда-либо оправдывая свою кличку Летучий Лопух.

— А, Скали, это ты, Скали! Ну, старина!..

Скали подождал, пока он отжужжит.

— Я думал, мне кранты! Кранты, старина!

Поскольку при Скали был служащий госбезопасности, конвойные, стоявшие по бокам Серюзье, немного отодвинулись в сторону, но он не осмеливался чувствовать себя свободнее.

— Ну и шлюхи здесь, старина, ты себе не представляешь!

Даже сидя, он, со своим безбровым лицом и бегающими черными глазами — точь-в-точь как у Пьеро, —

напоминал мотылька, ошалело мечущегося в запертой комнате.

— Секундочку, — сказал Скали, подняв указательный палец. — Начни с самого начала.

— Понимаешь, вот: девчонка подцепила меня на Гран-Виа. Что она говорила, не знаю, но смысл был тот, что она умеет всякое разное. Ну я и говорю: «Ты итальянским способом умеешь?» — «Si»<sup>1</sup>, — она мне в ответ.

Я, значит, пошел с ней, да, но только я приноровился, смотрю — она хочет по-обычному. Ну уж, нет! Договорились, что итальянским способом, я ей говорю, значит, итальянским. Она не хочет понять. Я тогда говорю — это надувательство. Стал одеваться, а она звонит по телефону на испанском. Заявляется толстенная шлюха, она меня не понимает, я ее. Толстенная все показывала на девочку, та тоже была нагишом и очень ничего, и вид у толстенной был такой, будто она хочет мне сказать: «Чего же ты, давай!» Но я-то знал, что девочка ни в какую. Ну, я объясняю толстенной, что не в этом дело, а она решила, я хочу их обжулить. И не думай, что мне так уж нужно, чтобы обязательно итальянским способом, не в этом суть! Нисколько мне не нужно! Просто не терплю, чтобы меня водили за нос; и никогда не допущу. Ты согласен со мной или нет?

— Но почему ты очутился здесь? Не за похотливость же тебя забрали все-таки?

— Ну вот, толстенная видит, я ни в какую, она тоже звонит. Ну, думаю...

— ...Вот сейчас заявится третья, еще толще...

Теперь Серюрье знал точно: Скали посмеивается, все кончится хорошо. Когда Скали улыбался, все его лицо смеялось, и веселый прищур, уменьшавший ему глаза, подчеркивал мулатский склад его физиономии.

— Знаешь, кто заявился? Шесть типов из ФАИ, все при винтовочках. Этим-то, думаю, чего нужно? Давай им объяснять мою ситуацию: не я просил, она сама предложила. С одной стороны, я знал, что они против проституции, значит, и против девочки; с другой стороны, они все добродетельные, значит, скорее всего против итальянского способа, по крайней мере в прин-

---

<sup>1</sup> Да (исп.).

ципе, вегетарианцы несчастные! Хуже всего, что я по-испански ни бе ни ме, а то ведь так-то мужчина мужчину в этой ситуации поймет, сам знаешь. Но чем дальше я объяснял, тем больше эти ребятки хмурили морду. Старина, гляжу, один лезет за револьвером. Чем громче я ему ору, что да, господи, я же не делал итальянским способом, тем хуже шли дела. А обе шлюхи орал: «Итальяно! Итальяно!» Только их и было слышно. Мне в конце концов неловко стало, серьезно, старина. И тут пришло мне в голову показать этим типам из ФАИ мое удостоверение, оно на испанском. Ну они и привели меня сюда. Я добился, чтобы позвонили на аэродром.

— Какое обвинение ему предъявлено? — спросил Скали по-испански служащего госбезопасности.

Тот заглянул в дело.

— Не очень серьезное. Его ведь, знаете, обвинили проститутки... Погодите. Вот: организация шпионажа в пользу Италии.

Через пять минут под всеобщий хохот Серюрье получил свободу.

— Есть кое-что по серьезнее, — сказал служащий. — Два фашистских летчика, оба итальянцы, упали на нашей территории в южной части Толедо. Один погиб, другой доставлен сюда. Военная разведка просит, чтобы вы просмотрели бумаги.

Скали с ощущением неловкости поворошил коротким толстым пальцем письма, визитные карточки, фотографии, квитанции, членские билеты — все, что было обнаружено в бумажнике, и карты, подобранные в кабине. Впервые Скали встретился с итальянцем-врагом в какой-то иллюзорной близости, и тот, с кем он встретился, был мертв.

Один листок его заинтриговал.

Он был удлинённый, как сложенная полетная карта; возможно, он был подклеен к карте пилота. Похоже было, он служил чем-то вроде бортового журнала. Два столбца: *из...* *в...* и даты. 15 июля (стало быть, до мятежа Франко) — Ла-Специя; затем Мелилья — 18, 19, 20; затем Севилья, Саламанка. Сбоку боевые задания: бомбардировка, наблюдение, сопровождение, прикрытие... Наконец, вчерашняя дата: из Сеговии *в...* В незаполненное место следовало бы вписать: смерть.

Но внизу другим вечным пером и явно несколькими днями раньше крупными буквами — под обоими

столбцами сразу — значилось: *Тоledo*; и стояло по-слезавтрашнее число. Стало быть, в самом ближайшем будущем городу грозит крупная воздушная операция.

Из соседней комнаты доносился голос, кричавший в трубку:

— О недостатках наших боевых сил я знаю кое-что, сеньор президент! Но я ни в коем случае, вы слышите, не введу в личный состав штурмовой гвардии людей, за которых не может поручиться никакая политическая организация!

— А если в один прекрасный день нам нужно будет подавить фашистский мятеж и тут окажется, что штурмовая гвардия разложилась? Я под свою ответственность людей без поручительства не беру. В казарме Ла-Монтанья фалангистов хватало, в госбезопасности их не будет!

С самого начала Скали узнал ожесточенный голос начальника госбезопасности.

— У него внучка в кадисской тюрьме, — сказал кто-то из присутствовавших.

Двери захлопнулись, ничего больше не было слышно. Потом открылась дверь столовой — возвратился все тот же служащий.

— В военной разведке тоже есть бумаги. Майор Гарсиа говорит, эти бумаги имеют большое значение. Что касается тех, которые у вас, он просит, чтобы вы разобрали их — отделили бумаги погибшего пилота от бумаг наблюдателя. Все передадите мне, я сразу же отнесу ему. Отчитаетесь перед полковником Маньеном.

— Здесь много печатного материала и карт, уз-нать, кому это принадлежит, невозможно...

— Наблюдатель здесь, допросите его.

— Как хотите, — сказал Скали без восторга.

Чувства, которые вызывал у него этот военнопленный, были так же противоречивы, как те, которые он испытал, просматривая бумаги. Но было и любопытство: позавчера один немецкий летчик, самолет которого упал в Сьерре около самого штаба (где находились два министра, прибывших с инспекторским визитом), был приведен туда на допрос. И поскольку он удивился при виде генералов, будучи уверен, что у красных генералов нет, переводчик назвал ему имена присутствовавших. «Дьявол, — буквально завопил немец, —



только подумать, я же пять раз пролетал над этой хибарой и не сбросил ни одной бомбы!»

— Секунду, — сказал Скали служащему, — передайте майору, что среди бумаг, которые я просмотрел, есть документ, возможно немаловажный.

Он имел в виду полетный лист, поскольку в графе «дата вылета» было проставлено число, предшествовавшее франкистскому мятежу.

Скали перешел в кабинет, где находился под охраной наблюдатель. Пленный сидел за столом, облокотившись на крытую зеленым сукном столешницу, спиной к двери. Войдя, Скали увидел сначала только фигуру, одновременно и гражданскую, и военную: кожаная куртка и синие брюки; но, услышав скрип открываемой двери, фашистский летчик встал и обернулся: в его движениях, в худобе длинных рук и ног, в ссутуленной, даже когда он стоял, спине было что-то чахоточно-нервическое.

— Вы ранены? — спросил Скали нейтральным голосом.

— Нет. Контужен.

Скали положил на стол свой револьвер и бумаги, сел, сделал знак выйти обоим охранникам. Теперь фашист оказался напротив Скали. Лицо у пленного было воробьиное — небольшие глаза, вздернутый нос, такие лица часто встречаются среди летчиков; ему придавали некоторую выразительность заметная костистость и стрижка ежиком. Пленный не походил на Хауса, но был того же поля ягода. Почему у него такое ошеломленное выражение? Скали оглянулся: за его спиной под портретом Асаньи виднелась груда серебряной утвари высотой в метр: блюда, тарелки, чайники, мусульманские кувшины для воды и подносы, часы, столовые приборы, вазы, реквизированные в разных местах.

— Что вас удивляет — все это?

Пленный не сразу понял:

— Все это... что именно? Тут?..

Он показал пальцем на сокровища Синдбада:

— О нет!..

Вид у него был загнанный.

Возможно, пленного удивлял сам Скали: внешне он походил на американского комика — не столько лицом, толстогубым и в черепаховых очках, но с правильными чертами, сколько всем обликом: ноги

слишком короткие по сравнению с туловищем, из-за чего походка у него была как у Чарли Чаплина, замшевая куртка, совсем не в «красном» духе, и автоматический карандаш за ухом.

— Вот что, — проговорил Скали по-итальянски. — Я не полицейский. Я летчик-доброволец, вызван сюда по вопросам технического характера. Меня попросили отделить ваши бумаги от бумаг вашего... погибшего коллеги. И все.

— О, мне безразлично!

— Направо — то, что принадлежит вам, налево — все остальное.

Наблюдатель принялся раскладывать бумаги в две стопки, почти не глядя на них: он смотрел на блики, которыми электролампочки обрызгивали сверху груды серебра.

— Вы потерпели аварию или были сбиты в бою?

— Мы вели разведку. Нас сбил русский самолет.

Скали пожал плечами.

— К сожалению, их у нас нет. Ничего. Будем надеяться, появятся.

В полетном листе значилась отнюдь не разведка, а бомбардировка. Скали испытывал острейшее чувство превосходства человека, знающего правду, над тем, кто заведомо лжет. Ему, однако же, ничего не было известно о том, какие это двухместные итальянские бомбардировщики появились на испанском фронте. Пускай полиция выясняет! Но он сделал пометку. На стопку справа наблюдатель положил какую-то квитанцию, несколько испанских кредиток, маленькую фотографию. Скали чуть приспустил очки, чтобы рассмотреть получше (он был не близорук, а дальновзорук): то была деталь одной фрески Пьеро делла Франческа<sup>1</sup>.

— Это ваше или его?

— Вы же сказали: все мое класть справа.

— Хорошо. Продолжайте.

Пьеро делла Франческа. Скали заглянул в паспорт: студент, Флоренция. Если бы не фашизм, этот юноша мог бы быть его учеником. Вначале Скали подумал, что репродукция принадлежит погибшему, и ощутил смутное сочувствие к нему... В свое время Скали

---

<sup>1</sup> Пьеро делла Франческа (ок. 1420—1490) — итальянский живописец, представитель раннего Возрождения.

опубликовал самую исчерпывающую работу о фресках Пьеро...

(На прошлой неделе допрос, который вел не представитель госбезопасности, а испанский летчик, выпился в спор по поводу рекордов.)

— Вы спрыгнули с парашютом?

— Самолет не горел. Мы приземлились в поле, вот и все.

— Капотировались?

— Да.

— Потом?

Наблюдатель не отвечал, колебался. Скали заглянул в донесение: пилот выбрался первым, наблюдатель — его собеседник — застрял среди обломков машины. К ним подходил крестьянин, пилот выхватил револьвер. Крестьянин подходил все ближе. Когда крестьянин был в трех шагах, пилот вытащил из левого кармана пачку песет, большие белые купюры по тысяче песет. Крестьянин подошел еще ближе, пилот в это время добавил пачку долларов — видимо, приготовил на всякий случай... — все это левой рукой, в правой он держал револьвер. Когда крестьянин подошел к пилоту так близко, что мог дотронуться до него рукой, он опустил свое охотничье ружье и убил его.

— Ваш товарищ не стал стрелять первым. Почему?

— Не знаю...

Скали думал о двух столбцах полетного листа: полет в сторону цели — полет обратно. Обратный путь указал крестьянин.

— Хорошо. Как поступили вы?

— Я ждал... Тут пришли крестьяне, несколько человек, меня отвели в мэрию, потом переправили сюда. Меня будут судить?

— Чего ради?

— Без суда! — вскричал наблюдатель. — Вы расстреливаете без суда!

То был крик не столько ужаса, сколько убежденности в очевидном: этот юноша с момента аварии думал, что в лучшем случае его расстреляют без суда. Наблюдатель встал; обеими руками он вцепился в спинку стула, словно боясь, что его оттащат силой.

Скали чуть подтолкнул очки вверх и пожал плечами с безграничной грустью. Типично фашистское представление о противниках, как о людях, по определению принадлежащих к низшей расе и достойных пре-

зрения, культ собственного превосходства, доступный такому множеству дураков, были не последними среди причин, по которым он покинул свою страну.

— Никто не собирается вас расстреливать, — сказал Скали с неожиданно всплывшей интонацией преподавателя, распекающего ученика.

Наблюдатель не верил. И то, что он явно мучается своим неверием, Скали принимал с удовольствием, словно горькую справедливость.

— Секунду, — сказал он. — Фотографию капитана Вальядо, пожалуйста! — попросил он служащего. Тот принес фотографию, и Скали протянул ее наблюдателю.

— Вы ведь летчик, верно? И можете определить по внутреннему виду кабины, чей самолет, наш или ваш, верно?

Друг Сембрано капитан Вальядо, на счету у которого было два «фиата», был сбит бомбардировщиком около одной из деревень Сьерры. Когда через день республиканцы вновь захватили деревню, они обнаружили в кабине на местах весь экипаж с выколотыми глазами. Бомбардировщиком был тот самый капитан штурмовых гвардейцев, который в день мятежа в казарме Ла-Монтанья выдвинул оружие на огневую позицию, не умея наводить.

Пленный глядел на лица с выколотыми глазами, он стиснул зубы, но щеки у него подрагивали.

— Я видел... пленных красных летчиков... несколько человек. Никогда их никто не пытал...

— Вам еще предстоит понять, что вы и я мало что знаем о войне... Мы в ней участвуем, это разные вещи...

Взгляд пленного все возвращался к фотографии, точно замороженный; в этом взгляде было что-то очень юное, соответствовавшее маленьким оттопыренным ушам; лица тех, на фотографии, утратили взгляд навсегда.

— Как вы... докажете, — проговорил пленный, — что эта фотография... что эту фотографию не подделали?..

— Ладно, значит, это подделка. Мы выкалываем глаза пилотам-республиканцам, а потом фотографируем. Держим для этой цели китайских палачей-коммунистов.

Когда Скали впервые увидел фотографии, изображавшие «зверства анархистов», он тоже предполагал вначале, что это подделка: людям нелегко поверить в низость тех, с кем они сражаются на одной стороне.

Наблюдатель тем временем снова принялся разбирать бумаги, словно ища прибежища в этом занятии.

— А вы вполне уверены, — спросил Скали, — что, окажись я на вашем месте в этот момент, ваши не...

Он оборвал фразу. Из нагромождения серебра выскользнули, словно мыши, звуки, такие серебристые и легкие — один, второй, третий, четвертый, — словно звонили не какие-то часы, затерянные в этой трагической груды вещей, а сами Аладдиновы сокровища. Часы — на сколько еще хватит им завода? — вызвали непонятное время под диалог Скали и пленного вдали от своих владельцев, и в этих звуках, показалось Скали, были такое безразличие, такая причастность к вечности; все, что он говорил, все, что мог сказать, показалось ему таким пустопорожним, что у него пропала охота продолжать. Оба они уже сделали выбор — и этот человек, и он сам.

Скали разглядывал рассеянно карту убитого, водя по линиям автоматическим карандашом, который вынул из-за уха; наблюдатель положил фотографию Вальядо изображением вниз. Скали внезапно снова сдвинул очки пониже, поглядел на пленного, снова поглядел на карту.

Если верить полетному листу, пилот вылетел из Касереса, юго-восточнее Толедо. Но касересская авиабаза, по данным ежедневных наблюдений, проводившихся республиканскими самолетами, неизменно пустовала. Карта же была превосходная, авиакарта всей Испании, и все аэродромы были на ней обозначены прямоугольниками, закрашенными фиолетовым цветом. В сорока километрах от Касереса виднелся еще один прямоугольничек, едва заметный: он был обозначен на бумаге карандашом, грифель которого не оставил черных следов на ее глянцевитой поверхности, а только выдавил бороздки. Другой такой же прямоугольник был выдавлен около Саламанки. Скали нашел и еще на юге Эстремадуры, в горах Сьерры... Все тайные фашистские авиабазы. И авиабазы в районе Тахо, откуда самолеты вылетали на Мадридский фронт.

Скали почувствовал, что лицо его напряглось. Он встретил глаза врага: каждый знал, что его поняли. Фашист не двигался, не произносил ни звука. Голова его все глубже уходила в плечи, и щеки подрагивали, как тогда, когда он рассматривал фотографию Вальядо.

Скали сложил карту.

Послеполуденное небо испанского лета давило на летное поле так же, как полуразбитая машина Дарраса — на осевшие покрышки шасси, искромсанные пулями. За оливковыми деревьями какой-то крестьянин пел андалузскую кантилену.

Маньен, вернувшийся из министерства, собрал все экипажи в баре.

— Охотники для вылета на толедский Алькасар.

Наступила довольно долгая пауза, заполненная мушиным жужжаньем. Теперь каждый день самолеты возвращались с ранеными, на фоне вечернего неба или под ярким солнцем пылали баки, бесшумно планировали машины, у которых отказали моторы, а некоторые просто не возвращались. Фашистам достались и те сто самолетов, о которых говорил Варгас, и много других. У республиканцев не оставалось ни одного современного истребителя, а в районе Тахо действовала вся неприятельская истребительная авиация.

— Охотники для вылета на Алькасар, — повторил Маньен.

## *Глава третья*

Марчелино считал, так же как и Маньен, что за отсутствием истребителей нужно прикрываться облаками. Во время боев в южной части фронта Тахо он часто возвращался с боевых заданий почти на закате; среди налившихся хлебов огромной нарядной брошью виднелся Толедо. Алькасар вздымался в излучине реки, над пылавшими домами вставали длинные столбы дыма, прочеркивали по диагонали желтый камень, и верхние их завитки полнились светящимися пылинками, словно солнечные лучи, пробившиеся сквозь тень. Во всевластной безмятежности поры боевого затишья под закатным солнцем дома, горевшие внизу, дымилась

спокойно, как дымятся трубы над деревенскими крышами. Марчелино, который и пилотаж, и аэронавигацию знал достаточно хорошо, а потому предугадывал каждое действие своих соратников, не возвратился в пилотское кресло; но он был лучшим бомбардиром эскадрильи и прекрасным командиром экипажа. Сегодня где-то внизу под этими облаками сражался Толедо, и неприятельские истребители были совсем близко.

Над облаками небо было удивительно чистым. Ни один вражеский самолет не барражировал подступы к городу; космический покой царил над белым пространством. Судя по времени, самолет уже подходил к Толедо, он шел сейчас на максимальной скорости. Хайме пел; остальные с предельной пристальностью вглядывались вниз тем напряженным взглядом, какой бывает у рассеянных. Вдали на снежной равнине облаков высились облачные горы; время от времени в просвете появлялся лоскут пшеничного поля.

Сейчас самолет, должно быть, был уже над городом. Но ни один прибор не показывал сноса, вызываемого ветром, перпендикулярным движению самолета. Если бы машина прошла сквозь облака, Толедо почти наверное оказался бы в поле видимости; но если самолет еще далеко от Толедо, неприятельские истребители могут подоспеть до начала бомбардировки.

Самолет спикировал.

В ожидании земли, зениток Алькаса и вражеских истребителей одновременно, пилот и Марчелино смотрели на высотомер с такой страстью, с какой никогда не смотрели ни на одно человеческое лицо. Восемьсот — шестьсот — четыреста: все облака да облака. Нужно было снова набрать высоту и выждать, пока в облаках под ними появится разрыв.

Они снова вернулись в чистое небо, неподвижно висевшее над облаками, которые, казалось, повторяли вращение земли. Ветер гнал их с востока на запад, разрывы попадались довольно часто. И самолет, одинокий в беспредельности, тоже был вовлечен в это вращение, неумолимое, как у звезды.

Хайме, стрелок носовой пулеметной установки, сделал знак Марчелино: и тот и другой впервые в жизни физически ощутили движение земли. Самолет, затерявшийся в безучастной гравитации миров, вращавшийся, словно крохотная планета, ждал, пока

под ним мелькнет Толедо, мятежный Алькасар, осаждающие, вовлеченные в абсурдный ритм земных дел.

Как только возник первый разрыв — слишком тесный, — всеми снова завладели инстинкты хищной птицы. Самолет ястребом выписывал круги в ожидании разрыва пошире, и все члены экипажа глядели вниз, напряженно высматривая землю. Казалось, облачный ландшафт вращается с медлительностью планеты вокруг неподвижной машины.

С земли, внезапно появившейся за кромкой очередного разрыва, в двухстах метрах от самолета взлетело крохотное кучевое облачко: орудия Алькасара вели огонь.

Самолет снова спикировал.

Пространство сжалось: небо исчезло, теперь самолет был под облаками; бесконечность исчезла, возник Алькасар.

Толедо был слева, и в ракурсе снижения обрыв над Тахо виднелся отчетливей, чем весь город, чем Алькасар, продолжавший обстрел. Наводчиками были офицеры из артиллерийского училища. Но для летчиков истинным противником были не они, а истребители.

Толедо, вначале наклонный, постепенно обретал горизонтальность. У него был все тот же декоративный вид, такой странный в этот миг; и его все так же пересекали наискосок длинные дымы пожаров. Самолет снова стал выписывать круги, облетая Алькасар по касательной.

Ястребиные круги были необходимы для точности попадания; осаждающие были совсем близко, но каждый круг давал неприятельским истребителям выигрыш во времени. Самолет был на трехсотметровой высоте. Внизу, перед Алькасаром, копошились муравьи в круглых белых-пребелых шляпах.

Марчелино приоткрыл люк, взял прицел, но бомбу не сбросил, проверил: судя по расчету, прицел был правильный. Поскольку Алькасар невелик, и Марчелино опасался, как бы легкие бомбы не отнесло в сторону, он собирался метать только тяжелые; никакого сигнала он еще не подал, и весь экипаж ждал. Пилоту снова поступил сигнал идти кругами. Облачка снарядов приближались.

— Контакт! — крикнул Марчелино.

Стоя посреди кабины в своем комбинезоне, как обычно, неподпоясанном, он казался удивительно не-



уклюжим. Но он не сводил глаз с Алькасара. На этот раз он открыл бомболук полностью, присел на корточки; в машину ворвалась струя холодного воздуха, и все поняли, что бой начинается.

Впервые за время испанской войны люди ощутили холод.

Алькасар повернулся, вошел в поле зрения. Марчелино, теперь лежавший ничком, поднял кулак, считывая секунды. Под самолетом мелькнули белые шляпы. Рука Марчелино словно рванула занавес. Алькасар исчез, над ним взлетели несколько снарядов, не нашедших цели; Алькасар возник снова, сдвинулся вправо, посреди главного двора взвился смутный дымок. Бомба?

Пилот дочерчивал свой круг, снова облетая Алькасара по касательной; бомба, оказывается, угодила в самый центр двора. Снаряды догоняли самолет, он снова подлетел, сбросил еще одну крупнокалиберную, ушел, опять вернулся. Но поднявшаяся вновь рука Марчелино не опустилась: по двору спешно расстилали белые простыни — Алькасар сдавался.

Хайме и Поль боксировали от восторга. Весь экипаж шумно ликовал.

Под самыми облаками появились неприятельские истребители.

#### *Глава                    четвертая*

В комендатуре, бывшей школе, переоборудованной под казарму, Лопес, благожелательный и бурбоистый, заканчивал опрос тех, кому удалось вырваться из Алькасара; то были: женщина-заложница, бежавшая с помощью поодельного пропуска, который выправил ей оружейный мастер, тоже бежавший, и десятеро солдат, взятых фашистами в плен в первый же день; им удалось спрыгнуть в ров.

Женщине было под сорок: крепко сбитая кумушка, черноглазая и черноволосая, с мягким носиком и очень живыми глазами, заметно истощенная.

— Сколько вас было? — спрашивал Лопес.

— Не могу сказать, сеньор командир. Нас ведь там не держали всех скопом, верно? Кто-то из пленных тут, кто-то там. В нашем-то подвале было человек двадцать пять, но это в одном месте только, и, значит...

— Еда была у вас?

Женщина поглядела на Лопеса.

— Больше, чем требуется...

Мимо комендатуры прошагали крестьяне, закинув на левое плечо огромные деревянные вилы, а на правое повесив винтовку. Следом за ними в Толедо въезжали возы, груженные пшеницей, их везли вола, рога которых были украшены дроком.

— Здесь люди говорят, в Алькасаре нечего есть. Не верьте, сеньор командир. Едят конину и дрянной хлеб, верно, но еда есть. Я своими глазами видела, в таких делах разбираюсь получше мужиков, харчевню держу! Есть еда.

— А с самолетов им сбрасывают окорока и сардинки! — заорал один из солдат-беглецов. — Но окорока только офицерью, нам хоть бы раз дали. В такое-то время! Разве не свинство! А гвардейцы еще остаются с такими типами!

— А что им, по-твоему, делать, гвардейцам, а, паренек? — сказала женщина.

— То же, что сделали мы!

— Верно, но скажи-ка, — проговорила она медленно, — ты-то, может, никого не убивал в Толедо...

Лопес так и думал: когда правые были у власти, эти гражданские гвардейцы участвовали в репрессиях в зоне Толедо; и теперь побаивались, что те, кто узнает их в лицо, не будут считаться с условиями капитуляции.

— А жены фашистов?

— Эти-то!.. — сказала женщина.

Ее лицо, почтительное, когда она обращалась к Лопесу, внезапно изменилось.

— Да с чего только все вы, мужчины, так боитесь за женщин! Не все же они вас на свет рожали! Сами-то они, небось, обращались с нами похуже, чем мужчины, хватало духу! Да если все дело в том, что вам за женщин страшно, отдайте бомбы нам!

— Ты не сумеешь бросить, — сказал Лопес с улыбкой, но смущенно.

Он обернулся к двум журналистам, только что вошедшим и уже приготовившим блокноты.

— Мы предложили эвакуировать всех, кто не принимает участия в боевых действиях, но мятежники отказываются. Они утверждают, что их жены хотят остаться с ними.

— Вон как? — отозвалась женщина. — Та, которая только что родила, хочет остаться? Та, которая пыталась застрелить своего мужа из револьвера, хочет остаться? Может, чтоб еще разок попробовать? Та, которая воеет на луну, воеет час за часом, видно, сошла с ума, она что — хочет остаться?

— И все время слышишь! — сказал один из солдат. Прижав кулаки к ушам, он крикнул истерически: — Слышишь и слышишь! Слышишь и слышишь!

— Товарищ Лопес, — звали с улицы, — звонок из Мадрида.

Лопес, обеспокоенный, вышел. Он любил колоритные сценки, но не сцены страданий, и теперь приходил в бешенство от того, что у него перед глазами все время маячит переполненный ненавистью Алькасар, где во дворах расстреливают и где рождаются дети. Как-то утром он услышал — ни одного лица не было видно — донесшийся из-за стен крик: «Мы хотим сдаваться! Хотим...» Последовал залп, и все стихло.

По телефону он сообщил вкратце все, что узнал от заложников: немного.

— В целом, — сказал он, — сведения подтверждаются, мы должны спасти этих людей!

— Фашисты хватают заложников по всей Испании.

Слышно было очень плохо: во дворе кто-то из офицеров играл на пианино, стоявшем прямо на земле, с патефона доносилась старая румба, и ближайший громкоговоритель перевирал последние известия.

Голос из Мадрида настаивал, уже громче:

— Согласен, ради заложников надо сделать невозможное, но необходимо покончить с Алькасаром и отправить бойцов в Талаверу. Вы должны все-таки дать какой-то шанс алькасарским мерзавцам, возможность сдаться. Не мешкая продумайте форму посредничества. Что касается представителей дипломатического корпуса, это мы можем взять на себя.

— Они просили священника. В Мадриде священники есть.

— Религиозное посредничество, хорошо. Мы позвоним непосредственно коменданту крепости. Спасибо.

Лопес вернулся в дом.

— Женщины, — рассказывал один из солдат, — те все сидят по подвалам: бомбят ведь. Ну и, сами понимаете, женщин, которые из наших, держат поблизости

от конюшен, куда нас засадили. Своих-то они в другом месте держат. А в том месте вонища — не продохнуть: в манеже человек тридцать убитых, еле присыпаны землей, да лошадиные остовы с остатками мяса. Не продохнуть. Убитые — это те, кто хотели сдаваться. Ну а мы — посерединке, где-то между теми, кто у нас под ногами, и теми, кто разостлал простыни во дворе возле конюшни, где мы сидели, когда прилетел самолет... От самолета нам радости мало, понятно, все-таки нас же бомбит, а в то же время мы рады были... И тут они расстелили простыни.

— Кто — они? Гражданские гвардейцы?

— Нет, солдаты. А те позволили. Но когда самолет улетел, они навели пулеметы. Ребята тут же покатались прямо на свои же простыни, куда придется. Потом гвардейцы пришли за простынями. Белыми их уже не назвать было. Гвардейцы за уголок тащили, словно платки носовые. Тут мы и поняли: нас ждет то же самое, и прыгнули, авось повезет...

— Не знаешь, не убили они одного по фамилии Моралес, капрал он? — спросил чей-то голос. — Он мой брат, вот и спрашиваю. По взглядам скорее социалист...

Солдат не ответил.

— Знаешь, — сказала женщина устало, — они всех убивают...

Когда Лопес вышел из комендатуры, дети возвращались из школы. Лопес шел, размахивая руками, не глядя под ноги, и чуть не шагнул в черную лужу; какой-то анархист придержал его за плечо, словно Лопес едва не наступил на раненое животное.

— Аккуратней, старина, — сказал он. И добавил уважительно: — Кровь левых.

## *Глава пятая*

«Пеликаны» частью дрыхли на банкетках в баре, частью... Механики, те были на рабочих местах, пилоты и бортстрелки — четверть всего состава — один Бог ведает где. Маньен мысленно задавался вопросом, как ему установить хоть подобие дисциплины, не прибегая к средствам принуждения. При всей своей безалаберности, разболтанности, склонности к пустозвонству и позерству, «пеликаны» сражались один против семе-

рых. Испанцы Сембрано — то же самое; пилоты «бреге», в Куатро-Вьентосе и Хетафе — то же самое. Потери среди них составляли более половины личного состава. Некоторые наемники, в том числе Сибирский, заявили, что каждый второй месяц будут сражаться бесплатно, чтобы не поступаться ни братством, ни деньгами. Святой Антоний, появлявшийся ежедневно с сигаретами, биноклями и грампластинками, становился все печальнее и печальнее. Бомбардировщикам, вылетавшим без истребителей (где взять истребители?) удавалось проскочить над Сьеррой благодаря заре, осторожности, тому, что бой разгорелся где-то в другом месте; возвращался из них каждый второй, превратившийся в решето. В баре все возрастало потребление спиртного.

Теперь кое-кто из «пеликанов» встал, люди разгуливали по террасе перед баром, словно заключенные по тюремному двору. Скали тоже ходил взад-вперед, за ним семенял Коротыш. Все знали, что самолет Марчелино еще не вернулся. Бензина у него в баках оставалось, самое большее, еще на четверть часа.

Энрике, один из комиссаров пятого полка, называвший себя мексиканцем, что, возможно, соответствовало истине, расхаживал с Маньеном по летному полю. Обоих освещало сзади закатное солнце, и в последних его лучах «пеликаны» смутно различали усы Маньена, торчавшие из-за индейского профиля комиссара.

— Конкретно, сколько у вас остается самолетов? — спросил этот последний.

— Лучше не говорить. Как регулярная авиация мы уже не существуем... И все еще дожидаемся сносных пулеметов. О чем думают русские?

— О чем думают французы?

— Хватит об этом. Понимаете, говорить стоит об одном — что еще можно сделать. Если не подвернется особая удача, я вылетаю на бомбардировки ночами либо полагаюсь на облачность. Хорошо еще, осень близко...

Он поднял глаза: ночь обещала быть ясной.

— Сейчас меня в первую очередь заботит погода. Авиация у нас пока партизанская. Либо самолеты доставят из-за границы, либо нам останется лишь одно — умереть как можно достойнее.

Что я забыл? Ага, да: скажите-ка, что там за история с русскими самолетами, будто бы оказавшимися в Барселоне? В Барселоне я был позавчера. В открытом ангаре видел великолепный самолет: повсюду красные звезды, на хвосте серп и молот, вся машина в надписях, и спереди стоит «Ленин». Но русское «И» (он начертил букву пальцем в воздухе) изображено задом наперед, в виде испанского «N». Тут я подошел поближе, пригляделся и узнал самолет, который вы купили, тот, что принадлежал Негусу...

В свое время Маньен приобрел в Англии личный самолет императора Хайле Селассие. Довольно быстрый, с большими запасами горючего, но трудный в управлении. Один пилот повредил машину, и ее отравили на ремонт в Барселону.

— Тем хуже. Чего ради подобный камуфляж?

— Детские игры, магический обряд с целью наколдовать появление настоящих русских самолетов? А может, если копнуть поглубже, провокация?

— Тем хуже. Гм-м... да, вот что: а у вас как идут дела?

— Ничего. Помаленьку.

Энрике остановился, вынул из кармана лист бумаги с какой-то схемой, осветил электрическим фонариком. Темнота сгушалась.

— На нынешний момент все это, конкретно, уже сделано.

Схема воспроизводила в общих чертах структуру штурмовых батальонов. Маньен думал о том, что сарагосские бойцы ушли на фронт без боеприпасов, о том, что почти по всему Арагонскому фронту нет телефонов, о том, что скорую помощь подменяют алкоголем, а в Толедо женщины-бойцы идут к раненым с йодом...

— Вам удалось восстановить дисциплину?

— Да.

— Средствами принуждения?

— Нет.

— Как же?

— Коммунисты дисциплинированы. Они подчиняются секретарям ячеек, подчиняются военным комиссарам, часто совмещающим обе эти обязанности. Многие из тех, кто хочет бороться против фашистов, приходят к нам потому, что их привлекает организованность. Раньше наши были дисциплинированы, по-

тому что они — коммунисты. Теперь многие становятся коммунистами из тяги к дисциплинированности. В каждой воинской части у нас теперь немало коммунистов, они и сами соблюдают дисциплину, и считают долгом воспитывать других в том же духе; коммунисты образуют крепкое ядро, у них учатся организованности новички, а потом, в свой черед, тоже образуют ядро. В конечном счете количество людей, понимающих, что у нас они смогут с пользой работать против фашистов, вдесятеро превосходит то количество, которое мы можем организовать сами.

— Кстати, я хотел еще поговорить с вами о немцах...

Тема эта раздражала Маньена, поскольку его несколько раз уже дергали по поводу немцев.

Энрике взял собеседника под руку; то, что этот могучий детина сделал такой жест, удивило Маньена. Он делил коммунистов-вожаков на два разряда: военачальники и аббаты; при мысли, что этого здоровяка, участника пяти гражданских войн, ростом и силой не уступавшего Гарсиа, следует причислить ко второму из разрядов, Маньену становилось неловко. И все же у него было впечатление, что губы Энрике, губы мексиканской статуи, подчас выпячивались, как у торговца коврами, нахваливающего товар.

Чего требовала госбезопасность? Чтобы трое немцев больше не появлялись на аэродроме. Крейфельд, по мнению Маньена, внушал подозрения, впрочем, толку от него не было; бортстрелок, напросившийся в инструкторы, и не владел пулеметом, и всегда исчезал по партийным делам, когда требовался Карлычу; Карлыч выполнял всю работу один. История Шрейнера была грустной, и он безусловно не был ни в чем замешан. Но Шрейнер в любом случае должен был уйти в ПВО.

— Видите ли, Энрике, чисто по-человечески все это тягостно, но у меня нет никаких оснований — основательных, веских — отказываться от выполнения того, что госбезопасность требует и вправе требовать. Я не коммунист; стало быть, в данном случае не могу сослаться на то, что должен подчиниться дисциплине моей партии. В данный момент, когда мы действуем всего лишь вылазками, хорошие отношения между авиацией, госбезопасностью и военной разведкой имеют для нас слишком большое практическое значе-

ние, а потому я не могу ставить их под угрозу во всей этой истории. Создалось бы впечатление, что я упрямяюсь из чистого упрямства. Вам понятно, что я хочу сказать.

— Немцев надо бы оставить, — сказал Энрике. — Партия за них отвечает... Вам ведь ясно, если немцев удалят с аэродрома, для всех их товарищей это будет значить, что подозрения небезосновательны. В конечном счете, нельзя ставить в такое положение людей, которые на протяжении многих лет проявляют себя, как достойные члены партии.

Бортстрелок был членом компартии, Маньен — нет.

— Я убежден, что Шрейнер вне подозрений; но не в этом дело. Вы получаете сведения от парижского руководства немецкой компартии, вот вы и поручитесь перед испанским правительством. Я никакими данными не располагаю и не стану решать походя, по интуиции вопрос такой важности. К тому же как летчики все трое ничего не стоят, вам известно.

— Можно было бы устроить обед, я передал бы приветствия от испанских товарищей, а вы бы приветствовали немецких... Мне говорят, в эскадрилье ощущается некая враждебность по отношению к немцам, некоторый национализм...

— У меня нет ни малейшей охоты провозглашать здравицы в честь людей, поставляющих вам подобные сведения.

Уважение, которое Маньен испытывал если не к самому Энрике как к человеку (он совсем его не знал), то к его работе, усугубляло его раздраженность. Маньен видел своими глазами, как формировались батальоны пятого полка. Эти батальоны, в общем и целом, были лучшими в ополчении, всю армию народного фронта можно было бы создать, пользуясь тем же методом. Они решили проблему — главнейшую — революционной дисциплины. Итак, Маньен считал Энрике одним из лучших организаторов испанской народной армии; но он был убежден, что этот силач, вдумчивый, осторожный, усердный, на его, Маньена, месте не сделал бы того, чего сам от него требовал.

— Партия обмыслила этот вопрос и считает, что немцев надо оставить, — сказал Энрике.

Маньен чувствовал ожесточение, памятное ему со времен борьбы между социалистами и коммунистами.



— Позвольте. Для меня революция значит больше, чем коммунистическая партия.

— Я не маньяк, товарищ Маньен. И в свое время был троцкистом. На сегодняшний день фашизм работает на экспорт. Экспортирует готовую продукцию: армию, авиацию. При таких обстоятельствах я считаю: конкретная защита всего того, что мы должны защищать, возлагается уже не на мировой пролетариат, но, в первую очередь, на Советский Союз и коммунистическую партию. Сотня русских самолетов принесла бы нам больше пользы, чем пятьдесят тысяч бойцов, не умеющих воевать. Но действовать заодно с партией означает действовать заодно с ней безоговорочно: партия — это единое целое.

— Да. Но русских самолетов-то здесь нет. Что касается ваших трех... приятелей, если компартия за них ручается, пускай сама и поручится за них перед госбезопасностью или даст им работу у себя. Ничего не имею против.

— Значит, в конечном счете, вы настаиваете на их удалении?

— Да.

Энрике выпустил локоть Маньена.

Теперь они оказались в полосе света, падавшего из окон. Индейское лицо комиссара, прежде скрытое темнотой, теперь было освещено, его легче было разглядеть, потому что, выпустив руку Маньена, Энрике чуть отодвинулся от собеседника; и Маньену вспомнилась одна фраза Энрике, которую кто-то ему процитировал и которую он забыл: «Для меня любой товарищ по партии значит больше, чем все маньены и все гарсии в мире».

— Видите ли, — заговорил Маньен, — я представляю себе, что такое партия; я состою в слабой партии: левое революционное крыло социалистической. Когда нажимают на кнопку выключателя, все лампочки должны вспыхнуть одновременно. Если некоторые не срабатывают, тем хуже, к тому же большие лампочки капризны. Стало быть, партия прежде всего...

— Вы оставите немцев? — спросил Энрике с подчеркнутым бесстрашием — не для того, чтобы изобразить равнодушие, а скорее для того, чтобы показать, что он не пытается влиять на Маньена.

— Нет.

Комиссара интересовали выводы, а не психология.

— Salud, — сказал он.

Ничего не попишешь: пусть Маньен организовал интернациональную авиацию, подобрал людей, беспрестанно рисковал жизнью, десятки раз ставил под удар, не имея на то ни малейшего права, компанию, которую возглавлял, все равно он не был своим. Он не был членом партии. Его слово значило меньше, чем слово бортстрелка, не умевшего разобрать пулемет; и человек, ценимый Маньеном и как личность, и как деятель, был готов, ради удовлетворения далеко не самых возвышенных притязаний своего товарища по партии, требовать, чтобы он, Маньен, повел себя, как мальчишка. И считалось возможным отстаивать подобную позицию. «Лампочки должны зажечься в каждой комнате». Но все-таки организатором лучших республиканских частей был не кто иной, как Энрике. Да и сам он, Маньен, согласился с удалением Шрейнера. Действие есть действие, а не справедливость.

Теперь темнота стояла почти непроглядная.

Он приехал в Испанию не для того, чтобы поступать вопреки справедливости...

Над летным полем прогремело несколько дальних выстрелов.

Каким все это было фарсом по сравнению с толпами крестьян, бегущих вместе со скотиной из пылающих деревень!

Маньен впервые нутром ощутил то особое чувство одиночества, которое порождает война; и топча иссохшую траву, он поспешил в ангар: там у поврежденных самолетов трудились люди, объединенные общей целью.

Ночь подступила прежде, чем успел вернуться Марчелино, а раненым пилотам не рекомендуется совершать ночные посадки. Механики, казалось, следили за тем, как темнеет небо; но на самом деле, напрягая зрение и нервы в тревожном покое сумерек, они следили за невидимым состязанием между темнотой и самолетом — кто поспеет раньше.

Появился Атиньи, он не спускал глаз с гряды холмов.

— Мой милый Зигфрид, коммунисты действуют мне на нервы, — сказал Маньен.

Испанцы и все, кто любили Атиньи, именовали его Зигфридом: он был белокур и красив. Но в лицо его называли так впервые; он не обратил внимания.

— Каждый раз, — сказала она, — когда замечаю какие-то трения между партией и человеком, который, подобно вам, хочет того же, чего хотим мы, мне становится очень грустно.

Из всех коммунистов эскадрильи наибольшее уважение Маньену внушал именно Атиньи. Маньен знал, что Атиньи относится к Кюрцу и Крефельду неприязненно. Ему хотелось поговорить. И он знал, что нервы у Атиньи напряжены, как у него самого, до предела в ожидании Марчелино, с которым Атиньи дружил.

— На мой взгляд, за партией в этой истории числится немало ошибок, — сказал Атиньи. — Но вы уверены в том, что за вами их нет?

— Человек импульсивный никогда не застрахован от них, мой мальчик...

Маньен говорил не покровительственно, а скорее отеческим тоном.

— Надо подбить итоги...

Маньену не хотелось считаться упреками.

— Вы думаете, — сказал он все-таки, — мне неизвестно, как на меня нападают среди коммунистов с тех пор, как Кюрц играет там роль грязного осведомителя?

— Он не осведомитель. Он боролся в подполье в гитлеровской Германии; те из наших, кто борется там, возможно, лучшие из лучших. В целом история нелепая, и тут ничего не поделаешь. Но вы-то революционер, человек с опытом, почему вам не быть выше всего этого?

Маньен поразмыслил.

— Если мне отказывают в доверии те самые люди, вместе с которыми я должен сражаться, и счастлив, что сражаюсь с ними вместе, то стоит ли сражаться, мой мальчик? Уж лучше подохнуть...

— Если ваш сын не прав, вы его разлюбите?

Маньен впервые осознал, какой глубинной нутряной связью связаны лучшие из коммунистов со своей партией.

— Хайме полетел с Марчелино? — спросил Атиньи.

— Да, носовым стрелком.

Темнота густела все быстрее.

— Наши чувства и даже наши ж и з н и , — вернулся к теме А т и н ь и , — значат очень немного в этой войне...

— Да. Но если ваш отец не прав...

— Я не сказал «отец», я сказал «сын».

— У вас есть дети, Атиньи?

— Нет. А у вас есть, верно?

— Да.

Они прошли еще несколько шагов, вглядываясь в небо, высматривая Марчелино. Маньен знал: Атиньи собирается что-то сказать.

— Вам известно, кто мой отец, товарищ Маньен?

— Да. Вот потому я и...

То, что Атиньи (это был псевдоним) считал тайной, знала вся эскадрилья: его отец был одним из фашистских руководителей у себя в стране.

— Дружба не в том, чтобы быть с друзьями, когда они правы, а в том, чтобы быть с ними, даже когда они не правы, — сказал Атиньи.

Они поднялись к Сембрано.

Маяк был наготове, все наличные автомашины разместились вокруг поля, водители получили приказ включить фары при первом сигнале.

— Так давайте сейчас и включим! — предложил Маньен.

— Может, ты и прав, — ответил Сембрано. — Но, по-моему, лучше дождаться. Вдруг заявятся фашисты, не стоит освещать для них местность. И вообще, по-моему, лучше дождаться.

Маньен знал, что Сембрано предпочитает не давать свет из суеверия; теперь почти все летчики стали суеверными.

Окна были открыты; до войны начальник аэропорта в это время обычно пропускал стаканчик виски. Земля дышала теплом, характерным для здешних ночей в конце лета.

— Свет! — крикнули все трое в один голос.

Послышалась сирена — позывные машины Марчелино.

Широкий луч аэродромного маяка протянулся вдоль пустого летного поля между короткими штрихами света от автомобильных фар. Выпятив усы, Маньен скатился по лестнице, Атиньи за ним.

Внизу Маньен определил, где самолет, по повороту голов, одинаковому у всех «пеликанов». Никто не увидел, как самолет подлетел, но теперь, вслушиваясь

в гуденье, все видели, как машина кружит, идя на посадку. Аспидное небо становилось с мига на миг все темнее, и на его фоне скользил силуэт самолета, словно вырезанный из бумаги и вырисовывавшийся в центре бледно-голубого ореола четко, как памятник, освещенный ртутными фонарями.

— Внешний мотор горит, — сказал чей-то голос.

Самолет увеличился: он перестал кружить, носом пошел на посадку. Крылья, превратившиеся в штрихи, исчезли в ночи: у самой земли темнота была гуще всего. Взгляды следили теперь за смутным пятном фюзеляжа, к которому хищной птицей несло голубое пламя, словно вырывавшееся из огромного автогенного аппарата; казалось, машина никогда не долетит до земли: когда экипаж обречен, самолет падает медленно.

— Бомбы! — пробормотал Маньен, придерживавший обеими руками дужки очков.

В тот миг, когда машина коснулась земли, фюзеляж и огонь сблизилась, словно перед ожесточенной рукопашной. Фюзеляж подпрыгнул в языке пламени, оно перегнулось пополам, осело, снова взвилось, зашипев: самолет капотировал.

Пунктуальная, как смерть, проезжала, трясясь на ухабах, машина скорой помощи. Маньен вскочил на ходу. «Пеликаны», которые со всех ног разбежались кто куда, когда увидели, как будет садиться самолет (пилоты орали на них, но сами бежали следом), теперь металась вокруг широкого вертикального огненного столба, и тени их мелькали, словно спицы вращавшихся колес. Пламя снова отстранилось от фюзеляжа, освещая его вибрирующим блеклым светом. Фюзеляж треснул пополам, как яйцо, и «пеликаны» вытаскивали из кабины людей, словно приклеенных к ней собственной кровью, теми осторожными движениями, которыми отделяют повязку от раны, работали напряженно и терпеливо в угрожавшем запахе бензина. Огнетушители хлестали огонь, а из машины тем временем извлекали раненых и убитых, и товарищи их сновали в сумятице теней; в иссиня-бледном свете казалось, что движущиеся мертвецы оказывают помощь неподвижным.

Трое раненых, трое убитых, в том числе Марчелино: шестеро, не хватает одного бортстрелка. Это был Хайме, он выбрался из машины гораздо позже остальных.

ных. Руки — дрожащие — вытянуты вперед, кто-то из товарищей за поводыря: разрывная пуля, разорвалась прямо перед глазами. Ослеп.

Придерживая убитых за ноги и за плечи, летчики отнесли их в бар. Позже за ними придет фургон. Марчелино был убит пулей, попавшей ему в затылок, а потому крови вытекло немного. Несмотря на трагическую пристальность глаз, которых никто не закрыл, несмотря на мертвенное освещение, маска была красивой.

Одна из официанток глядела на убитого.

— Надо подождать еще час, самое малое, только тогда начинаешь видеть д у ш у , — сказала она.

На глазах у Маньена умерло немало людей, и ему знакомо было то умиротворение, которое смерть иногда налагает на человеческие лица. Морщины и складки исчезли вместе с думами и тревогами; и глядя на лицо Марчелино, с которого жизнь была смыта, но волевое напряжение не сошло благодаря открытым глазам и кожаному шлему, Маньен размышлял о фразе, которую только что услышал, которую столько раз в разной форме слышал в Испании: лишь через час после смерти из-под маски человека начинает проступать его истинное лицо.

## II

### *Глава первая*

Фашисты удерживали три хутора — желтоватый камень, черепицы того же цвета — в ложбине, откуда для начала их нужно было выбить.

Операция была заурядная. Побережье Тахо между Талаверой и Толедо — сплошь нагромождения глыб, а потому при соблюдении порядка и осторожности бойцы могли подобраться к хуторам незаметно. Ночью Хименес затребовал гранаты. Офицер, отвечавший за обеспечение боеприпасами, был немец-политэмигрант, и на рассвете Хименес, потрясенный подобной расторопностью, увидел, как подъезжают грузовики, груженные гранатами — плодами гранатового дерева. Наконец, должным образом затребованные, были доставлены настоящие гранаты.

Одна из рот Хименеса была сформирована из необстрелянных ополченцев, всего несколько дней как прибывших. Хименес заблаговременно укомплектовал роту своими лучшими унтер-офицерами и сегодня командовал ею сам.

Он распорядился приступить к учебному метанию гранат.

В третьей роте — той, которая состояла из новобранцев, — вышла заминка. Один милисиано выдернул из гранаты чеку, но бросать не торопился. «Бросай!» — заорал сержант. Граната могла разорваться у бойца в руке, от бедняги осталось бы мокрое место. Хименес со всего маху ударил его по руке ниже локтя — граната взорвалась в воздухе, милисиано упал, по лицу Хименеса потекла кровь.

Милисиано был ранен в плечо. Легко отделался. Как только его перевязали и отправили в тыл, стали готовить перевязку для Хименеса. «Оставьте турбаны маврам<sup>1</sup>, — сказал тот, — мне дайте пластырь». Вид получился куда менее геройский: казалось, его подлатали почтовыми марками.

Хименес встал около следующего гранатометчика. Больше ничего чрезвычайного не произошло. Человек двадцать было забраковано.

Предварительно Хименес поручил провести рекогносцировку местности Мануэлю: партийное руководство мудро поставило того рядом с офицером, у которого Мануэль мог научиться многому. Хименес его любил: дисциплинированность Мануэля не коренилась ни в склонности подчиняться, ни в склонности командовать, она была естественной и осознанно действенной. И Мануэль был человек образованный, а полковник ценил образованность. То, что этот инженер-звуккооператор, превосходный музыкант, оказался природным военачальником, изумляло полковника, который о коммунистах судил по нелепым рассказам и не имел понятия о том, что активист-партиец, занимающий более или менее ответственный пост, своими обязанностями поставлен в положение, заставляющее его и заботиться о строжайшей дисциплине, и владеть искусством убеждения; он одновременно и руководи-

---

<sup>1</sup> В Испании марокканцев традиционно именовали маврами в память о нашествии мавританских племен на территорию Испании в 711 г. и о борьбе против мавританского владычества, успешно завершившейся в 1492 г.

тель, и энергичный исполнитель, и пропагандист, и потому есть немало шансов, что из него получится превосходный офицер.

Атака первого хутора началась. Утро было тихое, листья деревьев каменно неподвижны, лишь время от времени задувал ветерок, очень легкий, почти прохладный, словно он уже возвещал осень. Ополченцы наступали в боевом порядке, действуя гранатами, прячась за каменными глыбами и под прикрытием снайперов, так что фашистам становилось все трудней и трудней удерживать позицию. Вдруг человек тридцать ополченцев выскочили на скалы и с воплями открыто ринулись в атаку по-африкански.

— Вот оно! — пробурчал Хименес, стукнув кулаком по дверце автомашины.

Человек двадцать ополченцев уже попадали на камни, кто скорчился, кто раскинул руки крестом, кто прижимал к лицу кулаки, словно прикрываясь; чья-то кровь, поблескивая под солнцем, постепенно заливала плоскую глыбу сахарной белизны.

К счастью, прежде чем это случилось, остальные ополченцы успели миновать последние скалы по обе стороны от хутора и не видели гибели товарищей. Размолотые гранатами черепицы взлетали фонтанчиками. Через четверть часа хутор был взят.

Второй хутор должна была брать рота новичков. Они видели все, что произошло.

— Ребятки, — сказал Хименес, взобравшись на капот «фордика», — хутор взят. Все, кто нарушили приказ и вышли из-за скал, выводятся из состава колонны, даже если ворвались на хутор первыми. Не забывают, тот, кто видит нас, я хочу сказать — История, тот, кто судит нас ныне и присно, требует от нас той храбрости, которая приносит победу, а не той, которая приносит утешение.

Если следовать заранее намеченными путями, то мы в полной безопасности подойдем к противнику на двести метров. Доказательство: я поеду вместе с вами вот в этой машине. Никто не будет даже ранен, пока не подойдем на это расстояние.

Затем мы вступим в бой и возьмем хутор. Да поможет нам Прови... удача! Да пребудет с нами тот, кто все видит... я хочу сказать — испанский народ, потому что, парни, мы сражаемся за дело, которое считаем справедливым...



За новобранцами-гранатометчиками Хименес поставил лучших стрелков.

Они не успели добраться до хуторов, как увидели, что фашисты уходят.

На прошлой неделе к республиканцам перебежала группа франкистских солдат; человек пятнадцать были зачислены в роту Мануэля. Их главарь, явный, хоть и не выборный, Альба был в высшей степени мужественный боец, но держался всегда отчужденно, и многие подозревали, что он лазутчик.

Мануэль вызвал его к себе.

Они пошли рядом среди каменных россыпей, Мануэль шагал к фашистским рубежам. Собственно, линии фронта как таковой не было, но на этом направлении противник, хоть и выбитый из хуторов, находился не далее, чем в трех километрах.

— Есть у тебя револьвер? — спросил Мануэль.

— Нет.

Альба лгал: Мануэлю достаточно было поглядеть, как у того брюки оттягивают пояс.

— Возьми мой.

Мануэль достал из кармана револьвер, протянул Альбе; у него оставался еще длинный автоматический пистолет, висевший на ремне в кобуре.

— Почему ты не в ФАИ?

— Нет желания.

Мануэль приглядывался. Лицо скорее как у переростка, чем как у взрослого мужчины: мягкий нос, пухлые губы, волнистые, но очень жесткие волосы над низким лбом... Мануэль представил себе, каким «славеньким», должно быть, считала его в свое время мать.

— Ты сильно злобишься, — сказал Мануэль.

— Есть отчего злобиться.

— А точнее, есть к чему приложить руки. Были бы на месте Хименеса ты либо я, дела бы шли не лучше, а хуже. Стало быть, нужно помогать ему делать то, что он делает, а там видно будет.

— Может, дела и шли бы малость похуже, но нами не командовал бы классовый враг. По мне, так оно лучше.

— Меня классовая принадлежность человека не интересует, меня интересует, что он делает. В конце концов, Ленин тоже не был рабочим. Вот что я соби-

рался тебе сказать: у тебя есть голова и характер, надо их употребить на что-то стоящее. Поскорее, и не на то, чтобы злиться. Подумай, потом скажешь, чья позиция тебя устраивает. ФАИ, НКТ, ВУКТ<sup>1</sup> — сам выберешь. Потом соберут ребят из твоей организации, и ты их возглавишь. Не хватает младших офицеров. Ты был ранен?

— Нет.

— Я был, в дурацкой истории с динамитом. Подержи эту штуку, у меня от нее болит крестец. — Он снял портупю. — У всех свои маленькие радости: я, как идиот, должен помахать веткой.

Он сорвал ветку с куста на обочине и вернулся к Альбе. Он был безоружен. Фашисты, вполне вероятно, где-то в километре отсюда. Альба, во всяком случае, шагает рядом.

— У меня впечатление, что здесь у тебя не ладится. Может, так и не наладится. Но нужно давать шанс каждому.

— Даже исключенным из партии?

Мануэль остановился, опешив. Он об этом не подумал.

— Когда по этому вопросу появятся официальные партийные инструкции, я буду их выполнять, каковы бы они ни были. Пока инструкций нет, я говорю: даже исключенным из партии. Всякий, кто в состоянии активно действовать, сейчас должен помочь республике.

— Ты в партии не останешься.

— Останусь.

Мануэль посмотрел на него и улыбнулся. Смеялся Мануэль по-мальчишески; но улыбался улыбкой, опускавшей углы губ над тяжелым подбородком и придававшей горечь его выражению.

— Знаешь, что про тебя говорят? — спросил он на ходу, словно желая заранее подчеркнуть, что вопрос задан между прочим.

— Может, и знаю...

Альба потряхивал портупеей Мануэля, кобура с пистолетом шлепала его по икрам. Кроме них, среди камней не было ни души.

— Ну и что ты думаешь о том, что про меня говорят? — спросил он полунасмешливо.

---

<sup>1</sup> ВУКТ (Всеобщая унитарная конфедерация труда) — профсоюзная организация, входившая во Всеобщий союз трудящихся.

— Нельзя командовать людьми, если им не доверяешь.

Мануэль на ходу подбрасывал веткой мелкие камушки.

— Фашисты, те могут, наверное. Мы нет. Дело того не стоит. Тот, кто активен и в то же время пессимист, либо уже фашист, либо станет фашистом, если у него за душой нет чего-то, чему он хранит верность.

— Коммунисты своих врагов всегда называют фашистами.

— Я коммунист.

— Ну и что?

— Фашистам я своих револьверов не даю.

— Ты уверен?

Альба смотрел на Мануэля странновато.

— Уверен.

Мануэль был убежден, что ничем не рискует, но убежденность эта исчезала, когда замешательство собеседника становилось очевидным: когда убийца болтает с тем, в кого должен выстрелить, он наверняка испытывает замешательство, думал Мануэль иронически. И сознавал, что, возможно, смерть его шагает рядом, она — вот этот упрямый малый с пухлым детским лицом.

— По мне, не стоят доверяя те, кто любит командовать, — сказал Альба.

— Пусть так. Но не больше, чем те, кто не любит.

Они возвращались к деревне. Хотя мышцы Мануэля были напряжены, он физически ощущал, что между ним и Альбой возникает какое-то непонятное доверие — так ощущал он иногда, что между ним и его любовницей возникает прилив чувственности. Наверное, когда спишь со шпионкой, испытываешь нечто похожее, подумалось ему.

— Ненависть к власти как таковой — это болезнь, Альба. Пережиток детства. Надо от него избавиться раз и навсегда.

— Тогда какая, по-твоему, разница между нами и фашистами?

— Прежде всего, три четверти наших испанских фашистов мечтают не о власти, а о вседозволенности для самих себя. А затем фашисты в глубине души всегда верят в расовое превосходство того, кто повелевает. Немцы — фашисты не потому, что они расисты. Всякий фашист считает, что он повелитель милостью

божьей. А потому вопрос о доверии для него не стоит так, как он стоит для нас.

Альба затянул на себе портупею.

— А скажи, — спросил он, не глядя на Мануэля, — что, если бы тебе пришлось изменить твоё отношение к людям?

— Испания — та страна, где сейчас случаев умереть хватает...

Альба опустил руку на кобуру, расстегнул её, наполовину вытащил револьвер, медленно, но не таясь. Через три минуты они будут на виду у деревни. В идиотское положение я влип, думал Мануэль; и ещё: если умру так, неплохо. Альба втокнул револьвер в кобуру.

— Страна, где случаев умереть хватает, ты прав...

Мануэль подумал, уж не для себя ли самого вытащил Альба револьвер. А может, разыгрывал комедию в какой-то мере.

— Подумай, — вернулся он к теме. — У тебя есть три дня. вступи в организацию, которая тебе по вкусу. Либо собери беспартийных и командуй на свой страх и риск. Повеселишься, ручаюсь, но это уж твоё забота.

— Причина?

— Причина та, что нужно знать, на что опираться, когда командуешь очень разными людьми. Я ещё мало что знаю, но в чём-то начал разбираться. Словом, это твоё забота. Моя вот такая: здесь ты взял на себя своего рода моральное обязательство. Теперь ты должен взять на себя обязательство конкретное. Естественно, я прослежу.

Если бы Альба ответил отказом, Мануэль убрал бы его из роты. Но Альба промолчал. Был ли он удовлетворен? Выражение у него было, пожалуй, недружелюбное.

В деревне Мануэль взял у него свою портупею. Затянул ремень, положил ладонь на рукав Альбы, поглядел ему в лицо.

— Ты понял?

— Вроде бы, — ответил тот.

И ушел все с той же хмурой физиономией.

Вечерело.

Три захваченных хутора были укреплены, насколько возможно, бойцы, которые в открытую атаковали пер-

вый из них, отправлены в Толедо, офицеры проинструктированы, и теперь Хименес с эффектным крестом из пластыря, украшавшим слева его голову, шагал рядом с Мануэлем в Сан-Исидро, где подготавливалось казарменное расположение для колонны. Под ногами у них желтели каменные плиты, засыпанные галькой; до самого горизонта — сплошной камень да колючие кустарники, оцетинившиеся своими острыми сучьями, как желтые скалы — клыками своих вершин.

Мануэль раздумывал о словах, которые Хименес сказал только что офицерам колонны: «Как правило, личная храбрость командира тем больше, чем хуже у него с чувством ответственности. Помните, что мы нуждаемся в результатах, а не в примерах». Мануэль шагал медленно, чтобы не обгонять полковника, припадавшего на одну ногу; своей кличкой Селезень он был отчасти обязан и хромоте.

— Новобранцы хорошо дрались, верно? — спросил Мануэль.

— Неплохо.

— Фашисты смылись без боя.

— Вернутся.

Будучи глуховат, Хименес любил поговорить на ходу и любил монологи:

— Под Талаверой дела плохи, мальчик. Они атакуют итальянскими танками... Мужество — боевое средство, которое создается в организационном порядке, которое живет и умирает и которое нужно содержать в исправности, как винтовки... Личное мужество — всего лишь хорошее сырье, из которого можно сотворить мужество армии... На двадцать человек приходится только один трус в полном смысле этого слова. Двое из двадцати — смельчаки от природы. Роту нужно сформировать, убрав одного, как можно лучше используя двоих и организовав остальных семнадцать...

Мануэлю вспомнилась история, входившая в фольклор колонны: Хименес, взобравшись на капот своего «фордика», повторял бойцам своего полка, выстроившимся в каре вокруг драндулета, инструкции на случай воздушного налета (стало известно, что неприятельская эскадрилья, только что прибывшая из Италии, в то самое утро вылетела из Талаверы, взяв курс на Толедо): «Когда авиабомба взрывается, осколки хлещут струей, как вода из лейки». У людей физионо-

мии были красноречивые: семь вражеских бомбардировщиков под прикрытием истребителей как раз выравнились в ряд, чтобы пройти над плацем. И если полковник был туг на ухо, бригада слышала гуденье моторов. «Напомню вам, что в этом случае и страх, и безрассудная храбрость одинаково бесполезны. Все, что выступает над землей ниже чем на метр, вне опасности. Если рота залегла, от авиабомбы могут пострадать лишь те, кто оказался в точке попадания». То же хорошего мало, думали слушатели, поглядывавшие на небо и слышавшие, как с минуты на минуту гул моторов нарастает. Если бы не авторитет Хименеса, бойцы повалились бы ничком наземь. Но все знали, как он взял отель «Колумб». Головы были демонстративно запрокинуты. Мануэль, не двинувшись с места, показал большим пальцем на небо. «Все ложись!» — крикнул Хименес. Бойцы успели поупражняться, а потому каре исчезло в считанные секунды. Первый неприятельский бомбардировщик, не видя больше в прицеле скопления людей, сбросил бомбы наугад на деревню, остальные приберегли свои для Толедо. Был всего один раненый. С тех пор бойцы Хименеса перестали бояться самолетов.

— Странная штука — война: для командира, даже если он солдафон из солдафонов, убивать — вопрос экономии: расходовать побольше железа и взрывчатки, чтобы пускать в расход поменьше живой плоти своих. У нас железа маловато...

Мануэль изучал военное дело по грамматикам — начиная с устава испанской пехоты (неудобопонятного) и кончая Клаузевицем<sup>1</sup> и специальными французскими журналами; Хименес — это был живой разговорный язык. За деревней загорались первые костры ополченцев. Хименес глядел на них с горькой нежностью.

— Толковать об их недостатках абсолютно бессмысленно. Когда люди хотят воевать, всякий кризис в армии — кризис командования. Я служил в Марокко; вы полагаете, марокканцы, когда впервые входят в казарму, блистательны? Разумеется, легче создать армию на основе воинской дисциплины! Разумеется, нам придется ввести республиканскую дисциплину во всех

---

<sup>1</sup> Клаузевиц Карл (1780—1831) — немецкий военный теоретик и историк.

наших частях либо прекратить свое существование. Но даже на данный момент не заблуждайтесь, сынок: наш кризис — а он далеко зашел — это кризис командования. Перед нами стоит задача сложнее той, которая стоит перед нашими противниками, вот и все...

Ваши друзья, сеньоры коммунисты — умелые организаторы (кто сказал бы мне год назад, что я буду дружески прогуливаться с большевиком!); ваши друзья — умелые организаторы, их пятый полк, если это и не рейхсвер, то, во всяком случае, кое-что серьезное. Но когда он превратится в армейский корпус, каким оружием они его вооружат?

— В Барселону пришло мексиканское судно.

— Двадцать тысяч винтовок... Самолетов почти не осталось... Орудий почти нет... Пулеметы... Вы сами видели, сынок, на правом фланге у нас один пулемет на три роты. В случае атаки они передают его друг другу. Сражающиеся стороны — это не мавры Франко и наша армия, которой больше не существует; сражающиеся стороны — это Франко и становление новой армии. Ополченцы могут — увы! — только подставлять грудь под пули, чтобы выиграть время. Но эта новая армия, где она раздобудет себе винтовки, орудия, самолеты? Мы сколотим армию быстрее, чем промышленность.

— Рано или поздно, — сказал Мануэль уверенно, — нам поможет Советский Союз.

Хименес покачал головой, несколько шагов прошел молча. Не только в том дело, что дружески прогуливаетесь с большевиком. Он больше ничего не ждал от Франции, на которую возлагал столько надежд; что суждено его стране — спасение с помощью русских или же гибель?..

Последний луч солнца резвился вокруг седого ежика Хименеса, перечеркнутого большим крестом из пластыря. Мануэль смотрел, как загораются костры ополченцев; в надвигавшейся ночи бесконечно светлой казалась вечная попытка людей противиться окутывавшей их тьме и равнодушию земли.

— Россия далеко... — сказал полковник.

Днем фашисты щедро бомбили придорожную зону. Справа и слева от дороги валялись неразорвавшиеся бомбы. Мануэль поднял одну, вывинтил взрыватель и, вынув бумажку с надписью, отпечатанной на машин-

ке, протянул Хименесу, тот прочел по-португальски: «Товарищ, эта бомба не взорвется. Пока все».

Это был не первый случай.

— Хоть что-то! — сказал Мануэль.

Хименес не любил выказывать волнение.

— Что у вас было с Альбой? — поинтересовался он.

Мануэль пересказал разговор.

Камни, казалось, возвращались в унылое прозябание, из которого их извлек было дневной свет. Когда скалы своими очертаниями наводили полковника на мысли о прошлом, ему вспоминалась молодость.

— Скоро вам самому придется готовить молодых офицеров. Они хотят, чтобы их любили. Естественное человеческое чувство. И самое прекрасное при условии, что им втолкуют простую истину: офицер должен внушать любовь своим умением командовать — как можно справедливой, действенной, лучшей, — а не своими человеческими особенностями. Мой мальчик, будет ли вам понятно, если я скажу, что офицер никогда не должен пускать в ход личное обаяние, не должен «обольщать».

Слушая Хименеса, Мануэль размышлял о том, каким должен быть вожак-революционер; и он думал, что внушать любовь, не обольщая, — один из достойнейших уделов человека.

Они подходили к деревне, ее плоские белые дома сгрудились под нависающей скалой, словно древесные клопы в дупле.

— Желание быть любимым всегда чревато опасностями, — сказал Хименес полусерьезно, полушутя...

Некоторое время они шли молча, слышно было только, как равномерно постукивает о камни каблук Хименеса: раненую ногу он ставил тверже. Даже цикады смолкли.

— Быть вожаком труднее, чем быть одним из многих, — продолжал полковник. — Труднее, а значит, благороднее...

Они вошли в деревню.

— Salud, ребятки! — крикнул Хименес в ответ на приветственные возгласы.

Ополченцы расположились в восточной части деревни, остальная ее часть была не занята и пустовала: местных жителей почти не осталось. Оба офицера



прошли деревню из конца в конец. Напротив церкви высился замок с зубчатыми стенами.

— Скажите, полковник, почему вы называете их «ребятками»?

— А как называть, «товарищами»? Не могу. Мне шестьдесят, не получается, у меня ощущение, что я разыгрываю комедию. Вот и зову их «парни» или «ребятки», и ничего.

Они шли мимо церкви. На ней были явные следы поджога. Из открытых дверей пахло подвальной захлабостью и остывшей гарью. Полковник вошел в церковь. Мануэль рассматривал фасад.

Церковь была одновременно и в барочном, и в простонародном вкусе, таких церквей много в Испании; камень, примененный вместо итальянского поддельного мрамора, придает им что-то готическое. Эту церковь подожгли изнутри: черные языки, длиннейшие и извилистые, вздымались над каждым окном и лизали подножия обугленных изваяний, украшавших самый верх фасада и темневших над пустотой.

Мануэль вошел. Внутри церковь была вся черная; под искореженными обломками решеток чернел покрытый сажой развороченный пол. Гипсовые статуи, прокаленные до меловой белизны, выделялись удлиненными бледными пятнами на фоне обугленных колонн, и простертые в исступлении руки святых вбирали голубоватый мирный свет вечера над водами Тахо, проникавший в дверной проем, где не было дверей. Мануэль испытывал чувство, близкое к восхищению, он снова ощущал себя человеком искусства: эти вычурные статуи приобретали среди следов погасшего пожара какое-то варварское величие, словно их пластика родилась здесь же из языков пламени, словно этот стиль стал вдруг стилем самого пожара.

Полковника больше не было видно. Взгляд Мануэля искал его слишком высоко: преклонив колени среди обломков, он молился.

Мануэль знал, что Хименес — ревностный католик, но от этого смущение его не уменьшилось. Он вышел из церкви, подождал его снаружи. С минуту оба шагали молча.

— Разрешите задать вам один вопрос, полковник: как вы оказались на нашей стороне?

— Я находился в Барселоне, это вы знаете. Получил письмо от генерала Годеда, он предлагал мне

присоединиться к мятежникам. Я дал себе пять минут на размышления. Правительству я не присягал, ко лично знал, что в глубине души уже согласился служить ему. Решение было уже принято, все так, но мне не хотелось, чтобы потом у меня возникло право обманываться мыслью, будто я поддался порыву — в мои-то годы. По истечении пяти минут я пошел к Компанису и сказал: господин президент, тринадцатый терсио<sup>1</sup> и его командир в вашем распоряжении.

Хименес снова поглядел на церковь: в безмятежности вечера, полнившегося запахом сена, она казалась фантастической, со своим истерзанным фронтонном и обугленными статуями, вычерчивавшимися на фоне неба.

— Почему н у ж н о , — проговорил он вполголоса, — чтобы люди всегда смешивали святое дело Того, кто сейчас видит нас, с делами его недостойных служителей? Тех из Его служителей, которые недостойны этого звания...

— Но, полковник, от кого же они и слышали речи о Нем, как не от этих Его служителей?

Хименес медленно повел рукою, словно предлагая Мануэлю взглянуть в пасторальную безмятежность вечера, и ничего не сказал.

— Вот вам пример, полковник: один раз в жизни я был влюблен. Тяжело. Я хочу сказать, любовь эта была как тяжелая болезнь. Я словно утратил дар речи. Я мог бы стать любовником этой женщины, ничто не изменилось бы. Между нею и мной стояла стена, и это была испанская церковь. Я любил ее, и когда теперь об этом думаю, у меня такое ощущение, словно я любил женщину, страдавшую помешательством, тихим помешательством, в котором была какая-то детскость. Да нет, верно, полковник, взгляните на эту страну: что сделала с нею церковь, разве не обрекла на какую-то ужасающую детскость? Что сделала церковь с нашими женщинами? И с нашим народом? Она научила их двум вещам: покорствоваться и спать...

Хименес остановился, припав на раненую ногу, взял Мануэля под руку, сощурил один глаз.

— Мой мальчик, если бы вы стали любовником этой женщины, она, возможно, исцелилась бы и от

---

<sup>1</sup> Терсио — принятое в гражданской гвардии наименование полка.

глухоты, и от помешательства. Что же до остального, то всякое великое дело дает лицемерию и лжи простор, прямо пропорциональный величию дела...

В темноте белела стена, на ее фоне чернели прямые фигуры нескольких крестьян; Мануэль подошел к ним.

— Послушайте, товарищи, — начал он дружеским тоном, — школа у вас в деревне неказистая, вон в Мурсии в церкви устроили школу, почему вам было не сделать то же самое, чем жечь церковь?

Крестьяне не отвечали. Ночь почти настала, церковные статуи уже размывались в темноте. Оба офицера видели неподвижные фигуры, прислонившиеся к стене, черные блузы, широкополые шляпы, но лиц не различали.

— Полковник хотел бы знать, почему сожгли церковь, чем вызвали недовольство здешние священники. Конкретно.

— Почему попы против нас?

— Нет, наоборот, вы против них.

Насколько Мануэль мог угадать в темноте, крестьяне были в замешательстве, это прежде всего: что за люди эти офицеры, можно ли на них положиться? Может, все это как-то связано с охраной памятников?

— В наших краях если кто из товарищей делал что-то для народа, к такому обязательно попы привяжутся. Понятно теперь?

Крестьяне ставили в вину церкви то, что она всегда поддерживала господ, благословляла репрессии, последовавшие за астурийским восстанием, благословляла обезземеливание каталонских арендаторов, без конца проповедовала беднякам покорность перед лицом несправедливости, а теперь призывает вести против них священную войну. Один ставил священникам в вину их голоса, «не такие, как у мужчин»; многие — то, что в деревнях они опирались на самых лицемерных или — в зависимости от положения — на самых жесткосердых; все — то, что в захваченных фашистами деревнях священники выдают им «смутьянов», отлично зная, что подводят тех под расстрел. Все — их богатства.

— Ну да, все правильно, ну да, — заговорил один. — Вот ты только что спрашивал насчет церкви: почему бы не устроить там школу? Мои ребятишки, они мои ребятишки и есть, верно; зимою в наших кра-

ях не всегда тепло. Так вот, чем видеть, что мои дети не вылазят вон оттуда, по мне, так пусть уж лучше мерзнут, понятно тебе?

Мануэль протянул ему сигарету, поднес зажигалку; говоривший был крестьянин лет сорока, лицо бритое, самое обычное. Огонек высветил на мгновение лицо его соседа справа, вогнутое, как фасолинка: лоб и подбородок выпячены, носа и рта не разглядеть. У них попросили объяснений, они объяснили; но чувства их выразил тот, кто говорил последним. Наступила ночь.

— Все эти молодчики — самозванцы, — сказал в темноте кто-то из крестьян.

— Денег требуют? — спросил Хименес.

— Всякий ищет свою корысть. Сами-то говорят, ничего, мол, им не надо, знаем... Но не в этом дело. Я по сути. Этого не объяснишь. Самозванцы они.

— Попы — это такое дело, городским не понять...

Вдали перелаивались собаки. Кто из крестьян говорит?

— Густавито, он был фашистами к смерти приговорен, — сказал другой голос, и тон был такой, словно подразумевалось: «Теперь он знает, что к чему», а также словно выражалось всеобщее желание, чтобы высказался Густавито.

— Не будем все валить в одну кучу, — сказал еще кто-то, скорее всего сам Густавито. — Кольядо и я, мы оба верующие. Мы против попов, что да, то да. Но только я — верующий.

— Этот-то хотел бы поженить Пиларскую Богоматерь и Сантьяго Компостельского<sup>1</sup>.

— Ее и Сантьяго Компостельского? Уж лучше пускай по рукам пойдет, да!

И он продолжал тише, с той неспешностью, с какой обычно ведут рассказ крестьяне:

— Фашисты отворяли дверь понятно зачем. Выводили человека, тот говорил: в чем дело? Потом опять то же самое. Выстрелов никогда слышно не было. А колокольчик попа — это мы слышали. Когда он, сво-

---

<sup>1</sup> Пиларская Богоматерь — знаменитое изваяние Пречистой Девы в соборе, носящем ее имя, в г. Сарагосе. Сантьяго Компостельский — изваяние покровителя Испании святого Иакова, находящееся в галисийском городе Сантьяго-де-Компостела. Смысл реплики в том, что Франко, галисиец по происхождению, подчеркивал свою приверженность этому святому.

лочь, начинал звонить, стало быть, кому-то из нас на тот свет. Он зачем звонил — звал к исповеди. Иногда добивался своего, сучий потрох. Чтобы отпустить нам грехи, он говорил. А какие грехи?.. Что отбивались от генералов! Две недели я слушал этот звон. Вот я и готовую: вымогатели раскаяния. Я-то знаю, что хочу сказать... Не только в деньгах дело. Вы вникните в то, что я говорю: чего он домогается, поп, когда исповедует? Он велит вам покаяться. Если хоть один поп добился бы хоть от одного из наших, чтобы тот раскаялся, что дрался против генералов, я считаю, такого попа как ни наказывай, все мало. Потому что раскаяние — это самое лучшее, что есть в человеке. Так я считаю.

Хименесу вспомнился Пуч.

— У Кольядо есть своя мыслишка!

— Валяй! — сказал Густаво.

Крестьянин молчал.

— Что же ты тянешь?

— Так говорить не годится, — сказал человек, еще не вступавший в разговор.

— Расскажи вчерашнюю байку. Прочти проповедь.

— Это не байка...

Подходили ополченцы, во тьме брякали приклады. Ночь стояла непроглядная.

— Они из-за чего расшумелись, — заговорил наконец человек саркастическим тоном, — я им рассказывал, как король отправился в Лас-Хурдес<sup>1</sup> поохотиться. А в тех краях все хворые, у кого зуб, кто недоумок... Такая бедность кругом, король и не представлял себе, что можно жить в такой бедности. Они там все недоростки. Ну, король и сказал: «Надо сделать что-то для этих людей». Ему в ответ: «Будет исполнено, государь», — как повелось. И ничего не сделали, как повелось. Потом, раз уж края там такие гиблые, придумали, как распорядиться: устроили каторгу. Как повелось. Тогда...

Кто был говоривший? Четкость артикуляции, тембр голоса свидетельствовали, что человек этот привык произносить речи, хоть обороты у него простонародные. Хименес слышал его превосходно, хоть тот говорил негромко.

---

<sup>1</sup> Лас-Хурдес (Лас-Урдес) — область в провинции Касерес, печально известная крайне низким уровнем жизни.

— Иисус Христос видит — дела неважные. Ну И решил: пойду туда. Ангел выбрал самую хорошую из тамошних женщин, стал появляться. Она в ответ: «Зряшное дело, выкидыш у меня будет: есть-то мне нечего. На нашей улице только один крестьянин поел мяса, впервой за четыре месяца: он kota своего забил».

Теперь ирония сменилась горечью отчаяния. Хименес знал, что в некоторых провинциях сказители импровизируют во время ночных бдений над покойником, но он никогда их не слышал.

— Христос пошел к другой. Вокруг колыбели были одни только крысы. Согреть младенца не согреть, ласки от них не жди. И тут подумал Иисус, что в Испании дела, как и прежде, неважные.

Где-то посреди деревни грохотали грузовики, лязгали тормоза, доносились далекие выстрелы и лай, ветер гнал из выжженной церкви запах гари и камня. На минуту грохот грузовиков стал таким оглушительным, что оба офицера не слышали рассказчика.

— ...заставил помещиков отдать землю в аренду крестьянам. Те, у кого есть волы, завопили, их, мол, обобрали те, у кого есть только крысы. И позвали солдат из Рима.

Тогда Спаситель пошел в Мадрид, и чтобы заставить Его замолчать, сильные мира сего стали убивать мадридских детей. Тогда Христос сказал себе, что от людей и впрямь не жди многого. И до того они подлые, что даже если всю вечность истекать за них кровью денно и ночью, их все равно не отмыть.

Все тот же грохот грузовиков. Хименеса ждали в интендантстве. Мануэля рассказ и захватывал, и раздражал.

— Потомки царей-волхвов не пришли поклониться младенцу, из них кто подался в бродяги, кто в чиновники. И тогда в первый раз на земле из всех стран, тех, что совсем рядышком, и тех, что у черта на рогах, тех, где всегда жара, и тех, где всегда стынь, все храбрые и неимущие двинулись в путь с ружьями.

В голосе рассказчика была убежденность и такое ощущение одиночества, что, несмотря на темноту, Хименес почувствовал: говоривший закрыл глаза.

— И поняли они в сердце своем, что Христос живет в содружестве бедных и униженных из наших краев. И длинными вереницами из всех стран те, кто знают

бедность не понаслышке, а потому готовы умереть за то, чтобы ее не было, с ружьями в руках, когда у них были ружья, и с руками, готовыми взяться за ружья, когда у них самих ружей не было, пришли и полегли один за другим на испанской земле... Они говорили на всех языках, и были среди них даже китайцы, что торгуют шнурками.

Голос звучал приглушенной; человек говорил сквозь зубы, пригнувшись в темноте, словно был только что ранен в живот; вокруг были головы слушателей, пластырный крест Хименеса слабо белел.

— И когда все люди убили слишком многих, и когда последняя вереница бедняков двинулась в путь...

Он отчеканил слова тихо-тихо, властным шепотом чародея:

— ...звезда, до тех пор никогда не виданная, взошла над ними...

Мануэль не решался щелкнуть зажигалкой. Во тьме неистовствовали клаксоны ошалевших в заторе грузовиков.

— Вчера ты не так рассказывал, — проговорил кто-то почти шепотом.

Голос Густаво, чуть погромче:

— Мне эти байки ни к чему. Все равно никогда не узнаешь, что ты должен делать. Нужно знать, чего ты хочешь, вот что самое главное.

— Чего зря стараться, — сказал третий голос, медлительный и усталый. — Насчет попов — этого городским не понять...

— Сами-то попы считают, все дело в религии.

— Городским не понять.

— Кем он был раньше? — спросил Хименес.

— Он-то?

Пауза.

— Монах он был, — сказал кто-то.

Мануэль потащил полковника туда, где отчаянно надрывались клаксоны.

— Вы, когда закуривали, разглядели значок Густаво? — спросил на ходу Хименес. — ФАИ?

— Да какой бы ни был, все одно. Я-то не анархист, полковник. Но меня, как и любого из нас, воспитывали священники; и вот какой-то частицей своего существа (а ведь как коммунист я противник всякого разрушения) я все-таки сочувствую Густаво.

— Больше, чем рассказчику?

— Да.

— Вы были в Барселоне, — сказал Хименес. — Надпись на некоторых церквах не сформулирована, как обычно: «Охраняется народом», а звучит так: «Объект мести народа». Но только... В первый день на Каталонской площади убитые пролежали довольно долго; через два часа после прекращения огня голуби, улетевшие с площади, вернулись, разгуливали по тротуарам, по мертвым телам... Людская ненависть тоже сходит на нет...

И он проговорил медленнее, словно подводя итог годам тревоги:

— Бог-то может и подождать, время у него есть...

Их ботинки гулко стучали по иссохшей твердой земле, из-за раны Хименес не попадал в шаг Мануэлю.

— Но почему, — продолжал полковник, — почему нужно, чтобы ждал Он таким вот образом?

## *Глава            вторая*

Необходимо было не откладывая сделать новую попытку провести переговоры через посредника. Кто-то из священников должен был этой же ночью прибыть в Толедо и утром, возможно, вступить в Алькасар.

Газовые фонари на маленькой площади не горели. Светилась только керосиновая лампа, висевшая довольно низко перед таверной «El Gato»<sup>1</sup>. Изображение кота понравилось Шейду, он сел за столик у двери и принялся играть тенью от своей трубки, наводя ее на стену Толедского собора.

Шейд мог посылать телеграммы в свою газету до двух часов ночи. За это время Лопес успеет вернуться из Мадрида. Он-то и должен был привезти священника: это сулило отличную статью. Еще не было десяти вечера, и из-за полнейшего безлюдья площадь со своими лестницами и небольшими особняками под порыжелой листвой казалась декорацией, а последние винтовочные выстрелы, доносившиеся из Алькасара, придавали ей загадочную призрачность. Шейд был в восторге, размечтался: вот бы где-то в Индии, в заброшенном дворце гранатового цвета, стоящем среди буйно разросшихся кокосовых пальм, вдруг оказались мощные радиоприемники, и они транслировали бы все

---

<sup>1</sup> Кот (исп.).



звуки войны павлинам и мартышкам; трупный запах, пронизывавший Толедо, был точь-в-точь, как смрад азиатских болот. А есть радиоприемники на Луне?.. Вот бы волны доносили смутный гул боя до мертвых светил... При виде собора, бездействовавшего, но нетронутого и в этот час скорее всего переполненного ополченцами, Шейд испытывал двойное удовлетворение: и как противник католической церкви, и как любитель искусства. Из таверны доносились голоса:

— Наши самолеты сплеховали: в Бадахосе фашисты действительно установили пулеметы на арене для боя быков, но не посередине, а под навесом.

— С казармами надо бы поосторожнее: они там держат пленных.

Еще один голос, помоложе, иронический, с сильным англо-саксонским выговором:

— После боя на площади было очень много суеты. Я посмотрел. Я был на высоте пятьсот метров, не больше. Каждая женщина была молодая и хорошенькая, и каждая говорила: «А что это за хорошенький маленький шотландец там наверху?»

Шейд делал записи, когда наконец появился Лопес: вид царственный, руки воздеты к небесам, хохол подрагивает. Лопес грузно опустился на стул, еще раз воздел руки к небесам, уронил их, шлепнув себя ладонями по ляжкам, и в тишине площади эхом отозвались винтовочные выстрелы; Шейд ждал, сбив на затылок шляпу с узенькими полями.

— Они попов требуют, ладно, будут им попы! Но, Боже правый!

— Это они требуют священников или это вы требуете освобождения заложников?

На лице у Лопеса появилось выражение, означавшее, что кому-кому, а уж ему день выпал воистину тяжелый.

— Один черт! Понимаешь, черепеха, они затребовали священников. Их дело. С другой стороны, они, подонки, не желают эвакуировать женщин и детей: ни наших, ни своих. Знают, что так им выгодней. Ладно, хорошо, из попов я двоих знаю. Звоню в Мадрид: мобилизуйте мне этих двух молодцов, буду к трем часам. Они, видно, воображают, в Мадриде куда ни плюнь, везде попы, а те давно смылись! Приезжаю в Мадрид. Для начала: Гернико никак не изловить. Занят организацией санпомощи. Ладно, у меня был адрес одного из

попов, малый что надо, когда в тридцать четвертом мы сидели, он часто заявлялся в тюрьму. Еду к нему с четырьмя ополченцами (все мы в комбинезонах). Дом был католический, привратник католический, жильцы католические, окна католические, стены католические, а на лестнице по всем углам гипсовые Богородицы, уродливей некуда. Машина остановиться не успела, по всем этажам как заголосят! Думали, мы приехали их расстреливать, идиоты! Объясняю привратнику, в чем дело — толку никакого. Знаменитые облавы на верующих, чего ты хочешь! Поп, когда увидел, что мы подъезжаем, дал тягу через сад. Вот тебе номер один.

Площадь утратила всю свою лунность. Лопес заполнил ее самым фактом своего присутствия, как заполнял любое место, где находился.

— Поехали за номером два. Я знал, у него какие-то отношения с главным управлением народной милиции. Заявляюсь туда, весь командный состав заправляется. Вызываю одного кореша, объясняю, в чем дело. «Ладно, раздобуду тебе твоего попа к четырем». У меня было еще одно дело, чертовски трудное, рою землю носом, чтоб разжиться боеприпасами, в четыре возвращаюсь. «Знаешь, — говорит кореш, — поп был здесь, когда ты приехал в первый раз, он обедал с нами, но я хотел его предупредить. По-моему, обработать его будет непросто: он дрейфит». Как так — дрейфит? Вот гады, свое дело и то не могут делать! Тут мне объясняют, он-де каноник, настоятель собора, можешь себе представить, что за шишка в церковной иерархии! Был бы простой сельский священник, не так артачился бы. Хотя я с сельскими священниками не знаюсь: для них скульптура без интересу. «Ладно, — сказал я корешу, — нужно с ним поговорить. Если есть хоть какой-то шанс избавить ребятню от ужасов этой сволочной войны, этот шанс упускать нельзя». Я подышал от жажды. У них было пиво в холодильнике. Вваливаюсь в кухню, лезу в холодильник и вижу какого-то типа: без галстука, сорочка несвежая, расстегнутый жилет, брюки в полоску, колдует над краном бочонка с пивом. (Надо сказать, было не больно прохладно.) Это и оказался его преосвященство.

— Молодой, старый?

— Выбрит, но плохо, и щетина белая. Не из худеньких. В общем, обычная простецкая рожа, но кисти рук — хоть рисуй. Объясняю ему, чего от него хотят

(это я-то, можешь себе представить). На ответ ему потребовалось минут десять. У нас болтуном называют типа, который отвечает на вопрос четверть часа, когда хватило бы тридцати секунд; каноник был явно из этой породы. Я ему говорю что-то, не помню что, он в ответ: «Узнаю солдатский язык». Ему, должно быть, сказали, что я занимаю ответственный пост. Был я в комбинезоне без знаков различия. «Такой офицер, как вы!» — это он мне, бедному скульптору! Ну, я ему отвечаю: «Офицер я там или нет, если мне велят идти воевать туда-то, я иду; вот вы священнослужитель, там есть люди, которым вы требуетесь, а я хочу уберечь ребятшек. Поедете вы или не поедете?» Он размышляет, потом спрашивает меня на серьезе: «Вы гарантируете мне личную безопасность?» Ну, тут уж он стал действовать мне на систему. Я в ответ: «Когда я приезжал сюда недавно, вы как раз обедали вместе с ополченцами, что же вы думаете, толедские ребята слопают на ужин вас самого?» Мы оба сидели на столе. Он слезает со стола и говорит по-благородному, положив руку на жилет: «Если вы считаете, что я могу спасти хоть одну человеческую жизнь, я поеду». — «Ладно, вы вроде бы добрый малый. Но если уж спасать человеческие жизни, надо приступать немедленно; машина внизу». — «Не лучше ли будет, если я надену пиджак и галстук, как по-вашему?» — «Мне плевать, но тем, наверное, больше понравилось бы, если бы вы были в сутане». — «Здесь у меня сутаны нет». Не знаю, правда это была или перестраховка; вроде бы правда. Он исчезает, я иду вниз и через несколько минут вижу его возле машины в черном галстуке и альпаковом пиджаке. И мы покатали.

Длительный порыв ветра, уже не такого резкого, обрушил на площадь сильнейший запах гари: дым Алькасара доносил и сюда. Очистившись от трупного смрада, город, казалось, сразу преобразился.

— Нас все время останавливали, проверяли документы. «Из Мадрида выехать было бы очень просто», — сказал он тоном человека, который успел поразмыслить над этим вопросом.

Всю дорогу он чем был занят — объяснял мне, что красные, возможно, правы так же, как и белые, «а то и больше», и еще выспрашивал, как произойдет встреча. «Да очень просто, — отвечал я ему каждые пятнадцать минут, — все будет точь-в-точь как с капитаном

Рохо<sup>1</sup>. Мы уведомляем их, что вы здесь, провожаем вас туда, где ждут их люди, они завязывают вам глаза и ведут вас в кабинет полковника Москардо, коменданта Алькасара. А там уж вы сами старайтесь». — «В кабинет полковника Москардо?» — «Да, в кабинет полковника Москардо». Словом, выложил ему все как есть. Объясняю, что его долг — отказать всем этим парням в отпущении грехов, в крещении младенцев и прочем подобном, если Москардо откажется освободить женщин и детей.

— Он пообещал? — осведомился Шейд.

— А мне плевать: захочет, так сделает, а не захочет, так от его обещания ничего не изменится. Словом, втолковал я ему все, как сумел, думаю, не очень класно. Приезжаем в Толедо. Возле артиллерийской позиции высовываюсь из машины, хочу переговорить с капитаном, командующим батареей. «Мать твою!.. — орет капитан и вскакивает на подножку, я слова не успел сказать. — Где снаряды? Нам обещали снаряды! Завтра к вечеру мы останемся без боеприпасов». Я машу ему обеими руками, чтобы заткнулся, незаметненько так — точь-в-точь ветряная мельница; здесь ведь как ни мало знает поп, все равно знает лишнее. Напрасный труд! Наконец до болвана дошло. Я представляю их друг другу: «Товарищ священник». Капитан показывает на башню Алькасара, та как раз ходуном ходила, и капитан аж по ляжкам себя хлопал. «Гляди-ка, что творится с кабинетом Москардо», — говорит и показывает на здоровенную треугольную брешь. «Но, мой дорогой майор, — говорит мне поп (вот до какой степени близости мы дошли), а у самого ряшка упрямая и хмурая, как у пацана, который решил прогулять уроки, — вы предлагаете мне встретиться с полковником Москардо в этом разрушенном месте? Как же мне туда добраться?» — «Это уж ваша забота, — орет капитан категорическим тоном, — но только туда самому Господу Богу не попасть!»

В общем, чем дальше, тем веселее. Наконец я объяснил ему, что с Москардо мы сами договоримся, дал ему охрану из трех человек, и сейчас он дрыхнет.

---

<sup>1</sup> Девятого сентября подполковник Висенте Рохо, будущий начальник штаба обороны Мадрида, проник в Алькасар и безуспешно пытался убедить осажденных сдаться. Два дня спустя мадридский священник падре Васкес Камараса тщетно пытался уговорить полковника Москардо выпустить на свободу мирных жителей.

- В конечном счете, идет он туда или нет?
- Завтра в девять утра; перемирие до полудня.
- Насчет ребятишек знаешь что-нибудь?

— Ничего. Суть дела моему попику должны объяснить ответственные лица. Или те, кто считают себя таковыми. Будем надеяться, они не слишком его напугают: есть тут один анар, у него татуировка особо выразительная.

- Пошли поглядим, что делается.

Они молча направились к Сокодоверской площади, полюбовались по дороге «Террором Панчо Вильи», шляпа которого ночью выглядела еще эффектнее. Чем ближе подходили они к площади, тем многолюднее становилась улица. С верхних этажей постреливали время от времени несколько винтовок и пулемет. Три месяца назад в этот же час Шейд слышал здесь, как постукивает копытцами невидимый осел и полуночники, возвращаясь после серенады, весело наяривают на гитарах «Интернационал». Между двумя крышами появился Алькасар, освещенный прожекторами.

— Выйдем на площадь, — предложил Шейд, — я напишу в танке.

У журналистов вошло в привычку уединяться для работы в танке, который обычно бездействовал; они брали с собой свечу и устраивались писать в башне.

Лопес и Шейд вышли к баррикаде. Бойцы на левом фланге вели беспорядочную стрельбу; на правом, лежа на тюфяках, играли в карты; некоторые комфортабельно устроились в плетеных креслах; из радиоприемника, установленного в центре, звучала андалузская народная песня. Наверху, на третьем этаже трещал пулемет. Шейд заглянул в амбразуру.

Освещенная мощной дуговой лампой, совершенно пустая, площадь, на которой некогда кастильские короли верхом на конях сражались с быками, была еще призрачнее, чем площадь перед собором: в тревожной смеси запахов — гари и ночной свежести — она напоминала площадь где-то на мертвой планете, а не на земле. В киностудийном освещении виднелись развалины, напоминавшие развалины древних азиатских городов, арка, лавчонки, исцарапанные пулями, закрытые и покинутые, и, с одной стороны, железные стулья кафе: часть их валялась беспорядочными грудками, часть — поодиночке. Над домами огромная реклама вермута оцетинилась повторявшейся буквой

Z ; с боков, куда свет почти не попадал, находились наблюдательные пункты. Прожекторы пронизывали театральным светом поднимавшиеся вверх по склону улочки; а там, где улочки кончались, в том же ослепительном освещении, иллюминированный для смерти ярче, чем некогда — для туристов, странно плоский на фоне ночного неба, дымился Алькасар.

Время от времени кто-то из фашистов стрелял; Шейд глядел на ополченцев — тех, кто отстреливался, и тех, кто играл в карты, — и спрашивал себя, у кого же из них там, наверху, жена или дети.

Крестьянские одеяла, вытащенные на ночь, тоже были в полоску, как и матрацы, из которых были сложены баррикады, и это придавало городу причудливое единообразие. На главной улице появился мул.

— В полночь для соблюдения всеобщей полосы-ности мулы будут заменены зебрами, — сказал Шейд.

На тесной и темной главной улице перед допотопным танком башни броневиков — огни их были включены — отбрасывали пятнышки света. У самой площади виднелась почти освещенная витрина модной лавки; какая-то старуха в шляпе с перьями, не шевелясь, упивалась видом провинциальных шляпок, выхваченных из тьмы сиянием дуговых ламп, которые освещали дымившийся Алькасар.

Время от времени звенела, ударяясь о броню башен, неприятельская пуля. Лопес направился в штаб. Шейд влез в танк, пулеметчик подвинулся. Не успел Шейд достать блокнот, как пулеметчик открыл огонь, ему вторили броневики и ополченцы. Когда сидишь в башне, от пулемета грохот — будь здоров; снаружи вся улица бесновалась. Шейд выскочил из танка: неужели Алькасар перешел в контратаку?

Фашисты выпустили, оказывается, осветительную ракету, и весь город по ней палил.

### *Глава третья*

Священник вошел в Алькасар полчаса назад. Журналисты и всякого рода «ответственные лица» болтались за баррикадой, дожидаясь, когда на площади появятся в знак соблюдения перемирия первые представители противной стороны. Шейд без пиджака и в сдвинутой на затылок шляпе, прогуливаясь между

Прадасом, функционером компартии, русским журналистом Головкиным и японским журналистом, то и дело посматривал в амбразуры баррикады. Но на площади только и были что стулья кафе, перевернутые ножками вверх. Запах смерти и запах гари чередовались в зависимости от направления ветра.

На углу площади и одной из улочек Алькасара появился фашистский офицер. Потом ушел. Площадь снова оказалась пустою. Не пустынной, какою была каждый вечер под лучами прожекторов, а заброшенной. День снова отдавал ее во власть жизни — жизни, готовой вернуться, затаившейся по закоулкам, как затаились фашисты и ополченцы.

Перемирие началось. Но площадь так долго была местом, где нельзя было не попасть под огонь вражеских пулеметов, что казалась зловещей.

Наконец три ополченца отважились выйти за баррикаду. Рассказывали, что в тех частях Алькасара, которые удавалось отбить у противника, в подземных переходах находили матрацы и колоды карт, точно такие же, какие были у бойцов, оборонявших баррикаду. Алькасар принадлежал противнику и потому, хоть некоторые его части и были отбиты, он теперь казался таинственным. Республиканские бойцы знали, что во время перемирия туда не проберешься, но их тянуло подойти поближе. Тем не менее они держались кучкой у самой баррикады и от нее не отходили.

«И те и другие куда решительнее, когда сходятся врукопашную, — думал Шейд, глядя в щелку между мешками и ощущая кожей лба, что ткань уже увлажнилась: шляпу он сбил на самый затылок. — Ни дать ни взять — коты».

С другой стороны, оттуда, откуда вышел первый фашистский офицер, появилось еще несколько; увидев, что площадь пуста, они заколебались. Ополченцы и фашисты, не трогаясь с места, переглядывались; за баррикаду вышло еще несколько республиканских бойцов. Шейд взял бинокль.

На лицах у фашистов — Шейд едва мог их разглядеть — он ожидал увидеть ненависть, но ему показалось, что лица скорее выражают замешательство, это впечатление усиливалось от скованности, которая чувствовалась в походке и — особенно — в положении рук и сразу же бросалась в глаза, поскольку не вяза-

лась с аккуратными офицерскими мундирами этих людей. Ополченцы подходили ближе.

— Какое у тебя впечатление? — спросил Шейд соседа, глядевшего в щель рядом.

— Наши не знают, как начать разговор...

Людям, которые на протяжении двух месяцев пытаются убить друг друга, вступить в беседу непросто: франкистов и республиканцев разделяла не столько запретная зона площади, сколько то, что они понимали: стоит им подойти друг к другу, и начнется разговор; и потому франкисты слонялись вдоль колонн, а республиканцы держались поближе к баррикаде.

Из Алькасара выходили все новые фашисты, все новые ополченцы появлялись из-за баррикады.

— Четыре пятых гарнизона составляют гражданские гвардейцы, верно? — спросил Головкин.

— Да, — сказал Шейд.

— Посмотрите на мундиры: они позволяют выходить только офицерам.

Но это уже было неправдой. Появлялись рядовые гвардейцы, они были в треуголках из лакированной кожи и в мундирах с желтым кантом, но в белых альпаргатах.

— Сапоги все погибли от республиканских пуль, — сказал Шейд.

Беседа уже завязалась, хотя между обеими группами было по меньшей мере десять метров. Шейд раскурил трубку, пряча ее от ветра между двумя мешками, и направился к месту переговоров в сопровождении Прадаса и Головкина.

Обе группы перебранивались.

Разделенные десятью метрами, словно священной территорией, прибегая к жестикуляции, казавшейся еще нелепее оттого, что говорившие не двигались с места, они швыряли друг в друга доводы, словно гранаты.

— ...потому что мы по крайней мере сражаемся за идеал, козлы несчастные! — орал кто-то из фашистов, когда Шейд подошел поближе.

— А мы за что? Может, за денежные мешки, ты, сукин сын? И вот тебе доказательство, что наш идеал выше: он для всех, наш идеал!

— Плевать мне на идеалы, которые для всех! Для идеала самое важное, чтобы он был лучшим из всех, понял, неграмотный!



На протяжении двух месяцев они целились друг в друга, а потому враждовали и сейчас — другого выбора не было. И все же...

— Скажи, по-твоему, это идеал — газами по абиссинцам? Это идеал — немецких рабочих в концлагеря? Это идеал — одна песета в день поденщику-батраку? Это идеал — бадахосская бойня<sup>1</sup>, отвечай, лакейская душонка!

— А Россия что, идеал?

— Скажешь, нет?

— Для тех, кто там не был! Республика трудящихся! Плевать ей на трудящихся!

— Потому-то хозяева твои ее и ненавидят? Если у тебя есть совесть, я тебе скажу: все, что есть в мире самого подлого, на вашей стороне. А на нашей — все, кто за справедливость, женщины в том числе. Где ваши ополченки? Ты же рядовой, а не принц! Почему женщины на нашей стороне?

— Насчет женщин, первое дело, пускай помалкивают, понял, рогач? А свой идеал можешь держать при себе, поджигатель церквей!

— Меньше было бы церквей, незачем было бы поджигать.

— Слишком много церквей в позолоте и слишком много деревень без хлеба!

Шейд подходил к ополченцам, не без смущения замечая, что испытывает то же чувство, которое вызывали у него бесплодные перебранки парижских таксистов и итальянских кучеров.

— Кто этот парень? — спросил один из милисиано, показывая на Головкина. Шейда видели накануне с Лопесом, он уже примелькался.

— Корреспондент советской газеты.

Головкин был скуласт, лепка костистого лица была как у готических изваяний, изображающих крестьян. Шейд, побывавший в Москве, где он делал один репортаж, еще тогда заметил, что русские, только недавно вышедшие из крестьян, часто напоминают средневековые европейские изображения. «Я похож на ин-

---

<sup>1</sup> 14 августа 1936 г. город Бадахос был взят легионерами под командованием генерала Ягуэ. Марокканцы и легионеры согнали на арену для боя быков от двух до четырех тысяч человек (сведения расходятся) и расстреляли из пулеметов. Пленных, в том числе раненых, перед расстрелом зверски пытали.

дейца, этот русский — на землепашца, в испанцах есть что-то лошадиное...»

Три ополченца, появившиеся из-за баррикады первыми, по-прежнему стояли в стороне и на площадь не выходили.

Сравнение идеалов продолжалось.

— В любом случае, — заорал кто-то из фашистских офицеров, — одно дело — сражаться за свой идеал, когда дрыхнешь у себя дома, как вы, а совсем другое — когда живешь в подземельях. Поглядите на себя, стадо козлов! Вот у нас есть курево?

— Чего, чего?

Один из милисиано пересек заповедную зону. Это был человек из НКТ, один рукав его рубашки был засучен и открывал руку, кожа которой синела татуировками. Солнце, палившее почти отвесно, отбрасывало ему под ноги тень от его мексиканской шляпы, черным цоколем перемещавшуюся вместе с ним. Он шел на фашистов, словно собираясь начать драку, и в руке у него была пачка сигарет. Шейд знал, что в Испании никогда не протягивают всю пачку, и гадал, как поступит анархист. Тот, вынимая сигареты одну за другой, стал раздавать их всё с тем же гневным лицом; он протягивал фашистам сигареты, словно сигареты могли подтвердить его правоту, он как бы говорил: «Нашли, чем попрекать, — сигаретами! Если вы сидите без курева, война виновата, гады, мы-то тут при чем, свора подонков!» Раздавая сигареты, он призывал окна в свидетели. Когда пачка опустела, сигареты стали раздавать другие ополченцы, следовавшие его примеру.

— Как вы истолкуете эту нелепую выходку? — спросил Прадас.

Он был похож на Мазарини<sup>1</sup>, который вздумал бы подстричь свою бородку остроконечно, в подражание Ленину.

— Я был очевидцем того, как во время одного из самых бурных заседаний бельгийского парламента все партии братски объединились, дабы проголосовать против налога на почтовых голубей: восемьдесят процентов депутатов были голубятниками. Здесь сработала круговая порука курильщиков...

---

<sup>1</sup> Мазарини Джулио (1602—1661) — кардинал с 1641 г., первый министр Франции с 1645 г. Здесь имеется в виду известный его портрет работы Пьера Миньяра.

— Да нет, все гораздо глубже!

Один из фашистов только что прокричал: «Зато вы бреетесь!» Упрек тем более странный, что все ополченцы были небритые. Но один из них, тоже анархист, уже мчался к Торговой улице. Оба журналиста не спускали с него глаз: вот он остановился, заговорил с милисиано, оставшимся около баррикады. Тот вытащил револьвер, потряс им, угрожая фашистам: казалось, он что-то гневно говорит. Анархист бегом двинулся дальше.

— У вас так было? — спросил Шейд у Головкина.

— Поговорим попозже. Необъяснимо...

Милисиано вернулся, в руке у него был пакет лезвий «Джилетт», он вскрывал его на ходу. Фашистских офицеров было самое меньшее двенадцать человек; анархист перешел на шаг, он явно не знал, как распределить лезвия: их было меньше дюжины. Он сделал движение, словно собираясь сыпануть их, как конфеты ребятишкам, поколебался, потом хмуро сунул пакетик тому из фашистов, кто стоял к нему ближе. Другие офицеры ринулись было за лезвиями, но, услышав смех ополченцев, один из фашистов что-то скомандовал. Офицеры стали расходиться, и в этот миг из Алькасаара вышел еще один фашист, а милисиано, который вытащил револьвер, когда мимо пробежал раздатчик лезвий, вышел из-за баррикады и направился к группе.

— Все это прекрасно... — произнес он, поочередно оглядев фашистов. Он не договорил, и все ждали, чем он кончит. — А заложники? У меня лично там сестра!

В голосе у него звучала ненависть. Теперь было не до сравнения идеалов.

— Испанский офицер не обсуждает решений командования, — ответил один из фашистов.

Ополченцы почти не расслышали этих слов, потому что фашист, вышедший из Алькасаара, говорил:

— Я хочу встретиться с командиром, у меня поручение от полковника Москардо.

— Пошли, — сказал один из ополченцев.

Офицер последовал за ним. Следом двинулись Шейд и Прадас, низкорослые по сравнению с высоченным Головкиным, шагавшим между ними; толпа вокруг становилась гуще и гуще, и все это походило бы на воскресное гулянье, если бы люди на площади не глядели безотрывно на Алькасар.

Эрнандес в сопровождении Негуса, Мерсери и двух лейтенантов выходил из сапожной мастерской как раз в тот миг, когда фашистский офицер собирался туда войти. Офицер отдал честь и протянул письма.

— От полковника Москардо его жене.

У Шейда внезапно возникло ощущение, что все, чего он навидался в Толедо — со вчерашнего вечера — и в Мадриде — за столько д н е й , — сосредоточилось в этих двух офицерах, глядевших друг на друга с ненавистью, вдыхая запах гари, который ветер гнал от Алькасара, расстилая над городом дым, словно полотнище изорванного знамени. Все свелось к этим письмам: раздача сигарет и лезвий, и заложники, и бессмысленные баррикады, и атаки, и отступления, и смрад от павших лошадей, который, когда запах гари развеивался, заполнял все вокруг, словно шел от самой земли. Эрнандес приподнял правое плечо, как обычно, и отдал письма одному из лейтенантов, длинным своим подбородком показав, куда нести.

— Дурак набитый, — проговорил Негус, но не без приязни.

На сей раз Эрнандес пожал плечами — все с тем же выражением усталости — и кивком отослал лейтенанта.

— Жена Москардо в Толедо? — спросил Прадас, поправляя пенсне.

— В М а д р и д е , — ответил Эрнандес.

— На свободе? — спросил Шейд изумленно.

— В лечебнице.

Негус тоже пожал плечами, но негодующе.

Эрнандес направлялся к сапожной мастерской, она же командный пункт; Шейд слышал доносившийся оттуда стук пишущей машинки: после перемирия на улице стало тихо. Из поперечных улочек стали появляться собаки: их, как видно, удивило прекращение огня. Шаги и голоса сливались в гул, который стал слышным после того, как прекратилась стрельба, и теперь снова завладевал городом, словно примета мира. Прадас догнал капитана, прошел несколько шагов рядом с ним, теребя бородку.

— Чего ради вы переслали эти письма? Из галантности?

Он шел рядом с офицером, нахмурившись, выражение у него было скорее недоумевающее, чем ироническое; Эрнандес глядел на мостовую, усеянную

теньями от мексиканских шляп, словно гигантскими кружками конфетти.

— Из великодушия, — ответил он наконец и отвернулся от Прадаса.

— Вы хорошо знаете этого капитана? — спросил Прадас, все еще хмурясь.

— Эрнандеса? — ответил Шейд. — Нет.

— Что заставило его так поступить?

— А что заставило бы его поступить иначе?

— Вот что, — сказал Головкин, показав на проезжавшую мимо автомашину, которую можно было назвать броневой лишь с натяжкой. На капоте лежал убитый милисиано, его тело явно привязано было руками друзей. Журналист подергал себя за галстук, у него этот жест означал неуверенность.

— И часто такое бывает? — спросил Головкин.

— По-моему, нередко. Комендант уже передавал подобные письма.

— Он кадровый офицер?

— Да. Эрнандес тоже.

— Что представляет собою женщина? — спросил Прадас.

— Об этом и не думай, распутник. Я ее не знаю, но она уже в годах.

— Тогда что же? — спросил Головкин. — Испанщина в чистом виде?

— Вас такие определения устраивают? Эрнандес сейчас завтракает в Санта-Крус, идите туда. Вас охотно пригласят: там есть коммунисты.

В пестрой толпе ополченцев промелькнул «Террор Панчо Вильи». Шейд вдруг осознал, что Толедо — маленький город и в военное время, и в мирное, и что он будет встречать здесь каждодневно одних и тех же чудачков, как некогда встречал здесь каждодневно одних и тех же гидов, одних и тех же пенсионеров.

— Фашисты, — сказал он, — никогда не начинают атаки от двух до четырех дня из-за сиесты. Не торопитесь с выводами по поводу того, что здесь происходит.

Мешки с песком и полосатые матрацы баррикад, со стороны улиц почти целые, со стороны Алькасара были в дырах, словно древесина, источенная жучком.

Облако дыма погрузило всю улицу в тень. Пожар по-прежнему жил своей не замечающей людей жизнью: в непривычном покое перемирия неподалеку от Алькасаара загорелся еще один дом.

## Глава                      четвертая

В одном из залов музея Санта-Крус были составлены под прямым углом два стола. В полутьме мельтешили какие-то живчики. Солнечные блики, проникавшие сквозь пробоины в кирпичной кладке, резвились на дулах винтовок, висевших у ополченцев за плечами; в чисто испанском запахе нерафинированного оливкового масла над грудями плодов и зелени поблескивали смутными пятнами потные физиономии. Сидя на полу, «Террор Панчо Вильи» чинил винтовки.

Поза Эрнандеса была тем неприятнейшей, что сутулость не придавала ему воинской выправки; бойцы из его охраны, сидевшие за соседним столиком, изображали бывалых солдат. Никто из раненых не сменил повязки. «Рады покрасоваться своей кровью», — сказал полуголоса Прадас. Головкин и Прадас уселись напротив Эрнандеса, разговаривавшего с другим офицером. Капитан — солнечные блики выхватывали из полутьмы его лоб и подбородок, тяжелый и длинный, словно у какого-нибудь сподвижника Кортеса<sup>1</sup>, — по сравнению с русским журналистом принадлежал, казалось, не к другой нации, а к другой эпохе. Все ополченцы были в солнечных брызгах.

— Товарищ Прадас из оргкомитета коммунистической партии, — сказал Мануэль.

Эрнандес поднял голову.

— Я знаю, — ответил он.

— В конечном счете, все-таки по какой именно причине ты распорядился, чтоб письма отправили? — заговорил Мануэль, продолжая разговор.

— Почему ополченцы раздавали сигареты?

— Это-то меня и интересует, — проворчал Прадас; он держал ладонь за ухом, вид у него был недоумевающий, в бородке застрял солнечный зайчик.

Плохо слышит он, что ли? Но он не придерживал ухо рукой, он просто водил ладонью за ухом, как водит лапкой кот, когда умывается; Эрнандес в ответ

---

<sup>1</sup> Кортес Эрнан (1485—1547) — испанский конкистадор.

Мануэлю равнодушно махнул длиннопалой кистью. Гул, доносившийся из радиорупоров, затерянных где-то в глубинах ослепительного света, бившего снаружи, казалось, пробирается сквозь пробоины в стене и вьется вокруг Панчо Вильи: теперь тот спал среди винтовок, прикрыв лицо своей диковинной шляпой.

— Советский товарищ (Прадас переводил, положив ладонь на макушку) говорит: «У нас жена Москардо была бы немедленно арестована. Мне хотелось бы понять, почему вы другого мнения».

Головкин знал французский и немного понимал по-испански.

— Ты сидел в тюрьме? — спросил его Негус.

Эрнандес молчал,

— При царе я был слишком молод.

— В гражданской войне участвовал?

— Как журналист.

— Детишки есть?

— Нет.

— У меня... были.

Шейд не стал выспрашивать.

— Благородные поступки делают честь великим революциям, — произнес Мерсери с достоинством.

— Но в Алькасаре дети наши, — гнул свое Прадас.

Какой-то милисиано внес блюдо: великолепный окорок с помидорами, приготовленный на оливковом масле, которого Шейд терпеть не мог. Негус отказался.

— Вы не любите *aceite*<sup>1</sup>, вы, испанец? — спросил Шейд, интересовавшийся всем, что касалось кухни.

— Я никогда не ем мяса: я вегетарианец.

Шейд взял свою вилку, на ней был герб архиепископства.

Все ели. В музейных витринах, оформленных современно — стекло, сталь, алюминий, — все было в порядке, лишь некоторые мелкие экспонаты были размолоты пулями, а в стекле над ними зияло круглое отверстие, окруженное лучами.

— Слушай внимательно, — сказал анархист Прадас у, — когда люди выходят из тюрьмы, в девяти случаях из десяти взгляд у них невидящий. Они больше не смотрят, как люди. Среди рабочих много таких, у кого взгляд невидящий. И для начала надо с этим покончить. Понятно тебе?

<sup>1</sup> Оливковое масло (исп.).

Негус говорил столько же для Головкина, сколько для Прадаса, но ему было неприятно, что Прадасу приходится переводить его слова.

— У типа, который носил сей головной убор, голова явно от мыслей не пухла, — сказал Шейд вполголоса и удовлетворенно.

К нему подходил милисиано, потряхивая кардинальской шляпой.

— Вот нашли эту штуковину. Поскольку коллективу от нее проку ноль, порешили единогласно подарить тебе.

— Спасибо, — безмятежно ответил Шейд. — Как правило, я внушаю симпатию бесхитростным душам, мохнатым псам, детям. Кошкам, увы, не внушаю! Спасибо.

Он натянул шляпу, погладил помпоны и снова взялся за окорок.

— У моей бабушки в Айова-Сити точно такие помпоны. На креслах снизу. Спасибо.

Негус ткнул коротким указательным пальцем в распятие, выполненное в манере Бонна : бледное тело на темно-сером фоне; распятие уже много дней расстреливали пули тех, кто засел в Алькасаре. Правая рука была почти оторвана массивными попаданиями, левая, которую, видимо, защищали камни стены, была только прострелена в нескольких местах; от плеча до бедра по мертвенно-бледному телу наискось, словно португепе, тянулись следы пулеметной очереди, четкие и правильные, как строчка, сделанная на швейной машинке.

— Даже если нас раздавят и здесь, и в Мадриде, у людей будет хотя бы чувство, что они сколько-то пожили, как сердце велит. Тебе понятно? Несмотря на ненависть. Они свободны. А свободы они никогда не знали. Я не про политическую свободу, я о другом! Тебе понятно?

— Целиком и полностью, — поддержал Мерсери. — Как говорит мадам Мерсери, сердце — это главное.

— В Мадриде все куда серьезнее, — сказал Шейд, лицо у него под красной шляпой было спокойное. — Но согласен: революция — это каникулы жизни... Моя сегодняшняя статья называется «Отпуск».

---

<sup>1</sup> Бонна Леон (1833—1922) — французский художник, работавший в традиционной академической манере.



Внимательно слушавший Прадас провел ладонью по своему грушевидному черепу до самой макушки. Он не совсем разобрал фразу Шейда, конец ее затерялся в грохоте стульев: все задвигались, чтобы за стол смог сесть Гарсиа, который только что вошел, зажав трубку в углу улыбающихся губ.

— Для людей жить вместе — простое дело, — продолжал Негус. — Ладно. Но в мире есть все-таки отвага, а когда есть отвага, можно что-то сделать! Без умствований; когда люди полны решимости умереть, их шаги в конце концов расслышат все. Но без «диалектики», без подмены делегатов бюрократами, без армии, которую создают под предлогом покончить с армией, без неравенства, которое создают под предлогом покончить с неравенством, без заигрываний с буржуями. Жить так, как следует прожить жизнь начиная вот с этой секунды, или отправиться на тот свет. Не вышло — вали отсюда. Без билета туда-обратно.

Настороженные беличьи глаза Гарсиа зажглись.

— Старина Негус, — заговорил он мягко, — когда хотят, чтобы революция стала способом жить во имя революции как таковой, она почти всегда становится способом умереть. В этом случае, мой добрый друг, в конечном итоге мученичество становится столь же приемлемо, сколь и победа.

Негус воздел правую руку жестом поучающего Христа.

— У того, кто боится смерти, совесть нечиста.

— А тем временем, — сказал Мануэль, подняв вилку, — фашисты уже в Талавере. И если так пойдет и дальше, Толедо вы потеряете.

— Если смотреть в корень, вы христиане, — сказал Прадас наставительно. — А между тем...

Упустил прекрасный случай промолчать, подумал Гарсиа.

— Долой попов! — сказал Негус раздраженно. — Но в теософии есть разумное зерно.

— Нету его, — сказал Шейд, поигрывая кистями своей шляпы. — Давай дальше.

— Никакие мы не христиане! А вот вы стали попами. Я не говорю, что коммунизм стал религией, я говорю, что коммунисты постепенно становятся попами. Для вас быть революционерами значит быть ловкача-

ми. И Бакунин, и Кропоткин смотрели на дело не так, совсем не так. Вас сожрала партийность. Сожрала дисциплина. Сожрала круговая порука: если человек не из ваших, у вас по отношению к нему ни честности, ни чувства долга, ничего. Вы стали ненадежными. Мы начиная с тысяча девятьсот тридцать четвертого года семь раз организовывали забастовки — только во имя солидарности и не ставя никаких материальных требований.

От негодования Негус говорил очень быстро, жестикулировал, ладони мелькали над взлохмаченными волосами. Головкин не понимал, но отдельные слова, которые он успевал уловить, вызывали у него беспокойство. Гарсиа сказал ему несколько слов по-русски.

— Конкретно говоря, уж лучше быть ненадежными, чем недееспособными, — сказал Прадас.

Негус вытащил револьвер и положил на стол.

Гарсиа точно таким же образом положил свою трубку.

Под лучами, пробивавшимися сквозь пробоину в стене, тарелки и узкогорлые графины разбрызгивали вокруг рой искр, словно рой светляков над огромным натюрмортом. Поблескивали плоды на ветках, поблескивали короткие синеватые штришки — дула револьверов.

— «Все оружие фронту», — сказал Мануэль.

— Когда нам нужно было стать солдатами, — сказал Прадас, — мы стали солдатами. Затем нам нужно было стать строителями, мы стали строителями. Нам нужно было стать администраторами, инженерами, кем еще? Стали. И если, в конечном итоге, нам придется стать попами, что же, станем попами. Но мы создали революционное государство и мы создадим армию. Конкретно говоря. Со всеми нашими достоинствами и недостатками. И спасет республику и пролетариат именно армия.

— Мне лично, — сказал Шейд со всей кротостью, поглаживая обеими ладонями по мпоны, — на все ваши речи начхать. То, что все вы делаете, и проще, и лучше, чем ваши разглагольствования. У всех у вас головы слишком уж распухли от мыслей. Кстати, в твоей стране, Головкин, у всех тоже головы начали пухнуть от мыслей. Вот почему я не коммунист. На мой взгляд, Негус малость того, но он мне нравится.

Атмосфера разряжалась.

Эрнандес снова посмотрел на часы, потом улыбнулся. Зубы у него тоже были длинные, как лицо и как кисти рук.

— При каждой революции происходит одно и то же, — заговорил снова Прадас, теребя бородку. — В девятнадцатом эсер Штейнберг, комиссар юстиции, потребовал навечно закрыть Петропавловскую крепость. В ответ на что большинство поддержало и приняло предложение Ленина отправлять туда пленных белогвардейцев: у нас было и так достаточно недругов в тылу. В конечном счете благородство — роскошь, которую общество может себе позволить только значительно позже.

— Чем раньше, тем лучше, — сентенциозно изрек Мерсери.

— В ближайшем будущем пойдут свары из ничего, — гнул свое Негус! — Без умствований. Партии созданы для людей, а не наоборот. Мы не хотим создавать ни новое государство, ни новую церковь, ни новую армию. Люди — главное.

— Так пусть для начала люди попробуют вести себя благородно, когда есть повод, — сказал Эрнандес, переплетя длинные пальцы под подбородком. — И так хватает подонков и убийц, которые выдают себя за наших...

— Позвольте, товарищи, — заговорил Мерсери, выложив ладонь на стол, а сердце — на ладонь. — Одно из двух. Если мы победим, наши противники предстанут перед лицом Истории с заложниками, а мы — со свободой мадам Москардо. Что бы ни случилось, Эрнандес, вы подаете благородный и возвышенный пример. От имени движения «За мир и справедливость», к которому я имею честь принадлежать, я снимаю перед вами мою... гм-м... мою фуражку.

С первой же встречи в день истории с огнеметом Мерсери вызывал у Гарсиа неясное чувство: майор задавался вопросом, является ли театральность неизбежной спутницей идеализма; и в то же время он ощущал, что в Мерсери есть нечто подлинное, с чем антифашизм не может не считаться.

— И пускай не делают всю дорогу вид, что считают анаров сворой чокнутых! — говорил Негус. — Вот уж сколько лет испанский синдикализм работает по-серьезному. Ни с кем не вступая в компромиссы. У нас не

сто семьдесят миллионов, не то что у вас; но если мерять ценность идеи количеством сторонничков, то вегетарианцев в мире больше, чем коммунистов, даже считая всех русских. Всеобщая забастовка — существует это или нет? Вы вон сколько лет на нее нападаете. Перечитайте Энгельса, это вам будет полезно. Всеобщая забастовка — это Бакунин. Я видел коммунистическую пьесу, где выведены анары; на кого они похожи? На коммунистов, какими их представляют себе буржуи.

В полутьме статуи святых, казалось, подбадривали Негуса, экстатически воздевая или простирая руки.

— Будем поосторожней с обобщениями, — проговорил Мануэль. — Личный опыт Негуса был, возможно... скажем, неудачным: коммунисты не все безупречны. Кроме нашего русского товарища (имя я забыл, извини) и Прадаса, за этим столом, я, по-моему, единственный член партии. Эрнандес, ты как считаешь, я — поп? А ты, Негус?

— Нет, ты парень что надо. И ты воюешь. У вас немало ребят что надо. Но есть и другие.

— Еще одно: вы, анархисты, говорите так, словно у вас монополия на честность, и называете бюрократами всех, кто с вами не согласен. Но вы ведь сознаете все-таки, что Димитров — не бюрократ! Димитров против Дуррути — это одни нравственные ценности, противостоящие другим, а не махинация, противостоящая нравственным ценностям. Мы — товарищи, будем же честными.

— А кто как не ваш Дуррути написал: «Мы откажемся от всего, кроме победы!» — сказал Прадас Негусу.

— Угу, — проворчал тот сквозь зубы (они у него выдавались вперед), — но знал бы он тебя, Дуррути, надавал бы тебе пинков в зад!

— К сожалению, вы вскоре убедитесь, что, конкретно говоря, нельзя заниматься политикой с вашими нравственными ценностями, — гнул свое Прадас. — Так что...

— С другими тоже нельзя, — сказал чей-то голос.

— Вся сложность, — сказал Гарсиа, — и, возможно, вся драма революции в том, что без нравственных ценностей ее тоже нельзя совершить.

Эрнандес поднял голову.

На ноже у Мануэля блеснуло пятно света, точно он резал ножом солнце.

— У капиталистов есть одна неплохая вещь, — сказал Негус. — Со смыслом. Даже удивляюсь, как додумались. Надо будет нам здесь сделать что-то в этом роде, когда война кончится. Для каждого профсоюза. Единственное, что я у них уважаю. Слово «неизвестный». У них это «Неизвестный солдат», но можно придумать и получше. На Арагонском фронте полно безымянных могил, я сам видел: на камне или на дощечке стояло только ФАИ либо НКТ. Это меня... это было здорово. В Барселоне, когда колонны направляются на фронт, они проходят мимо могилы Аскасо, и все молчат намертво; тоже здорово. Лучше, чем любое слововорение.

Кто-то из ополченцев пришел за Эрнандесом.

— Христиане... — пробормотал Прадас себе в бородку.

— Священник вышел? — спросил Мануэль, уже вставший из-за стола.

— Нет е щ е , — ответил Эрнандес. — Меня вызывает комендант.

Эрнандес вышел в сопровождении Мерсери и Негуса, который надел свой головной убор — не мексиканское сомбреро, как накануне, а черно-красную каскетку федерации анархистов. Мгновение все молчали, слышалось только звяканье приборов, как всегда в конце еды за столом у военных.

— Почему все-таки он велел отправить письмо? — спросил Головкин, обращаясь к Гарсиа.

Он чувствовал, что Гарсиа уважают все, даже Негус. И Гарсиа говорил по-русски.

— Что ж, давайте по порядку... Первое: из нежелания отказывать; офицером он стал по отцовскому решению, республиканцем стал много лет назад из либерализма, к тому же он достаточно интеллигентен... Второе: заметьте, что он кадровый офицер (здесь он не единственный), и как бы он ни относился в политическом плане к соседям напротив, это обстоятельство играет свою роль. Третье: мы в Толедо. Вы знаете, в начале всякой революции немало театральщины; сейчас и здесь Испания — сплошное подражание Мексике <sup>1</sup>...

<sup>1</sup> Имеется в виду мексиканская революция 1910—1917 гг.

— А в другом лагере?

— Телефонная связь между нашим штабом и Алькасаром не прервана, и обе стороны пользуются ею с начала осады. Во время последних переговоров было решено, что мы отправим парламентарием майора Рохо. Рохо здесь же и учился. У него с глаз снимают повязку: перед ним дверь кабинета Москардо. Вы видели снаружи стену, что слева. Пробоина. Кабинет под открытым небом. Москардо при всем параде сидит в кресле, Рохо на стуле, из тех, на которых сживал в годы ученья. И над головой Москардо, мой добрый друг, на уцелевшей стене — портрет Асаньи, который они забыли снять.

— А как насчет мужества? — спросил Головкин, слегка понизив голос.

— Тут следовало бы обратиться к кому-то, у кого был случай понаблюдать на более близком расстоянии, чем довелось мне. В данный момент наши лучшие силы — штурмовая гвардия. Твое мнение, Мануэль?

Он повторил вопрос Головкина по-испански.

Мануэль зажал нижнюю губу между пальцами.

— Никакое коллективное мужество не устоит перед самолетами и пулеметами. В целом, те из ополченцев, кто хорошо организованы и вооружены, ведут себя мужественно, остальные драпают. Хватит с нас ополчения, хватит колонн: нужна армия. Мужество — проблема организационная. Остается выяснить, кто из них согласится на организованность...

— Вы не думаете, что этот капитан как кадровый офицер мог сохранить какую-то симпатию к кадетам? — спросил Прадас, обращаясь к Гарсиа.

— Мы с ним говорили на эту тему. По его словам, в Алькасаре их и пятидесяти не наберется; все правда. Алькасар обороняют офицеры и гражданские гвардейцы. Так что юные герои высшей расы, защищающие свой идеал от разъяренной черни, — испанские жандармы. Да будет так.

— В целом, Гарсиа, как ты объясняешь то, что произошло на площади? — спросил Мануэль.

— На мой взгляд, и раздатчик сигарет, и чудак, притащивший лезвия, и Эрнандес в истории с письмами повиновались, сами того не сознавая, одному и тому же побуждению: доказать соседям сверху, что те не имеют права их презирать. То, что я говорю, похоже на шутку; но это очень серьезно. В Испании левых

и правых разделяет еще и то, что одни ненавидят унижения, а другие возводят в культ. Народный фронт, при прочих его характеристиках, — сообщество людей, ненавидящих унижение. Скажем, до мятежа, в любой деревне из двух мелких буржуа один был за нас, другой — против. Тот, кто был за нас, хотел, чтобы все относились друг к другу сердечно, тот, кто был против, хотел, чтобы одни смотрели на других сверху вниз и наоборот. Потребность в братстве, противостоящая страстному культу иерархии, — конфликт весьма существенный у нас в стране... а может, и в каких-то других.

Мануэль не очень доверял психологии в этих областях; но сейчас ему вспомнились слова старика Барки: «Противоположность унижению, малыш, — это не равенство, а братство».

— Когда я узнаю, конкретно говоря, — начал Прадас, — что при республике зарплата выросла втрое; что крестьяне, следовательно, смогли, наконец, покупать себе сорочки; что фашистское правительство восстановило прежние зарплаты; что, следовательно, тысячи галантерейных магазинчиков, которые открылись было, вынуждены были закрыться, я понимаю, почему испанская мелкая буржуазия стоит на стороне пролетариата. Одно только унижение не побудило бы взяться за оружие даже две сотни человек.

Гарсиа начал выделять партийные словесные штампы: у коммунистов таким словом было «конкретно». Ему, впрочем, известно было, что и Прадас, и даже Мануэль не доверяют психологии; но хоть Гарсиа и считал, что, оценивая перспективы борьбы с фашизмом, надо опираться на экономику, он считал также, что между анархистами (и их приверженцами), социалистическими массами и коммунистическими группами в смысле экономического их положения особой разницы нет.

— Согласен, мой добрый друг, однако же наши лучшие и самые многочисленные силы составляют не уроженцы Эстремадуры, где люди едят желуди. Но не приписывайте мне теорию революции как реакции на унижение, прошу вас! Я пытаюсь понять то, что произошло нынче утром, а не общее положение в Испании. В конечном итоге — как вы бы сказали — Эрнандес не владелец галантерейного магазина, даже и в переносном смысле. Капитан — в высшей степени

честный человек, и революция для него — способ осуществить свои этические устремления. Для него драма, которую все мы переживаем, — его личный Апокалипсис. В таких полухристианах, как он, всего опасней их жертвенность: они готовы совершить худшие ошибки, лишь бы заплатить за них жизнью.

Гарсиа казался тем умнее некоторым своим слушателям, что они скорее угадывали, чем понимали смысл его слов.

— Разумеется, — продолжал он, — Негус — не Эрдандес, но разница между либералом и либертарием<sup>1</sup> всего лишь в терминологии и темпераменте. Негус говорит, что они, анархисты, всегда были готовы к смерти. Для лучших это правда. Заметьте, я сказал — для лучших. Они опьянены братством, хоть и знают, что все это недолговечно. И они готовы умереть после нескольких дней экзальтации — или мести, у кого что, — когда люди пожилы, как им мечталось. Помните, он сказал: как сердце велит... Вот только для них подобная смерть — оправдание всему.

— Мне не по душе люди, которые позируют перед фотографом, выставив револьвер, — сказал Прадас.

— Иногда это те же, кто восемнадцатого июля экспроприировал оружие у богачей, держа в кармане сжатый кулак, чтобы думали, что там револьвер.

— Анархисты...

— Анархисты, — сказал Мануэль, — это слово, которое годится прежде всего на то, чтобы вносить путаницу. Негус — член ФАИ, дело известное. Но в сущности, считаться нужно не с тем, каких мыслей придерживаются его соратники, а с тем, что миллионы людей, не являющихся анархистами, эти мысли разделяют.

— Их мысли о коммунистах? — спросил досадливо Прадас.

— Да нет, мой добрый друг, — сказал Гарсиа, — мысли о борьбе, о жизни. Те же, которых придерживается... ну хотя бы французский капитан. С подобной позицией, заметьте, я уже сталкивался: в семнадцатом — в России, полгода назад — во Франции. Это отрочество революции. Пора все-таки осознать, что мас-

---

<sup>1</sup> Либертариум (букв.: освобождающий, освободитель) — название, которым любили обозначать себя анархисты.



сы — одно, а партия — другое; это можно проследить начиная с восемнадцатого июля.

Он поднял вверх свою трубку.

— Труднее всего на свете заставить людей думать над тем, что они собираются делать.

— Но ведь только это и идет в счет, — сказал Прадас.

— Обречены измениться или умереть, — грустно сказал Головкин.

Гарсиа молчал, размышляя. Для него в анархо-синдикализме был «анархизм» и был «синдикализм»; опыт профсоюзной работы был позитивной стороной анархистов, идеология — негативной. Ограниченность испанского анархистского движения (колоритность не в счет) была ограниченностью синдикализма как такового, и самые разумные из анаров причисляли себя к приверженцам не теософии, а Сореля<sup>1</sup>. И тем не менее весь разговор шел так, словно анархисты — это особое племя, словно их природа не такая, как у других людей, словно Гарсиа должен подходить к ним не как политик, а как этнограф.

«И ведь по всей Испании в этот утренний час, наверное, ведутся такие разговоры... — думал Гарсиа. — Куда более деловым подходом было бы выяснить, на каких основах можно добиться, чтобы решения правительства выполнялись совместными действиями организаций, именуется ли они ФАИ, или НКТ, или коммунистическая партия, или ВСТ... Странно, как любят люди спорить не о том, каким образом действовать, а о чем-то другом как раз в тот момент, когда действовать — вопрос жизни и смерти. Надо бы мне побеседовать с каждым из этих субъектов в отдельности о том, что все-таки можно сделать».

Какой-то милисиано спросил о чем-то Мануэля, потом подошел к Гарсиа:

— Товарищ Гарсиа? Тебя спрашивают в комендатуре: звонили из Мадрида.

Гарсиа связался с Мадридом.

— Как переговоры?

— Священник еще не вышел. Установленный срок истекает через десять минут.

---

<sup>1</sup> Сорель Жорж (1847—1922) — французский философ-эклектик, теоретик анархо-синдикализма.

— Как только что-нибудь узнаете, сразу звоните. Как, на ваш взгляд, положение?

— Скверное.

— Очень скверное?

— Скверное.

## *Глава пятая*

Эрнандес, зная, что Гарсиа позвали к телефону, дожидаясь его, чтобы вместе вернуться в музей.

— Вы сказали одну вещь, которая меня поразила: нельзя заниматься политикой на основе нравственных ценностей, но и без них нельзя. Вы согласились бы отправить письмо?

— Нет.

Позвякивание и постукивание оружия, пока не использовавшегося, солдатские котелки под полуденным солнцем, трупный смрад — все так живо напоминало о грохоте, стоявшем здесь накануне, что прекращение войны казалось невозможным. До конца перемирия оставалось меньше четверти часа; мир уже был чем-то эффектно-иллюзорным, чем-то из области прошлого. Гарсиа ступал тяжелым твердым шагом; у Эрнандеса, шедшего рядом, шаг был удлинённый, беззвучный,

— Почему?

— Во-первых: они не отдали заложников. Во-вторых: с того момента, как вы взяли на себя ответственность, вы должны быть победителем. Вот и все.

— Позвольте, у меня не было выбора: я был офицером, я служу как офицер.

— Но вы взяли ее на себя.

— Как, по-вашему, я мог отказаться? Вы же знаете, у нас нет офицеров...

В первый раз сиеста без стрельбы опустилась на город, простертый в беспокойной дреме.

— К чему революция, если она не будет улучшать людей? Я не пролетарий, майор Гарсиа; пролетариат ради пролетариата интересуется меня не больше, чем буржуазия ради буржуазии; и все-таки воюю, как могу, чего вы хотите...

— Чьих дело рук революция — пролетариев или... стоиков?

— Почему бы ей не быть делом рук самых человеческих из людей?

— Потому что дело рук самых человеческих из людей — не революция, мой добрый друг; дело их рук — библиотеки либо кладбища. К сожалению...

— Пусть кладбище; пример все равно остается примером. Даже еще более значимым.

— А пока — Франко.

Эрнандес взял Гарсиа под руку почти женским движением.

— Послушайте, Гарсиа. Не будем играть в игру «кто кого переспорит». Я только с вами и могу поговорить. Мануэль — порядочный человек, но теперь он смотрит на вещи только глазами своей партии. Те... другие... они будут здесь раньше, чем через неделю, вы знаете это лучше, чем я. А в таком случае, прав ты или не прав...

— Нет.

— Да...

Эрнандес поглядел на Алькасар: ничего нового.

— Но только, если мне суждено умереть здесь, я предпочел бы умереть не просто так... На прошлой неделе один из моих... ну, скажем... товарищей, анархист либо выдававший себя за анархиста, был обвинен в присвоении общественных средств. Вины за ним не было. Он просит меня свидетельствовать за него. Естественно, я его защищаю. Он провел принудительную коллективизацию в деревне, где возглавлял комитет, и его люди приступили к коллективизации соседних деревень. Я согласен, что такие меры только во вред, и крестьянин, когда ему приходится предъявить десяток бумажек, чтобы получить серп, приходит в бешенство. И согласен, что у коммунистов по этому вопросу программа разумная. После того, как я дал показания в его пользу, у меня испортились отношения с коммунистами... Тем хуже; что вы хотите, я не допущу, чтобы называли вором человека, когда знаю, что он не виноват, и когда он просит меня заступиться.

— Коммунисты (и те, кто пытаются добиться сейчас хоть какой-то организованности) считают, что при всем своем чистосердечии ваш подзащитный объективно окажется пособником Франко, если его деятельность приведет к крестьянским бунтам... Коммунисты хотят что-то делать. Вы и анархисты — по разным причинам — хотите чем-то быть... Это драма вся-

кой революции, подобной нашей. Мифы, которыми мы живем, противоречивы: пацифизм и необходимость обороны, организованность и христианские притчи, действенность и справедливость и так далее. Мы должны навести порядок, преобразить наш апокалипсис в армию или сгнуть. Вот и все.

— И, наверное, люди, которых раздирают те же противоречия, тоже должны сгнуть... Вот и все, как вы говорите.

Гарсиа вспомнилась фраза Головкина: «Обречены измениться или умереть...»

— Многие ждут, что апокалипсис поможет им решить их собственные проблемы, — сказал он. — Но революция знать не знает о том, что на нее переведены тысячи такого рода векселей, она продолжается...

— Вы полагаете, я приговорен, не так ли? — спросил Эрнандес, улыбаясь.

В улыбке не было иронии.

— В самоубийстве есть покой...

Он показал пальцем на старые рекламы aperitifs либо фильмов, под которыми они проходили, и улыбнулся шире, показав зубы, длинные, как у грустного коняги.

— Прошное...

И после паузы он добавил:

— А что касается Москардо... у меня тоже была жена.

— Да... Но мы не были заложниками... Письма Москардо, ваше заступничество... Все проблемы, которые вы ставите перед собой, нравственного порядка, — сказал Гарсиа. — Попытка жить в соответствии с определенной нравственной системой всегда приводит к драме. И во время революции не меньше, чем при любых других обстоятельствах.

— А куда революция не грянула, так свято веришь в обратное...

Розовые кусты и самшиты в разоренных садах, казалось, тоже участвовали в перемирии.

— Возможно, вы как раз на пути к... к своей судьбе. Отказаться от того, что было любовью, чему отдана жизнь, всегда непросто... Я хотел бы помочь вам, Эрнандес. Позиция, которую вы выбрали, заранее обречена на провал, потому что сами вы живете внутри политики, участвуя в политической акции, будучи военным и командиром в такой период, когда любая се-

кунда насыщена политикой, а ваша позиция — вне политики. Она состоит в том, что вы сравниваете то, что видите, и то, о чем мечтали. Но о действии можно размышлять только в категориях действия. Не существует политической мысли вне сравнения одной конкретной вещи с другой конкретной вещью, одной возможности с другой возможностью. Либо наши, либо Франко; либо одна форма организации, либо другая, но не выбор между какой-то формой организации, с одной стороны, и желаньями, мечтами, апокалипсисом — с другой.

— Люди всегда умирают за то, чего на самом деле не существует.

— Эрнандес, думать о том, что должно было быть, вместо того, чтобы думать о том, что можно сделать, даже если то, что можно сделать, не очень красиво, это гиблое дело. «Без выхода» — помните, у Гойи <sup>1</sup>.

Такая игра в любом случае проиграна заранее. Безнадежная игра, мой добрый друг. Нравственное самосовершенствование, душевное благородство — это индивидуальные проблемы, к которым революция прямого отношения не имеет. Единственный мост между этими двумя берегами — это, увы, ваша жертвенность.

— Помните, у Вергилия: ни с тобою, ни без тебя... <sup>2</sup> Теперь у меня выхода нет...

Рычание артиллерийского орудия, пронзительный вой снаряде, взрыв и звон осыпающихся черепиц и щебня, почти мелодичный.

— Аббат потерпел поражение, — сказал Гарсиа.

## *Глава            шестая*

Армия Ягуэ <sup>3</sup> двигалась из Талаверы на Толедо.

Гражданин Леклер в белом комбинезоне — весьма запятнанной белизны — в неизменном сером котелке

---

<sup>1</sup> Имеется в виду офорт испанского художника Франсиско Хосе де Гойи (1746—1828).

<sup>2</sup> Цитата либо из Овидия (Любовные элегии, III, 11, 39), либо из Марциала (Эпиграммы, XII, 47).

<sup>3</sup> Ягуэ Бланко Хуан (1891—1952) — один из палачей астурийского восстания и самых жестоких генералов гражданской войны, активнейший участник заговора, почти всю жизнь прослужил в Марокко; во время мятежа возглавлял иностранный легион. См. также примеч. к с. 184.

и с термосом под мышкой шествовал к своему самолету, дверь которого была открыта.

— Прах побери, кто тут снова копался в моем «Орионе»! — прохрипел он на самых ларингальных нотах, словно орал на самого себя.

— Ладно, ладно, — спокойно сказал Атиньи, надевавший свитер. — Я поставил новый прицел.

— А-а, ну, малыш, тогда порядок, — ответствовал Леклер снисходительно.

Леклеру все в Атиньи не нравилось: и серьезность при его-то молодости, и манеры, в которых, несмотря на приветливость Атиньи, Леклер чувствовал традиции богатого буржуазного дома, и его образованность (Атиньи кончил военное училище), и его аскетическая истовость коммуниста, хотя Атиньи не щеголял аскетизмом, наоборот. К военным специалистам добровольцы относились с благодарностью, а наемники, как Леклер, — с завистью. К тому же у Леклера был пунктик — разговоры о женщинах.

Он запустил мотор.

Вокруг машины толклись «пеликаны» и раненые, был тут и Скали с Коротышом. Хайме, после того как ослеп, приходил на аэродром по-прежнему; перевязка делила ему лицо надвое. Врачи говорили, что зрение вернется. Но он не мог больше переносить присутствие собак. Хаус тоже постоянно торчал на аэродроме, ходил, опираясь на две клюки, сыпал поучениями и приказаниями, причем повелительным тоном, и стал невыносимым с тех пор, как раны придали ему авторитетности. Сибирский уехал из Испании.

Когда «пеликаны» перешли на ночные вылеты, чтобы продолжать борьбу, атмосфера на аэродроме изменилась. При ночных вылетах возможность действий истребительной авиации противника исключалась: садиться среди ночи в чистом поле не особо приятно, но садиться среди дня на вражеской позиции еще неприятнее. Таким образом исход операции решала судьба. Если конники на войне зависят от коней, то по крайней мере кони эти не слепые, и им не грозит каждодневно паралич; теперь врагом для «пеликанов» была не столько фашистская армия, сколько моторы их самолетов, латаные-перелатаные, словно старые брюки. Теперь война для них сводилась к бесконечному ремонту машин, улетающих в ночь.

«Орион» оторвался от земли, вышел за облака.

— Малыш!

— Ну что?

— Погляди на меня. Я всю дорогу валяю дурака. Но я мужчина!

Леклер недолюбливал Атиньи, но всякий боевой летчик уважает мужество, а мужество Атиньи было бесспорным.

Они снова нырнули под облака.

Как во время мировой, как в Китае, погружаясь в гул мотора, защитный и в то же время такой ненадежный, Леклер ощущал, что свободен божественной свободой и парит над сном и над войной, над муками и страстями.

Помолчали. Затем Леклер изрек тоном, каким высказываются по зрелом размышлении:

— Ты тоже мужчина.

Атиньи не хотелось обижать пилота, но такого рода разговоры действовали ему на нервы. Он промывчал нечто невнятное, не сводя глаз с освещенной дороги, млечным путем пролегавшей вниз; она уходила в глубь тьмы, подрагивая под ветром, стлавшимся, видимо, над самой землей; и Атиньи чувствовал, что с этой светящейся полоской — единственным следом человека во враждебной темноте, в угрожающем безлюдье — его связывает какая-то непонятная тревога. Ни огонька; падение в любом случае означало гибель. И внезапно — словно инстинкт, более чуткий, чем сознание, опередил мысль — Атиньи понял, откуда тревога: мотор барахлил.

— Клапан! — крикнул он Леклеру.

— Плевать! — крикнул тот. — Попробовать-то можно.

Атиньи затянул потуже ремешок на шлеме: он всегда готов был попробовать.

На линии горизонта стала вырисовываться Талавера, казавшаяся больше от темноты и безлюдья. Пятнышки света, раскиданные по холмам, перемешиваясь с ночными звездами, поднимались, казалось, к самой машине. Под надрывный грохот неисправного мотора Талавера казалась живой и угрожающей. Среди огней провинциального городка и огней войны, лихорадочных и подвижных, неосвещенная черная громада газового завода спала настороженно-спокойно, как спят дикие звери. Теперь самолет шел над асфальтированной дорогой, влажной после недавнего дождя и отра-

жавшей свет газовых фонарей. Скопище огней расширялось, по мере того как машина подлетала к Талавере, и внезапно Атиньи увидел, что по обе стороны крыльев старого самолета, который в этот миг пикировал, городские огни замелькали, как мелькают звезды вокруг самолета, который набирает высоту.

Атиньи открыл запасный люк: в кабину ворвался холодный ночной воздух. Стоя на коленях над городом, он выжидал; поле зрения было ограничено трубкой прицела, как у лошади оно ограничено шорами. Леклер, держа курс на черный квадрат завода и наострив уши, вел самолет над световым остовом Талаверы.

Он миновал черное пятно, в бешенстве повернулся к Атиньи; пилоту видны были только его белокурые волосы, отсвечивавшие в полутьме.

— Что копаешься, прах побери!

— Заткнись!

Леклер накренил машину; стая бомб по инерции еще некоторое время летела за самолетом, но пониже и отставая, под луной бомбы поблескивали, как рыбки. Внезапно они пропали из виду, словно стайка голубей, сменивших направление: теперь бомбы падали по вертикали. По одному краю завода выплеснулась красная бахрома взрывов.

Промазали.

Леклер сделал крутой разворот и вернулся к заводу, спустившись еще ниже. «Высоту!» — крикнул Атиньи: маневр пилота менял угол прицела. Он взглянул на высотомер, вернулся к люку. Талавера, которую он теперь видел с другой стороны, преобразилась, как человек, когда обернется: рассеянный свет, падавший на мостовые из окон военных учреждений, сменился чуть светившимися сквозь шторы прямоугольниками. Очертания завода утратили четкость. Снизу били пулеметы, но пулеметчики вряд ли могли четко разглядеть самолет. Огни во всем городе погасли, и в звездной ночи видна была только освещенная приборная доска и тень от Леклерова серого котелка, падавшая на циферблат высотомера.

Вначале город жил глухой жизнью своих разбросанных огней, затем, когда вираж машины показал эти огни полностью, их жизнь обрела четкость; но теперь, когда они погасли, город стал казаться куда более живым. Искрами из-под кремня появлялись и исчезали



язычки пламени, вырывавшиеся из пулеметов. Враждебный город был настороже, казалось, он вздрагивает при каждом движении машины, которая шла на объект; взгляд Леклера напрягся, серый котелок съехал на затылок, из-под него выбивались растрепанные пряди; Атиньи, распластавшись ничком, не отрывался от прицельной трубки, туда входила излучина реки, самая узкая из всех, синеватая под луной: там и был завод. Атиньи сбросил вторую серию бомб.

На этот раз бомб за бортом они не увидели. И самолет круто спикировал во всезаполняющем грохоте над огненным шаром, иссиня-белым, как молния. Огненный шар всасывал машину в себя, и Леклер отчаянно рванул штурвал; самолет взмыл в безучастный покой звезд; внизу уже полыхал обычный пожар, стелющийся, багровый: завод взлетел на воздух.

Кабину прошли пули: возможно, взрыв высветил машину; пулемет строчил по силуэту, вошедшему в лунное сияние. Леклер начал петлять. Атиньи, глядевший назад, видел, как ширится красное полотнище пожара. Бомбы, сброшенные гроздью, попали заодно в казармы рядом с заводом.

Слой облаков спрятал землю.

Леклер схватил термос, стоявший сбоку, но вдруг замер потрясенный, так и не поднеся стакан ко рту, и сделал знак Атиньи: самолет флуоресцировал, озаренный голубоватым светом. Атиньи показал на небо. До этой минуты они, поглощенные операцией, смотрели только на землю, про самолет забыли; над ними, позади, луна, видеть которую они не могли, освещала алюминий крыльев. Леклер поставил термос; любой человеческий жест был слишком мелок по сравнению с тем, что их окружало: в радиусе многих миль освещен был только их самолет, секундомер войны, и радостное возбуждение, наступающее после каждой удачной операции, растворялось где-то за бортом в космической безмятежности, в гармонии луны и бледного металла, который поблескивал, как тысячелетиями поблескивают камни на погасших светилах. Под ними тень самолета неспешно ползла по облаку, несшему ее на себе. Леклер поднял указательный палец, сделал гримасу восхищения, проорал многозначительно: «Запомни!..», снова потянулся к термосу и заметил, что мотор по-прежнему барахлит.

Они наконец выбрались из облака. На земле, которая снова стала видна, некоторые дороги казались текучими. Теперь Атиньи знал, что означает это колыханье ночных дорог: фашистские грузовики двигались на Толедо.

## *Глава                    седьмая*

До ночи Мануэль был переводчиком: Хейнрих, один из генералов интербригад, формировавшихся в Мадриде, производил осмотр фронта (если это слово здесь уместно) вдоль Тахо: от Талаверы до Толедо ни у одного командира, за исключением Хименеса и еще двоих-троих, ни сторожевого охранения, ни телефонной связи; резервы не организованы и не прикрыты; пулеметы никудашные и плохо размещены.

Хейнрих в мундире, с фуражкой в руке — голова, выбритая, чтобы не видно было седины, то и дело покрывалась потом: гулко стуча сапогами по истрескавшейся, как всегда в конце лета, земле, наводил и наводил порядок с неуклонным оптимизмом, свойственным коммунистам.

У Хименеса Мануэль научился тому, как нужно командовать; теперь он учился тому, как нужно руководить. Первое время ему казалось, он научился воевать; и вот уже два месяца как он учился осторожности, организаторским навыкам, упорству и жесткости. А главное — учился обладать этими свойствами, а не познавать их теоретически. И направляясь в темноте к Алькасару, где раскаленной медузой колыхалась текучая масса огня, Мануэль замечал, что, пронаблюдая в течение одиннадцати часов за тем, как ставит дело Хейнрих, он сам начал физически ощущать, что такое бригада в боевых условиях. Из глубин усталости всплывали изречения полководцев, гудели у него в голове, смешиваясь с пальбой: «Храбрость не терпит лицемерия»; «Что слышат, то понимают умом; что видят, тому подражают». Одно принадлежало Наполеону, другое Кироге<sup>1</sup>. Хименес открыл ему Клаузевица, его память превращалась в библиотеку военной литерату-

---

<sup>1</sup> Кирогас Касерес Сантьяго — адвокат по профессии, известный оратор, преемник Мануэля Асаньи, председатель совета министров и военный министр с мая по июль 1936 г.

ры, но библиотека была неплохая. Пекло Алькасара отражалось в низких облаках, как отражается в море горящий корабль. Каждые две минуты по костру палила тяжелая пушка.

Хейнрих добивался того же, чего добивалась самая активная часть испанского генштаба: штурмовая гвардия остается ударной группой, и до вступления в действие интербригад по мере возможности наращивается численность пятого полка; затем его части и подразделения вливаются в состав регулярной армии, основу которой они и составят, позволив тем самым установить революционную дисциплину, подобно тому как на основе первых подразделений, состоявших из коммунистов, сформирован пятый полк. Батальоны Энрике превращались в корпус. Мануэль начинал с моторизированной роты; он был командиром батальона под началом у Хименеса, в Мадриде он примет командование полком. Но «рос» не он — выросла испанская армия.

Вертя в пальцах стебелек укропа, Мануэль шел под встречным ветром к музею Санта-Крус посмотреть, как ведется подкоп; ему на лицо падали рыжеватые отсветы от языков пламени, бесновавшегося в Алькасаре. Хейнрих остался в городе, ждал телефонного звонка из Мадрида; на затылке, тщательно пробритом, как в обычае у немецких офицеров, залегли складки, словно на лбу.

Когда ветер относил гул канонады, слышался другой гул, негромкий и бередящий душу: приглушенно потрескивала горящая крыша Алькасара. Этот гул был под лад запаху, который сводил на нет весь смысл и пальбы, и дальних криков, и всех звуков, порожденных людской суетой: то был запах гари и тления, такой густой, что, казалось, источник его — не один только Алькасар, а сам ветер и сама ночь.

Назрела необходимость двинуть в бой на Тахо силы толедского ополчения. Весь Алькасар, кроме подземелий, нужно было взорвать в течение ночи; в городе шла эвакуация. Крестьяне, их свиньи и козы брели в багровой ночи длинными безмолвными вереницами, освещенными не Алькасаром, а заревом в облаках.

В зале музея уже был один из толедских командиров. Лет сорок, форменная фуражка сбита на затылок.

— Ну-с, ну-с! Что там у вас? Что там у вас?

Он шел навстречу Мануэлю, не вынимая рук из карманов, приветливый, снисходительный, грубоватый.

— Когда будет готов подкоп? — спросил Мануэль.

Командир поглядел на него:

— Когда они кончат... Завтра...

И ухмылка, означающая: с этими недоумками поди знай. И насмешливый взгляд, словно все это очень потешно. Грусть Эрнандеса вызывала у Мануэля некоторое сочувствие; но эта ирония, безучастная и высокомерная, бесила его. К тому же после аварии, в которую они с Рамосом попали, динамит представлялся ему оружием романтическим, а потому сомнительным.

На мгновение шумы войны смолкли; в тишине слышались мерные удары, одновременно и глухие, и металлические, словно бы доносившиеся из-под пола и из-за стен.

— Ведут подкоп? — спросил Мануэль.

Бойцы закивали утвердительно. Мануэлю подумалось, что фашисты в Алькасаре слышат сейчас эти же самые звуки.

Вошел командир подрывников.

— В котором часу ты рассчитываешь кончить? Самое раннее и самое позднее.

— Между тремя и четырьмя.

— Наверняка?

Подрывник подумал.

— Наверняка.

— Какая часть Алькасара взорвется?

— Точно не сказать...

— По-твоему?

— Которая выступает вперед.

— И все?

Подрывник еще подумал.

— Они говорят — и все. Я-то думаю, нет. Подвалы там ведь не один над другим, а уступами, по наклону холма.

— Спасибо.

Подрывник ушел. Мануэль, перебросив веточку в левую руку, взял командира под локоть.

— Если завтра будет бой, учтите, товарищ, пулеметные гнезда у вас низковато. И не закамуфлированы, их видно при свете пожара.

Он вышел в рыжий мрак. Запах трупов и раскаленных камней всосал его в себя, на мгновение рассеялся

от ветра и снова нахлынул, завладел садом, по которому сновали люди в шинелях.

Он проверил один за другим посты: ничего утешительного вплоть до тех частей Алькасара, которые были в руках у республиканцев. Там дела обстояли совсем по-другому: и у штурмовиков, и у гражданских гвардейцев, и у ополченцев организованность была на высоте. Но Мануэль по-прежнему чувствовал тревогу: за взрывом должна была последовать атака, но никакие военные специалисты ее не подготовили.

Сквозь грохот канонады Мануэль различал все те же мерные удары, доносившиеся из-под земли: теперь подрывники работали где-то у него под ногами. Неприятель у себя в подземельях слышал эти звуки, наверное, еще отчетливей...

Хейнрих у телефона дожидался ответа относительно обороны Мадрида. Он был намерен удерживать Толедо, но при любом исходе требовал отказа от системы мелких частей и подразделений и создания мощного резерва при поддержке пятым полком. Франко, уже подумывавший о том, где бы раздобыть белых коней для победного вступления в город, весьма уповал на фашистский бунт в Мадриде, и войска его продвигались слишком быстро.

Эрнандес, сдавший дежурство, сидел вместе со своим другом Морено за столиком в ополченской столовой, единственном месте в Толедо, где еще можно было выпить теплого пива. Лейтенант Морено, посаженный фашистами в тюрьму в первый же день мятежа, приговоренный к смерти и чудом сумевший бежать во время перевозки из одного места заключения в другое, сумел добраться до Мадрида три дня назад. Его вызвали в Толедо для сообщения сведений; так же, как Эрнандес, он учился в толедском пехотном училище. За распахнутыми окнами суетились ополченцы, словно наперегонки с голубой огненной сердцевиной в самом низу огромного пожара.

— Все с ума посходили, — сказал Морено сквозь волосы, свалившиеся на лоб. Волосы у него были черные и густые, разделенные прямым пробором, сейчас они закрыли все лицо. Эрнандес вопросительно поглядел на него. Вот уже пятнадцать лет их связывало рав-

нодушное приятельство, сводившееся к обмену сердечными тайнами и воспоминаниями.

— Я больше не верю ни во что из того, во что верил, — сказал Морено. — Ни во что. И все-таки завтра вечером отправляюсь на передовую.

Он откинул волосы назад. В Толедо он славился красотой: орлиный нос, огромные глаза, условно классическая маска латинской красоты, которой в этот вечер придавали своеобразие очень длинные волосы, не подстриженные, видимо, дабы свидетельствовать о том, что он бежал из тюрьмы. Он был плохо выбрит, и уцелевшие кустики щетины были седые.

Дома заслоняли от них сам Алькасар, но не зарево. Свет его приобретал разные оттенки синего винограда и, отражаясь от облаков, отбрасывал на мостовую тени бойцов, сновавших по улице под равномерный грохот канонады.

— Когда ты был в тюрьме, на что у тебя уходило больше всего сил?

— На то, чтобы научиться безволию...

Эрнандес издавна подозревал у Морено странную тягу ко всему трагическому. Но тревога Морено, природа которой ускользала от капитана, была очевидной.

Они помолчали мгновение, выжидая, пока отгремит пушка. Невидимое полчище беженцев заполняло тьму скрипом повозок.

— Дело не столько в том, что я был в тюрьме, старина, сколько в том, что я был приговорен к смерти. Что изменилось?.. Мне казалось, у меня есть свои представления о людях. Я был марксистом, первым среди офицеров стал марксистом, по-моему. Я не переменил убеждений — у меня просто больше нет убеждений.

Эрнандесу ничуть не хотелось спорить о марксизме. По улице, гремя винтовками, пробежали бойцы.

— Вот послушай, — продолжал Морено, — когда мне был вынесен смертный приговор, мне разрешили прогулки в тюремном дворике. Туда выходили смертники, приговоренные по политическим причинам. О политике никогда не заговаривали. Никогда. Вокруг того, кто начал бы, вмиг образовалась бы пустота.

К Эрнандесу подошла горбатая милисиана, подала ему письмо. Морено нервно рассмеялся.

— И как тебе эта комедия с точки зрения революции?

— Комедия тут ни при чем.

Эрнандес провожал взглядом удалявшуюся горбунью, но, в отличие от Морено, он замечал в ней прежде всего ее истовость и смотрел на нее глазами друга; да и бойцы тоже, насколько он мог разглядеть в отливавшей баклажаном черноте. Она участвовала в их жизни — до сих пор, возможно, она знала только одиночество. Капитан перевел на Морено близорукий взгляд: Морено стал внушать ему недоверие.

— Ты уезжаешь завтра вечером на фронт?..

Морено замялся, опрокинул свой стакан на стол и не заметил. Он неотрывно глядел на Эрнандеса.

— Я уезжаю нынче ночью во Францию, — выговорил он наконец.

Капитан не ответил. Боец-иностранец, не знавший, что платить не надо, постучал по стакану серебряной монетой. Морено вынул из кармана медяк, подбросил, как в игре в орлянку, накрыл ладонью, не взглянув, какой стороной упала монета, улыбнулся какой-то пасмурной улыбкой. Любое сильное чувство придавало этой безукоризненно правильной маске ребяческое выражение.

— Некоторое время, старина, нас держали не в тюрьме, нас держали в старом монастыре: самое подходящее место, разумеется. До этого, когда мы были в тюрьме, мы ничего не видели, ничего не слышали. (И то хорошо.) В монастыре нам повезло, слышно было все. По ночам — залпы.

Он поднял на Эрнандеса встревоженные глаза. В ребяческом выражении его лица было какое-то простодушие, и в то же время растерянность.

— Как ты думаешь, при ночных расстрелах фары, что ли, включаются?

И, не дожидаясь ответа:

— Пойти под расстрел при свете фар... Слышались залпы, и еще кое-что слышалось; деньги у нас отобрали, но мелочь оставили. И вот почти все играли сами с собой в орлянку. Выведут ли нас завтра на прогулку, например, или погонят на расстрел. И бросали монету не один раз, а десять, двадцать. Залпы слышались издалека, но приглушенно: и стены, и воздушная прослойка. Но по ночам между залпами и мною было это позвякиванье: медяки бренчали справа, слева, со всех сторон. Старина, по удалявшемуся бренчанью я представлял себе размеры тюрьмы.

— А надзиратели?

— Как-то один расслышал побрякивание. Открыл дверь моей камеры, рывкнул: «Продулся!» — и хлопнул дверь. Надзиратели у меня были гады. Гады, не сомневайся. Но до какой степени. Вот слышишь, вилки позванивают? Так же слышно было. А потом, в конце концов, может, и звона уже не было, просто мерещилось. Нервы там начинают пошаливать. Иной раз у меня было ощущение, что вокруг сплошной звон, вязнешь в нем, как в снегу. А ведь моих соседей схватили не в первый же день, как меня, они успели повоевать. Мучительно и нелепо: в сущности, они гадали на медяках — жизнь или смерть. Скажи, старина, при таких обстоятельствах какой смысл в слове «геройство»?

Морено снял ладонь с монетки, скова подбросил.

— Выиграл, — сказал он удивленно.

Сунул монетку в карман. В свое время Эрнандес видел Морено в деле, они вместе воевали против войск Абд-эль-Керима; и он знал, что Морено храбр. Обстрел Алькасара продолжался, потрескивание огня прерывалось пронзительным скрипом тележных осей.

— Послушай, старина, героев без публики не бывает. Когда остаешься по-настоящему один, это понимаешь. Говорят, быть слепым значит жить в особой вселенной; сидеть в одиночке — то же самое, можешь поверить. Там замечаешь: все, что думаешь о себе сам о м , — мысли из другого мира. Из того, который остался за стеной. Из края непуганых олухов. Конечно, в тюремной вселенной ты волен думать и о себе, но у тебя возникает ощущение, что ты просто спятил. Помнишь исповедь Бакунина? Ну вот. Два эти мира не общаются между собой. Есть мир, где люди умирают плечом к плечу, с песней, стиснув зубы или как им угодно, а там, старина, позади, есть этот монастырь, где...

Он снова вынул медяк из кармана, бросил со звоном, передернулся. Потом подобрал, так и не взглянув, какой стороной медяк упал: глаза его не отрывались от окна.

— Погляди на них. Нет, ты только погляди: одни за другими. Сплошные объятия, восторги, я творю историю, я мыслю! А в камере все это — перезвон медяков...

Все-таки, пока я успею умереть, на земле еще останутся страны, где нет фашистов. Когда я оказался



на свободе, я был как во хмелю оттого, что вернулся в жизнь, сразу явился восстановиться на службе. Но теперь я прозрел. Помни, каждому человеку грозит миг истины. И миг истины — это даже не смерть, знаешь, даже не страдания, это звон медяка, старина, звон медяка...

— Но ведь ты атеист, так почему для тебя миг смерти значит больше, чем любой другой, почему ты судишь о жизни лишь на этом основании?

— Все можно вытерпеть, можно даже уснуть, когда знаешь, что на сон тратишь последние часы жизни и завтра тебя расстреляют; можно изорвать фотографии тех, кого любишь, потому что с тебя довольно сантиментов, которым даешь волю, когда их перебираешь; можно порадоваться, заметив, что ты еще в состоянии подпрыгнуть, как щенок, чтобы без всякого смысла выглянуть в глазок камеры, и так далее... Вытерпеть можно все, поверь. А вот, чего не вытерпеть: в тот миг, когда тебя хлещут по лицу или избивают, не вытерпеть мысли, что затем тебя убьют. И что ничего другого уже не будет.

Страстность придавала напряженное выражение его киноактерскому лицу, и под переменным — то красноватым, то фиолетовым — светом от невидимого пожара оно снова стало по-настоящему красивым.

— Нет, старина, ты вдумайся! В Пальма-де-Майорка я просидел в одиночке две недели. Две недели. Меня навещала мышь — ежедневно в одно и то же время, как по часам. Поскольку человек, как общеизвестно, животное, источающее любовь, я эту мышь полюбил. На исходе второй недели я получил право на прогулку, смог перемолвиться с другими заключенными; так вот, когда я вернулся в камеру в тот же вечер, при появлении мыши мне стало тошно.

— От такого испытания, как то, через которое ты только что прошел, неизбежно что-то остается, иначе быть не может; ты для начала должен есть, пить, спать и как можно меньше думать...

— Легко сказать. Старина, у людей нет привычки умирать, заруби себе на носу. Совершенно нет привычки умирать. И когда такую привычку приобретаешь, о другом уже не думается.

— Видишь ли, и без смертного приговора здесь узнаешь немало разного; человек, может, и не создан, чтоб знать такое... Я-то узнал одну вещь, очень про-

стю: от свободы ждут всего и сразу, а чтобы человек смог продвинуться вперед хоть на сантиметр, жизнь должны отдать очень и очень многие. При Карле V эта улица в какую-то ночь, возможно, выглядела так же, как сейчас...<sup>1</sup> А ведь со времен Карла V мир все-таки изменился. Потому что люди хотели, чтобы мир изменился, несмотря на звон медяков, хотя, может, даже знали, что такое где-то бывает — звон медяков... Когда воюешь здесь, пасть духом легче легкого. И все равно единственное в мире, что так же... весомо, как твои воспоминания, — это помощь, которую мы можем оказать тем, кто сейчас молча проходит по улице.

— В камере я говорил себе что-то в этом духе — по утрам. А к исходу дня истина возвращалась. Вечер — самая трудная пора; знаешь, старина, когда прогуляешься по трехметровой камере и стены начинают сдвигаться, становишься умнее! Кладбища революций такие же, как и все прочие...

— Все семена вначале гниют, но некоторые дают всходы. В мире, где нет надежды, нечем дышать. Или остается жить только физиологией. Потому-то среди офицеров многие так хорошо приспособляются к жизни: почти для всех она всегда сводилась только к физиологии. Но не для нас.

Тебе бы надо взять две недели, чтобы привести себя в порядок. И если потом, на холодную голову ты, поглядев на бойцов, увидишь только театральщину, если ничто в тебе не откликнется на ту надежду, которая живет в них, тогда поезжай во Францию, тебе здесь нечего делать...

За безмолвными группками двигались повозки, на которых горбами выпячивались мешки и корзины, пурпурно поблескивали бутылки; позади верхом на ослах следовали крестьянки, лиц было не разглядеть, разве что угадывался взгляд, пристальный, полный той извечной скорби, которую видишь на старых полотнах, изображающих «Бегство в Египет». Потоки беженцев, кутавшихся в одеяла, текли в запахе гари и колыхались в такт глубоким и ритмичным звукам канонады.

---

<sup>1</sup> Очевидно, имеется в виду восстание самоуправляющихся городов Кастилии против абсолютизма в защиту городских вольностей (1520—1522); оплотом восстания был Толедо, в 1521 г. захваченный Карлом V; при нем же был построен Алькасар.

От безмятежных звезд все холмы спускаются к отлогости, где появятся танки противника. Там и здесь — на хуторе, в рощице, за утесом — выжидают подрывники.

Их ближний тыл — позиции республиканцев, обороняющих Толедо, — в двух километрах отсюда.

В оливковой роще залегли подрывники, человек десять. Один, растянувшись на животе, упершись подбородком в ладони, не сводит глаз с гребня холма, где расположился наблюдатель. Почти у всех остальных в зубах сигареты, но еще не горящие.

Сьерра держится, Арагонский фронт держится, Кордовский фронт держится, Малага держится, Астурия держится. Но грузовики Франко на полном газу катят вперед по всей линии Тахо. И в Толедо дела скверные. Как всегда, когда дела скверные, подрывники говорят об Астурии, о том, что там было в тридцать четвертом. Пепе рассказывает эпопею Овьедо новобранцам из подкрепления, только что прибывшего из Каталонии: тогда после разгрома возник народный фронт.

— Взяли мы арсенал. Думаем: спасены, порядок, а все, что нашли, в дело не годится. Есть гильзы — нету капсюлей, есть снаряды — нету взрывателей. Ну, снаряды использовали как ядра, так и пускали в ход. Все-таки грохот, появлялась вера в себя, хоть какая-то польза.

Пепе переворачивается на спину; над головами рабочих — только луна, свет ее мельчайшими пылинками мерцает на посеребренных листьях оливок.

— Появлялась вера в себя. И она вела нас, вера в себя. Довела аж до тюрьги.

Луна освещает его физиономию, похожую на славную конскую морду.

— Думаешь, войдут они в Толедо?

— А к растакой матери?

— Не горячись, Пепе... По мне, Толедо... светопреставление... Я на Мадрид рассчитываю.

— А у нас что, не светопреставление было?

— Если бы не динамит, — сказал еще чей-то голос, — с нами за три дня разделались бы. Нашлись ребята, которые умели заряжать, попытали мы счастья в арсенале — какое там! В итоге парни шли воевать, имея по пяти пуль на брата; ты только подумай: полдесятка пуль! Слышь, Пепе, помнишь, как женщины

вышли с корзинами и мешками. Я видывал, как в поле подбирают остатные колоски, но чтоб гильзы подбирали — такое я видел впервой. Они только о гильзах и думали, попрекали нас: медленно, мол, стреляете. Прямо беда!

Никто не повернул головы: голос знакомый, Гонсалеса. У кого, кроме толстяков, бывает такой жизнерадостный голос? Все слушают, но в то же время востряты уши — не донесется ли издали рев танков.

— От динамита, — продолжает П е п е , — и грохоту много, и пользы. Помнишь рогатки Меркадера?

Но повернулся он лицом к каталанцам: они-то Меркадера не знали.

— Парень с головой: изобрел штуковины, чтобы бросать динамитные заряды. Бомбометы, одним словом. Нужно было тянуть за веревки, как в стародавних войнах. Втроем тянули. Мавры по первости, когда полетели в них настоящие динамитные заряды с расстояния в двести метров, ошалели, чуть не спятили. Мы и щитов понаделали, но проку от них не было — больно заметная мишень.

Вдали застрочил пулемет, смолк, снова застрочил, приглушенно, словно в бескрайней ночи заработала швейная машинка. Но танков все нет и нет.

— Они же тем временем производили самолеты, — сказал кто-то с горечью.

Истории эти звучат эпически и в то же время они — слабое утешение здесь, в долине, на которую вот-вот выйдут параллельные шеренги танков. Подрывники, наверное, — последняя военная специальность, где человек еще стоит чего-то по сравнению с техникой. Каталонцы пошли в подрывники, как пошли бы в пехоту или еще куда; но астурийские ветераны держатся за свое прошлое, продолжают его. Они — самая старая испанская жакерия, которая наконец-то приобрела организованность; возможно, единственные, для кого Золотая легенда<sup>1</sup> революции обогащается опытом войны, а не сводится им на нет.

— Теперь у мавров-конников есть ручные пулеметы...

— Плевать!

— В Севилье полно немцев, все спецы.

---

<sup>1</sup> Золотая легенда — название, данное в Европе XV века сборнику житий святых, составленному около 1260 г. в Италии.

— И начальники тюрем.

— Говорят, две итальянские дивизии выступили...

— Наши-то не особо на высоте, когда имеют дело с танками?

— Не обвыкли...

И снова они отбиваются от грозящей опасности, перебирая воспоминания.

— Самое сумасшествие, — продолжает Пепе, — было у нас в конце. В центральном крестьянском комитете ребята были что надо. Но помощи не жди, а им самим не справиться. Мавры прут со всех сторон, еще три часа — и мы в кольце. И люди у нас были, и динамит, а к делу его не приспособить. Мастерили мы что-то вроде взрывпакетов: заворачивали динамит в газеты, начиняли болтами. Про оружие и говорить не стоит: нет и не будет. Послали одного парня в арсенал, он принес обрывок газеты, на котором тип, отвечавший за арсенал, карандашом изобразил, что за боеприпасами посылать сюда людей нет смысла: ни патрона не осталось. Последние патроны поделили ребята, умевшие заряжать. По пяти штук на нос. Взяли винтовки и пошли воевать. Точка. Сами видите: дела — как сажа бела. Парни из крестьянского комитета сидели за столом, брови супили, а что им еще оставалось. Вокруг полно народу. Все молчат, никто ни звука. Мавританские пулеметы все ближе, вот как сейчас. И тут вдруг началось... Шум не шум, потому что ничего не слышать, а что-то такое есть: на столе ножи и кружки запрыгали, на стенке портрет закачался. Что за черт? Но тут слышим — звяканье, и дошло: стада притопали, перепугались мавров: те палили куда попало. Глядим, скотинка уже по улице топает. И тут один комитетчик, дошлистый парень и головастый, орет: «Ставь баррикаду, снимай со жвачных бубенчики». (Колокольчики-то у них не мелкие были, а толстостенные, как у горцев в ходу). Поснимали мы со всех тварей бренчалки, понаделали гранат и так три часа продержались, а тем временем удалась эвакуировать людей и вывезти все, что нужно. Так что, в общем, танки — тьфу, есть у нас чем отбиться.

Пепе вспомнился бронепоезд. Всю войну с голыми руками. Но теперь, когда люди организовались, они не дают пройти танкам и без противотанковых ружей.

Вдалеке лает собака.

— А про осла? Про осла, Гонсалес!

— Война — такое дело, как начнешь вспоминать, так всегда про смешное... Прямо беда!

Многие подрывники неразговорчивы либо не мастера рассказывать. Пепе, Гонсалес, еще кое-кто — завзятые рассказчики и заводилы. Возможно, фашисты не решаются бросать танки в ночную атаку; они плохо знают местность и опасаются рвов. Но скоро разведнеется. Про осла, так про осла.

— Идея насчет осла была идея что надо. Нагрузили его динамитом, запалили шнур и гони, милый, к маврам! Животинка и пошла, уши наострила, знать не знает, что впереди. Да только мавры давай поливать его пулями. По первости ушами затряс, словно пули — те же мухи, потом остановился, призадумался. И, видно, решил — не согласен; глядим, он к нам поворачивает. Ну уж нет! Мы тоже давай палить. Но только настало он, в общем, знает: там пули, тут пули, подумал-подумал и потопал к нам...

От взрыва — такого, что, кажется, где-то земля раскололась до самых недр, — с деревьев дождем сыплются листья и сухие веточки.

При свете огромной багровой молнии, которая взвилась в ночи над Толедо, подрывники увидели друг друга такими, какими их сделает смерть: фиолетовые лица без взгляда и с открытым ртом.

Все сигареты попадали наземь.

Они разбираются в звуках взрывов. Это не мина. И не динамит. И не пороховой погреб.

— Торпеда?

Торпед, впрочем, никто из них в глаза не видел. Они прислушиваются. Вроде бы сверху доносится гул самолета, но, может, это грузовики мавров.

— Есть в Толедо газовый завод? — спрашивает Гонсалес.

Никто не знает. Но все думают об Алькасаре.

Ясно одно: фашисты попали в оборот. Там, где отбушевал огненный сноп, небо так и осталось красным: пожар или заря?

Нет, заря занимается с другой стороны. Вот она забрезжила, и от листвы олив словно бы повеяло прохладой.

Теперь не до воспоминаний. Подрывники на постах ждут. Неприятеля и рассвета.

Они снова сунули в рот сигареты, но все еще не закуривают. Над полями Испании тишина, та же, что сто-

яла, когда появились здесь первые мавры<sup>1</sup>, та же, что стояла в течение стольких дней мира и стольких дней нищеты. Белая полоса денницы стелется вдоль горизонта. Ночь над головами залегших бойцов мало-помалу рассеивается. Уже скоро послышится мощный зов дня, но пока еще все заполняет печаль чуть пробивающейся зари, тусклая пора. С хуторов доносятся горестные петушьи вопли.

— Рикардо топает! — кричит Пепе.

Наблюдатель бегом возвращается к своим. Вычертившись на фоне все того же горестного рассвета, вздыбившись, словно грозя не земле, а тусклому небу, из-за гребня появляются неприятельские танки.

Гонсалес, за ним Пепе, за ними все остальные закуривают. Отовсюду навстречу танкам тенями заскользили люди.

Может, танкисты и знают, что подрывники здесь, но разглядеть не могут: подрывники пригнулись либо залегли, слившись с землей, с ложиной, в то время как танки вздымаются на фоне неба.

Справа от Гонсалеса — один из каталонцев, молодой парень, почти все время молчавший; слева — Пепе. Гонсалесу их почти не видно, только слышны их мягкие шаги под рассветным небом, мужские шаги. В начале каждого боя на какой-то миг друзья кажутся ему моллюсками без панциря: мягкие, гибкие, беззащитные. Он из них самый крупный, остальные кажутся ему мозгляками. Танки, те в панцирях, они двигаются вперед с гулом, переходящим в грохот; а навстречу им скользит в странной тишине колышащаяся линия динамитчиков.

Танки идут двумя рядами, но на такой дистанции друг от друга, что подрывники не будут принимать это в расчет: каждой группе — свой танк, словно при построении в один ряд. Кое-кто из каталонцев не сумел как следует прикрыть сигарету ладонью. «Недоумки!» — думает, наверное, Гонсалес. Он глядит на еле тлеющие точки, сам-то он позади, может, спереди не так видно. Он двигается вперед вместе с остальными, его несет та же волна, то же воодушевление, суровое и братское. Он неотрывно глядит на танк, а в сердце звучит горловой астурийский напев. Вот что значит

---

<sup>1</sup> Имеется в виду 711 год — год вторжения арабов на территорию Испании.

быть человеком, и никогда не познает он этого чувства глубже, чем сейчас.

Сейчас он окажется на виду. Развиднелось. Пепе только что залег. Гонсалес тоже ложится. Танк в четырехстах метрах от него, еще не виден, перед глазами у Гонсалеса — штрихи травинок: колоски, былинки вроде тех, что мальчишкой он совал приятелям за ворот — дикий овес, что л и , — и еще маргаритка на высоком стебельке, по нему уже ползут муравьи. И крохотный паучишко. Живые твари, живут себе у самой земли в травяном лесу, что им люди и войны. Следом за двумя крайне занятыми муравьями появляется на полной скорости переваливающееся и режущее пятно — накрененный танк. Местность под ним — с уклоном: если удачно швырнуть заряд, танк завалится. Гонсалес ложится на бок.

Хорошо бы, взял правее. Пока Гонсалеса прикрывает от башенных стрелков невысокая насыпь, но когда танк окажется на ее уровне, уцелеет тот, кто успеет начать первым. Сейчас солнце ударит водителю в глаза. Гонсалес шевелит правой рукой — проверить, нет ли помех.

Что стряслось с каталонцем? Танк справа палит. Танк Гонсалеса, все еще накрененный, на полной скорости идет на муравьев, они в десяти сантиметрах от глаз Гонсалеса — громадины. Гонсалес вскакивает, швыряет динамит в грохоте моторов и пулеметов и сразу же расплывается по земле, словно ныряет во взрыв.

Приподнимает голову: вокруг сыплются, погромыхая, камни, танк перевернулся вверх тормашками, башня прижата к земле. А люк — в верхней части башни. Над гусеницами, все еще вращающимися, встает солнце.

Гонсалес прильнул к земле, но он весь на виду. Ствол башенной пушки повернут в другую сторону; он неподвижен. Гонсалес следит за ним, сжимая в руке бомбу.

В косых лучах солнца гусеницы замедляют вращение, словно колесо лотереи, которое вот-вот остановится.

Гонсалес поднес сигарету почти к самой бомбе, бомба последняя. Курсовой пулемет неподвижен. Оба танкиста убиты либо ранены, а если и нет, они перевернулись вниз головой, вместе с танком, и им не вы-



браться, потому что танк всей своей тяжестью придавил башню к земле. Если бак опрокинется, они сгорят меньше чем за пять минут: гражданская война.

Никаких выстрелов. Гусеницы остановились.

Гонсалес переворачивается. Республиканская артиллерия не стреляет. А есть у республиканцев артиллерия? Гонсалес встает на колени. В ложине, которую отпечатки гусениц бороздят, как море — кильватерные струи, лежит его танк, всего два-три — четыре-пять танков выведено из строя, у них вид допотопных чудовищ, как всегда у перевернутых либо завалившихся набок танков. (Когда Гонсалес впервые увидел завалившийся танк, он подумал, это новая модель.) Два танка пылают. Вдалеке, в свете дня, уже всезаполняющего, последние танки, постепенно скрывающиеся за бугром, идут на штурм республиканских рубежей, за которыми — Толедо.

Танки прошли.

— Что каталонец? — спрашивает Гонсалес.

— У б и т, — отвечает Пепе.

Хотя стоит уже ослепительный день, убитых не видно — их прячет трава. Пули шныряют вокруг двух подрывников. Пепе передразнивает их бессмысленный посвист и снова залегает.

Над холмом появляются белые пятна марокканских тюрбанов.

Дым, окутавший после взрыва зияющий Алькасар, пронизывал прохладный рассветный воздух тяжелым влажным запахом, в котором растворялся трупный смрад. Ветер разглаживал пелену дыма, и она покрывала уцелевшие стены, как море покрывает скалистое дно. Ветер подул сильнее, всколыхнул застойную пелену, стали видны ощерившиеся обломки камней. Дым потек направо, сверху вниз, не рывками, как течет вода, а сплошным потоком, застревая в пробоинах и щелях. Алькасар дал течь, как пробитый бак, подумалось Мануэлю.

Пробираясь во все закоулки развалин, дым, словно ринувшийся в наступление, метр за метром овладевал республиканскими позициями. Теперь осаждавшие оказались далеко друг от друга: в результате подкопа были взорваны выдвинутые вперед позиции фашистов, но подземелья уцелели.

На мгновение стало тихо, и Мануэль слышал стук сапог по камням. Это был Хейнрих; ответ зари блеснул у него на крепком затылке, наморщенном, словно лоб.

— Что Мадрид? — спросил Мануэль, так и не выпустивший из рук стебля.

— Не получилось, — ответил генерал, не глядя на него. Он неотрывно смотрел на вершины скал, мало-помалу выступавшие из гущи дыма, словно из моря во время отлива.

— Почему? — спросил Мануэль.

— Не получилось. Наши были напротив, так?

— Их эвакуировали до взрыва.

— К той части, которая взорвана, нет другого подступа, кроме как через Алькасар?

Держа бинокль у самого лица, старческого, но с гладкой кожей — такие лица бывают у польских крестьянок, — он не сводил глаз с размолотого утеса, все больше и больше выступавшего из гущи дыма; потом протянул бинокль Мануэлю.

— Есть у нас пулеметы на флангах?

— Н е т, — ответил Мануэль.

— Этим не остановить, но хоть задержали бы!

Вдоль утеса ползли точки, жались к нему, точно мухи. Добравшись до вершины скалы, точка исчезала, потом появлялась ниже. Теперь дым отполз за республиканские передовые посты, покинутые штурмовиками перед самым взрывом. Фашисты двигались вперед под прикрытием дыма.

— Есть у нас пулеметы на флангах?

Все позиции, отвоеванные за десять дней республиканцами, были снова утрачены.

— Надо привести город в оборонное состояние, — сказал Хейнрих.

Телефон комендатуры не отвечал. Из Санта-Круса сообщили, что мавры уже в десяти километрах.

Хейнрих и Мануэль пошли в лавчонку к Эрнандесу.

На улице, где давка была как на вокзале в пору летних отпусков, какой-то милисиано сунул Мануэлю свою винтовку:

— Хочешь винтовку, начальник?

— Тебе самому понадобится, и очень скоро, — ответил Хейнрих по-немецки.

— Все равно брошу, уж лучше бери...

Седые брови Хейнриха обычно придавали голубым его глазам удивленное выражение. Сейчас взгляд стал пристальным и на гладко выбритом лице с бровями, невидимыми на свету, казался до крайности жестким. Но между ним и милисиано было уже человек двадцать.

Из домов с закрытыми ставнями вели огонь по республиканцам из винтовок, которые они сами побросали у дверей.

Впервые Мануэль испытывал на улице противное ощущение, которое иногда испытывал в закрытом помещении: он не мог шагу ступить, не нащупав носком землю. Толпа на улицах Толедо в недавнее время, толпы во время шествий в день Тела Христова, то, что творилось в Мадриде в первые дни мятежа, — все это не шло в сравнение с тем, что происходило здесь сейчас. Бойцы несли свои мексиканские шляпы, насадив на кулак и подняв вверх, точно цирковые обручи. Двадцать тысяч человек плечом к плечу в едином порыве безумия. На углу каждой улицы брошенные винтовки.

Двери в лавочку Эрнандеса были распахнуты настежь. Человек в красно-черной каскетке орал:

— Кто тут главный?

— Я, капитан Эрнандес.

— Слышь, «капитан», мы стояли в доме 25, по улице Комерсио. Нас обстреляли. Мы перебрались в дом 45, опять под обстрел. Откуда ихние «капитаны» узнают, где мы, ты, что ли, даешь знать, чтоб побыстрее нас ухайдакали?

Эрнандес брезгливо смотрел на говорившего.

— Дальше, — сказал он.

— Нам осточертело. Где наша авиация?

— Где, по-вашему, ей быть? В воздухе.

Против итальянских и немецких самолетов у правительства оставался в состоянии боеготовности десяток современных машин.

— Если через полчаса наших самолетов здесь не будет, мы смоемся! Мы вам не пушечное мясо — ни для буржуев, ни для коммунистов. Мы смоемся! Дошло?

Он устался на красную звезду Мануэля, стоявшего позади капитана. Взгляд Хейнриха снова стал пристальным.

Эрнандес обеими руками взял анархиста за отвороты куртки, проговорил, не повышая голоса:

— Вы смоеетесь сию же минуту, — и вышвырнул за дверь, прежде чем тот успел слово сказать. Эрнандес обернулся, откозырял Хейнриху, пожал руку Мануэлю.

— То ли кретин, то ли мерзавец, возможно, и то и другое, если хотите. Им всюду мерещится измена... Небеспричинно, впрочем... Пока это будет продолжаться, делать нечего...

— Всегда можно что-то сделать, — сказал Хейнрих.

Мануэль перевел, нервно шевеля пальцами: стелька он потерял в толкотне. Эрнандес пожал плечами.

— Слушаюсь.

— Тот, кто покинет пост, идет под расстрел.

— Кто будет расстреливать?

— Вы сами, если потребуется. На кого можно рассчитывать?

— Ни на кого... Здесь делать нечего. А при этом... Да ладно!.. Не вводите сюда боееспособные войска, за час они придут в полное разложение. Здесь логово дезертиров. Будем сражаться за пределами города, если возможно, и не с этим контингентом. Какими силами вы располагаете?

— Здесь тысячи бойцов и тысячи винтовок, — сказал Хейнрих, — можно же использовать хоть часть. И нельзя не использовать выгодную позицию.

— Здесь нет ни одного солдата. Три сотни ополченцев, готовых идти на смерть. Несколько астурийцев, если хотите. Все прочие — дезертиры, которые хотят оправдать свое дезертирство, критикуя все подряд. Бросают винтовки у дверей, фашисты уже начали подбирать и обстреливать нас же. Даже женщины уже не боятся выкрикивать в окна оскорбления.

— Продержитесь до пяти-шести часов.

— Ворота Висагра пригодны для обороны, но они оборонять не будут.

— Оборону организуем мы, — сказал Хейнрих. — Идем туда.

Проплутав довольно долго по переулкам, они вышли к воротам. Свалка винтовок.

Ополченцы, человек десять, дулись в карты, сидя на земле. Хейнрих нагнулся на ходу, сгреб карты, сунул себе в карман, не сводя глаз с игроков. Зашагал дальше, вышел за ворота, осмотрел позицию снаружи. Мануэль нашел почти прямую ветку, она заменила ему

стебель укропа: нужно было привести в порядок нервы: при виде брошенных винтовок он шалел от бешенства.

— Сущее помешательство, — сказал Хейнрих. — Здесь на крышах и балконах можно продержаться до тех пор, пока фашисты не подвезут артиллерию.

Они вернулись в город. Генерал все разглядывал крыши.

— Вот несчастье, что я не знаю испанского, черт побери!

— Зато я з н а ю , — сказал Мануэль.

Они с Эрнандесом принялись отбирать людей, расставляли по местам, посылали за боеприпасами, распределяли все пригодное оружие, оказавшееся бесхозным, между стрелками, которые уже были расставлены. Нашлись три ручных пулемета. Через час ворота превратились в оборонительную позицию.

— Ты подумашь, что я болван, — сказал Хейнрих, — но теперь нужно, чтобы они запели «Интернационал». Все они в укрытиях и друг друга не видят, пусть хоть голоса услышат.

Обращение на «ты», принятое среди коммунистов, ничуть не уменьшало власти интонаций Хейнриха.

— Товарищи! — заорал Мануэль.

Отовсюду — из-за углов, из окон — высунулись головы. Мануэль затянул «Интернационал», чувствуя, что ему мешает ветка — вся в листьях: ему не хотелось выпускать ветку из пальцев и тянуло отбивать ею такт. Пел он очень громко и, поскольку обстрел Алькасара почти прекратился, его было слышно. Но ополченцы не знали слов «Интернационала».

Хейнрих был ошеломлен. Мануэль ограничился припевом.

— Ну и л а д н о , — сказал Хейнрих с горечью. — Часам к четырем мы будем в Мадриде. До тех пор продержатся.

Эрнандес грустно улыбнулся.

Мануэль назначил командиров, и все трое отправились к воротам Солнца.

За три четверти часа ворота были укреплены.

— Вернемся к воротам Висагра, — сказал Хейнрих.

Из приоткрытых окон все чаще слышались выстрелы фашистов. Но толчея прекратилась: за час из Толедо ушло более десяти тысяч человек. Город пустел, подобно тому как истекает кровью раненый.

Машина Хейнриха стояла в запертом гараже.

— Поезжайте сразу же, — сказал Эрнандес. — Немешкая...

У двери ждал офицер с маленькими усиками.

— Мне сказали, вы едете в Мадрид. Я срочно должен там быть. Можете вы меня взять?

Он показал служебное предписание. Сначала поехали к воротам Висагра. Вел Мануэль. На каждом пороге — брошенные винтовки. Когда машина затормозила на повороте, одна дверь приоткрылась, чья-то рука потянулась к винтовке. Хейнрих выстрелил, рука отдернулась.

— Испанский народ оказался не на высоте... — сказал офицер с усиками.

И снова во взгляде генерала появилась та жесткая пристальность, которую уже дважды замечал Мануэль.

— В ситуациях, подобных этой, — сказал Хейнрих, — всякий кризис — всегда кризис командования.

Мануэлю вспомнился Хименес. И еще вспомнились ополченцы, их можно было видеть на любой улице Мадрида: озабоченные и старательные, они учились шагать в ногу, как учатся читать.

Когда они вернулись к воротам Висагры, Мануэль вышел из машины, окликнул часовых. Никакого ответа. Он снова позвал. Молчание. Он поднялся на верхний этаж первого же дома, откуда видны были крыши. За каждым углом, там, где Мануэль час назад поставил по человеку, валялись брошенные винтовки. Брошены были и три ручных пулемета. Ворота еще оборонялись — оборонялись оружием, но не людьми.

Винтовок не хватало на Малагском фронте, на Кордовском фронте, на Арагонском фронте. Винтовок не хватало в Мадриде.

Совсем близко на гумне молотили пшеницу...

Мануэль отшвырнул наконец свою ветку, спустился; ноги у него были как ватные. Все двери были распахнуты; близ окон, прислоненные к ставням, последние ружья охраняли Толедо.

А в открытые окна на каждой крыше возле каждой трубы виднелась винтовка и рядом — сумка с боеприпасами.

Мануэль доложил об увиденном Хейнриху. Эрнандес, тот заранее знал, что так и будет.

— Сюда нужно перебросить молодежные части, — сказал Хейнрих. — Мчимся в Мадрид. На данный момент вывести людей из Толедо несложно.

— Вам не успеть! — сказал Эрнандес.

— Попытаемся.

— А ты что будешь делать? — спросил Мануэль.

— А что мне, по-твоему, делать? — сказал Эрнандес, пожав плечами и показав в горькой усмешке длинные желтоватые зубы. — У нас тут десятка два наберется тех, кто умеет более или менее стрелять из пулемета, я в том числе.

Он равнодушно показал на кладбище:

— Там или здесь...

— Нет; мы подоспеем вовремя.

Эрнандес снова пожал плечами.

— Мы подоспеем вовремя, — твердо повторил Мануэль, нахлестывая прутиком свой ботинок.

Эрнандес удивленно поглядел на него.

Мануэль внезапно осознал, что никогда еще не говорил с Эрнандесом таким тоном. Приказы бесстрастным голосом не переведешь, и вот уже несколько часов он произносил их с теми же интонациями, что Хейнрих. И научился властности так же, как учатся языку — с голоса.

— Если наберешь человек двадцать, — проговорил он, — попробуй все-таки удержать эти ворота.

— Перед уходом расставьте здесь новых бойцов, — сказал Хейнрих.

— Слушаюсь, — ответил Эрнандес с тем же бесстрашием отчаяния.

Расставив людей, они вернулись в лавчонку. Брань из окон и фашистские выстрелы доносились все чаще.

— Этим хотелось бы воскресить Филиппа II и вернуть ему трон, — сказал Мануэль. — Эрнандес, для начала распорядись, чтобы собрали все винтовки, кроме тех, что в подъездах: я пришлю тебе грузовики со штурмовыми гвардейцами.

— Собрать проще, чем пустить в дело...

Агония города ускорялась.

— Пусть продержатся день, — сказал Хейнрих. —

---

<sup>1</sup> Филипп II (1527—1598) — испанский король с 1556 г.; его политика способствовала укреплению испанского абсолютизма.

Динамитчики продержатся ночь. Если мы перебросим сюда молодежь и бойцов из пятого полка, мы продержимся неделю. А через неделю...

*Глава                    восьмая*

Эрнандес, уже в гражданском, как все почти оставшиеся в живых бойцы — комбинезон он сбросил, — секунду колебался. Судя по звукам, республиканцы были справа. Чего он хочет? Спасти? Двумя часами раньше это было не сложнее, чем сесть в поезд. Сражаться до последнего? Главное — больше не оставаться в одиночестве, не оставаться в одиночестве. Он отстал от своих при первой же атаке легионеров. Главное — выбраться к своим.

Под прикрытием стен (слева, все приближаясь, слышался треск легионерских пулеметов) он выбежал на какую-то улицу. Республиканские пули царапали высокие тусклые фасады, и из пробоин в штукатурке вырывались густые и короткие струйки дыма. Треск неприятельских пулеметов все приближался. Легионеры, судя по всему, уже выходили на угол, который Эрнандес обогнул за мгновение до того: теперь пули летели и спереди, и сзади.

Метрах в десяти от него горел фонарь. Эрнандес подбежал к фонарю, помахал револьвером, чтобы оповестить, что он свой; пуля выбила маузер у него из рук. Эрнандес бросился в какой-то подъезд. От легионерских пуль его спасали углы улицы, от республиканских — толщина стены. С обеих сторон лихорадочно застрочили пулеметы, почти вслепую. Одна очередь скосила фонарь, и он рухнул — мелодично прозвенело стекло; теперь пулеметчики не видели ничего, кроме голубоватых огоньков, коротко просверкивавших в обоих концах улицы.

Эрнандес лег, дотянулся до своего револьвера под летящими непрерывным потоком пулями и ползком вернулся в подъезд.

Минут через десять кто-то схватил его за рукав; он вздрогнул.

— Эрнандес, Эрнандес...



— А? Да, я.

Боец, добравшийся до подъезда (он тоже был в штатском), выстрелил трижды с секундными промежутками, и оба бросились бежать. Республиканский пулемет смолк.

Когда они добежали до пулеметчика, сзади подошел еще один боец.

— Мавры!

— К цирку! — крикнул пулеметчик; он, видимо, командовал группой.

Все бросились к улочкам старого города; пулеметчик тащил свой «гочкисс», части которого торчали в разные стороны.

Эрнандес не хотел умирать в одиночку.

Пулеметчик повернулся, установил пулемет, выпустил очередь пуль в пятьдесят, снова побежал. Стрелял он скверно. Марокканцы остановились было, затем тоже побежали.

Одиночные редкие выстрелы. И вдруг с той стороны, куда бежали республиканцы, ветер донес музыку: медь, большие барабаны, цирковая, ярмарочная, военная музыка. «Неужели какие-то деревянные лошади все еще крутятся?» — мелькнуло в мыслях у Эрнандеса. И тут же он узнал фашистский гимн: на площади Сокодовер играл оркестр легиона.

Пулеметчик снова остановился, застрочил пулемет. Десять секунд, пятнадцать. «Сматывайся, кретин! — заорал подносчик. Он принялся с маху пинать пулеметчика в з а д . — Да сматывайся же!» Пинки действовали вернее, чем пули и натиск марокканцев. Стрелок подхватил пулемет и побежал.

Бегом они добрались до арены для боя быков.

Там уже было человек тридцать бойцов. Изнутри казалось, что находишься в крепости. «В картонной», — подумал Эрнандес. Он выглянул наружу. Марокканцы уже расставляли охрану у входов.

— Хороши мы будем при первом же залпе! — сказал какой-то артиллерист, тоже в гражданском.

— Здешние фашисты уже ходят в белых нарукавных повязках, — сказал один из бойцов.

— В соборе служат молебны. Священник тоже там. Все это время он был в городе, прятался.

Наши массовые расстрелы, подумал Эрнандес.

Он по-прежнему выглядывал наружу. Левая часть города еще не была захвачена.

— Конные мавры! — крикнул кто-то.

— Ты спятил!

Ответивший был ничуть не в лучшем состоянии.

— Остаться здесь — идиотство, — сказал Эрнандес. — Их будет все больше и больше. Пропадете ни за грош. Слева пригороды не заняты. Входы охраняются, о них не думайте. Я сейчас расчищу пулеметом кусок улицы. Прыгайте с первого яруса, старайтесь не раскроить себе черепа. Кончайте уцелевших мавров, если те попробуют остановить вас. Их будет не густо. Забирайте влево. Вы еще сгодитесь на что-то получше, чем расстрел. Если с их стороны подойдет подкрепление, я его придержу, пока вы не уйдете.

Он направил пулемет и, водя им слева направо, дал две длинных очереди. Марокканцы падали, разбегались. Бойцы выпрыгнули наружу, без труда оттеснили остатки мавров. Фашисты подходили справа; пулемет, обстреляв их продольным огнем, вынудил остановиться в проемах входов. Последние республиканцы бежали, спотыкаясь, таща на себе товарищей, повредивших ноги. Эрнандес ни о чем не думал, прижимаясь плечом к пулемету; он был абсолютно счастлив.

В амфитеатре никого не осталось. Эрнандес вскочил на ноги, и тут же ему словно ожгло бичом надбровье, кровь залила глаз. Еще удар, на этот раз по затылку чем-то тяжелым и широким — прикладом, скорее всего. Он вытянул руки вперед и упал ничком.

## *Глава                   девятая*

Во дворе толедской тюрьмы кто-то закричал в голос. Это случалось нечасто. Революционеры молчали, потому что были революционерами; остальные — считавшие прежде, что они за революцию, потому что за революцию были все вокруг, а теперь перед лицом смерти, осознавшие, что дорожат только жизнью, все равно как о й, — думали, что молчание — единственный разумный выход для пленных: при опасности насекомые пытаются слиться с листвой.

И были такие, которым не хотелось даже кричать.

— Козлы, идиоты! — орал человек. — Я трамвайный кондуктор!

И на пределе крика:

— Кондуктор! Кондуктор! Болваны!

Эрнандесу не было его видно сквозь решетку камеры, он подождал; человек наконец попал в его поле зрения. Он держал в левой руке люстриновый пиджак и со всей мочи хлопал по нему ладонью правой, словно выколачивал пыль. В нескольких городах фашисты расстреляли всех рабочих, у которых пиджак лоснился на плече: след винтовки. У тех, кто носил сумку через плечо, от ремня на пиджаке оставался такой же след.

— Плевал я на вашу политику, сучьи дети!

И снова:

— Да поглядите хоть на мое плечо! От винтовки же синяк остается, господи боже! Где у меня синяк? Говорят вам, я трамвайный кондуктор.

Два охранника увели его. Вряд ли за ворота, подумал Эрнандес, скорее всего в камеру. Порядок есть порядок.

Пленные обходили двор по кругу, каждый один на один со своей гиблой судьбой. Из города доносились крики торговцев газетами.

Появились во дворе и новички. Как каждый день. Как каждый день, Эрнандес посмотрел на них; и, как каждый день, они отвернулись, чтобы не перехватить его взгляда. Эрнандес начал понимать, что смертники — как заразные больные.

В замочной скважине его камеры звякнул ключ — теперь этот звук был самый важный из всех.

Эрнандес ждал расстрела. С него достаточно. До отвращения. Люди, среди которых ему хотелось бы жить, годились лишь на то, чтобы умирать, а жить среди других он больше не хотел. В тюремном режиме как таковом не было ничего ужасного. Административная система: тюремщиками были профессионалы, доставленные из Севильи. Другое дело — тюремная жизнь. Случалось, на расстрел уводили по двадцать-тридцать человек сразу; слышался залп, затем, чуть погодя и потише, одиночные выстрелы: добивали ра-

ненных. Случалось, ночью звякал ключ в скважине, слышался мужской голос и все тот же вопрос: «Что там?» Затем колокольчик священника. И все. Но скука вынуждала Эрнандеса думать, а думают смертники только о смерти.

Охранник отвел Эрнандеса в отделение спецполиции и остался при нем: офицера еще не было. Здесь в окно тоже был виден тюремный двор, та же цепочка тех же заключенных.

Те, кого еще не «судили», были в патио; смертники содержались в камерах. Эрнандес попытался разглядеть лица за решетками в камерах напротив. Слишком далеко. Он мог разглядеть только руки, вцепившиеся в прутья, и то, когда на них падал свет.

За решеткой — ничего, темень. Да впрочем, для него не так уж важно было рассмотреть: ему хотелось обменяться взглядом с жизнью, не со смертью.

Вошел начальник отделения, офицер лет пятидесяти, с длинной шеей, маленькой головкой и с усами, как у Кейпо де Льяно; в руках у него был бумажник Эрнандеса.

— Бумажник ваш?

— Да.

Полицейский вынул из бумажника пачку кредиток.

— Деньги ваши?

— Не знаю. У меня в бумажнике действительно были деньги...

— Какая сумма?

— Не знаю.

Офицер возвел глаза к небу при проявлении столь явной безалаберности, свойственной красным, но промолчал.

— Песет семьсот-восемьсот, — сказал Эрнандес, приподняв правое плечо.

— Узнаете эту купюру?

Полицейский с булавочной головкой пристально вглядывался в Эрнандеса, надеясь, видимо, что тот себя чем-нибудь выдаст. Эрнандес, уставший до полного безразличия ко всему на свете, посмотрел на купюру и горько улыбнулся.

---

<sup>1</sup> Патио (исп. patio) — внутренний двор.

Купюра, заинтересовавшая спецслужбу, была исчеркана карандашом, и среди штрихов, нечетких и явно бессмысленных, ломаная линия, поднимающаяся вверх, а затем спускавшаяся вниз — «А» без черточки — казалась условным знаком.

Линию нарисовал Морено. Он все-таки отправился не во Францию, а на фронт Тахо. Морено повторял: «В тюремном дворе, старина, люди говорили о разном. О политике — никогда. Никогда. Если бы кто-нибудь позволил себе сказать: «Я защищал то дело, которое считал правым, я проиграл, надо расплачиваться», — вокруг него образовалась бы пустота. Люди умирают в одиночку, Эрнандес, помните об этом».

О чем они думают, те, кто ходят под этими окнами, о политике, о дулах наведенных винтовок, ни о чем?

Эрнандес сказал в том разговоре: «Меня смерть мало заботит. А вот пытки...»

— Я расспрашивал тех из нашей тюрьмы, кого пытали, о чем они думали во время пытки. Почти все отвечали: «Я думал о том, что будет после». Но даже пытки — ничто по сравнению с уверенностью в неминуемой смерти. Главное в смерти — то, что она делает необратимым все предшествовавшее, и необратимость эта безысходна; если пытка, насилие завершаются смертью, это действительно ужасно. Поглядите...» Морено стал чертить на свободном поле ассигнации: «Всякое ощущение таково, каким бы ужасным оно ни было. Но потом...»

— Узнаете эту ассигнацию? — снова спросил полицейский.

Улыбка Эрнандеса приводила его в замешательство.

— Да, разумеется.

В тот день Эрнандес положил ассигнацию на стол по рассеянности: в столовой республиканской армии кормили бесплатно.

— Что означают эти знаки?

Эрнандес не ответил.

— Я вас спрашиваю, что это означает.

Итак, эти люди принимают себя всерьез. Эрнандес смотрел на крохотную головку, на шею: когда этот человек умрет, шея еще вытянется. А он умрет, как и всякий другой. Возможно, смертью, более мучительной, чем от пули карателей; несчастный идиот!

Под окном, отводя взгляд, проходили заключенные.

— Один из наших, — заговорил наконец Эрнандес все с той же горькой усмешкой, — бежавший из вашей тюрьмы, где просидел смертником больше месяца, объяснял мне, что в жизни все может быть возмещено; во время разговора он чертил эти линии, одна обозначает несчастье, если вам угодно, а другая — то, что его возмещает. Но трагедия смерти в том, что смерть преобразует жизнь в судьбу, и после смерти ничто уже не будет возмещено. В этом-то даже для атеиста великая значительность последнего мгновения.

— Впрочем, он заблуждался, — прибавил Эрнандес медленнее. У него было ощущение, что он читает лекцию.

Полицейский, в свой черед, ответил не сразу. Понял что-то? Если да, для него еще не все потеряно. Даже идиоты всегда что-нибудь да поймут. На какие нелепости тратят время живые! Если он потребует дополнительных разъяснений, веселая будет ситуация.

Ибо при всем мужестве Эрнандеса было одно слово, которое он не смог бы произнести: пытка.

Полицейский все еще размышлял.

— Вопросличного характера, — сказал он наконец. Под окном снова прошли заключенные.

— Странная мысль для офицера, — снова заговорил полицейский, — лучше бы в церковь ходил.

— В ту пору он не был на действительной службе. Эрнандес не улыбался.

— А мелкие черточки?

— Мелкие черточки ничего не означают. Тема разговора напрягла нервы моему собеседнику, вот и все.

Эрнандес говорил не вызывающе, а рассеянно.

Звонок. Вошел один из охранников.

— Можете идти, — сказал офицер.

Эрнандес все еще думал о Морено. Здесь же, в Толедо, сидя за тем же столиком весною (времена куда

боле давние, чем времена Сида<sup>1</sup>), он слышал фразу Рамона Гомеса де ла Серны<sup>2</sup>: «Признаю, что человек происходит от обезьяны по тому, как он щелкает и грызет арахис...» Где оно, время шуток? Эрнандес отдал честь, шагнул к двери.

— Стой!— заорал в ярости полицейский.

— Касательно вас были отданы особо благожелательные распоряжения, но...

Эрнандес, который был всецело поглощен воспоминаниями, услышав привычно военную интонацию формулы «можете идти», отдал честь, как последние два месяца отдавал ее здесь, в Толедо, — сжав кулак. Неужели сейчас начнется дискуссия еще и на эту тему?

— «Благожелательность» в камере смертника... — проговорил он. — И почему, кстати, «особые распоряжения»?

Офицер поглядел на него, то ли изумившись, то ли выйдя из себя:

— А вы сами как полагаете, почему? Ради ваших прекрасных глаз?

Потом под влиянием какой-то неожиданной мысли он погрозил указательным пальцем, словно желая сказать: «Со мною бесполезно осторожничать», улыбнулся и проговорил:

— Я в курсе...

— Чего? — спокойно поинтересовался Эрнандес.

Фашист подумал, что он, похоже, немного не в себе. Красный, одно слово.

— Все дело в том, как вы отнеслись к командованию Алькасара, само собой.

От омерзения с ума отнюдь не сходят. Эрнандес вдруг почувствовал, что на щеках у него грязная щетина за четверо суток и ему от нее жарко. Он больше не улыбался, и лицо его казалось не таким длинным. Рука, лежавшая на краю стола, сжалась в кулак.

— Пожелайте, чтоб та ситуация не повторилась, — сказал он, глядя на полицейского и упираясь кулаком в стол. Плечо его дрожало.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Родриго Диас де Вивар, по прозвищу Сид-Вотель (1030—1099) — национальный герой Испании, центральный персонаж эпической поэмы «Песнь о моем Сиде» и цикла народных романсов.

<sup>2</sup> Гомес де ла Серна, Рамон (1888—1963) — известный испанский писатель. После гражданской войны жил в Аргентине, где и умер.

— Не думаю, что подобный случай представится вам повторно.

Эрнандес ответил только:

— Тем лучше...

— Вопрос личного характера... Почему вы сохранили эту купюру?

— Их обычно хранят, покуда не истратят...

Вошел еще один офицер. Полицейский передал ему купюру. И охранник отвел Эрнандеса в одиночку.

## *Глава            десятая*

Эрнандес снова проходит по улицам Толедо. Приговоренные связаны попарно.

Проезжает автомашина. Идут две девчущки. Старуха с кувшином. Еще автомашина, с фашистскими офицерами. Все ясно, думает Эрнандес, я приговорен к смерти за «участие в вооруженном мятеже». Еще одна женщина, в руке сумка с продуктами, а вот другая, у нее в руке ведро. Мужчина, у него в руках ничего.

Живые.

Все умрут. Одна его приятельница умерла от рака крови, он видел ее незадолго до смерти, тело у нее было того же цвета, что ее каштановые волосы; и она была врачом. Один боец в Толедо был раздавлен танком. А какова агония при уремии... Все умрут. За исключением марокканцев, которые конвоируют смертников: убийцы выброшены из жизни и из смерти.

В тот миг, когда стадо выходит на мост, напарник Эрнандеса говорит вполголоса:

— Лезвие «Жилетт». Придвинься.

Эрнандес придвигается. Проходит семья. (Гляди-ка, и верно, на свете есть семьи.) Маленький мальчик смотрит на них. «Какие старые!» — говорит он.

«Он преувеличивает, — думает Эрнандес. — Откуда у меня эта ирония, от близости смерти?» Проезжает на осле женщина в черном. Лучше бы не глядела на них таким взглядом, если не хочет показывать, что она на их стороне. Всем своим длинным телом Эрнандес ощущает лишь одно — как врезается в запястье веревка. Бритва скребет волокно.



— Готово...

Эрнандес легонько дергает. Все верно. Он смотрит на напарника: у того маленькая бородка, очень жесткая.

— Наши за холмами, — говорит напарник. — На первом же перекрестке.

Мост позади. У первой же насыпи бородатый прыгает вниз.

Эрнандес не прыгает.

У него нет больше сил ни на что, даже на то, чтобы жить. Снова бежать, снова... Что за насыпью, кустарник? Не видно. Ему вспоминаются письма Москардо. Марокканцы также прыгают вниз, стреляют. Но они слишком малочисленны, им нельзя отойти далеко от колонны. Эрнандес так никогда и не узнает, удалось ли бежать напарнику. Может, остался в живых; мавры вернулись хмурые.

Стадо идет дальше.

Теперь дорога некруто поднимается в гору, перед длинным рвом, dna которого Эрнандес не видит, десять фалангистов — винтовки к ноге — и один офицер. Справа смертники; с вновь прибывшими их человек пятьдесят. Гражданские костюмы — единственное темное пятно в сиянии утра, а хаки мундиров сливается с колоритом Толедо.

Вот оно, мгновение, мысль о котором так навязчиво его преследовала: мгновение, когда человек знает, что сейчас умрет и защиты нет.

С виду близость смерти угнетает пленных ничуть не больше, чем марокканцев и фалангистов — необходимость убивать. Трамвайный кондуктор тут же, вместе с остальными, теперь он держится, как остальные. Все немного одурели, словно от сильной усталости, но не более того. Вот люди из карательного взвода, те суетятся, хотя делать им нечего, всего лишь дожидаться команды — винтовки уже заряжены.

— Смирно!

Все десятеро застыли по стойке «смирно» в два раза смирнее, чем обычно: напряглись, разыгрывая спектакль повиновения долгу. Пятьдесят человек вокруг Эрнандеса глядят в пустоту, им уже не до спектаклей.

Трое фашистов уводят троих пленных. Ставят возле рва, пятятся.

— Целься!

У пленного, что справа, волосы подстрижены кружком. Три фигуры кажутся длиннее, чем обычно, нависают над глядящими, темнеют силуэтами на знаменитом фоне прибрежных гор. Как ничтожна история по сравнению с живой плотью. Пока еще живой.

Они прыгают назад, опасный прыжок. Каратели стреляют, но они уже во рву. Как надеются выбраться? Пленные нервно смеются.

Им не придется выбираться. Пленные увидели, как падают тела, раньше, чем услышали залп, но каратели успели выстрелить. Нервы.

Теперь стоят трое новых. Не может быть, что все пятьдесят человек по трое попадают в этот ров. Что-то должно произойти.

Один из пленных возле рва повернул голову, смотрит вниз. Инстинктивно шагнул было вперед, чтобы отойти от края. Снова повернул голову, не поднимая глаз, видит, что вот-вот наступит на сапоги карателей, останавливается, и в тот миг, когда пленный, стоящий справа, собирается что-то крикнуть, все трое разом опрокидываются, прижимая ладони к животу: на этот раз каратели целили ниже.

Пленные стоят неподвижно. Ни реплики, ни крика. Отчаянный рев осла и выкрики торговли кувшинами стихают в солнечном свете.

Один из тех, кто ставит смертников перед карателями, нагнулся над рвом, выставив револьвер. Охотится. Небо трепещет от света. Эрнандес думает, как чисты обычно саваны: Европа мало что любит, но любовь к своим мертвым еще сохранила. Человек, присевший на корточках на краю рва, водит дулом револьвера, целясь во что-то, что шевелится, и стреляет; воображать, что пуля попала в голову, уже ничего не чувствующую, ничуть не лучше, чем воображать, что она попала в голову умирающего. В этот час на половине испанской земли подростки, втянутые в ту же самую мерзкую комедию, стреляют под тем же спящим утренним солнцем, и те же крестьяне, так же подстриженные кружком, валяются в ров, словно прыгают спиной вперед. Эрнандес никогда не видел, чтобы люди прыгали спиной вперед; только в цирке.

Теперь на том же месте стоят трое других, сейчас они прыгнут спиной вперед.

Если бы я не отправил по назначению письмо Москардо, если бы не попытался действовать благородно, стояли бы они здесь, эти трое? Двое из них стоят плохо: почти вполоборота и слишком выдвинувшись вперед. Один не знает, как ему стать, лицом к карателям или спиной. «Никогда не знаешь, какую принять позу, когда поезд трогается... — думает Эрнандес в смятении. — А что изменилось бы, если б я действовал по-другому? Таких, кто действовал по-другому, хватало!»

Распорядители церемонии возвращаются к троим растерявшимся, берут их за плечи, без грубости, впрочем, ставят, как надо. И смертники, кажется, помогают карателям — стараются понять, чего от них хотят, и повинуются. Можно подумать, они на похоронах. Так и есть, на своих собственных.

«Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать...» Пленные выстроены в три ряда; тот, кто считает, пересчитывает тех, кто будет расстрелян, пока не дойдет его черед. «Нет, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать».

Ему не сосчитать. Эрнандес собрался было обернуться и назвать ему точную цифру. Но это не двадцать, не девятнадцать — семнадцать. Эрнандес молчит. Еще кто-то произнес какое-то слово: «умереть», кажется. «Хватит, — отвечает другой голос, — ненуди, есть кое-что похуже...»

Лишь бы это не оказалось сном, лишь бы не пришлось начинать все сначала!...

Скоро ли они кончат расставлять этих смертников перед дулами наведенных винтовок, как перед объективом фотографа на свадьбе?

Тоledo сияет в пронизанном светом небе, трепетно жмущемся к вершинам гор над Тахо; Эрнандес познает, как делается история. Снова в этой стране женщин в черном поднимается вековая вдовья рать.

Что значат слова «душевное благородство» при акции, как та, что совершается сейчас? А слово «великодушие»?

Кто расплачивается?

Эрнандес жадно вглядывается в глинистую почву. Добрая безвольная земля! Отвращение и тревога свойственны только живым.

Самое ужасное в этих смертниках — их мужество. Они покорны; но они не пассивны. Сравнение с бойней — нелепость! Людей не забивают — приходится взять на себя труд убить их. Эрнандес думает о Прадасе, о великодушии. Трое смертников стоят наконец лицом к карателям: можно фотографировать. Великодушие — это быть победителем.

Залп. Двое валятся в ров, третий падает наземь. Один из организаторов смерти подходит к упавшему. Спихнет ногою в ров? Нет, наклонился, тянет за руку и за ногу, тело тяжелое (здесь небольшой взгорок): от этого убитого до последней минуты сплошные неприятности. В ров его. Долго еще все это будет продолжаться?

Люди привыкли: те, кто справа, — убивать, те, кто слева, — принимать пули. Три новых силуэта там, где уже перебивало столько других, и пейзаж в желтоватых тонах: закрытые фабрики, разрушенные замки — обретает кладбищенскую вековечность — до окончания времен трое людей, непрерывно сменяющих друг друга, будут дожидаться своей пули.

— Вы земли хотели! — кричит кто-то из фашистов. — Вы ее получили!

Один из трех смертников — трамвайный кондуктор: под солнцем поблескивает залосненный люстрин на правом плече пиджака, который обрек его на смерть. Кондуктор больше не протестует. Он ждет. Как остальные двое, он стал так, как поставили его каратели, не сказав ни слова. «Плевал я на вашу политику, сучьи дети!» Тем же движением, каким поднимают винтовки, он поднимает кулак в приветствии народного фронта. Это малорослый, тщедушный человек, похожий на черную маслину.

Эрнандес глядит на его руку, пальцы которой, не пройдет и минуты, вопьются в землю.

Каратели медлят — не под впечатлением от его жеста, а в ожидании, когда этого смертника призовут к порядку — сначала к тому, что установлен для побежденных, затем к тому, что установлен для мертвых. Подходят трое распорядителей. Кондуктор смотрит на них. Стоит не шевелясь, врытый в свою невиновность, словно кол в землю, смотрит на них с давящей и не прощающей ненавистью, уже потусторонней.

«Если бы он выжил...» — думает Эрнандес.

Не выживет, офицер выстрелил в упор.

Трое следующих сами становятся перед рвом. Подняв кулаки.

— Руки по швам! — кричит офицер.

Три смертника пожимают плечами, не опуская кулаков. Офицер наклоняется, завязывает шнурок ботинка. Три человека ждут. Офицер распрямляется, в свой черед пожимает плечами, командует: «Огонь!»

Еще трое, среди них Эрнандес, становятся надо рвом в запахе нагретой стали и развороченной земли.

## Часть вторая

### МАНСАНАРЕС

#### І. БЫТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

##### І

##### *Глава первая*

Аранхуэсский <sup>1</sup> вокзал был забит обезумевшей толпой беженцев из Толедо, бойцов с фронта Тахо, при которых не было винтовок, остатками эстремадурских крестьянских батальонов. Словно листья, которые ветер сначала взвихрит столбом, а потом разнесет в разные стороны, люди, пометавшись по вокзалу, разбрелись по парку, где под каштанами доцветали темно-красные розы, или мерили шагами — как душевнобольные больничный садик — аллеи королевских платанов.

Жалкие остатки республиканских отрядов с громкими названиями — «Непобедимые», «Красные Орлы», «Орлы Свободы» — слонялись, топча ковер из опавших цветов — такой же толстый, как в других краях — ковры из сухих листьев, — размахивая руками, волоча за собою винтовки, словно собак на поводке, и останавливались, прислушиваясь к канонаде, все близившейся к тому берегу реки. В промежутках между разрывами, заглушаемыми плотным слоем увядших цветов каштана, слышался звон старинного колокола.

— Звонят в церкви? Это сейчас-то? — спросил Мануэль.

— Больше похоже на садовый гонг, — ответил Лопес.

— Это со стороны вокзала.

Теперь колоколу вторили еще колокола и колокольчики, велосипедные звонки, автомобильные сире-

---

<sup>1</sup> Аранхуэс — небольшой город на реке Тахо, в прошлом — одна из королевских резиденций; знаменит дворцовым ансамблем и парком.

ны и даже звяканье кастрюль. Все, что уцелело после гибели революционного миража: сабли, полосатые пончо, наряды, скроенные из портьер, охотничьи ружья и даже последние мексиканские сомбреро — сходились из закоулков парка на зов этого тамтама, скликавшего племена.

— Только подумать, что по крайней мере половина — храбрецы... — сказал Мануэль.

— Все-таки, — бормотал Лопес, — здорово, черепаха: ни в один бюст не пальнули!

По всему парку знаменитые гипсовые бюсты, розоватые от отсветов старого кирпича, красовались, целые и невредимые, под сказочными платанами. Мануэль не смотрел на них. Карнавальное шествие, пестрое и суетливое, словно стая диковинных птиц, вывезенных из Америки инфантами для их аранхуэсского сада, мчалось к вокзалу под кирпичными аркадами, в розовом свете, заполнявшем королевские аллеи.

Идя вместе со всеми на звон колокола, Мануэль и Лопес все отчетливее различали слово «локомотив». «Ни в коем случае нельзя пускать их в Мадрид!» — подумал Мануэль; ему нетрудно было представить себе, как подействует появление десяти тысяч деморализованных людей, готовых распространять самые дикие небылицы, и это сразу же после сдачи Толедо, в тот момент, когда Мадрид из последних сил организует оборону.

Теперь они были возле самого вокзала. «Дрид-Мадрид-дрид-дрид», — стрекотало со всех сторон, словно хор вошедших в раж цикад.

— Поскольку сами слиняли, пойдут болтать, что мавры непобедимы, — сказал Лопес. — Само собой, у мавров и вооружение лучше, и все такое, а как же иначе оправдаться, что слиняли!

— Они слиняли, потому что у них не было командования. До этого они дрались не хуже нас.

Мануэль думал о Барке, о Рамосе, о товарищах с бронепоезда, о фронтовиках Тахо. А еще о старом профсоюзном активисте, он нес знамя на одной демонстрации, дело было несколько лет назад: демонстрантов остановили многочисленные наряды полиции, но они добились права продолжать марш при условии, что свернут знамена. «Свернуть знамена!» — прокричали организаторы. У Мануэля голос был очень громкий. Он крикнул еще раз, и тогда старик, взглянув на

него, без слов, одним только выражением лица, объяснил ему с предельной четкостью: «Ладно, раз надо, так надо, но чем медленнее, тем лучше... Тебе еще учиться и учиться, мальчик...» И Мануэль не забыл урока. Далеко не всегда виноваты одни и те же. Слишком много воспоминаний и доказательств верности связывало Мануэля с рабочим классом, эта связь выдержит любое испытание на прочность, даже в случае коллективного безумия, таких же опасных, как этот.

— Труднее всего оставаться с друзьями не тогда, когда они правы, а тогда, когда они не правы...

— Давай попробуй!

Бородач, похожий на Негуса, отраженного в удлинняющем зеркале, забрался на крышу лимузина, стоявшего у вокзальных дверей. Здание вокзала, его коридоры и залы ожидания были набиты битком; на перронах не нашлось бы места для ребенка; и над всем этим — огромные деревья площади.

— Умеет кто-нибудь водить локомотив? — орал бородастый. — Есть поезд. Есть локомотив. Все есть.

Внезапная тишина. Все ждали спасителя.

— ...казапускать... казапускать...

— Чего?

— Казапускать.

Бормочущего невидимку вытолкнуло, вынесло к лимузину, под восторженные вопли он тоже забрался на автомобиль.

— Как запускать... Я знаю, как запускать...

Это был тщедушный вертлявый человечек в очках, лысоватый.

— Честно предупреждаю: могу вести, только осторожно.

Энтузиазм остыл. Мануэль и Лопес шаг за шагом пробирались к машине.

— Тормозить умеешь? — крикнул кто-то.

— Ну... вроде бы.

— Ребята, будем прыгать на ходу!

Мануэль залез на лимузин.

— А раненые? — крикнул он. — Им тоже прыгать?

Многие пытались взгромоздиться на плечи приятелей. Чего он хочет? Идти в Мадрид пешим ходом или как? Еще один офицер...

— Товарищи, тихо! Я ин...



Расслышать было невозможно. Летевшие отовсюду восклицания дробили его слова. Он поднял руки вверх, добился трехсекундного молчания, смог прокричать:

— Я инженер. Говорю вам: вы не сможете управлять машиной.

— Бывший командир мотоколонны, — перешептывались в толпе.

— Веди сам!

— Не умею, но знаю, что такое машина, потерявшая управление. Те, кто за отъезд, берут на себя ответственность за жизнь двух тысяч товарищей. А раненые?

К счастью, машинист-доброволец доверия не внушал.

— Так чего? — кричали в толпе.

— Говори давай!

— Разродись!

— Топать пешком?

— А если нас отрежут?

— Верно, что в Навалькарnero фашисты?

— А что, если...

— Остаемся здесь! — проорал Мануэль.

Толпа подалась вперед и тут же отхлынула в угрюмой, изнуренной ярости. Сотни рук взметнулись над головами, замельтешили в воздухе, подобно колыхавшимся над ними листьям, потом снова исчезли в сутолоке.

— Мы уже два дня как не...

— Мавры вот-вот припрутся!

Мануэль знал, что интендантства в Аранхуэсе нет.

— Кто выдаст нам жратву?

— Я.

— Кто устроит спать?

— Я.

Прямо тебе волнолом; но Мануэль не был уверен, что волны не переселят.

— Легче расколотить мавров, чем добраться до Мадрида на поезде без машиниста, — крикнул он.

Над толпой снова взметнулись руки, но пальцы сжаты в кулаки. Не для приветствия.

— Через четверть часа мы будем расстреляны, — сказал вполголоса Лопес, успевший тоже вскарабкаться на автомобиль.

— Плевать. Лишь бы ноги их не было в Мадриде.

Мануэлю вспомнились слова Хейнриха: «Во всякой ситуации всегда есть хоть какой-то положительный момент; все дело в том, чтоб найти его и пустить в работу». Он снова заорал:

— Лозунг компартии — безоговорочная воинская дисциплина. Кто коммунист, подними руку!

Они, однако, не спешили выдать себя. Мануэль заметил, что у маленького лысого машиниста, стоявшего рядом с ним, партийный значок — звездочка.

— Винтовка где? — спросил он. — Коммунист винтовки не бросит.

Тот поглядел на него и сказал без малейшей иронии:

— Случается и такое, сам видишь...

— Тогда он вылетает из партии. Давай значок.

— Да бери, дружище, не ори так, вот, на кой тебе? Семь-восемь звездочек упали на крышу автомобиля, слабо и жалостно звякнув.

— Через пять минут нам продырявят головы, — сказал Лопес.

— Духу не хватит.

Мануэль снова закричал во весь голос, но замедлил темп, чтобы его наверняка услышали:

— Мы поднялись против фашизма с оружием в руках. Все мы знали, что можем умереть. Встреть мы смерть в Сомосьерре, мы бы приняли это как должное. Из-за чего все переменялось? Из-за неразберихи.

Правительство и партия сказали: воинская дисциплина — это главное. Мы оба — командиры, мы берем ответственность на себя.

С неразберихой покончено.

Нынче вечером у вас будет еда.

Вам не придется ночевать под открытым небом.

Оружие и боеприпасы у вас есть.

Мы победили в Сомосьерре, победим и здесь. Будем драться так, как дрались там, и победа наша!

Держать оборону на реке легко, а танкам ее не одолеть.

— ...леты... леты...

— А самолеты? — прокричал десяток голосов.

— Завтра с утра рыть окопы.

Обеспечить подземные убежища.

Использовать холмы.

Нечего думать о том, что можно будет отыгаться, сражаясь в Мадриде, Барселоне или на Северном Полюсе.

Нечего думать и о том, что можно смириться с победой Франко и двадцать лет потом жить в страхе, дрожа, что донесет какая-нибудь шлюха, соседка или священник. Вспомните об Астурии!

Наша новая авиация придет в боеготовность через несколько дней. Вся страна с нами; страна — это мы.

Мы должны выстоять, выстоять не где-нибудь, а здесь!

Не являться в Мадрид ордой босяков. Не бросать раненых!

— Хватит!

— Они снова вас обманывают! — прокричал кто-то, голос, казалось, шел из толщи подгнивших листьев.

— Кто — они? Сперва покажись!

Никто не отозвался. Мануэль знал, что для испанца личная ответственность — дело нешуточное.

— Никаких «они» нет. Есть мы, нас двое, мы перед вами, мы сражаемся с первого дня и берем на себя всю ответственность. Повторяю: вам будет, где спать, вам будет, что есть. С вами говорит ваш товарищ, и вы это знаете. Мы были вместе восемнадцатого июля. Вы растеряны, плохо вооружены, изголодались. Но среди вас есть бойцы, которые шли на пушки в автомашинах, на казарму Ла-Монтанья с тараном, на фашистов из Трианы с ножами, на кордовских с пращами. Так неужели, парни, сейчас вы дадите слабину? Говорю вам как мужчина мужчинам: хоть вы и драли глотки, я вам доверяю.

Не получите завтра того, что я обещал, можете меня пристрелить. А пока делайте, что я говорю.

— Оставь адресок!

— Аранхуэс невелик. И личной охраны у меня нет.

— Пускай скажет.

— Все! Я обязуюсь организовать вас, вы обязуетесь защищать республику. Кто «за»?

Под вихрем сухих листьев, взметнувших до вершин платанов, толпа заколыхалась, словно в поисках дороги. Над головами, склоненными и кивающими в знак согласия, над плечами, дернувшимися, словно в дикарской пляске, взметнулись ладони. Лопес сделал для себя открытие: оратор воздействует на слушателей только тем, что кроется под речами. Когда Мануэль

сказал: «Я вам доверяю», все почувствовали, что это правда; в каждом заговорило то, что было в нем лучшего. Все сознавали, что он полон решимости помочь им, и многие знали, что он хороший организатор.

— Коммунисты, подойдите к грузовику, станьте справа. Прав у вас не больше, чем у остальных, зато больше обязанностей. Так. Добровольцы, вы все — налево.

— Давайте сразу рыть траншеи! — прокричал кто-то в общем гомоне.

— Ты пойдешь рыть траншеи, когда получишь приказ.

Теперь все они хотели что-то делать; и в жажде навести порядок устроили такую же толкотню, как тогда, когда рвались к поезду.

— Уполномоченные партии и командиры, распорядитесь освободить зал ожидания и займите его. Я вам дам указания относительно коек и питания. Другие товарищи остаются здесь, скоро каждый получит тюфяк либо матрац.

Он соскочил с машины, Лопес за ним.

— Через пять минут все начнется сначала, верно? — спросил он Мануэля.

— Нет, нужно занять их каким-нибудь делом, пока не лягут. Ладно. Ты остаешься при них.

— И что я, к дьяволу, буду делать?

У Лопеса не было иллюзий по поводу собственных командирских качеств.

— Установишь их численность. Дело нужное, поскольку я должен устроить их на ночлег. Пусть каждый руководитель соберет людей из своей партячейки либо подразделения и сообщит тебе, сколько их. Они перегруппируются, и я на этом выгадаю час. Тут самое малое полторы тысячи человек.

— Ладно, за дело.

Организатор Лопес был никакой, но, как говорится, когда есть мужество и добрая воля...

Почти лежа на монастырском стуле с высокой спинкой, Мануэль в каком-то оцепении разглядывал через окно настоятельской кельи гипсовые бюсты парка, которые слабо поблескивали во тьме, густой, словно в персидском саду. Лопес предлагал увезти бюсты в Мадрид и после победы заменить их «символически-

ми» животными. Но Мануэль не слушал. С вокзала, расставшись с Лопесом, он ринулся в комитет народного фронта. Там он разыскал деловых ребят, хорошо знавших город. Они отвели ему и его людям пустующий монастырь, собрали шесть сотен тюфяков, матрацев, коек. Половина была доставлена из приюта для девочек, которым пришлось спать по двое; прочее раздобыли в монастырях, казармах, гауптвахтах. Остальным бойцам пришлось довольствоваться соломой и одеялами.

В разгар его деятельности появилась делегация, выбранная бойцами для сношений с командованием. Сейчас все уже легли спать. Было десять часов. Просидев час с четвертью на телефоне, Мануэль добился от военного министерства, от тыловых служб пятого полка и от партийных органов обещания обеспечить людей продовольствием на три дня. А он тем временем организует интендантства. Но грузовики придут только на рассвете. Несколько, впрочем, уже выехало: будет чем накормить сотни две. Мануэль объявил, что еда будет в одиннадцать.

Он ждал также бойцов из пятого полка, достаточно обученных, чтобы обучать других и составить ядро нового полка.

В дверь кельи постучали. Снова появилась все та же делегация.

— Опять вы!— Над головой Мануэля, на резной спинке ореолом виднелись выточенные из дерева Мадонны и Иисусовы Сердца. — Что еще неладно?

— Не в том дело. Наоборот, пожалуй. Вот: ты и твой корешок оба люди не военные, хоть и командиры; что не военные, это видно. Нам-то, с одной стороны, оно даже больше по вкусу. Ты правильные говорил вещи: не для того мы сделали все, что сделали, чтоб так вот кончить. Покуда вы все, что обещали, выполнили. Оно непросто было, мы-то знаем. Ну вот, мы, делегаты, да и все прочие тоже поразмыслили. Понятно тебе? И решили, что насчет поезда, например, вы распустили верно.

Говоривший был столяр с седыми висячими усами. В глубине парка знаменитые аранхуэссские соловьи пели глуховато, на свой особый лад.

— Так вот, думается нам, если поставить караулы при вокзале, не будет риска, что нынешняя история

повторится. Люди у нас есть. Ну, мы и пришли предложить тебе поставить караулы.

За спиной говорившего на фоне беленой стены стояли трое его товарищей в комбинезонах; рабочие делегации с давних времен предпочитали такое построение; один впереди, трое позади. Было очевидно: люди эти сознают, что говорят от лица товарищей со всей их жизнью, слабостями, обязанностями; и говорят от лица своих — со своим; вместе с делегацией в келью настоятеля вошла революция в самой простой и самой высокой своей сути, ибо для говорившего революция и была прежде всего его правом так говорить. Мануэль обнял столяра, как это принято между испанцами, и ничего не сказал.

Впервые в его жизни чувство братства у него на глазах претворилось в действие.

— А теперь заправимся! — сказал он.

Они вышли все вместе. Как Мануэль и надеялся, в монастырских кельях и сводчатых залах под голубыми с золотом статуями святых (на копьях у святых воителей красовались красные флаги) измученные люди спали тем сном, каким спят только на войне. «Кто хочет есть?» — спросил Мануэль негромко; лишь немногие что-то бурчали в ответ: ему придется накормить не больше сотни изголодавшихся. Того, что привезли грузовики из Мадрида, хватит. Каблуки Мануэля стучали по плитам, стук отдавался гулко, как в церкви; ему было стыдно и в то же время хотелось смеяться.

После еды он снова отправился в комитет народно-го фронта. Этой же ночью нужно было организовать цейхгауз, раздобыть мыла, на рассвете назначить новый командный состав. «Забавно: чтобы воевать, нужно позаботиться и насчет мыла». В темноте он не видел деревьев, но ощущал, как высоко у него над головой крутится масса листьев, срываемых ночным ветром. Слабый запах роз исчезал в горьковатом запахе самшитов и платанов, который, казалось, приносил приглушенное буханье пушек, долетавшее с того берега реки. Грузовики из Мадрида еще не прибыли.

Комитетчики тоже не спали.

Когда Мануэль вернулся, его остановили у входа в монастырь.

— Что, к дьяволу, вы здесь делаете? — спросил он, показав удостоверение.

— Выставили караулы.

Сколько вылазок удалось фашистам из-за отсутствия караулов! В тусклом свете, сочившемся из монастыря, Мануэль видел стволы винтовок над смутными очертаниями завернувшихся в одеяла фигур: первый в испанской войне стихийно возникший караул.

## *Глава            вторая*

*В ночь на шестое ноября.*

Три бомбардировщика отремонтированы. Самолет Маньена, ныне именующийся «Жоресом», подлетает к ночным Балеарам; вот уже час, как он летит над морем в полном одиночестве. Ведет Атиньи. Зенитки, кольцом охватившие Пальму с ее плохонькой светомаскировкой, со всех сторон палят по невидимому самолету: город отбивается снизу, точно слепой, рычащий от боли. Маньен ищет в порту фашистский крейсер и транспорты, перевозящие оружие. Мощные лучи прожекторов прорезают темноту перед самолетом и позади него, временами перекрещиваясь. Все равно что попытка сбить муху хлыстом, думает Маньен; он весь напрягся. В самолете темень, освещена только приборная доска.

С неприятелем они воют или с холодом? Более десяти градусов ниже нуля. Бортстрелки ненавидят вести огонь в перчатках, но сталь пулеметов так холодна, что обжигает. Бомбы освещают оранжевым светом фонтанчики, взлетающие над ночным морем. Удалось ли поразить цели, станет известно только из сводки военного министерства...

Члены экипажа глядят, как рвутся вокруг зенитные снаряды; лица мерзнут, телам тепло в комбинезонах на меху — и все одиноки до самого дна погруженного во мрак моря.

Внезапно в самолете становится светло. «Гасите, бога ради», — кричит Маньен, но видит, что по лицу и шлему Атиньи скользнули тени от самолетных рам: стало быть, самолет осветили снаружи.

Прожектор ПВО возвращается, снова выхватывает из тьмы самолет; Маньен видит добродушную физиономию Поля, спину Гарде, перечеркнутую ружьем. Они бомбили суда в темноте, уходили от зениток в грозовой темноте, прочерченной голубыми молниями снарядов. И теперь кабина, полнящаяся угрожаю-

щим светом, полнится заодно фронтовым братством: в первый раз после вылета люди *видят друг друга*.

Всех их притягивает слепящий прожектор, с которым их накрепко соединил белый луч и который на них нацелен. Все знают, что там, где прожектор, — орудие.

Внизу — гаснущие один за другим огни, возможно, взлетающие один за другим истребители — и ночь до самого горизонта. И среди всей этой тьмы — самолет, который теряет высоту, входя в штопор, и, не в состоянии оторваться от прожекторного луча, трясет, словно металлолом, свой экипаж, семерых, высвеченных магнием.

Маньен одним прыжком перебрался к Атиньи, тот берет ручку на себя, жмурясь, чтоб уберечь глаза от режущего света. Через три секунды зенитки откроют пальбу.

В кабине все держат левую руку на кольце парашюта.

Атиньи разворачивается, стиснув зубы; пальцы ног, прижатых к рычагам управления, сводит от напряжения; сейчас всем своим телом, до самых подошв, он хотел бы находиться в истребителе: бомбардировщик неповоротлив, как грузовик. А свет не отстает.

Первый снаряд. Самолет отбросило в сторону: снаряд пролетел метрах в тридцати. Сейчас зенитчики откорректируют огонь. Маньен оттягивает наушник шлема Атиньи.

— Б у р я ! — кричит пилот, показывая ладонью фигуру пилотажа.

Так маневрируют при ураганном ветре, когда рычаги управления не срабатывают: пикируют всей тяжестью самолета.

Маньен не соглашается, яростно дергая усами в грохоте мотора и в слепящем свете: прожектор следует за пикирующим самолетом. Он показывает, тоже ладонью, другую фигуру: скольжение на крыло, затем разворот.

Атиньи бросает машину вбок, словно ей грозит паденье, лязгает металл, грохочут обоймы, раскатываясь по кабине. Самолет падает в ночь, меняет направление, петляет. Луч прожектора все рассекает и рассекает тьму то над бомбардировщиком, то под ним, словно сабля, которой размахивает слепец.



Теперь самолет недосягаем для прожектора — снова затерялся под защитой ночи. Члены экипажа снова заняли привычные места, расслабились, словно во время сна, сбросив напряженность, как всегда после боя; в самолете и вокруг ледяная тьма — на море ни огонька, но в глазах у каждого — братские лица, только что промелькнувшие в свете прожектора.

После недолгой остановки в Валенсии среди помаранчевых роц Маньен высадился в Альбасете, а «Жорес» взял курс на Алькала-де-Энарес. Это был последний аэродром на подступах к Мадриду, еще оставшийся в распоряжении республиканцев. Часть эскадрильи оставалась в Альбасете, испытывая отремонтированные самолеты; остальные сражались в Алькала.

В Альбасете формировались интернациональные бригады. В этом маленьком городке, розовом и кремовом, под холодным утренним небом, возвещавшим, что зима на подходе, тысячные толпы создавали ярмарочное оживление на рыночной площади, где торговали ножами, кружками, нижним бельем, подтяжками, башмаками, гребенками, значками; возле всех обувных и трикотажных лавок виднелись очереди солдат. Китаец-коробейник предлагал свою дребедень часовому, стоявшему спиной к нему. Часовой обернулся, и коробейник дал тягу: часовой тоже был китаец.

Когда Маньен прибыл в штаб интербригад, делегата, которого он искал, не оказалось на месте: он был в учебно-тренировочном лагере и ждали его не раньше, чем через час. Маньен еще не успел позавтракать. Он вошел в первый попавшийся бар.

В сутолоке орал какой-то пьяный. Несмотря на все предосторожности, в бригады пытались пролезть субъекты разного пошиба. Их отсеивали и отправляли восвояси дневным поездом, но они успевали показать себя в течение утра. Однажды, например, сюда понесло всех лионских пропойц, но их задержали на границе и препроводили в родные края: бригады формировались из бойцов, а не из киноактеров.

— Мне осточертело! — орал пьяный. — Осточертело! Я перелетел Атлантику с князем Монако в кабине! Я старый легионер! Свора подонков! Бабы! Революционеры грошовые!

Он грохнул стакан об пол и топтал осколки.

Какой-то социалист встал было, но еще один нелепый субъект остановил его, придержав за руку.

— Брось, это мой кореш. Сейчас увидишь. Он перепил, с ним сладить — раз плюнуть.

Он стал за спиною любителя бить стаканы и командовал:

— Становись, смир-рна! Слушай мою команду!

Пьяный тотчас же повиновался.

— Напра-во! Вперед шагом марш!

И пьяный, промаршировав к двери, вышел.

— Всего делов, — сказал его приятель и вернулся допивать коньяк.

Маньен поискал глазами знакомые лица и не нашел. Он поднялся на второй этаж. Под фотографией владельца бара три наемника из авиации играли в бабки, устроившись на полу.

Большинство наемников вернулись во Францию. Эти трое сидели спиной к Маньену, поглощенно следя, как катятся по полу бабки в холодном свете утра. Окно было распахнуто, и к громыханью тяжелых испанских бабок внезапно присоединился грохот, четкий, как стук копыт, но ритмичный, как стук вальков или кузнечных молотов: то был приглушенный топот марширующих войск. Наемник, только что метнувший бабки, застыл, не опустив руки; бабки еще не успели остановиться. От грохота сапог, который раздавался теперь под самыми окнами, дрожали глинобитные дома; бабки и те подпрыгивали в такт шагам войны.

Маньен подошел к окну: еще в штатском, но в солдатских ботинках шли интербригадовцы: упрямые лица коммунистов, шевелюры интеллектуалов, старые поляки с усами, как у Ницше, и молодые с физиономиями из советских фильмов, немцы с выбритыми головами, алжирцы и итальянцы, которые казались испанцами, затесавшимися в ряды чужеземцев, англичане, самые живописные из всех, французы, похожие кто на Мориса Тореза, кто на Мориса Шевалье<sup>1</sup>; и все эти люди печатали шаг с выправкой, свидетельствующей не об ученической старательности, как у мадридских подростков, но об опыте армейской службы или войны, в которой они двадцать с лишним лет назад сражались друг против друга; узкая, как коридор, улочка

---

<sup>1</sup> Морис Шевалье (1888—1972) — популярный французский киноактер и эстрадный певец.

звенела от их шагов. Они подходили к казармам и вдруг запели: впервые в мире люди всех национальностей, шагавшие в едином боевом строю, пели «Интернационал».

Маньен обернулся; наемники снова занялись игрой. Их на такую приманку не возьмешь.

Теперь он надеялся, что сможет реорганизовать военно-воздушные силы, сформированные из иностранцев. Ему пришлось провести больше двух недель в Барселоне, где он налаживал работу ремонтных мастерских, и его отсутствие немало способствовало тому, что среди «пеликанов» началась неразбериха. Но меньше чем через неделю шесть отремонтированных бомбардировщиков вернутся в строй.

Под окном прошла группа людей, среди них тот самый делегат, который был нужен Маньену. Он снова отправился в штаб интербригад, обмозговывая свой замысел, и брови его вздернулись домиком.

### *Глава третья*

— Нет, прошу прощения, долго еще он будет копаться?

Леклер в комбинезоне и шлеме, который придавал его физиономии древнеримскую величавость, орал и жестикулировал в кругу своего экипажа на аэродроме Алькала. Метрах в тридцати от них, куда голос Леклера не долетал, один из друзей Сембрано — Карнеро, командир авиагруппы, разглядывал в бинокль мадридское небо. Гнусная погода.

— Не может раскататься! Мне-то все эти фридолины, даже взбреди им в голову перерядиться в архангелов...

Леклер и немцев, и итальянцев именовал без различия одной и той же кличкой «фридолины»<sup>1</sup>.

Карнеро забрался в кабину и подрулил ко взлетной черте. Карбюратор его прежнего самолета был в неисправности, и сейчас он пилотировал «Жорес» с испанским экипажем. За ним поднялись в воздух Леклер, затем испанский бомбардировщик. Жалкие республи-

---

<sup>1</sup> От «фридолин» — прозвища, данного немецким солдатам французами в первую мировую войну, к которому для «итальянизации» Леклер присоединяет конечное «и».

канские истребители уже кружили над Алькала: несколько самолетов прибыло из Америки, но и у них на борту не было современных пулеметов. Испанские истребители все еще были вооружены «льюисами» образца 1913 года.

После того, как «Орион» Леклера разбился и ему передали «Пеликан-1», сляпанный из обломков двух других, он отказался от серой шляпы и носил кожаный шлем так же эффектно, как древние римляне — свои боевые шлемы.

— А термос? — напомнил фюзеляжный стрелок, не видя названного предмета подле места Леклера.

— Сегодня, прошу прощения, я записался в общество трезвости: дело слишком серьезное.

Несколько минут спустя три бомбардировщика и истребители прикрытия были уже над Мадридом. Противник занимал почти все аэродромы, где прежде обретались «пеликаны», за вычетом Барахаса. Все дороги забиты транспортом, луг перед Хетафе превращен в автопарк. И все это было настолько незащищено, что, казалось, не могло принадлежать противнику. Леклер с правого фланга боевого порядка озабоченно поглядывал на два других самолета, которые то и дело исчезали в облаках, опустившихся очень низко. Над ними летели истребители прикрытия. На какое-то мгновение облака настолько приблизились к земле, что пришлось лететь над ними; между двумя серыми пластами силуэты самолетов в боевом порядке вестниками войны буравили мертвенно-бледную пустоту. Из облаков они выбрались над автопарком. Дороги были запружены франкистскими автомашинами, двигавшимися впритирку друг к другу. Мотоколонна Тахо подходила к воротам Мадрида.

Фашистские истребители внезапно атаковали сверху: семь «фиатов» фронтом, их можно было безошибочно опознать по букве W, соединявшей плоскости. Звено республиканских истребителей, летевшее выше остальных, на полной скорости ринулось им навстречу.

Противник открыл заградительный огонь.

Немецкая зенитная артиллерия была доставлена под Мадрид в огромных количествах. Снаряды скорострельных орудий рвались в пятидесяти метрах друг от друга; Леклер думал о том, что размах крыльев его самолета — двадцать шесть метров. Такого загради-

тельного огня он не видывал даже в тысяча девятьсот восемнадцатом году. Немецкие наводчики не целились в бомбардировщики, а посылали снаряды на несколько сот метров вперед, точно по высоте полета, так что бомбардировщики, казалось, сами бросаются в гущу огня. Высоко над огневой завесой два истребителя вступили в бой. Леклер спикировал; снаряды полетели ниже.

— У них дальномеры! — крикнул бомбардир.

Леклер с трудом мог разглядеть бой истребителей: оба самолета выписывали запутанные петли, казалось, то ли вот-вот разобьются, то ли выделывают фигуры высшего пилотажа.

Стрелки наблюдали за боем, бомбардир — за землей; Леклер не отводил глаз от самолета Карнеро, который набирал высоту, снижался, подавался то в одну сторону, то в другую и везде натыкался на тот же загадочный огонь, внезапно приблизившийся. Не отрываясь от командирского самолета под интенсивным обстрелом, держась за него, как слепой за поводыря, во власти ощущения, что они составляют единое целое, Леклер бросал самолет в гущу огня, словно танк.

Теперь простреливалась стометровая высота.

Снаряды и самолеты внезапно сблизились; самолет Леклера подскочил на десять метров. «Жорес», переломившись пополам, вышвырнул восьмерых членов своего экипажа в свинцовое небо, словно пригоршню зерен. У Леклера было такое ощущение, словно ему отрубили руку, на которую он только что опирался; он видел падающих людей — черные точки вокруг единственного парашюта — и видел ужас на лицах у своего бомбардира и фюзеляжного стрелка; он сделал крутой разворот и на полном газу полетел к Алькала.

«Никогда такого не видел, даже в войну», — повторял Леклер после приземления. Члены экипажа стояли вокруг него и слушали молча. Леклер зашагал легионерским шагом к командному пункту; в углах губ трагические складки, взгляд — как у человека, побывавшего в аду.

Варгас ждал его, сидя в кресле и вытянув длинные ноги; узкое лицо было повернуто к окну, заполненному хмурым небом. Теперь Варгас был в форме.

Леклер тоном героя приступил к рапорту о выполнении задания. Когда он дошел до гибели самолета Карнеро, Варгас перебил:

— Какое вы получили задание?

— Обстрелять колонну на Хетафе.

— Грузовики уже вышли из автопарка, следовали колонной?

— Да. Но не представлялось возможности пройти по причине заградительного огня. Доказательство — Карнеро!

Когда Леклер не решался изъясняться на своем особом языке, речь его не становилась простой, она становилась казенной.

— Огонь велся на уровне парка? — повторил Варгас.

— Да...

— Но ведь были грузовики, которые шли под вами во встречном направлении?

— Да...

— Скажите, почему вы вернулись, не сбросив бомбы?

Леклер наконец-то осознал, что попросту спасся бегством.

— Там были неприятельские истребители...

Оба знали, что истребители вели бой в двух километрах оттуда; но, даже будучи атакован, Леклер должен был сбросить бомбы при любом заградительном огне: вести бой — дело истребителей прикрытия. Маньену довелось несколько раз руководить бомбардировкой рубежей в разгар боя.

— Вы ведь вернулись, не сбросив бомб, верно? — спросил Варгас.

— Ну... смысла не было метать куда попало, еще угодишь в своих... И потом, мотор барахлил.

Слушая, как Леклер отвечает ему, словно мальчишка, забравшийся в чужой сад, Варгас испытывал особенно мучительное чувство при мысли, что вообще-то Леклер отнюдь не трус.

Он приказал впустить старшего стрелка, бомбардира и механика, ожидавших за дверью.

— Что с двигателем? — спросил он.

Стрелок и Леклер повернулись к механику.

— Не в лучшем виде... — ответил тот.

— Что именно?

— Всего понемногу...

Варгас встал.

— Ладно, благодарю вас.

— Нельзя было провести бомбометание, — сказал Леклер.

— Благодарю вас, — повторил Варгас.

#### *Глава четвертая*

Поскольку Маньен находился в Альбасете, Скали, впервые надев форму, принял на себя, по приказу министерства, командование аэродромом: из тех, кто должен был бы занять эту должность, один был в госпитале, другой, Карлыч, в Мадриде, где в срочном порядке формировал подразделения стрелков. В интернациональной эскадрилье, как и в половине всей испанской армии, отсутствие принудительных мер сводило силу приказа к личному авторитету того, кто приказывал. На аэродроме повиновались двум людям: Маньену и командиру пилотов, совсем молодому парню, который дружил со всеми и сбил четыре фашистских самолета. Но со вчерашнего дня его командирские способности оказались вместе с ним на госпитальной койке, где он лежал в жару после ампутации руки.

Скали, посмеиваясь, разглядывал печать эскадрильи, которую кто-то из «пеликанов» поставил Коротышке на розовое брюхо, чтобы пес не потерялся; и тут вдруг зазвонил телефон.

— Отправляю к вам одного из ваших пилотов.

Говорил Сембрано.

Пилот, надо полагать, выехал достаточно давно, поскольку через несколько минут прибыл в грузовике Леклер, перетянутый веревками, точно колбаса, под охраной четырех бойцов, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. С ним были старший стрелок и механик, тоже пьяные, но не в такой степени. Бойцы сразу же уехали обратно.

Выйдя от Варгаса, Леклер решил напиться до потери сознания и взял с собой обоих своих дружков; угнал без разрешения и не проронив ни слова аэродромную машину и махнул в Барахас, поскольку знал, что там ему в выпивке не откажут. Все так же молча выдул шесть рюмок перно.

Затем заговорил.

Результат — грузовик.

Трезвел он мирно. Скали, держа псину под мышкой, раздумывал, как быть, если Леклер начнет буйнить. Этот длинный орангутанг с клоунским чубом и огромными лапищами был, несомненно, очень силен. Скали решил, что вызовет бойцов только при крайней необходимости. «Пеликаны», находившиеся здесь же, смотрели на Леклера как-то отчужденно, колеблясь между неприязнью и желанием расхохотаться. Атиньи вышел было, но молча вернулся; Скали понял, что Атиньи собирается прийти ему на выручку, если понадобится. Скали опустил пса на пол.

Пока Леклера развязывали, он начал речь:

— Все верно! Я горлодер и я твердый орешек. Два главных качества людей моей породы, тех, кто делает революцию, понятно тебе? И вообще, прошу прощения, но пилотишки в твоём роде, отставные чинуши-недотепы — плевать я на них хотел. Одноклеточные. Я-то старый коммунист, а не офицерская харя и не чурбан, чтоб меня вязали, как колбасу. Вот можете объяснить мне всю эту фигню? Как у тебя с серым веществом? Что такое франкистская шатия, я знаю еще с того времени, как всякие врангелевцы и прочие деклассированные элементы повалили в таксисты, устроили нам конкуренцию. Франко еще не появился, а я уже знал, что это за публика! Я-то коммунистом стал еще до войны!

— До раскола, — сказал мягко Даррас. — Ладно, дружище, хватит, никакого ты отношения к партии не имеешь, всем известно. Это не мешает тебе быть славным малым, но к партии ты отношения не имеешь.

Раненая нога его уже зажила, и накануне вместе со Скали он выполнил точно такое же задание, как то, которое сегодня завалил Леклер.

Леклер поглядел на обоих: на Скали в круглых очках и в слишком длинных брюках с пузырями на коленях, напоминавшего всем своим видом американского комика из фильма про летчиков, на Дарраса с его плоским красным лицом, седыми волосами, спокойной улыбкой и борцовским торсом. Его стрелок и механик молчали.

— Оказывается, значит, все дело в том, что я не состою в партии? А ты спрашивал у меня партбилет, когда я разбомбил газовый завод в Талавере? Я одиночка. Коммунист-одиночка. И все. Только я хочу, что-



бы меня оставили в покое. И недолюбливаю аллигаторов, которые хотят запустить зубы в мой антрекот, понятно? Ты бомбил Талаверу, говори, ты?

— Ты, все знают, что ты, — сказал Скали, беря его за локоть. — Не порти себе кровь, иди проспись.

Он так же, как Маньен, считал, что бегство Леклера скорее случайность, чем трусость. И то, что сейчас Леклер цепляется за воспоминание о Талавере, его трогало. Но в проявлениях гнева всегда есть что-то отталкивающее, особенно когда человек пьян. У Леклера в гневе раздувались ноздри и набухали губы, и от этого в клоунской его физиономии появлялось что-то звериное.

— Пойди проспись, — повторил Скали.

Леклер поглядел на него искоса, прищурившись: под маской пьяного проступила хитреца какого-то крестьянина-предка.

— Думаешь, я надрался, да?

Он все глядел на него и все так же косо.

— Ты прав. Пойдем проспимся.

Скали взял его под руку. Когда они поднимались по лестнице, Леклер остановился на полпути.

— Плевать я хотел на них на всех! Мелкота!

На площадке второго этажа он обнял Скали.

— Я не трус, понятно тебе? Не трус...

Он плакал.

— Оно еще не кончено, это дело, еще не кончено...

Надаль, заручившись рекомендацией испанского посольства в Париже, приехал от одного буржуазного еженедельника с заданием сделать репортаж о «пеликанах». Некоторые отвечали на его вопросы с видом превосходства и тайным упоением. Члены экипажа «Марата» — Даррас, Атиньи, Гарде и прочие — сочиняли заявление. Хайме Альвеар, сменивший повязку на черные очки и сидевший в дальнем углу столовой вместе со Скали, считал, что во всех этих разговорах нет никакого смысла; устроившись возле закрытого окна, за которым чернела ночь, он слушал радиоприемник. Хаус надиктовал три колонки.

Надаль, коренастый курчавый коротыш с глазами почти сиреневого цвета, мог бы сделать карьеру мальчика на содержании, если бы не чрезмерная за-

кругленность всего в нем: лицо, нос, даже кругообразные жесты, соответствовали слишком крутым завиткам волос почти так же, как это бывает у детей. Ему уже говорили, что среди «пеликанов» самая колоритная фигура — Леклер; но для Леклера журналисты были субъектами, над которыми мухи и те потешаются; если бы один из них обратился к нему, то, прошу прощения, он бы врезал ему по морде. К тому же в данный момент он спал.

Атиньи вернулся с заявлением экипажа «Марата»:

«Мы прибыли сюда отнюдь не в поисках приключений. Кем бы мы ни были: беспартийными революционерами, социалистами или коммунистами, — мы полны решимости защищать Испанию и будем сражаться до последнего при любых обстоятельствах. Да здравствуют испанский народ и его свобода!»

Совсем не то, что нужно было Надалю. Среди подписчиков его еженедельника было свыше миллиона рабочих, а посему его патрону требовалась определенная доза либерализма, хвалы в адрес этих славных летчиков (особенно французов), толика колоритности, когда речь пойдет о наемниках, и сантиментов, когда речь пойдет обо всех прочих, трепетная скорбь, когда речь пойдет об убитых и тяжело раненных (досадно, что Хайме... Да бог с ним! В конце концов, он всего лишь испанец), никакого коммунизма и как можно меньше политических взглядов.

Затем, уже для собственного пользования, наскрести втихую несколько сюжетцев, предпочтительно амурных: в романтическом очерке самое завлекательное — экскурсии в личную жизнь.

Сейчас он работал с любителями приврать. Сам-то он не обманывался: все это трепотня. В каждом дурне сидит сочинитель романов, считал Надаль, только выбирай. Началось это с одного субъекта, повторявшего «мои люди» (не слишком громко, впрочем). Сделав записи, Надаль процитировал сам себе фразу Киплинга: «Теперь пойдем к другим, послушать басни снова». Так он и поступил.

Теперь настал черед тех, кто, чтобы попасть в Испанию, дезертировал из французской либо английской армии; кое-кто из них женился в Испании, и ему удалось заполучить фотографии жен. «У нашего еженедельника очень много читательниц». Затем асы из наемников, сбившие, по официальным данным, больше

трех фашистских самолетов. Эти говорили о добровольцах, именуя их «политическими», себя же величали «воинами», но не блефовали. Они показали ему свои бортовые журналы, но с осторожностью.

И, на закуску, кое-кто из позеров, щеголявших напускной удачью вперемежку с цинизмом, и уцелевшее симулянтское охвостье. Добровольцы у него интереса так и не вызвали: они были не столь живописны и если привирали, то умеренно.

Он делал записи, поглядывая в чей-то бортовой журнал, и половина карамелек — он имел неосторожность вынуть коробку — уже перекечевала в карман Поля, когда наступившая внезапно относительная тишина, свидетельствующая о напряженности внимания присутствовавших, заставила его поднять нос.

В получившем снова права гражданства сером котелке, из-под которого выбивались черные патлы, с не предвещавшей ничего доброго ухмылочкой на топорной физиономии, сутулясь и размахивая руками, казавшимися еще длиннее обычного, по лестнице спускался Леклер. Стрелок «Пеликана-1» подозвал его. «Товарищ писатель, — сказал он, показывая на Надалья. — Иди выпей глоток с собратом». Леклер сел за стол.

— Значит, ты тоже писатель, божья коровка? Что же ты пишешь?

— Новеллы. А ты?

— Романы-эпопеи. Я и поэтом был. Я — единственный из поэтов, кто распродал весь свой тираж за рулем. Ночные таксеры, когда видят, что пассажир недотепа либо назююкался, обсчитают такого за милую душу. Я никогда. Но я всучивал им книжечку моих стихов, поскольку книжечка — плод труда. Только пятнадцать монет. Весь тираж распродал. «Икар за рулем» — так называлась книжечка. Икар — по причине поэзии и авиации. Понятно тебе?

— А сейчас пишешь?

— Отказался. Прошу прощения, променял перо на пулемет.

— А какие у вас пулеметы?

Подписав свое заявление, Атиньи и Даррас сели около Скали послушать радио Хайме. С тех пор, как Хайме утратил зрение, он половину всего своего времени слушал радио. Теперь Даррас отошел от прием-

ника: последний вопрос Надаля ему очень не понравился.

Да нет, комедия продолжалась, только и всего; Леклер не был летчиком-истребителем и с тех пор, как прибыл в Испанию, не имел случая прикоснуться к пулемету; что касается Надаля, который продолжал разговор, посасывая трубку с видом бывалого знатока, он знать не знал, что «льюис» на вооружении в испанской авиации — магазинный пулемет, и, полагая, что он ленточный, ничего не понимал в рассказе своего собеседника.

— Как тебе здесь? — спросил он.

— Здесь настоящая жизнь... Чем прикажешь заниматься в Париже? Податься в пилоты гражданской авиации, иными словами, водить самокатики? Да и то! Если ты из левых, места не найдешь, не надейся... Подрабатывать по мелочам? Нет уж, здесь мужчина есть мужчина. Вот я, например, прошу прощения, показал себя в Талавере. Спроси кого угодно: газовый завод полыхал, как пунш! Франко получил свое. Я, Леклер, прошу прощения, остановил Франко. Понятно тебе? Погляди-ка на ребят, сидящих здесь: здесь ты не увидишь морды таких, кто согласился бы навесить на себя медальку уволенного за профнепригодность.

Вокруг огромного очага в глубине столовой, под революционными афишами, суетилось, как всегда, семейство повара, и кое-кто из «пеликанов» выпрашивал добавку.

Атиньи тоже прислушивался к разговору, не забывая в то же время о радио. И он с любопытством следил за отношениями между собеседниками: с какой-то минуты Леклер принялся скатывать шарики из хлебного мякиша и швырять их почти в физиономию Надаля. И голос у него был далеко не такой дружелюбный, как лексика.

— В Талавере я летал на «Орионе», представляешь себе? В этой стране любят бой быков, так что телков у нас хватает. Но мы и с телятами сумели продержаться. Понятно тебе?

И шарик летит под носом у Надаля. Атиньи следил за игрой с нарастающим интересом. Надаль притворно посмеивался, решив отомстить в интервью.

— Какое вооружение было у тебя в Талавере? — спросил он.

— Финики. Пулемет, торчавший в окошке, а очко нужника расширили под бомболюк.

— И авиационный «гочкис» на треноге, — присовокупил Гарде тоном специалиста.

— У нас были такие в Вильякубле, — ответил Надаль с миной страдальческого презрения: ясное дело, позор посылать людей в бой с подобным вооружением. Поскольку такого пулемета не существует, «пеликаны» тихонько посмеивались.

— Внимание! — крикнул Атины.

Диктор мятежников, к голосу которого он прислушивался (ретрансляция «Радио-Севилья»?), проорал: «Авиация!» — и Хайме усилил громкость.

*«Мы подвергли бомбардировке боевые порядки красных, успешно отбросив карабанчельских республиканцев к Мадриду.*

*Город подвергался бомбардировке с трех до пяти часов, причем авиация красных так и не появилась.*

*Пять правительственных самолетов было сбито сегодня над нашей территорией.*

*Я уже говорил в этот микрофон, что самолет известного дезертира и советского шпиона Маньена, агента Сталина, будет в ближайшее время уничтожен. Сегодня этот самолет был сбит над одной из наших позиций. Все члены экипажа погибли. Тело злодея Маньена опознано в Хетафе. Другим будет неповадно!*

*Спокойной ночи!»*

«Пеликаны» переглядывались.

— Не паникуйте, — крикнул Скали, — они обо-зались!

Надаль начал было расспрашивать, но быстро сообразил, что настаивать не стоит: «пеликаны», суеверные все как один, даже горлопаны, отвечали враждебно. Почти все считали, что речь идет о «Жоресе» и об экипаже Карнеро; но Маньен высадился в Альбасете, и не было никакой гарантии, что во второй половине дня он не вылетел с боевым заданием на Мадридский фронт.

— Ты почему знаешь, недоумок? — проворчал Леклер.

Скали знал со всей точностью: во второй половине дня, чувствуя, что пахнет паленым, он позвонил Маньену по телефону и попросил его нынче же вечером вернуться в Алькала.

Но Маньен уже знал суть дела лучше, чем Скали. Сембрано поговорил с ним по телефону напрямую

и определеннее, чем Скали. Напившись до потери сознания, Леклер стал на чем свет стоит поносить испанских пилотов, хотя прекрасно знал, что если кто-то и отсиживается в Валенсии<sup>1</sup>, все равно испанские пилоты на своих убогих машинах ежедневно совершают то, что он совершил в Талавере и чем так гордится. Затем Леклер стал втолковывать испанцам-механикам, которые его обступили, что война проиграна, что отремонтированные самолеты будут разбиваться, — словом, плел все, что может подсказать ощущение неотвязного стыда. С другой стороны, от Скали не укрылось, что Леклер, ушедший было спать, снова появился среди «пеликанов», которых привлекали его колоритность и широта натуры, иногда искренняя (и порожденная настоятельной потребностью внушать симпатию), стал поочередно отзывать их в сторонку и заводить те же самые разговоры. И Скали знал, что «пеликаны» из леклеровского экипажа играют в ту же игру.

Вначале Скали удивился тому, что все они заодно. В высшей степени проницательный, когда он судил о людях, психология которых была ему понятна — об интеллигентах, — он слабо разбирался в людях типа Леклера. Гарде тогда обратил его внимание на то обстоятельство, что, поскольку состав каждого экипажа меняется, когда кого-то отправляют в госпиталь, в конце концов в каждом экипаже люди подобались по сходству характеров; что дружки Леклера, когда он повернул самолет назад, при такой облачности не могли толком понять, что происходит, и теперь они барахтаются в драматической ситуации, которая им не по силам. Леклер не может простить себе свое бегство и рассчитывает вовлечь всех, с кем знает, в свои губительные попытки найти освобождение от стыда в отращении ко всему на свете, как уже нашел его в перно.

— Маньен звонил сюда в семь часов, — выкрикнул Скали.

Но все спрашивали себя, говорит он правду или хочет успокоить их.

Наступила довольно длительная пауза, которую наконец прервал Надаль.

---

<sup>1</sup> 6 ноября 1936 г. правительство Ларго Кабальеро выехало в Валенсию.

— Чего ради ты сюда подался? — спросил он Леклера, держа карандаш наготове. — Ради революции?

Леклер поглядел на него искоса, на сей раз со злобой.

— А тебя касается? Я наемник с левыми взглядами, это всем известно. Но если я здесь, то потому, что я твердый орешек. Я фанатик авиации. Все прочее годится для дохляков, слабонервных, слабосильных и посвятивших себя журналистике. У всякого свой вкус, прошу прощения. Тебе понятно?

Сейчас Леклер казался еще более тощим, чем обычно, ноздри раздувались, волосы были взлохмачены, обезьяньи пальцы стиснули бутылку красного; он сидел нахмурившись, выпятив грудь, завладев вниманием всех сидевших рядом: встревоженность их, казалось, хорьком снует по столу. Гарде, пристроившийся возле Хайме, ерошил свой бобрлик и улыбался.

— Слабость это или трусость — не так важно, — сказал Атиньи, — но если Маньен не вышвырнет эту публику, они нам деморализуют всю эскадрилью. Что с ними происходит? Вино в голову ударило?

— В любом случае, минуточку. Что-то он мне действует на нервы, не люблю драться в одной компании с позерами. Сейчас-то он пыжится, разыгрывает героя! Помереть со смеху.

— Разыгрывает комедию для газетчика и злится на него же. Погляди. Сейчас он его ненавидит.

— Но и благодарен ему тоже.

— Не в такой степени. Погляди на его рожу.

Надаль сообразил, что дело может плохо кончиться; он заказал спиртное для всего стола и улизнул со своими заметками, низкорослый и ушлый, зажав марциальную трубку в своей хитрой улыбочке.

— Я не надрался, — завел снова Леклер. — На революцию...

Было ясно, что он собирался закончить: «мне плевать». Но не решился. Не столько из-за товарищей, которых, возможно, был бы рад взбесить, но за обоими окнами без ставен был Мадрид.

Радиоприемник стоял возле одного из этих окон; Атиньи повернулся к нему. Площадь городка спала: спали древние здания, спали, спрятавшись за колоннами, крохотные харчевенки, где торговали моллюсками. (Кое-кто из «пеликанов», по всей вероятности, потягивал там перно.) И весь Алькала-де-Энарес со свои-

ми уходящими вдаль колоннадами, церковными садиками, островерхими колокольнями, дворцами, разукрашенными лепниной, каменными оградами и балконами, под которыми так и видишь кабальеро с гитарой, вся эта старая Кастилия из испанской комедии, изувеченная авиабомбами, спала вполглаза, прислушиваясь к угрожающим шумам войны.

— Когда Маньен вернется, — обратился Скали к Гарде, — скажи ему, что в любом случае можно сформировать ударные экипажи: есть «Марат», есть ты, есть немало других...

— Едешь нынче в Мадрид? — Хайме задал этот вопрос Скали, не дождавшись, пока тот договорит.

— Да. Спецвызов от Гарсии.

— Я хотел бы, чтобы ты заехал за моим отцом. И привез бы его сюда.

Скали знал, что отец Хайме уже стар. Хайме не стал обосновывать просьбу: он никогда не пытался извлекать привилегии из своего ранения.

— Ладно, заеду.

— Послушай, Скали, — сказал со злобой Леклер, — скоро мы начнем жрать хоть немного приличнее?

— От мандража аппетит разыгрывается? — поинтересовался Гарде с другого конца стола.

Леклер поглядел на Гарде, на его недружелюбную улыбку, открывавшую мелкие кошачьи зубы, и не ответил.

— А контракты наши? — спросил бомбардир «Пеликана-1».

— Еще не присланы из управления, — сказал Скали.

— Я говорить не мастер... Но все-таки... Вот убили бы меня сегодня, предположим, что стало бы с моим контрактом?

Голос и выражение лица у него были одновременно и жалобные, и протестующие, маленькие глазки таращились, ладони патетически метались в воздухе над лейтенантскими звездочками, нашитыми на его голубую кожаную куртку на другой день после его свадьбы в Барселоне. «Как всегда, похож на оживший чайник из мультфильма, причем при электричестве еще больше, чем при дневном свете», — констатировал про себя Гарде.



Скали держался мнения, что реакции этих ребят не стоит особо принимать всерьез, и, как правило, все у него шло, как надо. Но сегодня...

— Что ж, деньги выплатили бы твоей жене. И оставь нас в покое.

— А кто поручится, что Франко не войдет в Мадрид раньше?

— В этом случае, надеюсь всей душой, он тебя расстреляет, — сказал Гарде, приглаживая свой бобр и к . — И не будет тебе ни песет, ни контракта.

Вообще-то жизнь под угрозой одних и тех же опасностей скорее сближала добровольцев с наемниками, а не отдаляла их от «законтрактованных». Но нынче вечером добровольцам становилось уже невмоготу.

— Почему нам не присылают истребителей сколько требуется? — поинтересовался механик «Пеликана-1».

— К раненым отношение не такое, как н а д о , — заявил Хаус.

Приехал бы к нему в Мадрид английский король, Хаус все равно остался бы недоволен.

— Это не работа, — сказал старший стрелок Леклера . — Истребителей нехватка, бомбардировщиков нехватка, матчасть никудышная, пулеметы барахло!

Испанцы, те обстреливали зенитки из своих допотопных «бреге».

Возвращаясь к столу Леклера, Атиньи слышал ми-моходом:

— Как ни крути, а с нынешнего утра никто его не видел.

— ...все парни — грох! Как из горсти выбросило.

— ...никогда ничего похожего не видел, даже во время войны.

— ...самое страшное, что «Жорес» раскололся надвое.

— ...похоже, эти сволочи держали Карнеро на мушке.

— ...с парашютом кто прыгал, Карнеро?

— ...парашют Маньена, а прыгал Карнеро.

— ...поначалу еще можно было, но когда огневая завеса да у них дальноммеры, что прикажешь делать? Это уже не бой!

— ...самое страшное — это когда самолет раскалывается надвое...

— ...чего не хватает, так это организованности. Надо бы, чтобы весь состав обсуждал вечером боевые задания назавтра.

— ...парней из самолета, как из горсти, выбрасывало, старина, как из горсти. А я...

— Маньен не слабак, известно, но если ему охота кончать самоубийством, это не повод требовать от всех того же...

Стыд действует разлагающе, подумал Атиньи. Для него, человека, у которого убеждения вошли в кровь, все это было смехотворно и внушало ему глубокую грусть. При виде этих людей, при мысли, что у республиканцев какая-то жалкая сотня наемников, он не мог не вспомнить о тысячах итальянцев и немцев в рядах франкистов, о нескончаемых колоннах марокканцев с их «Сердцем Иисусовым». Сорок тысяч марокканцев на ежесуточном жалованье и с военным трибуналом за спиной. До какой черты можно доверять людям? А если доверять до смертной черты, стоит ли останавливать выбор на этих «спецах», уже мертвых и разлагающихся? Где-то в Альбасете или в Мадриде сейчас формируются первые интербригады...

Перекрыв глухой гомон, заговорил Гарде:

— Минуточку! — Он сидел на столе, выставив бобр и выпятив челюсть. — Выкатили бочку на заезжих хитрованов, которые околачиваются тут, многозначительно попыхивая трубкой, а потом, так и не побывав на позиции, возвращаются в Париж и охаивают Маньена, уж не говоря о нас, а сами не имеют ни малейшего понятия о наших трудностях. Так что, нынче вечером вы заодно с этими хмырями? Все плохо? А скажите, ребята, окажись вы у Франко, как вы думаете, не пришлось бы вам давным-давно заткнуться, может, даже в связи с кончиной?

— Вот поэтому-то я не у Франко, а здесь, — сказал механик.

Поль подскочил — огромный, курчавый, багроволицый, — яростно грозил пальцем.

— Ну нет, господин ростовщик! Меня не обдурить! Вы хотите зажилить то, что нам причитается. Ты хороший парень, Бертран, но слышать, как ты судишь о Маньене, — от этого тошно становится...

— Так что, мы больше не имеем права судить? Недостойны?

— А ты не судишь, ты брызжешь слюной. Брызжешь слюной, потому что сдрейфил. Ну, сдрейфил и сдрейфил, я не про это, заметь: я не из тех, кто бросит камень в товарища из-за какой-то случайности. Всякое бывает. И в целом вы справляетесь, все знают. Но сейчас я что говорю: вы недовольны собой, вот вам и хочется, чтобы все было хуже некуда; меня не обдуришь! Нет, сударь, меня не обдуришь! Жалуешься? Ну так назови человека, который мог бы заменить Маньена, назови хоть одно имя? Допусти на минутку, что поддонк этот из ихнего радио не наврал, и он... ну, не вернется. Что делать будем?

Ладно, мне причитается десять процентов комиссионных.

Мораль: вы себя ведете, как патентованные придурки.

Леклер надвигался на Скали; опустил кулаки на спинку ближайшего стула, смотрел ненавидяще; все примолкли.

— Насчет революции я уже высказался: каждый делает что умеет. Но насчет того, как поставлено дело, прошу прощения, дерьмово! Нас вытаскивают сюда, чтобы послать в бой, и держат двое суток без самого необходимого. Сорок восемь часов без бритвы! Хватит, сыты! Понятно тебе?

Скали молчал, глаза за очками щурились от отвращения.

— Ты всерьез? — с другого конца столовой послышался голос, на который все обернулись.

С того дня, как Хайме в последний раз вышел из самолета, он никогда не обращался ко всем сразу, а разговаривал лишь с соседями по столу, с теми, кто подходил к нему; сейчас, казалось, к нему вернулся прежний голос, тот самый, который пел когда-то песни, но сейчас этот голос звучал приглушенно, словно и в нем что-то ослепло. Все летчики знали, что каждый вылет грозит им таким же ранением. Хайме был их товарищем и в то же время наглядным напоминанием о самом страшном, что, может быть, готовит им судьба. На крупном носу сидели черные очки, рука водила по столу снизу, чтобы незаметно было, что он передвигается на о щ у п ь, — Хайме шел мимо пустых тарелок, и «пеликаны» отодвигались от него, словно боясь прикосновения.

— А те, кто сидят по окопам, — сказал он тише, — те бредутся?

— Ты, — процедил сквозь зубы Леклер, — рыцарь Интернационала, только не действуй нам на психику!

Скали, стоявший четырьмя-пятью метрами левее, у стены, подтянул форменные брюки — решительно, слишком длинны, — не сводя с Леклера глаз. Тот пошел на него, отвернувшись от Хайме, который продолжал путь, придерживаясь снизу за стол.

— Мне осточертели игрушечные пулеметы. Осточертели. У меня-то все, что положено мужчине, на месте, я согласен на роль быка, но роль голубка не по мне. Ты хорошо меня понял?

Скали, уже не представляя себе, чем его пронять, пожал плечами.

Леклер тоже пожал плечами, передразнивая его; он был в ярости, стиснул зубы.

— Плевать я на тебя хотел. Понятно? Плевать я на тебя хотел.

Теперь он наконец смотрел Скали в глаза, и физиономия у него была самая угрожающая.

— А я на тебя, — проговорил Скали неуклюже. Он не умел толком ни приказывать, ни драть глотку. Интеллигент до мозга костей, он хотел не только объяснить, но убедить; кулачная расправа вызывала у него физическое отвращение, и Леклер, нутром чувствуя это отвращение, принимал его за трусость.

— Нет, это я на тебя плевать хотел. А не ты на меня. Понятно тебе?

Поль вспоминал тот день, когда они, все вместе, дожидались первого самолета с ранеными.

— Salud! — крикнул Маньен; он стоял в дверях, подняв кулак в знак приветствия, и ветер трепал ему один ус.

Пройдя между «пеликанами» — кто смотрел хмуро, кто с облегчением, кто изображал равнодушие — он подступил к Леклеру.

— Был при тебе термос?

— Неправда! Не было!

Леклер орал негодуя, тоном оскорбленной добродетели; он с восторгом предвкушал несправедливое обвинение в пьянстве, поскольку испытывал величайшую потребность в том, чтобы обвинение в бегстве также оказалось несправедливым.

— Не было? Зря, — сказал Маньен.

Пилоту, павшему духом, он предпочитал пьяного пилота.

Леклер не знал, что сказать, растерявшись, словно сбился с пути.

— Экипаж «Пеликана» немедленно отправляется в Альбасете, — крикнул Маньен. — Грузовику двери.

— Грузовик, еще чего, грузовик! А почему не тачка? Хочу легковуху, — сказал Леклер, на физиономии у которого снова появилось ненавидящее выражение.

— Даже уложиться не успеем!

Протестовал бомбардир. Что укладывать? Все знали, что экипаж прилетел на самолете даже без зубных щеток. Маньен пожал плечами.

Он смотрел на Леклера и его дружков, которые уже разбрелись в разные стороны. Если бы они погибли нынче утром, думал он, мы бы вспомнили о них только самое лучшее. И даже если бы они погибли завтра... Воспоминание о Марчелино значило больше, чем присутствие Леклера. И он смотрел на них, на добровольцев и наемников, таким взглядом, словно все, что они говорят, делают, думают о себе, — только временное помрачение, сон, но рано или поздно каждому из них придется проснуться, и тогда, в надвинутом на лоб шлеме, напрягшись всем телом под летным комбинезоном, он окажется лицом к лицу с реальностью смерти.

Леклер подошел к Маньену, как только что подошел к Скали; лицо его, поражавшее выражением сосредоточенной злобы, почти не изменилось, разве только наморщенный лоб казался ниже.

— Плевать я на тебя хотел, Маньен.

Длинные обезьяньи руки, волосатые пальцы подрагивают. Брови и усы Маньена встопорщились, зрачки стали странно неподвижными.

— Завтра с тобой рассчитаются по контракту, и ты уедешь во Францию. А в Испанию больше не сунешься. Все.

— Захочу, так вернусь! И без всякого контракта! Хам, жандармская харя... Я в легионе был, слышали, я вам не грязная тряпка...

Теперь рядом с Маньеном были Скали, Атиньи и Гарде. Хайме в своих черных очках стоял у стола.

— Пускай мне дадут легковуху, — завел снова Леклер; пальцы его дрожали все заметней. — Тебе понятно?

Маньен пошел к двери, быстрый, бесстрастный, сутулящийся. В столовой слышно было только, как звякает вилкой повар. Все не сводило глаз с Маньена. Он открыл дверь и сказал что-то, словно обращаясь к ветру, который яростно хлестал широкую городскую площадь.

Вошли шесть вооруженных штурмовиков.

— Экипаж! — позвал Маньен.

Леклер, решивший разыграть главную роль до конца, прошел первым.

В столовой стояла все та же напряженная тишина; ляг и рев грузовика на миг заполнил ее и стал стихать, удаляясь, пока не растворился в шуме ветра. Маньен остался в дверях. Когда он обернулся, послышался звон стаканов, тарелок, возгласы, кашель, как в театре, когда зал оживает по окончании акта. Маньен подошел к столу и, требуя внимания, постучал ножом по стакану, словно хотел стуком заглушить это оживление.

— Товарищи, — произнес он тоном человека, начинающего разговор, — вы все смотрели на дверь. В пятнадцати километрах отсюда марокканцы. В двух километрах от Мадрида. В двух. Когда фашисты в Карабанчеле, тот, кто ведет себя так, как только что отбившие, ведет себя как контрреволюционер. Все они завтра же будут во Франции. С сегодняшнего дня мы входим в состав испанских военно-воздушных сил. До понедельника каждый должен обеспечить себя обмундированием. Все контракты аннулированы. Даррас возглавит механиков, Гарде — стрелков, Атиньи — политкомиссар. Те, кто против, уедут завтра утром. Вопрос с «Пеликаном» исчерпан, а потому вспоминать нам следует лишь о том хорошем, что каждый из них сделал... до нынешнего происшествия. Выпьем за экипаж «Пеликана».

Тон Маньена недвусмысленно превращал тост в прощание и исключал всякую надежду на отмену решения.

Сбор командного состава у меня в номере, — сказал он, когда стаканы были осушены.

Маньен объяснял, как он собирается реорганизовать эскадрилью.

— Где нам взять людей? — спросил Даррас.

— В интербригаде; ради этого я и ездил в Альбасете. Мы обо всем договорились. У них есть несколько бывших служащих ВВС и немало рабочих с авиазаводов. К нам завтра же отправляют всех, кто так или иначе соприкасался с авиацией. Вы приглядитесь к этим ребятам, каждый в своей области. Их будет больше, чем нам требуется. Что касается дисциплины, в пополнении коммунисты составляют самое малое тридцать процентов. Из вас тут двое коммунисты, вам и договариваться.

Маньену вспомнился Энрике.

— А как с истребителями? — сказал Атиньи.

— Думаю, будут.

— В достаточном количестве?

— В достаточном количестве.

Он мог ожидать самолеты только из России.

— Вы собираетесь вступить в партию? — поинтересовался Даррас.

— Нет. Я не согласен с компартией.

— Отдохни пять минут от вербовки, Даррас! — сказал Гарде.

Самого Гарде сначала пришлось убеждать. «Если у стрелков дело не спорится, я всегда подсоблю. Вот они мне и доверяют. Но отдавать приказы — это мне не по вкусу». Даррас в ответ возразил: «А кто, по-твоему, должен налаживать дисциплину, если не те люди, которым их товарищи доверяют?» И Гарде наконец сдался.

— Вы приехали через Мадрид? — спросил Атиньи.

— Нет. Но только что был звонок: бои идут на подступах.

## *Глава пятая*

В военном министерстве было пусто — правительство выехало из Мадрида в Валенсию<sup>1</sup>. В приемной, один-одинешенек, сидел на раззолоченном стуле майор французской армии, пришедший предложить свои услуги, его попросили подождать, и он ждал; было одиннадцать часов. Беломраморные лестницы под ковровыми дорожками в крупных цветочных узорах были освещены только свечами, расставленными пря-

---

<sup>1</sup> См. примеч. к с. 269.

мо на ступеньках и не падавшими, потому что вокруг каждой застыла лужица стеарина. Когда все эти свечи догорят, на монументальных лестницах воцарится кромешная тьма.

Только под самой кровлей светились окна офицеров Миахи<sup>1</sup> и окна разведслужбы.

Скали сел, и Гарсиа открыл папку, на которой не было никакой надписи. У Карабанчеля фашисты были остановлены.

— Скали, вы ведь хорошо знаете Мадрид?

— Неплохо.

— Площадь Прогресса знаете?

— Да.

— Улицу Луны, площадь Толедских ворот, улицу Фуэнкарраль, площадь Кальяо, само собой?

— На площади Кальяо я жил.

— Улицу Нунсио, улицу Бордадорес, Сеговийскую?

— Вторую не знаю.

— Ладно. Прошу вас подумать хорошенько, а потом ответить. Может ли очень искусный летчик попасть в пять точек (он повторил названия улиц), о которых мы только что говорили?

— Что вы имеете в виду под словом «попасть»? Разбомбить дома?

— Сбросить бомбы на площадях, не задев ни одной крыши. На улицах бомбы всегда разрывались на панели. И там, где стояли очереди. На площади Кальяо бомба попала в трамвай.

— Трамвай — явно дело случая.

— Допустим. Все остальное?

Скали раздумывал, ероша одной рукой волосы.

— Сколько попаданий?

— Двенадцать.

— Если это случайность, то удивительная. А другие бомбы?

— Других не было; двенадцать попаданий: женщины у бакалейных лавок, ребяташки в сквере на площади Толедских ворот.

— Попробую ответить; но моя первая реакция, если вам угодно, — не верю, что такое возможно. Даже если бы самолет летел очень низко.

---

<sup>1</sup> Миаха Хосе — кадровый военный, бригадный генерал, председатель хунты обороны Мадрида. Штаб и хунта обороны находились во дворце Буэнависта.



— Он, безусловно, летел высоко: звука не было слышно.

Чем абсурднее были вопросы, тем сильнее беспокоился Скали: он знал, как точен Гарсиа.

— Послушайте, это же из области бреда...

— Можно ли предположить, что бомбы сбрасывал исключительно меткий бомбардир? Скажем, проводятся ли в лучших армиях между кадровыми офицерами соревнования за звание аса-бомбардира?

— Всюду проводятся. Тут и спорить не о чем. Самолет видели?

— Теперь говорят, что видели. Но не в первый день. И звука никто не слышал.

— Это не самолет. У фашистов есть пушка с большей дальностью, чем те, которые нам известны, история с «Бертой»<sup>1</sup> повторяется.

— А если это все-таки самолет, как вы можете объяснить точность попадания?

— Исключено. Если вы настаиваете, распорядитесь, и мы завтра же вылетим, я поведу самолет над улицей Луны на любой высоте, какую вы предложите. Вы убедитесь, что такое невозможно, что самолет увидят все, как вы видите автомашину, когда она мчится прямо на вас. А при ветре пилоту просто не пройти точно над улицей, он будет петлять.

— Даже если Рамон Франко?<sup>2</sup>

— Даже если Линдберг!<sup>3</sup>

— Ладно. Еще одно. Вот план Мадрида. Точки попадания обозначены красными кружками; полагаю, вам не помехой то, что они подчеркнуты... Эта карта наводит вас на какие-нибудь мысли?

— Она подтверждает мои слова: улицы расходятся в разные стороны. Стало быть, в какой-то момент направление ветра должно было оказаться перпендикулярно траектории бомбардировщика. И с одного захода точно сбросить бомбу на определенную улицу со значительной высоты, да еще при таких условиях, это...

---

<sup>1</sup> Речь идет о дальнобойных немецких пушках с таким прозвищем, которые в 1918 г. обстреливали Париж с расстояния 120 км.

<sup>2</sup> Рамон Франко Баамонде (1896—1938) — летчик, брат Франсиско Франко.

<sup>3</sup> Линдберг Чарлз (1902—1974) — знаменитый американский пилот, первым совершивший беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Париж (1927).

Скали притронулся ко лбу жестом, означающим: бред.

Милый мой Скали, думал Гарсиа, как могут снаряды дальноточного орудия с их достаточно острым углом падения поражать цели, находящиеся на разнонаправленных улицах, не повреждая при этом ни одной стены.

— Последний вопрос, — сказал он, — может ли все тот же предполагаемый сверхискусный пилот вести машину над Мадридом на высоте ниже двадцати метров? Добавлю, что погода была плохая.

— Исключено!

— Испанские пилоты полностью того же мнения.

Имя Рамона Франко навело Скали на подозрение, что речь идет о бомбардировке тридцатого октября<sup>1</sup>.

Гарсиа остался один. Перед этим он опросил также артиллерийских офицеров: орудийный обстрел такого рода исключался из-за угла встречи. К тому же найденные осколки были осколками бомб, а не снарядов. Гарсиа с тревогой разглядывал фотоснимки точек попадания, снабженные пояснениями различных служб военного министерства. Тротуары всего лишь задеты... И пометка (Гарсиа попросил специалистов ответить на вопросы, но не объяснил, чем пахнет дело): «Снаряд или бомба был сброшен с высоты, не превышающей двадцать метров».

Гарсиа, увы, уже разгадал загадку. Ни орудия, ни самолета не было: в игру вступила «пятая колонна»<sup>2</sup>. Двенадцать бомб в одно и то же время... Ему уже пришлось, и небезуспешно, бороться с автомашинами-призраками, на которых ночами фашисты разъезжали по Мадриду и которые были вооружены пулеметами; и пришлось бороться с теми, кто на рассвете подстреливал республиканцев из-за ставен; и со всем, что порождает гражданская война. Но все это еще отвечало понятию «война»: слепой стреляет в незнакомого. На этот раз тот, кто бросал бомбу, сначала поглядел на

<sup>1</sup> 30 октября фашисты из «пятой колонны» провели в Мадриде ряд террористических актов против мирного населения, и был распущен слух, что взорвавшиеся бомбы были сброшены с самолета, который пилотировал Рамон Франко; эти-то события и расследует Гарсиа.

<sup>2</sup> За две недели до 30 октября генерал Мола на пресс-конференции заявил, что к четырем колонкам, продвигавшимся к Мадриду, «в нужный час» присоединится «пятая колонна».

женщин, стоявших в очереди перед бакалейной лавкой, на стариков и детей в сквере. Гарсиа не удивляло, что кто-то решился на массовое убийство женщин: бомбу могла бросить тоже женщина, сострадание к женщинам — мужское чувство. Но дети... Гарсиа, как и все, видел фотографии.

Один из его сослуживцев, вернувшийся из России, рассказывал про вредительство: «Ненависть к машине — новое чувство; но когда в работу вкладывается весь энтузиазм и все надежды страны, это порождает у внутреннего врага физическую ненависть к работе...» Сейчас в Мадриде фашисты ненавидят народ, тот самый, в существование которого они, возможно, просто не верили годом раньше; а теперь даже в детях, играющих в сквере, им видится только ненавистный народ.

И может быть, в этот час двенадцать убийц дожидаются часа победы: сегодня после полудня в образцовой тюрьме заключенные пели фашистский гимн.

А он должен молчать. Он знал, нельзя искушать зверя, таящегося в человеке; если во время войны так часто прибегают к пытке, то — среди прочего — еще и потому, что пытка представляется единственным ответом на предательство и жестокость. Открыть истину значит толкнуть эту героическую толпу, дальний гомон которой доносится до него с порывами ветра, на первую ступеньку, ведущую к животной жестокости. Пусть уж Мадрид, опьяненный баррикадами, по-прежнему верит в подвиги Рамона Франко: потребность мстить за зверства сводит с ума не только отдельных людей, но и людские массы.

Разведка и служба госбезопасности будут действовать без посторонней помощи, как обычно... Ему вспомнилась Гран Виа былых времен, светлые апрельские утра, витрины, кафе, женщины, которых никто не убивает, палочки сахара, тающие, словно льдинки, в стаканах с водой, а рядом чашечки шоколада с корицей. И вот он, Гарсиа, здесь, в этом опустевшем дворце, и воздухом, которым он дышит, дышать нельзя.

Чем бы ни кончилась война, подумал он, какой возможен мир при подобном накале ненависти? И во что эта война превратит меня?

Он вспомнил, что людям свойственно размышлять над моральными проблемами, покачал головой, взял трубку, тяжело встал из-за стола и направился в отдел госбезопасности.

По широчайшей лестнице поднимался в одиночестве сутулый худой человек: Гернико пришел за помощью санитарной службе, которую он пытался реорганизовать. То, что ему удалось создать в Толедо, оказалось каплей в море, когда война приблизилась к Мадриду. На первом этаже министерства, уже погружившемся в темноту, стояли фигуры рыцарей в полном вооружении; и шагавший по широким мраморным ступеням писатель-католик, долговязый, очень белокурый, как люди на многих портретах Веласкеса, казалось, выскользнул из древних лат и снова скроется под ними с наступлением дня. Гарсиа не виделся с ним уже три недели. Он говаривал, что Гернико — единственный из его друзей, у кого ум принял форму любви к ближнему; и несмотря на все, что их разделяло, Гернико был, может стать, единственным человеком, которого Гарсиа любил.

Оба направились вместе к Пласа-Майор.

Вдоль стен и витрин со спущенными шторами шли, пригибаясь, тени, они шли рядами, словно тянули ляжку; над ними тяжело перемещались клубы рыжего дыма, долетавшие из предместья. «Исход», — подумал Гарсиа.

Но нет, ни при ком из прохожих не было пожитков. Все шли очень быстро в одном и том же направлении.

— У города свои нервные нити, — сказал Гарсиа.

Слепец играл «Интернационал», перед ним стояла площадка. Засев, словно в засаде, в домах с погашенными огнями, сотня тысяч фашистов дожидалась утра.

— Ничего не слышно, — сказал Гернико.

Только шаги. Улица пульсировала, как кровеносный сосуд. Марокканцы подступали к Южным и Западным воротам; но ветер дул из города: ни винтовочного выстрела, ни орудийной пальбы. Шарканье толпы в тишине, похожее на возню грызунов под землей. И еще аккордеон.

Гарсиа и Гернико шли к Пуэрта-дель-Соль в том же направлении, в котором плыли по небу рыжие клубы дыма, в котором текла невидимая река, бессмысленно гнавшая людей к площади, словно там встали карабанчельские баррикады.

— Если мы остановим их здесь...

Какая-то женщина взяла Гернико за руку, сказала по-французски:

— Уезжать мне, как ты думаешь?

— Товарищ из Германии, — сказал Гернико, обращаясь к Гарсиа и не отвечая женщине.

— Он говорит, я должна уехать, — сказала женщина. — Он говорит, что не может сражаться как нужно, если я здесь.

— Он безусловно прав, — сказал Гарсиа.

— Но я не смогу жить, если буду знать, что он воюет здесь... и если не буду знать, что с ним...

Ее словам под сурдинку аккомпанировал второй аккордеон; еще один слепец, перед которым стояла плошка, продолжал музыку, не доигранную первым.

Все женщины одинаковы, подумал Гарсиа. Если она уедет, она переживет разлуку, помучится, но переживет; а если останется, его убьют.

Лица женщины он не видел: ростом она была гораздо меньше, чем он, и ее прятали тени прохожих.

— Зачем тебе оставаться? — мягко спросил Гернико.

— Я не боюсь смерти... Беда в том, что мне надо хорошо питаться, а здесь нельзя будет: я беременна...

Гарсиа не расслышал ответа Гернико. Женщина исчезла в другом потоке теней.

— Что можно сделать? — сказал Гернико.

Их обогнали милисиано в комбинезонах. Какие-то тени возводили баррикаду поперек разрытой улицы.

— В котором часу ты уезжаешь? — спросил Гарсиа.

— Я не уезжаю.

Если фашисты войдут в Мадрид, Гернико будет расстрелян одним из первых. Гарсиа не смотрел на друга, но видел, как тот шагает рядом: светлые усики, взлохмаченные волосы, длинные худые руки; и его физическая незащитность вызвала у Гарсиа то же мучительное чувство, какое вызвала у него незащитность детей, ибо она так же исключала всякую мысль о самообороне; Гернико не будет отбиваться, он будет убит.

Ни тот ни другой не заговаривали о мадридском санитарном транспорте; оба знали, что такового не существует.

— Пока возможно помогать революции, ей нужно помогать. Но идти на верную смерть нет никакого смысла, мой добрый друг. Республика — не вопрос географии, взятие одного города еще ничего не решает.

— Я был на Пуэрта-дель-Соль в день мятежа казармы Ла-Монтанья, когда из всех окон палили по толпе. На улице все залегли: площадь была покрыта людьми, прижавшимися к земле под пулями фашистов. Через день я пошел в министерство. Перед дверью стояла очередь: женщины хотели сдавать кровь для переливания. Я дважды видел испанский народ. Эта война — его война, в любом случае; и я останусь с ним. В Мадриде двести тысяч рабочих, у которых нет автомашин, чтобы доехать до Валенсии...

У Гернико есть жена и дети, их жизнь значит для него больше, чем все, что мог бы сказать ему Гарсиа, но его решение принято, и Гарсиа горько было думать, что их разговор, который может оказаться последним, сбивается на диспут.

Гернико отмахнулся от чего-то невидимого узкой длинной рукой.

— Может, уеду в последний момент, — сказал он.

Но Гарсиа не сомневался, что он говорит неправду.

Послышался смутный шум шагов, гул нарастал, словно предшествовал отряду, который пересек освещенную полосу.

— Землекопы, — сказал Гарсиа.

Они направлялись к последним клочкам земли перед Карабанчелем, еще оставшимся в руках у республиканцев, рыть траншеи или закладывать мины. Впереди какие-то тени, размытые туманом, строили еще одну баррикаду.

— Они вот остаются же, — сказал Гернико.

— Они смогут отойти по Гуадалахарской дороге. А тебя схватят либо у тебя дома, либо в ассоциации: и там, и там — мышеловка.

Гернико снова отмахнулся тем же смущенно-фаталистическим жестом. Еще слепой, снова «Интернационал»: теперь слепые играли только это. На каждой улице все новые тени возводили все те же баррикады.

— Нам, писателям-христианам, выпало на долю, пожалуй, больше обязательств, чем всем прочим, — снова заговорил Гернико.

Они проходили мимо церкви Алькала. Гернико неопределенно повел рукою в ее сторону; по звуку его голоса Гарсиа понял, что он горько усмехается.

— Во французской Каталонии я слушал проповедь священника-фашиста. Тема: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными»<sup>1</sup>. После проповеди старик Сарасола пошел побеседовать с проповедником, но тот успел исчезнуть. Сарасола сказал мне: «У тех, кто познал Христа, всегда хоть что-то да останется; из всех, кого я здесь видел, этот человек — единственный, кто устыдился...»

Проехал грузовик, набитый милисиано, они сидели на корточках, сгрудившись смутной массой, из которой торчали дула допотопных пулеметов. Гернико продолжал, понизив голос:

— Но только, пойми меня, когда я вижу, что они творят, стыдно становится мне, а не кому-то другому...

Гарсиа хотел было ответить, но путь ему преградил малорослый милисиано с мордочкой хорька.

— Они будут здесь завтра!

— Кто такой? — спросил вполголоса Гернико.

— Бывший писарь эскадрильи Маньена.

— От этого правительства толку не добьешься, — бормотал хорек. — Десять дней назад я принес им проект о том, как наладить массовое производство микробов бруцеллеза. Пятнадцать лет разрабатывал, не прошу ни медяка: во имя борьбы с фашизмом! Они не пошевелились. И с бомбой моей было то же самое. Те завтра же будут здесь.

— Завелся! — сказал Гарсиа.

Но Камучини уже скрылся в ночной толпе, словно в театральном люке, под аккордеон, сопровождавший «Интернационалом» и его появление на сцене, и мгновенное исчезновение.

— Много у него таких, у Маньена? — спросил Гернико.

— Вначале хватало... Среди первых добровольцев у всех была легкая склонность либо к помешательству, либо к героизму. И то, и то подчас...

И узкие улочки, и широкая улица Алькала наполнились особой атмосферой исторических канунов: пушки по-прежнему молчали, слышались только звуки аккордеона. Внезапно пулеметная очередь в глубине

---

<sup>1</sup> Второе послание к коринфянам, 6:14.

дальней улицы: кто-то из милисиано обстрелял автомашину-призрак.

И повсюду строительство баррикад. Гарсиа не очень-то верил в их эффективность, но эти баррикады, казалось, не уступают настоящим фортификационным сооружениям. В неизменном тумане все так же метались тени, и неизменно одна тень стояла неподвижно, потом вдруг шевелилась и снова застывала в неподвижности: это был организатор. В непрерывно сгущавшемся ирреальном тумане женщины и мужчины подносили материалы; рабочие из всех строительных профсоюзов организовали работы, а руководили ими начальники звеньев, в двухдневный срок подготовленные специалистами из пятого полка. И среди безмолвной фантазмагии умирающего старого Мадрида впервые, прорываясь сквозь все личные драмы, мечтания, безумства теней, мечущихся по улицам со своими тревогами и надеждами, вставала в тумане единая воля всего города, почти взятого в кольцо осады.

Огни фонарей, размытые туманом, светились смутными жалкими пятнами под доисторическими очертаниями вычурных многоэтажных зданий проспекта Алькала; Гарсиа обдумывал фразу друга: «Нам, писателям-христианам, выпало на долю, пожалуй, больше обязательств, чем всем прочим»...

— Какого дьявола ты еще можешь ждать от них? — спросил он, показав трубкой на очередную церковь.

Они проходили под электрическим фонарем. Гернико улыбнулся своей меланхолической улыбкой, придававшей лицу его то выражение, которое часто бывает у больных детей.

— Я-то верю в вечное бытие, не забывай...

Он взял Гарсиа под руку.

— От того, что совершается здесь ныне, не исключая и сожжение храмов в Каталонии, я жду для моей церкви большего, чем то, что принесло католической Испании ее последнее столетие, Гарсиа. Двадцать лет я наблюдаю и здесь, и в Андалусии, как отправляют свои требы церковнослужители; так вот, за эти двадцать лет я ни разу не видел католической Испании. Я видел обряды, а в душах — то же запустение, что на полях...

Все двери министерства внутренних дел на площади Пуэрта-дель-Соль были распахнуты. До мятежа



в холле была выставка скульптуры. И всякого рода изваяния — группы, обнаженные фигуры, животные — дожидались марокканцев в просторном пустом зале, в котором отдавался стук далекой пишущей машинки: кто-то еще оставался здесь...

Но на всех улицах, лучами расхлывшихся от площади, неизменные, как туман, все те же тени трудились над все теми же баррикадами.

— Правда, что Кабальеро советовался с тобою, не открыть ли церкви?

— Правда.

— Что ты ответил?

— Нет, разумеется.

— Что, открывать не надо?

— Конечно. Вас-то удивляет такой ответ, но католиков ничуть. Если завтра меня ждет расстрел, многое в моем прошлом вызовет у меня страх, как у всякого человека; но этот ответ — ни малейшего. Я не протестант, не еретик: я испанец-католик. Был бы ты богословом, я сказал бы тебе, что взываю к душе Церкви, не приемля плотской ее оболочки; но оставим это. Вера ведь никоим образом не исключает любви! Надежда ведь никоим образом не может найти себе место в мире, который обосновывает свое право на существование, поклоняясь, словно идолу, знаменитому севильскому распятию, прозванному «Христос богачей» (недуг нашей церкви — не ереси, а симония <sup>1</sup>); надеяться не значит утверждать, что смысл существования мира — в испанской империи <sup>2</sup>, в установлении порядка, обеспечивающего абсолютную тишину, поскольку те, кто страдает, прячутся, чтобы выплакаться!.. На ка-торге тоже порядок... Даже у самых пристойных из числа фашистов надежда зиждется только на гордыне; пусть так, но при чем тут Иисус Христос?

Гарсиа чуть не упал, наткнувшись на огромного пса. В Мадриде полно было великолепных собак, брошенных сбежавшими хозяевами на произвол судьбы. Вместе со слепцами собаки завладевали городом между республиканцами и марокканцами.

— Любовь к ближнему — ее олицетворяют не наваррские священники, которые допускают расстре-

---

<sup>1</sup> Симония — в средние века продажа и покупка церковной должности или духовного сана. Здесь: продажность.

<sup>2</sup> Намек на франкистский лозунг «Через империю к Богу».

лы во имя Богоматери, ее олицетворяют баскские священники, которые, пока их самих не расстреляли фашисты, благословляли в ирунских подвалах анархистов, сжегших их церкви. Я не тревожусь, Гарсиа. Я выступаю против испанской церкви, и тут мне опорой вся моя вера. Я выступаю против нашей церкви во имя трех богословских добродетелей, во имя Веры, Надежды и Любви.

— Где найдешь ты церковь, достойную твоей веры?

Гернико откинул ладонью волосы, падавшие ему на лоб. Почти безмолвная толпа скользила между аркадами, окружавшими Пласа Майор. После того как земляные работы на площади были прекращены, здесь повсюду остались мостовые камни и плиты, через которые приходилось перепрыгивать, и казалось, что толпы теней исполняют какой-то трагический балет под строгими башенками, похожими на башенки Эскуриала. В Мадриде настроили столько баррикад, что не осталось, пожалуй, площади, где их не было бы.

— Погляди: в этих бедных домах, в больницах вот сейчас есть священники, без облачения, в жилетах, как у парижских официантов, и они принимают исповеди, соборуют, может быть, крестят. Я сказал тебе, что двадцать лет не слышал в Испании слова Христа. Так вот, этих священников слышат. Их слышат — и никогда не будут слушать тех, кто завтра достанет спрятанную сутану и выйдет благословить Франко. Сколько священников исполняют свои требы в этот миг? Полсотни, может быть, сотня... Под этими аркадами побывали наполеоновские войска; тогда церковь Испании защищала свою паству; но думаю, с тех пор Христово слово не звучало доныне, воистину оно ожило здесь лишь в эти последние ночи. Но сейчас оно живет.

Гернико споткнулся о камень, вывороченный из разрушенной мостовой, волосы упали ему на лоб.

— Сейчас оно жив е т , — повторил о н . — Немного в этом мире мест, о которых можно сказать, что Слово Господне здесь; но скоро люди узнают, что в Мадриде в эти последние ночи оно было услышано. Что-то начинается в этой стране для моей церкви, что-то, знаменующее, быть может, возрождение церкви. Я видел вчера, как соборовали бельгийца-милисиано в Сан-Карлосе; ты бывал там?

— Навещал раненых, когда была эта история с бронепоездом...

Гарсиа вспомнились большие палаты с затхлым воздухом, низкие окна, заставленные растениями. Как давно все это было...

— В той палате лежали люди с ранениями рук. Когда священник сказал: «Requiem aeterna dona ei Domine»<sup>1</sup>, — несколько голосов произнесли: «Et lux perpetua luceat»<sup>2</sup>. Четыре-пять голосов, они раздались у меня за спиной...

— Помнишь, как Мануэль пел «Tantum ergo»<sup>3</sup>?

Пять месяцев назад в ночь перед отъездом Гарсиа встретился с друзьями, среди которых были Гернико и Мануэль; когда стало светать, они все вместе отправились на холмы, высящиеся над Мадридом. И покуда сиреневый известняк исторических памятников высвобождался из ночи и заодно из темной гущи Эскуриальского леса, Мануэль пел астурийские песни, которые они подхватывали хором, а потом Мануэль сказал: «Для Гернико я спою „Tantum ergo“».

И они, воспитанные священниками, допели все вместе, по-латыни. И так же, как товарищи Гарсиа вспомнили эту дружески ироничную латынь, так раненые революционеры, загипсованные руки которых, казалось, изготовлялись к игре на скрипке, вспомнили латынь смерти...

— Священник, — продолжал Гернико, — сказал мне: «Когда я вошел, они все обнажили головы, ибо со мною было предсмертное утешение»... Да нет же! Они обнажили головы, потому что вошел друг, а мог бы войти враг.

Он снова споткнулся: вся площадь была разворочена, как после бомбардировки. Голос его изменился:

— Я знаю, наши благомыслящие католики считают, что в этих вопросах нужно установить ясность! Сын Божий пришел на землю, чтобы поговорить, но так ничего и не сказать. От страданий у Него немного помутилось в голове; ведь Он с таких давних пор пригвожден к кресту, не так ли?..

Одному Богу ведомо, каким испытаниям подвергнет Он духовенство; но на мой взгляд, необходимо, чтобы путь духовенства снова стал трудным...

<sup>1</sup> Вечный покой даруй им, Господи (лат.).

<sup>2</sup> И вечный свет да воссияет (лат.).

<sup>3</sup> Из этого следует (лат.).

Он помолчал.

— Так же, наверное, как жизненный путь каждого христианина...

Гарсиа смотрел на тени их обоих, которые, колыхаясь, перемещались по металлическим занавесам, прикрывавшим витрины, и думал о двенадцати бомбах, взорвавшихся тридцатого октября.

— Самое трудное — семья, — продолжал Гернико вполголоса. — Что будет с женой, с детьми...

Он добавил еще тише:

— Мне все-таки легче: мои не здесь...

Гарсиа посмотрел на друга, но лицо Гернико скрывала темнота. По-прежнему не доносилось никаких звуков боя; и однако же противник полумесяцем охватил город, его присутствие чувствовалось, как чувствуется присутствие постороннего в темноте закрытой комнаты. Гарсиа вспомнил его последний разговор с Кабальеро. В этом разговоре промелькнули слова «старший сын». Гарсиа было известно, что сын Кабальеро схвачен фашистами, что он в Сеговии и будет расстрелян. Разговор был в сентябре. Они сидели за столом друг против друга, Кабальеро в охотничьем костюме, Гарсиа в комбинезоне; окно было распахнуто — стояла предосенняя теплынь; в комнату впрыгнул кузнечик, упал на стол, как раз между ними; полумертвый, кузнечик старался не шевелиться, и Гарсиа глядел, как подрагивают лапки; и он, и Кабальеро молчали.

## *Глава                    седьмая*

За стеклами витрин в тумане перемещались терпеливые тени, громыхали шаги. В ресторане гостиницы «Гран-Виа» официанты в угрюмом изумлении обслуживали трех посетителей, затерявшихся в огромном зале, последних посетителей времен республики, по мнению официантов. Но в холле гостиницы солдаты пятого полка поочередно вытаскивали из громадных мешков пригоршни пуль и строились поротно на тротуаре. Они были вооружены основательно. В Тетуане, в Куатро-Каминосе женщины втаскивали на последние этажи столько бензина, сколько удавалось достать, в этих рабочих кварталах не помышляли ни о капитуляции, ни об уходе из города. Люди из пятого полка

ехали в грузовиках и шли пешком к Карабанчелю, к Западному парку, к Университетскому городку. Скали впервые ощутил, что такое работающая в унисон энергия полумиллиона человек. Отцу Хайме придется взять только один чемодан: в машине было тесно.

Дверь открылась, перед Скали стоял очень высокий массивный старик с бородой, заостренной, словно копье, и широкими ссутуленными плечами. Но в передней, при электрическом свете, Скали заметил, что портрет работы Эль Греко словно бы переписан художником барокко: над глазами, полными жизни и очень большими, хоть они и казались притушенными под набрякшими морщинистыми веками, нависали острыми изломами подвижные брови, заканчивавшиеся, как и борода, тонкими хвостиками, а волосы, отступившие к самому затылку, клубились непокорными завитками.

— Вы Джованни Скали, не правда ли? — спросил старик, улыбаясь.

— Ваш сын говорил вам обо мне? — спросил Скали, удивившись, что старый Альвеар знает не только его фамилию, но и имя.

— Да, но я читал вас, читал...

Скали знал, что отец Хайме преподавал когда-то историю искусства. Они вошли в комнату, стены которой скрывались за книжными стеллажами, и только по обе стороны дивана оставались две высокие ниши. В одной стояли испано-мексиканские изваяния, барочные и диковатые; в другой висело прекрасное полотно кисти Моралеса.

В руке у Альвеара было пенсне, и он разглядывал Скали в пенсне с тем настойчивым вниманием, с которым всматриваются в нечто диковинное. Старик был выше его на целую голову.

— Вы удивлены? — спросил Скали.

— Я всегда удивляюсь, когда вижу мыслящего человека в таком... наряде.

Скали был в военной форме. Слишком длинные брюки, очки. На низком столике перед просторными кожаными креслами бутылка коньяка, полная рюмка, раскрытые книги. Альвеар вышел из комнаты — ступал он очень грузно, словно ногам было не под силу нести тяжесть т о р с а , — вернулся со второй рюмкой.

— Нет, с п а с и б о , — сказал Скали.

Ставни были закрыты, но он все равно слышал топ бегущих и дальний аккордеон.

— Зря, коньяк из Хереса очень хорош и не уступает шарантскому. Хотите чего-нибудь другого?

— Моя машина стоит внизу, она в вашем распоряжении. Вы можете сейчас же выехать из Мадрида.

Альвеар развалился в ближайшем кресле; он был похож на старого могучего грифа: такой же симпатично крючконосый, как и сын, только облезлый. Он поднял глаза на Скали.

— С какой стати?

— Хайме попросил меня заехать за вами на обратном пути из министерства. Я возвращаюсь в Алькала-де-Энарес.

Улыбка Альвеара была более старческой, чем его внешность.

— В мои годы уже не пускаются в путь без библиотеки.

— Вы ведь отдаете себе отчет, что марокканцы, возможно, завтра будут в Мадриде?

— Разумеется. Но что, к дьяволу, прикажете мне делать? Наше знакомство начинается при весьма небанальных обстоятельствах... Я признателен вам за то, что вы предлагаете мне помощь; передайте Хайме, я благодарю его за то, что он попросил вас помочь мне, но уехать из Мадрида — с какой стати?

— Фашистам известно, что ваш сын сражается в рядах республиканцев... Вы отдаете себе отчет, что вам явно угрожает расстрел?

От улыбки Альвеара еще больше сморщились его набрякшие веки, колыхнулись обвисшие щеки; он показал своим пенсне на бутылку.

— Я купил коньяк.

У него был такой же узкий орлиный нос, как у Хайме, такое же костистое лицо; и сейчас, когда тени сгустились у него под бровями наподобие больших черных очков, — такие же глазницы.

Вы полагаете, — продолжал он, — этой угрозы достаточно, чтобы я расстался с...

Он кивнул на книги.

— Но с какой стати? С какой стати? Странно: я прожил сорок лет в искусстве и ради искусства, и вас, человека искусства, удивляет, что я не собираюсь отступить... Послушайте, господин Скали, много лет я управлял одной картинной галереей — выставка-про-

даже. Я познакомил моих соотечественников с искусством мексиканского барокко, живописью Жоржа де Латура и современных французов, со скульптурами Лопеса, с примитивистами... Появлялась покупательница, разглядывала Эль Греко, Пикассо, мастера арагонского примитива... «Сколько?» Как правило, это была аристократка со своим «испано»<sup>1</sup>, со своими бриллиантами, со своей скупостью. «Простите, сударыня, почему вы хотите купить именно эту картину?» Почти все эти дамы отвечали: «Не знаю». — «Тогда, сударыня, поезжайте домой и подумайте. Когда сможете разобраться, почему, возвращайтесь».

Из всех, с кем Скали сталкивался или постоянно общался с начала войны, только Гарсиа обладал привычкой к дисциплине ума. И Скали тем охотнее поддавался обаянию духовного товарищества, которое сейчас устанавливалось между ним и стариком, что день выдался труднее обыкновенного; после того, как он ощутил себя слабым командиром, мир, где он обретал свою ценность, был для него особенно привлекателен.

— И эти дамы возвращались?

— Эти дамы пытались разобраться на месте: «Хочу эту картину, потому что она мне нравится, потому что она красивая, потому что у моей подруги есть такая же». Известно было, что в моей галерее — лучшие полотна Эль Греко.

— Когда вы соглашались?

Альвеар поднял узловатый палец, весь во вьющихся волосках.

— Когда они отвечали: «Потому что она мне необходима». В этом случае, если они были богаты, я продавал картину очень дорого; а если она — или он — были бедны, что ж, мне случалось и отдавать даром.

Совсем близко раздались два выстрела, затем слышался топот разбегавшихся врассыпную людей.

— При внутренних ставнях, как здесь, — сказал Альвеар невозмутимо, — снаружи света совершенно не видно. Я торговал в соответствии с тем, что считал Истиной, господин Скали! Торговал! Может ли человек убедительнее доказать верность своей Истине? Нынче ночью я живу в ее обществе. Мавры? Пусть, мне все равно...

---

<sup>1</sup> «Испано» («испано-суиса») — автомобиль очень дорогой марки.

— Вы пошли бы под расстрел из безразличия?

— Не из безразличия...

Альвеар привстал, не отрывая ладоней от ручек кресла, и взглянул на Скали с некоторой театральностью, словно желая подчеркнуть свои слова:

— Из презрения... И однако ж, однако ж... видите книгу — это «Дон Кихот». Перед вашим приходом я хотел почитать — не читалось...

— В церквах южной части города, где шли бои, я видел на стенах, напротив картин, большие пятна крови... Полотна... теряют силу...

— Нужны другие полотна, вот и в с е , — сказал Альвеар, наматывая кончик бороды на указательный палец, и тон у него был, словно у торговца, собравшегося заменить картины у клиента в доме.

— Что ж, — сказал Скали, — говорить так значит высоко ставить произведения искусства.

— Не произведения — само искусство. Найти доступ к тому, что есть в нас самого чистого, позволяют не обязательно одни и те же произведения искусства, но обязательно какие-то его произведения...

Скали понял наконец, что именно смущало его с самого начала разговора: вся выразительность этого старческого лица была в глазах, — и каждый раз, когда собеседник снимал пенсне, Скали с чудовищной тупостью инстинкта, обманутого сходством отца с сыном, ожидал увидеть глаза слепого.

— Нынче ночью ни моралисты, ни романисты не звучат, — продолжал старик. — Люди, рассуждающие о жизни, не помогут в пору смерти. Мудрость уязвимей, чем красота, ибо мудрость — нечистое искусство. Но поэзия и музыка помогают и в жизни, и в смерти... Надо бы перечитать «Нумансию». Помните? Война шествует по городу, ступает, наверное, приглушенным торопливым шагом...

Он встал, поискал полное собрание сочинений Сервантеса, не нашел.

— С этой войной все вверх дном!

Он вытащил другую книгу, прочел вслух три строки из сонета Кеvedо:

К чему страшиться вкрадчивого шага  
Той, что приходит вызволить из плена  
Дух, изнуренный нищетой земной<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Пер. П. Грушко.



Он водил в такт стихам указательным пальцем — чисто преподавательский жест; похожий на старую птицу, нашедшую прибежище в этой запертой комнате, в этом кресле, к спинке которого прижималось его плечо, и в поэзии, он читал медленно, с чувством ритма, тем более поразительным, что голос был без тембра, такой же старческий, как улыбка. Топот бегущих, приглушенно доносившийся с улицы, далекие выстрелы, все шумы дня и ночи, неотвязно звучавшие в ушах у Скали, казалось, мельтешат, словно какие-то беспокойные твари, вокруг этого голоса, уже устремленного к смерти.

— Разумеется, меня могут убить арабы. А могут и ваши — попозже. Не имеет значения. Разве так уж трудно, господин Скали, дожидаться смерти (которая, может быть, и не придет!), спокойно попивая коньяк и читая чудесные стихи? Есть особое чувство по отношению к смерти, очень глубокое, после эпохи Возрождения его никто уже не выражал...

А между тем в молодости я боялся с м е р т и , — проговорил он, чуть понизив голос, словно в скобках.

— Что это за чувство?

— Любопытство...

Он поставил Кеведо на полку. Скали не хотелось уходить.

— А у вас смерть не вызывает любопытства? — спросил старик. — Любое категорическое суждение о смерти так глупо...

— Раньше я много думал о с м е р т и , — сказал Скали, проводя ладонью по своим курчавым волосам. — С тех пор, как я начал воевать, я начисто перестал о ней думать. Она утратила для меня... всякую метафизическую реальность, если угодно. Видите ли, как-то раз мой самолет сбили. Между мгновением, когда он коснулся земли, и мгновением, когда я был ранен — пустячное ранение, — пока слышался грохот, я ни о чем не думал, весь напрягся, превратился в сплошную готовность: когда прыгать? Куда? Теперь я думаю, что так оно всегда и бывает: это поединок — смерть либо берет верх, либо отступает. Вот так. Все прочее — из области домыслов. Смерть не так уж страшна, другое дело — боль. Искусство мало что значит по сравнению с болью, и, к сожалению, ни одна картина не сохранит самооценности, когда тут же — пятна крови.

— Не торопитесь с выводами, не торопитесь! Когда французы осаждали Сарагосу, гренадеры пустили на палатки картины старых мастеров из монастырей. После одной вылазки польские уланы читали молитвы среди раненых перед мадоннами Мурильо, прикрывавшими входы. Набожность, разумеется, но и воздействие искусства: не молились же они перед народными фигурками мадонн. Ах, господин Скали, вы давно свыклись с искусством и еще не настолько свыклись с болью... Вы еще молоды, позже увидите сами: боль притупляется, когда знаешь наверняка, что изменить ничего нельзя...

Послышались короткие пулеметные очереди, яростные и одинокие в заполненной шорохами тишине.

— Слышите? — рассеянно спросил Альвеар. — Но то, что побуждает сейчас этого человека вести огонь, — не самое в нем главное... Допустим, экономическое освобождение принесло бы вам выигрыш — можно ли поручиться, что этот выигрыш перевесил бы потери, принесенные новым обществом, которому отовсюду грозили бы опасности и которое из страха за свою судьбу вынуждено было бы прибегать к принуждению, насилию, возможно даже, к доносам? Экономическое порабощение — тяжкое бремя; но если, чтобы покончить с ним, приходится усиливать другие виды порабощения — политическое, военное, церковное, полицейское, — тогда какая мне разница?

Альвеар затронул те стороны опыта Скали, которые самому старику были неведомы, но воспринимались все более и более трагически маленьким курчавым итальянцем. На взгляд Скали, революции угрожало не то, что будет, а то, что уже свершается: с того дня, как его поразил Карлыч, Скали замечал, что во многих из лучших его товарищей физиологическое начало войны постепенно берет верх, и это приводило его в ужас. А недавняя беседа с Гарсиа отнюдь не способствовала успокоению. Скали сам не мог толком разобраться в своих мыслях.

— Я хочу знать, что я думаю, господин Скали, — продолжал старик.

— Что ж, это ставит жизнь в границы.

— Да, — согласился Альвеар задумчиво, — но ведь меньше всего границ в жизни душевнобольных... Я хочу в своих отношениях с людьми исходить из их харак-

теров, а не из их идей. Я хочу верности в дружбе, а не дружбы, зависящей от политической позиции. Я хочу, чтобы человек отвечал за себя перед самим собой, — вы знаете, это труднее всего, что бы там ни говорилось, господин Скали, — а не перед общим делом, даже если это дело борьбы за права угнетенных.

Он раскурил сигару.

— В южноамериканской сельве, господин Скали, — он выпустил облако дыма, — по утрам, — он выпустил еще облако, — во всю мочь галдят обезьяны; согласно преданию, Бог некогда пообещал, что на рассвете превратит их в людей; всякий раз они дожидаются рассвета, видят, что снова обмануты, и вопят на весь лес.

В каждом человеке живет грозная и неискоренимая надежда... И если его несправедливо осудили, если он навидался глупости, неблагодарности, подлости, ему поневоле приходится делать ставку на что-то новое... Революция играет ту же роль — среди прочих, — какую некогда играла вера в вечное бытие, это объясняет многие характерные ее черты. Если бы каждый затрачивал на самосовершенствование треть тех усилий, которые тратит сейчас на борьбу за форму правления, в Испании можно было бы жить.

— Но самосовершенствоваться пришлось бы в одиночку, вот в чем загвоздка.

— Человек вкладывает в какое-то дело лишь небольшую часть своей личности; и чем шире размах, на который притязает дело, тем меньше своей личности человек в него вкладывает. Вам хорошо известно, господин Скали, как трудно быть человеком, — труднее, чем полагают политики...

Альвеар встал.

— Но вот вы, толкователь Мазаччо и Пьеро делла Франческа, как вы можете переносить этот мир?

Скали раздумывал, мысль или боль говорит сейчас голосом Альвеара.

— Хорошо, — произнес он наконец. — Случалось вам когда-нибудь жить среди массы невежественных людей?

Альвеар в свой черед задумался.

— Нет, пожалуй. Но отлично себе представляю.

— Вам, вероятно, знакомы некоторые знаменитые средневековые проповеди?

Альвеар кивнул.

— Эти проповеди слушали люди, которые были невежественнее моих соратников. Как, по-вашему, были проповеди поняты?

Альвеар накручивал на палец хвостик бороды и смотрел на Скали так, словно хотел сказать: «Вижу, куда вы клоните». Но сказал только:

— Возможно.

— Вот вы сейчас говорили о надежде: люди, которых объединяет одновременно и надежда, и действие, так же, как люди, объединенные любовью, достигают высот, которых в одиночку им не достичь. Как единое целое наша эскадрилья благороднее почти всех тех, кто входит в ее состав.

Сидя в кресле, Скали вертел очки в пальцах, Альвеару было видно только его лицо; теперь оно казалось красивым, потому что Скали был в родной своей стихии — интеллектуальной; единство выражения странным образом устанавливало гармонию между мясистыми губами и чуть сощуренными глазами.

— Мне многое в тягость там, где я сейчас, но сущность человека, если вам угодно, проявляется, на мой взгляд, в таких вот сферах. «Ты будешь зарабатывать свой хлеб в поте лица своего». Это относится и к нам, даже в тех случаях, вернее, особенно в тех, когда пот — ледяной...

— Ох, все вы видите только то, что составляет основу в человеке...

Внезапно Альвеар посерьезнел.

— Сейчас снова наступает время, когда на первый план выходит основное, господин Скали. Нужно снова обосновать права разума...

— Вы думаете, Хайме не должен был воевать?

Альвеар пожал ссутуленными плечами; щеки обмякли еще заметнее.

— О Господи, да пускай бы фашисты захватили всю землю, лишь бы он не ослеп...

За окном лязгнула какая-то машина: водитель преключил скорость.

— Будет он видеть, как вы думаете?

— Врачи говорят, это возможно.

— И вам тоже! И вам! Но они знают, что вы его друг... И это одеяние... Сейчас они лгут всем офицерам подряд! Боятся, что если скажут правду, их сочтут фашистами, идиоты!

— Почему вы так убеждены, что все их слова — неправда?

— Вы думаете, легко принять за правду слова, которые властен произнести какой-то человек и от которых зависит все наше счастье?

Он замолчал. Затем, может быть, для того, чтобы упрятать поглубже тревогу, заговорил громче, равнодушным тоном:

— Лишь при одном условии есть надежда сохранить в Испании будущего то, за что воюете вы, Хайме, многие другие: если удастся сберечь то, что мы, как могли, внушали годами...

Он прислушивался к чему-то на улице. Подошел к окну.

— А именно? — спросил Скали.

Старик обернулся и сказал тоном, каким сказал бы «увы»:

— Человечность...

Он еще послушал, потом погасил электричество, приоткрыл окно, и в комнату, перекрывая шаги прохожих, проник «Интернационал». В темноте голос Альвеара звучал еще глуше, словно говоривший был меньше ростом, печальней и старше, чем в действительности:

— Войди сейчас мавры в город, последним, что я слышал, был бы этот гимн надежды, который играет слепец...

Он говорил без пафоса, возможно, со смутной улыбкой. Скали услышал, как стукнули ставни. Мгновение в комнате стояла полная темнота; наконец Альвеар нащупал выключатель и зажег свет.

— Потому что им нужен наш мир для того, чтобы победить его, — сказал старик, — и он понадобится им для радости.

Он смотрел на Скали, присевшего на диван.

— Не боги создали музыку, господин Скали, а музыка создала богов...

— Но, может быть, музыку создало то, что совершается за окном...

— Снова наступает время, когда на первый план выходит основное... — повторил Альвеар.

Он налил себе коньяку, выпил залпом, лицо его ничего не выражало. В пятно света от лампы попадал только лоб Скали, его очки и курчавые волосы.

— Вы сели на то самое место, куда садится Хайме, когда приезжает. И вы тоже... носите очки. Когда он снимает свои, я не могу на него смотреть...

В первый раз в почти бесстрастном его голосе проскользнула боль, и он сказал по-французски еле слышно:

— Que te sert, ô Priam, d'avoir vécu si vieux!<sup>1</sup>

Наморщив лоб, он взглянул на Скали — по-детски и в то же время затравленно:

— Нет ничего — ничего! — ужаснее, чем физическое увечье того, кого любишь...

— Я его друг, — сказал Скали вполголоса. — И я привык к раненым.

— Как нарочно, — проговорил Альвеар медленно, — против его любимого места, у него перед глазами, на этих полках — все книги по живописи, тысячи и тысячи репродукций, которые он рассматривал... И все же, когда я завожу патефон и в комнате звучит музыка, я могу иногда смотреть на него, даже если он без очков...

## *Глава восьмая*

Мануэль также застал военное министерство во власти догорающих свечей. Огромные и мрачные залы, стараниями последних испанских королей с аляповатой роскошью воспроизводящие стиль Карла V, были памятны Мануэлю: он видел их переполненными милисиано, которые лежали на узких диванчиках, положив револьвер у самого носа, а председатель совета министров слушал в углу крохотный радиоприемник; потом на памяти Мануэля здесь установился строгий, немного чопорный порядок, введенный Кабальеро; он и сейчас царит в этих залах, окна распахнуты, за ними измотанный город, и, кажется, кресла удивляются, когда включают свет; все лампочки горят только в приемной перед кабинетом министра, где, по-прежнему в одиночестве, все ждет майор французской армии. На лестницах свечи больше не создают эффект театрального освещения, как в тот момент, когда по ним спускались Гарсиа и Гернико; теперь они светятся красноватыми церковными огоньками, которые вот-

---

<sup>1</sup> Что толку, о Приам, что ты так долго жил!

вот уступят место полной темноте. Там и сям в сводчатом коридоре горят фонарики, такие же, как те, которые по ночам служат указателями перегороженных улиц и ручных тележек; они освещают ступени монументальной лестницы, теряющиеся в темноте.

Мануэль подходит к кабинету генерала Миахи, он наверху, под самой крышей. В коридорах, как и внизу, темно, но из-под каждой двери сочится свет. Он входит; генерала нет, но штаб хунты обороны наполовину в сборе: кто сидит, кто меряет шагами комнату, напоминающую номер во второразрядной гостинице. Командир подрывников, командир саперов, штабные офицеры Миахи, офицеры пятого полка... Из этих последних полгода назад никто не служил в армии: тот — художник-модельер, этот — предприниматель, есть еще пилот гражданской авиации, директор промышленных предприятий, два члена центральных комитетов двух партий, рабочий-металлист, композитор, инженер, владелец гаража и сам Мануэль. Еще Энрике и Рамос. Мануэлю вспомнился один милисиано: от ранений он ослеп, обе ноги были парализованы. Он явился к Асанье.

«Что вам угодно?» — спрашивает президент. — «Ничего, только пожелать вам здоровья и мужества». И милисиано удалился на костылях.

Это не совещание по вопросам обороны. Но нынче ночью всюду, где собрались люди, идет совещание. Каждый из присутствующих обрел себя в борьбе, их судьбы подобны судьбе Мануэля и судьбе Испании.

— На сколько человек приходится сейчас одна винтовка? — спрашивает Энрике.

— На четверых, — отвечает один из офицеров. Это приятель Мануэля, тот, кто был художником-модельером. Он ведает мобилизацией гражданского населения: накануне компартия призвала ко всеобщей мобилизации членов профсоюзов.

— Нужно организовать сбор винтовок, — говорит Энрике. — Винтовки павших будут сразу же передаваться в ближний тыл. Организуйте службу доставки нынче за ночь; за образец примите организацию санитаров-носильщиков.

Художник-модельер уходит.

— А как с оружием в Мадриде, нет никакой возможности добыть еще?

Теперь отвечает другой офицер:

— Даже у часовых, караульных и конвойных остались лишь револьверы, только в госбезопасности они при винтовках. Практически нынче ночью ничто не охраняется.

— Если мы потеряем Мадрид, нам грозит опасность потерять министерские кадры, руководство и министров, оставшихся в городе.

— Как обстоит дело с оборонительными сооружениями? — спрашивает начштаба Миахи.

— Сейчас на работах занято двадцать тысяч человек, — отвечает Рамос. — Работают как проклятые: мобилизован весь профсоюз строителей. На добровольной основе. Руководит каждым объектом кто-нибудь из пятого полка. На данный момент перед маврами уже поставлены заграждения на километр в глубину. К послезавтрашнему дню Мадрид будет весь опоясан баррикадами, не говоря уж о прочих сооружениях.

— Женские баррикады не годятся, — говорит один из офицеров. — Маловаты.

— Их больше нет, — отвечает Рамос. — Остались только те, которые строились при соблюдении упомянутых условий, либо те, которые контролировались ребятами из пятого и были ими приняты. Но женские баррикады не оказались маловаты, наоборот, слишком громоздки. Женщины перестарались!

— А то, что они запасают бензин во всех домах, тоже не слишком-то разумно, — произносит еще один голос.

— Зато моральный эффект большой.

— Скажите, почему все это нельзя было сделать раньше?

— Половина — да нет, девять десятых — наших не могут понять, что Мадрид они защищают не только в Мадриде. Нынче утром один тип на улице мне говорит: «Пусть только сунутся в Мадрид, мы им покажем!» — «Скажи, а знаешь ты, где Карабанчель?» — «Мадрид — это Мадрид, а Карабанчель — это не Мадрид».

— Они сейчас на Карабанчель наступают? — спрашивает Мануэль.

— Там их сковывает пятый. Они наступают с юга; у тебя они тоже вот-вот перейдут в наступление.

Ночью Мануэль отправляется в район Гвадаррамы. Он подполковник. Волосы обстрижены очень коротко, зеленые глаза кажутся светлее на посмуглевшем лице.



— Был слух, люди Дуррути уже здесь?

— Железная дорога отрезана. Мы выслали грузовики в Таранкон. В данный момент они в пути.

— Самолеты, закупленные в СССР, по-прежнему ожидают послезавтра?

Никто не отвечает. Всем известно, что сборка близится к завершению. Но сколько еще ждать...

— С южной стороны кого поставят против мавров? — спрашивает Мануэль.

— Зависит от часа: в данный момент из Вальекаса послали интербригаду.

Подходят все новые офицеры.

Последние свечи догорели на огромных лестницах, французский майор ушел; только несколько парадных фонарей, красовавшихся ранее на решетках, посылают вглубь просторных покоев траурный свет. Опустевший, как последние кафе Мадрида, покинутый, как сам город, дворец, как и город, готовится к подземной обороне.

## Глава девятая

Западный парк.

Песенка дрозда взлетает в воздух, замирает, словно в вопрос, — другой дрозд отвечает. Первый вступает снова, спрашивает еще тревожнее; второй яростно протестует, и сквозь туман пробиваются взрывы хохота. «Вс е т о ч н о, — говорит кто-то по-французски, — не пройдут! Дудки!» Дрозды — Сири и Коган из первой интербригады. Коган — болгарин и не говорит по-французски, они пересвистываются.

— Тихо!

В ответ летят снаряды, штук пятнадцать.

Немцы, поляки, фламандцы, несколько французов выжидают, прислушиваясь к взрывам, звучащим все ближе. Вдруг все оборачиваются: их обстреливают с тыла.

— Разрывные п у л и, — кричат о ф и ц е р ы. — Пустяки.

Как отчетливо слышится в тумане свист пуль! Представляешь себе траекторию... Батальон с момента, когда началась боевая подготовка, носит имя Эдгара-Андре. Немцы узнали нынче ночью, что Эдгар-Андре, схваченный гитлеровцами, только что казнен: ему отрубили голову.

Почти все немцы вот уже много месяцев живут убогой жизнью эмигрантов, сомневаются в своих силах. Ждут. Ждут целых три года. Сегодня докажут наконец, что они не дармоеды на шее у революции.

Поляки прислушиваются, не раздастся ли приказ, лица напряжены.

Французы переговариваются.

Канонада все ближе. Многие солдаты как бы случайно касаются соседа ногой или плечом, словно защитить человека от смерти может лишь присутствие других людей.

Сири и Коган прижались друг к другу. Повоевать в мировой они не успели: слишком молоды, но отслужить свои сроки успели, а потому отправлены на фронт после двухнедельной подготовки. У Сири широкая треугольная физиономия; глаза, брови, волосы — все черное; коренаст, хватки комедийного актера; Коган — жердь со стоящей стоймя копной мелко вьющихся волос.

Ночь они проспали под одним одеялом: из-за ноябрьских холодов в ночь перед боем спали по двое. Никогда еще, думает Коган, мне не случилось сдружиться с кем-то так крепко и так быстро. Каждый раз, когда возле них падает снаряд, Сири на дроздовском языке одобряет, судит, негодует. Снаряд калибра 155 не взрывается при падении — пробуравив грязь, уходит куда-то к центру земли; Сири машет крыльями, отчаянно протестует.

— Мавры!

Да нет, кто-то из бойцов зря понервничал. Туман начинает рассеиваться, но никого не видно: взрывы, безлюдный лесок.

— Ложись!

Все приникли к пахучим мхам, как бывало в детстве. Отходят назад те, кого ранило в лицо; пальцы, прикрывающие рану, алы от крови. Солдаты приподнимаются под пулями, салютуют поднятым кулаком, раненые не видят; только один, подняв окровавленный кулак, открывает лик самой войны. Отовсюду валяются, подобно людям, ветви. «Вот бы спрятаться под землю, — говорит С и р и , — и не раскроется, подлая!»

— Вставай!

Пригибаясь, они лесом двигаются вперед. Они слышат топот марокканцев, надвигающихся с фронта, но видят только отдельные деревья, в тумане почти

неотличимые от фонтанов земли, которые взмывают, падая, снаряды. Теперь не до игры в дроздов: с той минуты, как начался бросок, как ноги понесли их навстречу противнику, они думают лишь о той секунде, когда появятся марокканцы; и в то же время даже самые необразованные из них думают еще и о том, что в это туманное утро они творят Историю. Фламандец справа от Сири (слева Коган) ранен пулей в ногу, пригибается, чтобы ощупать рану, в грудь ему угодили две пули, он падает. Теперь марокканцы ведут перекрестный огонь. «Я и понятия не имел, что на свете столько пулей, — думает Сири, — и столько для меня!» Но он в восторге от того, что делает свое дело, как надо: страх при нем, но ноги идут, и руки не дрожат. Порядок. «Мы им покажем, что такое французы!» Ибо в этот миг каждый интербригадовец хочет блеснуть национальными воинскими доблестями. Один из офицеров выкрикивает два слога и падает: пуля попала в рот. Сири приходил в бешенство: убивают его товарищей. Несмотря на свист и грохот снарядов, он слышит, что люди внезапно примолкли, и только отдаются в ушах слова, произнесенные несколькими голосами:

— Я готов...

Интербригадовцы двигаются вперед сквозь туман. Увидят они когда-нибудь марокканцев или нет?

На командном пункте Хейнрих разрывается между телефонами и связными. Появляется штатский: усы, седой бобрик.

— Что вам угодно? — спрашивает Альберт, адъютант генерала.

Это венгерский еврей, курчавый крепыш, в прошлом студент, а также посудомойщик.

— Я майор французской армии. Состою членом Всемирного антифашистского комитета со дня основания. Вчера просидел весь день на стуле в военном министерстве, могу быть более полезным. Наконец меня послали сюда. Я в вашем распоряжении.

Он протягивает Альберту документы: воинский билет, членскую книжку антифашистского комитета.

— Порядок, товарищ генерал, — говорит Альберт Хейнриху.

— В одной из польских рот только что погиб капитан, это уже в т о р о й , — говорит командующий.

— Понятно.

Новый капитан поворачивается к Альберту.

- Где получить обмундирование?
- Вам уже не успеть, — говорит Хейнрих.
- Понятно. Где рота?
- Вас проводят. Предупреждаю: позиция... ответственная.
- Я участник войны, господин генерал.
- Отлично. Превосходно.
- Я везунчик. Пулям я не по вкусу.
- Превосходно.

Между деревьями Западного парка, так мало подходящего для битвы, за телами павших, которые больше ни в чем не участвуют, ибо мертвы, Сири различает наконец первые турбаны, мелькающие, словно крупные голуби.

— Штыки в землю!

Сири никогда не видел марокканцев; но несколькими днями раньше он был послан на передовую связным и провел час в сотне метров от неприятельских траншей. Ноябрьская ночь была темной и туманной; он не мог ничего разглядеть, но, пока выполнял задание, явственно слышал бой тамтамов, звучавших то громче, то тише, в зависимости от того приближались или отдалялись огни лагеря; и теперь он ждет звуков тамтама, как ждал бы, когда, наконец, покажется Африка. Говорят, марокканцы перед атакой всегда напиваются. Со всех сторон вокруг Сири его товарищи: кто пригибается, кто залег, кто уже не встает, они целятся, стреляют, здесь его дружки из Иври, рабочие из Гренелля, из Курнева, из Бийанкура, польские эмигранты, бельгийцы, немцы-изгнанники, бойцы Будапештской коммуны, антверпенские докеры — европейский пролетариат отдал их Испании, словно доноры — свою кровь. Турбаны все ближе, они мелькают между деревьями, словно играют в уголки, только в сумасшедшем темпе.

Они идут от самой Мелильи...

Стальные полосы — то ли штыки, то ли тесаки — прорезают туман: матовые, длинные, острые.

По владению холодным оружием марокканские войска из лучших в мире.

— Штыки примкнуть!

Это первый бой интернациональной бригады.

Интербригадовцы взяли винтовки наперевес. Сири никогда еще не участвовал в бою; он не думает ни о том, что его убьют, ни о том, что он победит; он думает: «Ни черта не понимают, арапы несчастные». Действовать штыком, как учили в полку? Колоть не мешкая?

Между двумя взрывами дальний голос произносит за деревьями:

— За республику, вторая...

Остального не слышно; все глаза устремлены на марокканцев, они надвигаются; снова раздается чей-то голос, уже гораздо ближе, все, в общем-то, знают, что скажет голос, слова не в счет, но в словах чувствуется дрожь волнения, и пригнувшиеся люди поднимают головы, в тумане голос кричит по-французски:

— За Революцию и за Свободу, третья рота...

Хейнрих прижал к ушам телефонные трубки, бритый его затылок весь пошел морщинами, такими же, как на лбу. Рота за ротой бригада перешла в штыковую контратаку.

Альберт кладет трубку:

— Ничего не понимаю, товарищ генерал. Докладывает капитан Мерсери, сообщает: значительные трофеи, позиция в наших руках, мы захватили как минимум две тонны мыла!

Мерсери командует испанской ротой на правом фланге у интербригады.

— Какое мыло? Он спятил!

Альберт снова хватается трубку:

— Что? Какой завод? Какой завод? Боже правый!

— Он объясняет, зачем нужно мыло, — говорит он Хейнриху.

Генерал смотрит на карту.

— Какая отметка?

Хейнрих взял другую трубку.

— Ясно, — говорит он. — Мерсери перепутал отметки и захватил мыловаренный завод, который и без того наш. Попросите испанского генерала, пусть немедля сменит этого кретина!

Штык, который вот-вот будет пущен в дело, оказывается длиннее, чем думалось.

От последней четверти часа в памяти у Сири только мешанина из рушащихся деревьев и кустарника, гро-

хот снарядов, свист разрывных пуль и лица марокканцев: рты разинуты, но воплей не слышно.

Немецкая рота сменяет роту Сири, которая отходит на переформирование. Парк усеян телами марокканцев, словно бумажками после праздника; во время штыковой атаки Сири их не видел. Говорят, одна польская рота перешла Мансанарес.

— А что майор, посланный к полякам? — спросил Хейнрих.

— Когда он увидел, как обстоит дело, он сказал: «Позиция непригодна для обороны, вы должны ее оставить. Кто доберется до наших, передаст, что уйти приказал я. Вылезайте в окна, что сзади, снарядов будет столько же, но все-таки поменьше пуль. Идите! И скажите, что я сделал все возможное».

Он надел куртку второго польского капитана, вышел из дома, расстрелял всю пулеметную обойму и пустил себе пулю в лоб. Упал, загородив телом дверь.

— Сколько уцелевших?

— Трое.

Сири потерял Когана: ни один из обоих его соседей не понимает по-французски (кроме команд) и ни один не умеет свистеть. Сири знает, что за их батальоном всего лишь вооруженные парикмахеры — резерв, прозванный батальоном имени Фигаро. Когда адский грохот на время стихает, Сири слышит пальбу колонны Дуррути — они наступают, «Стального полка» — он наступает, социалистов — они наступают, и по мере того как они наступают, фронт ширится. За кровавым месивом парка разворачивается, растягивается рубеж атаки — во всю длину города. Между домами Сири видит испанцев: утром они отбили три атаки, только что получили приказ перейти в наступление; пуская в ход гранаты, они вытесняют марокканцев из захваченных ими домов, останавливают танки, пуская в ход динамитные шашки, и марокканцы, отброшенные штыками интербригадцев, натываются в уличных боях на анархистов, которые выдвигают на передний край республиканские пушки. Позади них мобилизованные профсоюзы дожидаются винтовок первых убитых.

Фашисты наступают начиная от Марокко, но они отступают начиная от Западного парка.

Смяв марокканцев, поредевшие роты интербригадцев отходят, переформируются, снова бросаются в бой. Марокканцы скатываются к реке. Анархисты Дуррути, колонны всех каталонских партий, социалисты, бойцы из «Стального полка» атакуют.

— Алло!

Трубку берет Альберт.

— Противник снова перешел в контратаку, товарищ генерал!

— С танками?

Альберт повторяет вопрос в трубку.

— Нет, танков больше нет.

— Авиация?

Альберт повторяет вопрос в трубку:

— Как обычно.

Он не вешает трубку. Смотрит на свой сапог — сапог ерзает; трубка дрожит.

— Товарищ генерал! Готово! Они отброшены к берегу Мансанареса! Сейчас откатятся за реку, товарищ генерал!

Роты, брошенные в штыковую атаку, одна за другой бегом огибают участок местности, занятый ротой Сири: люди залегли, лица у них осунувшиеся. Бойцы разных национальностей мелькают в тумане — теперь кажется, он соткан из дыма взрывов, — бегут, пригибаясь, с винтовками наперевес. Как в кино, но при этом совсем другие! Каждый из них для Сири свой. И они возвращаются, прижимая к лицу ладони или держась обеими руками за живот, либо не возвращаются, и они сами выбрали эту судьбу. И он тоже. За ними Мадрид и угрюмый рокот всех его винтовок.

Еще одна цепь атакующих — и перед ними узкая речка...

— Мансанарес! — кричат голоса.

Ослепленный блеском воды, запел дрозд. Где-то в тумане, лежа на листьях, промокших от крови, Коган, нога которого вспорота штыком, отвечает свистом за раненых и за убитых.

## II. «КРОВЬ ЛЕВЫХ»

### Глава первая

Тишина, и без того глубокая, стала еще глубже; Гернико показалось, что на этот раз небо переполнено. То было не гуденье — густое, как у гоночной автомашины, которое возвещает о появлении самолета, то была вибрация — всезаполняющая, всепроникающая, упорная, как басовые регистры. Гул самолетов, который он слышал до сих пор, был неравномерным, то снижался, то набирал высоту; на этот раз моторов было так много, что все звуки сливались воедино, надвигаясь с механической неумолимостью.

В городе почти не было прожекторов; как могли республиканские истребители или то, что от них осталось, настичь фашистов в таком мраке? И глубокая басовитая вибрация, заполнявшая небо и город подобно тому, как заполняла их ночь, вибрация, от которой у Гернико шевелились волосы и по коже пробегал озноб, становилась непереносимой, потому что бомбы не падали.

Наконец откуда-то из-под земли донесся глухой взрыв, похожий на взрыв дальней мины; и вслед за ним еще три, очень мощные. Снова приглушенный взрыв — и тишина. Еще один — над головой у Гернико разом распахнулись окна длинного этажа.

Он не стал включать электрический фонарик; милисиано были слишком склонны верить в световую сигнализацию. Все так же гудели моторы, но бомб больше не было. В непроницаемой темноте город не мог разглядеть фашистов, и сами фашисты могли разглядеть город лишь с трудом.

Гернико попробовал перейти на бег. Но он все время спотыкался о вывороченные плиты; в сплошной мгле не разобрать было, где кончается тротуар. Мимо пролетела на большой скорости автомашина, фары были засинены. Еще пять взрывов, несколько выстрелов, невнятная пулеметная очередь. Грохот фугаса каждый раз доносился из-под земли, лязг разрывающейся зажигательной бомбы слышался с высоты метров в десять. Ни огонька; окна раскрывались сами собою, словно от толчков изнутри. Взрыв прозвучал ближе, стекла со звоном разлетелись, посыпались на асфальт откуда-то с большой высоты. Только тогда Гер-



нико осознал, что зона видимости кончается для него на уровне второго этажа. Он расслышал какое-то звяканье, как будто эхо от звона разбившихся стекол, звяканье стало явственным, приблизилось, прозвучало рядом, растворилось во мраке: первый из его санавтомобилей. Он добрался наконец до санитарного управления; темная улица наполнилась людьми.

Врачи, медсестры, организаторы, хирурги спешили присоединиться к своим коллегам. Наконец-то у него появился транспорт. Ответственным за оказание медицинской помощи был один врач, Гернико отвечал за ее организацию.

— Пока справляемся, — сказал врач, — но если так пойдет и дальше, едва ли справимся: машины приходится высылать группами, бомбы попали в Сан-Херонимо, в Сан-Карлос и все такое...

Дом престарелых и госпиталь. Гернико представил себе, как мечутся раненые по темным палатам Сан-Карлоса.

— Как с электрическими фонариками? В каждой машине должны быть, — проговорил он спокойно.

— И так светло, все пылает: фашисты, видимо, сбросили зажигалки.

Врач открыл внутренние ставни.

— Смотрите.

За силуэтами домов в разных направлениях расплывались тусклые багровые пятна. «Пожар Мадрида начинается», — подумал Гернико.

— Есть электрические фонарики в машинах или нет? — терпеливо переспросил он.

— По-моему, нет. Но, повторяю, они не нужны.

Гернико занимался организационной работой с таким спокойствием, что медики удивлялись: он не разыгрывал ни комедии, ни трагедии. Одному из помощников он поручил отнести фонарики в каждую машину: при такой темноте свет — первое условие для оказания помощи. Новый взрыв; стекла задребезжали. Пока одна из медсестер закрывала ставни, послышались звонки еще двух машин, умчавшихся в ночь.

Еще одна бомба разорвалась в воздухе. Казалось, бомбы эти — видимо, они были малого калибра — не сбрасывают, а швыряют в ярости, словно гранаты. Гернико сидел за столом, и ему передавали телефонограммы, записанные на чистых учетных карточках.

— Пытаются накрыть «Палас», — проговорил он.

— Тысяча раненых и все такое... — сказал врач.

Госпиталь соседствовал с советским посольством.

— Улица Сан-Агустин, — сказал Гернико, — улица Леон, площадь Кортесов.

— Теперь они метят не в раненых, они метят в живых, — сказал еще один врач.

Кто-то из присутствовавших снова приоткрыл внутренние ставни; заглушая людские голоса, телефонные звонки, шаги, казавшиеся сейчас слишком уверенными, и непрерывные звонки санитарных автомашин, в комнату проникла равномерная вибрация фашистской эскадрильи.

Порыв сквозняка смахнул со стола бумажки: вернулась одна из медсестер, уезжавшая в дом престарелых.

— Милые дела! Гернико, голубчик, еще хотя бы две машины к старикам!

— Дверь, Мерседес! — крикнул врач, который, словно бабочек, ловил разлетающиеся бумажки.

— Свора мерзавцев! — сказала она, подразумевая самолеты, гуденье которых затихло, когда ставни закрылись. — Там жуткая паника: старики, несчастные, мечутся по лестницам, сбивают друг друга с ног. С ума посходили, их можно понять!

— Сколько раненых? — спросил Гернико.

— Да для раненых хватит и одной машины, вторая, чтобы их вывезти.

— Сантранспорт предназначен только для раненых: раненых будет достаточно... Старики сейчас в бомбоубежище?

— А ты как думал!

— Подвалы надежные?

— Как катакомбы.

— Хорошо.

Он поручил одному из помощников уведомить хунту.

— Знаешь, Гернико, — сказала вполголоса Мерседес, внезапно притихшая, — кое-кто из них и впрямь спятил...

— Какие бомбы, зажигалки? — спросил врач.

— Люди, которые вроде бы разбираются, говорят, это кальциевые бомбы. Пламя зеленое, оттенок точь-в-точь как у абсента. Страшная штука, знаете: никак не погасить. А старики топчутся среди этого ужаса, как слепые, кто на костылях, кто шарит руками в воздухе...

— Куда попала бомба?

— В коридор, между спальнями.

Неплотно прикрыли окно? Упрямый гул самолетов сновал по комнате, вот его прорезал очередью какой-то республиканский пулемет — видимо, чтобы «поднять дух». Но откуда-то снизу, словно из земли и стен, слышался, то нарастая, то притихая, рокот, заглушенный барабанный бой: интербригадовцы снова атаковали марокканцев вдоль Мансанареса.

— Где идут бои? — спросил Гернико.

— Везде, — ответила Мерседес.

— В Университетском городке, в Каса-дель-Кампо, — сказал врач.

От взрыва, раздавшегося совсем близко, по столам покатались карандаши и ручки. Черепицы взлетели в воздух, затем попадали на соседние крыши, на тротуар — вдогонку бегущим людям. Мгновение стояла тишина; невероятно пронзительный крик прорезал тьму; затем снова настала тишина.

— Зажигательная бомба попала в посольство Франции, — сказал Гернико, снова засевший за телефоном. — Бомбы невмешательства.

Мотоциклисты на посту?

Две бомбы в районе площади Кортеса.

Нужно послать шесть мотоциклистов-связных в Куатро-Каминос.

Один из помощников сказал что-то ему на ухо.

— Пошлите еще машину в Сан-Карлос, — проговорил Гернико. — Там раненые... И скажите Рамосу, пусть съездит, посмотрит, что делается, прошу вас...

С начала осады задачей Рамоса было от имени компартии оказывать помощь на самых угрожаемых участках. От этой помощи была большая польза медицинской службе, не располагавшей в достаточном количестве ни обезболивающими средствами, ни рентгеновскими пластинками, автосанитарной службе от нее было меньше толку; но отныне в Мадриде помощь раненым становилась одной из главных задач хунты.

## Глава вторая

Рамос мчался со всей скоростью, какую позволяли засиненные фары.

Увидев первый же большой пожар, он остановил машину.

Во тьме, заполненной сдавленными криками, топотом бегущих, выстрелами, голосами, зовущими на помощь, и грохотом падающих стен, заглушенным непрерывным рокотом битвы, рушился, превращаясь в гору обломков, разбомбленный монастырь; и по руинам под темно-багровым клокочущим дымом зверьками сновали зарницы. Внутри уже никого не было. Люди из дежурных и штурмовых подразделений и из спасательной службы, замороженные буйством пламени, глядели на огонь, живущий своей неисчерпаемой жизнью. Серый кот, сидевший тут же, поводил мордочкой.

Кончился ли налет?

Узенькая полоска света слева. В тишине, полнившейся дальними голосами, прогрохотали сапоги. Полоску света сменил сгусток пламени, он опал, и все вокруг запыхало ярким светом, высветившим небо и фасады домов. Хотя бомбардировщики улетели (аэродромы находились неподалеку, а ноябрьская ночь длинна), огонь, перебежавший с этажа на этаж, жил своей собственной жизнью: слева запылало еще четыре костра — не сине-зеленая тусклость кальция, а рыжие огненные брызги. Когда Рамос подошел, стена пламени распалась на мириады крохотных язычков, они вгрызались в дома, облепив их, как полчища саранчи, а люди молча шли прочь; из тачек, которые толкали перед собою отставшие от толпы старухи, выгладывали тюфяки, ножки стульев. Появились группы спасательной службы. Действовали толково. Рамос проверил больше десятка.

На площади Сан-Карлос, где находился госпиталь, дома образовывали заслон, и на всех почти прилегающих улицах стояла полная темнота; Рамос наткнулся на носилки, санитары закричали. Словно горсть раскаленных конфетти, рассыпались искры, слабо осветив ноги раненых, лежавших на земле друг подле друга. Тремя шагами дальше Рамос снова наткнулся на носилки, на этот раз вскрикнул раненый. Пламя высвечивало угол дома и кусок крыши, на котором виднелись силуэты пожарных, нацеливших свои крохотные жалкие шланги в самое пекло. Рамос наконец выбрался на площадь.

Дым разбушевался, стена огня взметнулась вверх. Теперь было отчетливо видно все: полотняные колпаки лежавших рядами раненых, кошки, пожарные. И словно

аккомпанируя полету пламени, глубокая вибрация моторов снова заполнила черное небо.

Рамос страстно желал безопасности раненым, которых вывозил сантранспорт машина за машиной, и потому ему хотелось верить, что это гудят автомобильные моторы; но после того как пожар притих было в насыщенной искрами тишине, наставшей, когда отгрохотали, упав, развороченные стропила, там, наверху, снова загудели во всю мочь неумолимые моторы; две серии по четыре бомбы, восемь взрывов и затем еле различимый гул голосов, словно весь город проснулся в ужасе.

Неподалеку от Рамоса милисиано из крестьян, у которого сползла перевязка, глядел, как кровь стекает по его голой руке и капля за каплей падает на асфальт; в темно-багровом зареве кожа казалась красной и красным был черный асфальт, а кровь, коричневая, как мадера, падая, становилась светящейся и желтой, как огонек сигареты Рамоса. Он распорядился, чтобы крестьянина немедленно увезли. Появились раненые с загипсованными руками; фигуры скользили, словно в траурном балете: сперва чернели только силуэты, затем стали видны светлые пижамы, делавшиеся все краснее и краснее, по мере того как раненые пересекали площадь в угрюмом свете пожара. Все раненые были солдатами: никакой паники, ожесточенный порядок, слагавшийся из усталости, бессилия, ярости и решимости. Еще две бомбы, и ряд лежавших раненых колыхнулся, как волна.

Будка с телефоном находилась в сотне метров от площади, на улице, не освещенной пожаром; Рамос наткнулся на чье-то тело, включил фонарик: человек кричал, широко раскрыв рот; один из санитаров догнулся до его руки.

— Мертв.

— Нет, он кричит, — сказал Рамос.

Они с трудом могли расслышать друг друга в грохоте бомб и дальних орудий, в гуденье самолетов и затухающем вое сирен. Но человек был мертв, и рот его был открыт, словно он кричал перед смертью; может быть, он и в самом деле кричал... Рамос снова наткнулся на носилки, снова послышались крики, очередная зарница выхватила из мглы целую толпу пригнувшихся людей.

Рамос потребовал по телефону, чтобы прислали еще сантранспорт и грузовики: многих раненых можно было вывезти на грузовиках. («Куда?» — спрашивал он себя. Все госпитали один за другим превратились в пылающие костры.) Гернико послал его в Куатро-Каминос. То был один из беднейших районов, он оказался под особым прицелом с самого начала осады (ходили слухи, Франко заявил, что пощадит фешенебельный район, Саламанку). Рамос снова сел в машину.

В огне пожаров, в мертвенном свете засиненных фонарей и фар, в полной темноте народ снова уходил безмолвно в свое вековечное странствие. Многие крестьяне с берегов Тахо укрылись у родственников, каждая семья со своим осликом; и все, нагруженные одеялами, будильниками, канарейками в клетках, неся на руках кошек, шли, сами не зная почему, к богатым кварталам — без паники, издавна привыкнув к бедствиям. Бомбы падали по несколько штук сразу. Их научат быть бедными — такими, как положено.

От засиненных фар света было немного. Подъезжая к распотрошенным домам, Рамос увидел распростертые тела, их было около двадцати, они лежали параллельно, смутно различимые, совсем одинаковые на фоне развалин. Он остановил машину, свистом позвал санитарный транспорт. Анархисты, коммунисты, социалисты, республиканцы — как перемешал немолчный гул вражеских самолетов кровь людей, мнивших друг друга противниками и побратавшихся в смерти!.. Сирены машин проносились в темноте, сближались, пересекались и исчезали во влажной ночи, словно гудки отплывающих пароходов. Одна из машин остановилась, и в переплетенье воплей вой ее, долгий и неподвижный, повис в воздухе, словно вой истосковавшегося пса. Сквозь запах раскаленного кирпича и горелого дерева, под вихрями искр, которые неслись по улицам, словно обезумевшие патрули, взрывы бомб ожесточенно преследовали звонки санитарных машин, заглушали их яростным гулом, но неутомимые колокольчики вырывались из этого гула, словно из туннелей, среди своры ошалевших гудков. С начала бомбежки распелись петухи. Когда же с адским грохотом взорвалась планирующая бомба, петухи пришли в испуг; в этом бедном квартале их было множество, словно в деревне; хором — неистовые, отчаян-

ные — они надсаживались, истошно выпевая протест нищеты против смерти.

Узкий пучок света от фонарика Рамоса, дергавшийся, словно усики насекомого, скользнув по телам, распростертым вдоль стены, выхватил из тьмы человека, лежавшего на пороге дома. Он был ранен в бок и стонал. Где-то неподалеку слышалось позвякивание санитарной машины. Рамос свистнул. «Сейчас подъедет», — сказал он. Человек ответил новым стоном. Фонарик освещал его сверху, отбрасывая ему на лицо тени от травинок, пробившихся между плитами порога; под неутомимые вопли разбушевавшихся петухов Рамос с болью вглядывался в игру теней, безучастных и тонких, с японской точностью прорисованных на подрагивавшей щеке.

На губы раненого упала первая капля дождя.

### *Глава третья*

За немецкими окопами интербригады вздымается зарево первых больших пожаров Мадрида. Добровольцы не видят самолетов; и все же ночная тишина, уже не имеющая ничего общего с загородной, странная тишина войны, вибрирует, словно поезд, переходящий с одной колеи на другую. Здесь собрались все немцы: те, кому пришлось эмигрировать, потому что они марксисты; те, кому пришлось эмигрировать, потому что они романтического склада и мнят себя революционерами; те, кому пришлось эмигрировать, потому что они евреи, и те, кто не были революционерами, но стали ими, и вот они здесь. После боев в Западном парке им приходится отражать по две атаки в день: фашисты тщетно пытаются вклиниться в расположение республиканцев на территории Университетского городка. Добровольцы смотрят на огромное красное зарево, сквозь дождь вздымающееся к облакам: отблески пожара, подобные отблескам световых реклам, в туманные ночи всегда разрастаются, и такое впечатление, будто пылает весь город. Никто из добровольцев еще не видел Мадрида.

Вот уже больше часа, как они слышат зов раненого товарища.

Марокканцы в одном километре от немцев. Марокканцы не могут не знать, где раненый: скорее всего

выжидают, когда ему на помощь отправятся соотечественники; один доброволец, выбравшийся из окопа, уже убит. Добровольцы готовы идти на манок, они боятся лишь одного — что не найдут обратной дороги в кромешной тьме, когда пожаром освещено только небо.

Наконец трое немцев получают разрешение отправиться к раненому, кричащему в черном тумане. Один за другим они переступают бруствер, проваливаются в туман; несмотря на взрывы, слышно, какая в траншее стоит тишина.

Раненый кричит по меньшей мере в четырехстах метрах от них. Путь будет долгим: все теперь знают, что человек ползти быстро не умеет. А ведь его нужно будет доставить в траншею. Лишь бы только они не привстали. Лишь бы только рассвет не пришел слишком рано.

Тишина — и сражение; республиканцы пытаются сомкнуть свои силы за фашистскими рубежами; марокканцы пытаются вклиниться в Университетский городок. Где-то в ночи стрекочут вражеские пулеметы, ведя огонь из госпиталя-клиники. Мадрид пылает. Трое немцев ползут.

Зов раненого слышится раз в две-три минуты. Если выпустят ракету, добровольцы не возвратятся. Сейчас они метрах в пятидесяти от траншеи; оставшиеся чувствуют затхлый запах грязи, по которой они ползут, почти такой же, как тот, что стоит в траншее; чувствуют так, словно ползут с ними вместе. Как долго не зовет раненый! Только бы им не сбиться с курса, только бы, по крайней мере, доползти до него...

Трое, вжавшись в землю, ждут, ждут зова в тумане, пронизанном вспышками. Голос смолк. Раненый больше не позовет.

В растерянности они приподнялись на локтях. Все так же пылает Мадрид, все так же держится немецкая траншея и под угрюмый тамтам орудий марокканцы в ночном тумане все так же пытаются вклиниться в Университетский городок.

#### *Глава четвертая*

Шейд остановился возле первого же развороченного дома. Дождь прекратился, но чувствовалось, вот-вот польет снова. Женщины в черных шляхах стояли це-



почкой позади милисиано из спасательной службы, которые извлекали из-под обломков граммофонную трубу, какой-то сверток, шкатулочку...

На четвертом этаже дома, одна стена которого была срезана, так что все походило на декорацию, виднелась кровать, зацепившаяся ножкой за пробитый потолок; из этой комнаты высыпались на асфальт, почти к ногам Шейда, фотографии, игрушки, утварь. Бельэтаж, хоть и развороченный внутри, с фасада остался цел и безмятежен, как жизнь в мирное время; его агонизирующих жильцов увезла санитарная машина. На втором этаже, над кроватью, залитой кровью, зазвенел будильник, звон растаял в безутешности серого утра.

Люди из спасательной службы передавали предметы из рук в руки; последний из милисиано передал первой из женщин сверток. Он протягивал сверток, держа за середину, но женщина не перехватила его, а взяла на руки: головка откинулась назад, ребенок был мертв. Женщина оглянулась на цепочку товаров, поискала глазами, заплакала: должно быть, увидела мать. Шейд ушел. Смешиваясь с утренним сырым туманом, улицы заполнял запах гари — беспечальный запах горелого дерева в осенних лесах.

В следующем доме жертв не было: обитатели — мелкие служащие — молча смотрели, как горит их развороченный дом. Шейд пришел сюда в поисках колоритных и трагических сцен, но его ремесло ему претило: колоритность была жалка, и не было ничего трагичнее обыденности, трагичнее этих бесчисленных человеческих судеб, похожих на все прочие, трагичнее этих лиц, на которых скорбь отпечаталась так же явно, как и бессонница.

— Вы иностранец, сударь? — спросил у Шейда человек, стоявший рядом.

Лицо у него было с тонкими чертами, немолодое, вертикальные морщины интеллигента; безмолвно он показал на дом.

— Я ненавижу войну, — сказал Шейд, дергая свой галстук-бабочку.

— Тогда полюбуйте.

И он добавил чуть потише:

— Если это можно назвать войной... Сударь, электроламповый завод, что возле дороги на Алькала, горит... Сан-Карлос и Сан-Херонимо горят... Все дома

вокруг французского посольства... Большая часть домов на площади Кортесов, вокруг «Паласа»... Библиотека... — Он говорил, не глядя на Шейда, глядел в небо. — Я тоже ненавижу войну... Но убийство еще страшнее...

— Что угодно, только не война, — сказал упрямо Шейд.

— Даже отдать власть тем, кто таким вот образом использует ту, которой уже располагает? — Он все глядел в небо. — Я тоже не могу принять войну. Но как принять вот это? Так что же делать?..

— Не могу ли я вам помочь? — спросил Шейд.

Его собеседник улыбнулся, показал на дом: в сером свете утра под угрюмым столбом дыма пламя казалось совсем бледным.

— Все мои бумаги, сударь!.. А я биолог...

В сотне метров от них на площади взорвался крупнокалиберный снаряд. Остатки стекол посыпались на землю, и среди осколков ослик на привязи, даже не пытавшийся убежать, зашелся в отчаянном реве под снова начавшимся дождем.

Когда Шейд добрался до дома престарелых, большая часть его обитателей уже вышла из убежища. Пожар был потушен, но следы бомбежки, окружавшие беззащитных и безобидных людей с их старческими недугами и неловкими движениями, были нечеловечески абсурдны.

— Как тут было? — спросил он одного из стариков.

— Ох, сеньор... Бегать нам уже не по годам... Бегать во всю прыть. Особенно если кто на костылях...

Он схватил Шейда за рукав.

— Куда мы идем, сеньор? Вот я был парикмахером. Только для избранной публики. Все эти господа Доверяли мне свой погребальный туалет: бритье, стрижка, все...

Шейду с трудом удавалось его расслышать: грузовики проезжали один за другим, сотрясая стены дома и развалины.

— Народный фронт поместил нас сюда, сеньор, здесь нам было хорошо — все зря!.. Они ведь снова пойдут бомбить, дело ясное... Бомбежкам-то придет конец, понятно, придет конец... Только и мне тоже...

На втором этаже старики из тех, кто покрепче, помогали спасателям в какой-то непонятной Шейду работе. Их было человек двенадцать, они держались

степенно, с той степенностью, которая характерна для испанцев в старости. Работали они так, словно их приговорили к молчанию; напрягая слух, поглядывали на небо.

На третьем этаже среди позвякивания санитарных автомашин, разъезжавших по городу, и непрерывного грохота грузовиков, милисиано при исполнении служебных обязанностей пытались силой вытаскивать из-под кроватей стариков, которые спрятались там от бомб и в полубезумии упрямо цеплялись за металлические ножки. Внезапно по улице на всей скорости пронеслось угрожающее позвякивание санавтотранспорта, завывли сирены воздушной тревоги; старики разжали пальцы, стали пробираться к лестнице, которая вела в убежище; одеяла они накинули на плечи; один тащил на спине кровать, словно панцирь.

Не прошло и десяти секунд, как первый взрыв превратил в порошок осколки стекол, выбитых ночью и валявшихся на столах и под окнами; и, покрывая канонаду, доносившуюся из Университетского городка, городские часы, одни за другими, стали отбивать девять ударов, словно бесстрастный набат, которым весь Мадрид отвечал неприятелю.

— Их видно! — крикнул один из милисиано.

Шейд спустился, высунул нос за дверь дома престарелых, не выпуская изо рта длинной трубки. Широкогрудые, похожие на почтовые немецкие самолеты, на которых он так часто летал, «юнкерсы» вынырнули из-за крыши, выпятив удлиненные носы, черными силуэтами скользнули очень низко под дождевыми облаками, медленно пролетели над улицей, исчезли за другой крышей; за ними промелькнули истребители сопровождения. Зажигалки сыпались куда придется. Они взрывались справа и слева, по несколько штук сразу. Взлетели голуби; над их живой стаей пронеслась, как сама судьба, металлическая стая вернувшихся «юнкерсов». Они сеяли смерть наугад, и это приводило Шейда в ярость. Значит, у республиканцев настолько мало истребителей, что они не могут снять с фронта ни единого самолета? Мимо мчались и мчались грузовики, брезент весь намок: дождь усилился.

— Есть убежище, — сказал кто-то у него за спиной.

Шейд остался стоять под дверью, зная, что от нее никакой защиты. Люди шли, прижимаясь к стенам, стояли по несколько минут в каждом подъезде, снова

пускались в путь. Шейд часто бывал на фронте, но никогда не испытывал там чувств, которые испытывал здесь. Война и есть война; но это даже не война. Ему хотелось не столько, чтобы прекратился налет, сколько, чтобы прекратилась бойня. Бомбы все падали, места попадания были непредсказуемы. Шейд думал о том, что увидел: о накрытом столе в доме без стены, о фотографии под разбитым стеклом, висевшей над узким и длинным пятном крови, о дорожном костюме, висевшем над чемоданом — сборы в другой мир, — об ослике, от которого остались лишь копыта, о кровавых полосах, похожих на те, что оставляют затравленные подранки во время охоты, но их оставили на тротуаре и стенах раненые из «Паласа», о пустых носилках в подтеках крови там, где были раны. Сколько крови смоем дождь! Теперь бомбы летели попеременно со снарядами. После каждого взрыва Шейд ждал грохота сыплющихся черепиц. Несмотря на дождь, запах пожара завладевал улицами. Все так же проезжали грузовики.

— Что это? — спросил Шейд, поддергивая крылышко своей «бабочки».

— Подкрепления на Гвадарраму. «Те» пытаются прорвать фронт в горах...

## *Глава пятая*

Под косым дождем, падавшим широкой завесой, бригада Мануэля двигалась от Сьерра-де-Гвадаррамы среди ландшафта с разоренными колокольнями, напоминавшего ландшафты тысяча девятьсот семнадцатого года. Люди с усилием выволакивали ноги из грязи, медленно спускались вниз по склону. Вечерний горизонт среди бела дня, длинные полосы заброшенных пахотных земель, тянущиеся к низкой долине, которая поднималась к небу, заполненному волокнами облаков, и за которой, словно море за скалой, уходила куда-то в бесконечность Сеговийская равнина. Казалось, земля кончается у этого горизонта; за его чертой мир, который не разглядеть было из-за недосыпанья и дождя, рокотал всеми своими пушками. Позади Мадрид. Люди шли и шли вперед, все с большим трудом выбираясь из грязи, которая становилась все более вязкой. Время от времени среди грохота слышалось шипенье

снаряда, который, не взорвавшись, врезался в землю: вжжи...

Командный пункт Мануэля был у самой передовой. К его полку прикомандировали еще несколько, и теперь он возглавлял бригаду. Его правый фланг был в порядке, центр тоже, левый фланг прихрамывал. В последнем бою шестьдесят процентов офицеров и политкомиссаров из бригады Мануэля было ранено. «Сделайте одолжение, оставайтесь на своих местах и не высовывайтесь с пением „Интернационала"», — сказал он им час назад. Контрнаступление шло хорошо, но левый фланг прихрамывал.

На левом фланге не было ни людей из Аранхуэса, ни людей из пятого полка, посланных им в подкрепление, ни группировавшихся вокруг них новичков-добровольцев; все они сражались в центре и на правом фланге. На левом были роты, прибывшие из района Валенсии и именовавшие себя анархистскими, хотя до мятежа эти люди никогда не примыкали к синдикалистам. С позавчерашнего дня на левом фланге бригады не было ни одного старослужащего сержанта: кто-то убит, остальные в госпитале.

Перед левым флангом двигались танки Мануэля. Воплощение технической мощи, невозмутимые, словно на больших маневрах, — у танков даже в бою вид, как на больших маневрах, — они двигались наперерез заградительному огню артиллерии, такому же плотному, как тот, с помощью которого противник пытался остановить пехотинцев, следовавших за танками; казалось, машины идут не под обстрелом, а по минированной местности среди рвущихся мин. Один танк вдруг исчез, словно растворился в дожде: противотанковый ров; другой расслабленно повалился набок подле внезапно брызнувшего фонтанчика жидкой грязи и камней; под комьями земли, которые взлетали из воронок и шлепались вниз, вычерчивая рыхлую и горестную кривую, унылую, как косые струи бесконечного дождя, остальные танки продолжали путь.

Много месяцев подряд Мануэль видел движущиеся вперед танки; но много месяцев подряд то были танки противника. Бойцы из аранхуэсской бригады соорудили однажды деревянный танк: магический акт, чтобы наколдовать появление настоящих... Ныне его танки растянулись по всей местности, с опережением на правом фланге, с отставанием на левом; пехота шла

следом. Республиканская тяжелая артиллерия интенсивно и систематически обстреливала полосу обороны противника, который отвечал тем же, но был не в состоянии задержать контрнаступление республиканцев. За танками следовали человеческие фигурки, темно-серые на общем сером фоне, — подрывники. И подразделения пулеметчиков занимали свои позиции — убогие позиции с размокшим грунтом, где каждый шаг стоил усилий.

Почему на левый фланг посланы танки усиления? Потому что левый топчется на месте? Но танки перестроились, теперь они двигались полумесяцем. Неужели левофланговые танки отступают? Танки, на которые смотрел Мануэль, шли не на фашистов — они шли на него.

То было не усиление, то были танки противника.

Если левый фланг подкачает, вся бригада пропала — такой прорыв может перерасти в прорыв Мадридского фронта. Если левый фланг выстоит, ни один неприятельский танк не вернется на фашистские позиции.

Резерв Мануэля держался наготове поблизости от его грузовиков. Мануэль мог задействовать его целиком: из Мадрида на грузовиках вот-вот должен был прибыть новый резерв.

Перед Мануэлем остановился автомобиль связи левофланговых: Мануэля легко было узнать издали по кителю из небеленой шерсти. Майор левофланговых сидел сзади, опустив голову на согнутую руку, которая лежала на брезенте опущенного откидного верха. Мануэлю послышалось, что он похрапывает.

— Что там? — спросил Мануэль, нахлестывая свой сапог сосновой веткой, которую держал в руке.

Майор сам успел распорядиться, чтобы его отвезли на командный пункт, но он не похрапывал — он хрипел.

— Куда его? — спросил Мануэль водителя.

Раны он не видел.

— В затылок, — ответил водитель.

Во время атаки редко случается, чтобы офицер был ранен в спину. Наверное, оглянулся.

— Оставь его здесь, — сказал наконец Мануэль, — и поезжай обратно за Гартнером.

Он успел позвонить, чтобы политкомиссара разыскали и прислали к нему.

Подпрыгивая на ухабах, машина исчезла за водяной завесой. Мануэль снова взялся за бинокль. Несколько человек с его левого фланга бежали навстречу фашистским танкам, которые как будто не стреляли: никто из бегущих не падал. Но (Мануэль покрутил колесико бинокля, ландшафт размылся, потом снова обрел четкость очертаний за струями дождя) они бежали, подняв руки вверх. Они перебежали к неприятелю.

Роту, следовавшую за ними, от них отделяла складка местности, и она их не видела.

Позади мелких фигурок, которые бежали, поводя в воздухе руками, словно насекомые усиками, местность шла под уклон. Она шла под уклон до самого Мадрида. Мануэлю вспомнилось, что после прибытия новеньких в квартирном расположении были обнаружены фалангистские надписи.

Позади бегущих другие роты вели огонь. Они шли на бойню в уверенности, что первая наступает. А что капитан, неужели не разглядел, что танки-то итальянские?

Капитана как раз принесли на одеяле (эвакуационный пункт находился за КП Мануэля). Тоже убит. Пуля в пояснице.

Это был один из лучших офицеров бригады, тот самый столяр, который возглавил делегацию в Аранхуэсе. Он лежал на одеяле, свернувшись калачиком, в седых усах застоялись капли дождя.

Среди новеньких были фалангисты, и офицеров подстреливали из-за угла.

Правый фланг неуклонно двигался вперед.

— Политкомиссар только что прихлопнул одного субчика, — сказал водитель.

Мануэль передал командование и ринулся на левый фланг со всем своим резервом.

Подчиняясь указанию «не высовываться вперед с пением „Интернационала"», бригадный политкомиссар Гартнер расположил свой командный пункт в сосновом лесу на краю первой долины — той, по которой двигались танки противника.

К командному пункту выбежал рядовой, он искал Гартнера. Рамон, один из старичков. На левом фланге Мануэль разбавил новеньких пятьюдесятью из аранхуэсских.

— Комиссар, старина, у новеньких есть шестеро гадов, хотя прикончить полковника. Шестеро их. Хо-

тят перебежать. Они подумали, я из ихних. Говорят: «Обождем остальных». Потом говорят: «Капитан готов майор готов, пора заняться этим, который в белом кителе». Капитан-то и впрямь готов, знаешь? Сволочуги!

— Знаю...

— Хотят перебежать. Полковника вроде бы должны убрать другие. Я послушал, говорю — погодите, погодите, я знаю ребят, тоже хотели бы перебежать. Они говорят — ладно. Я и пришел.

— Как ты сможешь их нагнать? Вся цепь идет вперед...

— Нет, они не двигаются с места. Выжидают, пока подойдут фашистские танки. Видно, в сговоре. А еще есть типы, которые горланят, что надо драпать, от танков спасенья нет. Горланят по-странному. Не похоже, что просто со страху. Вот ребята меня и отрядили.

— А ваш полковой комиссар?

— Убит.

При Гартнере оставался десяток аранхуэских.

— Ребята, — сказал он и м, — в цепи есть предатели. Они убили капитана. Хотят убить полковника и перебежать к фашистам.

Гартнер обменялся формой с одним из рядовых, который оставался на КП. Бритая ромбовидная физиономия Гартнера казалась глуповатой, когда ничего не выражала, еще глупее, когда он старался, чтобы она таковой казалась; и она стала откровенно глупой, когда он снял офицерскую фуражку и напялил светлую солдатскую, под которой волосы его промокли за несколько минут. Оставив вместо себя полкового комиссара, он отбыл вместе со своими.

На этой холмистой местности все пути сходились либо к КП Мануэля и эвакуопункту, либо к дороге, на которую Рамон вел Гартнера.

Действительно, из-за вымокшего соснового лесочка им навстречу спускались два пехотинца.

— Давай, ребята, сматывайся!

(— Из тех, — сказал Рамон комиссару.

— Из шестерых?

— Нет, из тех, что драпают. Им негде больше пройти.)

— Куда это? — закричал Гартнер. — Вы что, спятили?



Шестеро новеньких, возможно, никогда его в глаза не видели, знали только своего полкового комиссара. Эти-то его, должно быть, видели, и не раз, но о нем не думали. Вообще ни о чем не думали.

— Сматывайся, говорят тебе! Там удержаться нет никакой возможности! Да еще танки! Через полчаса будем отрезаны, всех перебьют!

— Позади Мадрид.

— А мне плевать, — сказал второй пехотинец, красивый парень, явно ошалевший от страха. — Делали бы командиры свое дело, нам не пришлось бы драпать! Давай, спасайся кто может!

— Центр держится!

Это был не столько диалог, сколько хриплые выкрики в дождь. Гартнер стоял перед одним из пехотинцев, рот его казался слишком маленьким на слишком широком лице. Солдат опустил винтовку.

— Ты, камбала плоскомордая, нашивочек захотел? Если до того загорелось, что готов лечь под танки, иди ложись, но если собираешься положить под танки ребят, я тебя...

Солдат полетел в грязь, сбитый кулаком Рамона. И у него, и у второго отобрали оружие, и под охраной четырех аранхуэсцев они были отправлены в тыл. Гартнер бегом ринулся к переднему краю; песочно-желтые шинели солдат под дождем стали серыми.

Шестеро, о которых говорил Рамон, ждали, устроившись в яме диаметром в четыре-пять метров; они были заляпаны грязью. Сейчас предстояла не схватка, а нечто совсем иное.

— Вот ребята, — сказал Рамон, словно представлял Гартнеру шестерых.

— Идем? — спросил комиссар.

— Погоди, — сказал тот, кто вроде бы был у них за командира. — Остальные наверху.

— Кто? — спросил Гартнер с протестным видом.

— Слишком много хочешь знать.

— Да плевать мне. Мне что важно, чтоб публика была надежная. Потому что у меня есть оружие. Но не для первого встречного. Сколько возьмем?

— Для нас шесть штук.

— Можно получить десяток ручных пулеметов.

— Нет, шесть для нас, и все.

— Штука серьезная — 7,65 с большим диском.

Солдат, пожав плечами, похлопал свою винтовку.

— Не то чтобы мы в них нуждались, — сказал один из шестерых, — но, я считаю, могут пригодиться. Даже десяток.

Первый кивнул, словно в знак повиновения. Руки у того, который говорил, были холеные. Фалангист, подумал комиссар.

— Ты ж понимаешь, — снова начал Гартнер, обращаясь к солдату, который заговорил первым. — 7,65 — это тебе не дамский револьверчик, не чета твоей пукалке. Гляди: ты ставишь магазин вот так. Взводишь вот так. У тебя пятьдесят пуль. Вас шестеро, стало быть, по восемь на рыло. Руки вверх!

Тот, кто ответил первым, потянулся было к своей винтовке и тут же рухнул в лужу с пулей в черепе. Кровь расплывалась по воде, черная под низким небом. Вражеские танки все так же двигались вперед.

Спутники Гартнера взяли остальных под прицел и повели. Невдалеке от хутора они встретили Мануэля с грузовиками. Гартнер, сев в машину Мануэля, рассказал о случившемся. Мануэль уже отправил на левый фланг противотанковый взвод из резерва.

Через несколько минут фашистские танки выйдут на этот взвод. Если центр выстоит, резерв подменит левофланговых, и если правый фланг не подкачает, все будет хорошо. Если же нет...

В центре были аранхуэзские и все те, кто к ним присоединился: милисиано, успевшие повоевать на Мадридском фронте, Толедском, на берегах Тахо, даже в районе Сьерры; городские рабочие, *yunteros*<sup>1</sup>, сельскохозяйственные рабочие, владельцы мелких предприятий, металлурги и парикмахеры, текстильщики и булочники. Теперь они сражались среди ландшафта, который весь ощетинился невысокими оградками, сложенными, из дикого камня и параллельными, словно горизонтали на штабной карте; оттуда они не могли ни видеть, что никому из них не уцелеть, если танки противника продвинулись еще на два километра (пять-десять минут). Мануэль отдал приказ держаться, и они держались, цепляясь за камни, вжимаясь в складки местности, прячась за стволами деревьев, которые были куда уже человеческого туловища, а вражеские минометы били спереди и сзади, а пулеметы вели перекрестный огонь, а снаряды тяжелой

---

<sup>1</sup> Пахари (*исп.*).

артиллерии сквозь дождь несли им смерть. Сначала Мануэль проверил, как обстоит дело в центре, и он видел, как его люди падают один за другим, и одного за другим их накрывает земля, взлетающая под новыми и новыми снарядами. Сквозь завесы, которые земля извергала в неистовстве на протяжении километров, словно атакуя облака и отвечая зимнему дождю своим дождем, рассыпавшим комья, камни, раны, Мануэль увидел, как нахлынула густая цепь противника, оцетинившаяся штыками. Штыки не блестели, потому что сейчас дождь размывал все, что швыряла в него земля, и все-таки Мануэль физически ощущал их, словно воззались они в него самого. Что-то непонятное произошло под дождем среди бесчисленных и бессмысленных оградок, и неприятельский вал (на сей раз это были не марокканцы) отхлынул, словно его отразили не милисиано, ставшие солдатами, а извечный дождь, который уже смешивал с землею кровь убитых и, растрепав, измочалив фашистскую цепь, гнал ее назад, к невидимым траншеям, сквозь струи воды, пронизанные грохотом взрывов, которых было столько же, сколько было капель в этих струях.

Четырежды пехота противника ходила в штыковую атаку — и четырежды ее размывало в беспредельной пелене дождя.

Центр держался. Но, смяв левый фланг Мануэля, танки фашистского правого фланга выходили на протivotанковый взвод.

Командовал этим взводом Пепе. Те из августовских подрывников, кто уцелел и обладал хоть какими-то командирскими способностями, теперь все стали офицерами. Пепе бурчал себе под нос: «Жалко, нету здесь Гонсалеса, друга-приятеля, как раз подвернулся случай провести один маленький опыт». Гонсалес сражался в Университетском городке. При этом Пепе посмеивался: «Вот покажем им сейчас кое-что, поглядят — увидят!» Танки фашистов, за которыми на порядочном отдалении следовала пехота, двигались на всей скорости к первой долине, где оказались бы вне досягаемости республиканской артиллерии. В каждой долине Сьерры есть дорога, грунтовая либо шоссе: грузовики доставили Пепе и его людей вовремя.

По обе стороны грунтовой дороги — достаточно открытая местность: там и сям черные купы сосен под дождем. Люди Пепе заняли позицию, залегли на промокшей хвое, распластались среди запаха грибов.

Первый танк, взяв вправо от дороги, свернул в долину. Это был немецкий танк, очень быстроходный и очень подвижный: казалось, он вот-вот начнет покрываться ржавчиной под бесконечным дождем. Перед ним неслась со всех ног стая одичавших собак, которые перебрались из Мадрида к Сьерре.

Теперь определились очертания остальных танков. Пепе, которому не видно было местности за густым кустарником, казалось, что танки передвигаются скачками, наклоняя либо приподнимая башню, словно лошади — голову. Они уже вели огонь, и в их грохоте механическая дробь, которую отбивал дождь по броне, смешивалась с треском пулеметов. Пепе привык к танкам и привык к пулеметам.

Он подождал.

Потом, оскалив зубы в ненавидящей улыбке, открыл огонь.

У машины может быть изумленный вид. Заслышав пальбу, танки рванулись вперед. Четыре танка — три из первой шеренги, один из второй — одновременно вздыбились, не понимая, что происходит; сквозь завесу дождя они казались чудищами из страшного сна. Два повернули назад, один завалился набок, четвертый остался стоять стоймя под высоченной сосной.

Впервые они напоролись на противотанковые пулеметы.

Второй вал атакующих не разглядел того, что случилось: танк почти слепой. Машины подъезжали на всей скорости. Вторая шеренга пулеметчиков повела огонь над залегшей первой, и танки забуксовали, только четыре, проскочив мимо Пепе, прорвались ко второй шеренге.

Этот вариант был предусмотрен: Мануэль заранее проинструктировал своих, как перестроиться. Пулеметчики второй шеренги повернули два пулемета, а остальные вместе с первой шеренгой продолжали вести огонь по скоплению танков, которые уходили зигзагами, петляя между черными соснами под разверзшейся хлябью.

Пепе тоже повернул пулемет: эти четыре танка могут оказаться опаснее остальных, если у водителей

хватит решимости; стоит им выйти на бригаду, и люди подумают, что за этими танками следуют другие.

Три танка уже остановились, наткнувшись на сосны: они шли по инерции, водители были убиты.

Последний продолжал двигаться вперед под огнем двух пулеметов. Он выскочил на пустую дорогу и, уже не отстреливаясь, мчался, гремел гусеницами под грохот противотанковых пулеметов со скоростью семьдесят в час, нелепый и крохотный между склонами, поднимавшимися все выше и выше; он словно заблудился посреди асфальта, странно одинокий, отполированный дождевой водой, отражавшей тусклое небо. Наконец вышел на поворот, налетел на скалу и заглох, словно игрушка, у которой кончился завод.

Теперь уцелевшие танки уходили в том же направлении, что и республиканские боевые машины, и врезались в собственных пехотинцев, которые в страхе разбегались. Перед Пепе среди сосен, вокруг танка, вздыбившегося, словно призрак войны, виднелись танки во всех положениях, уже усыпанные обломками веток, хвоей, сосновыми шишками, которые были срезаны пулями, — добыча дождя и неизбежной ржавчины, словно они были брошены много месяцев назад. Прибыл Мануэль. За последними башнями, сотрясавшимися на ходу, фашистский правый фланг обратился в бегство, оставив позади это слоновье кладбище. И республиканская тяжелая артиллерия начала обстреливать путь отступления противника.

Мануэль сразу же вернулся в центр.

Правый фланг фашистов бежал, преследуемый собственными боевыми машинами, а их бегом догоняли, взяв на себя роль танков, те из людей Пепе, у кого не было пулеметов, и с ними подрывники и резерв Мануэля; и беспорядочное отступление правого фланга, захватившее уже и часть центра, оборачивалось всеобщим бегством противника. Центр Мануэля, усиленный за счет войск, которые прибыли из Мадрида на грузовиках и часть которых осталась в резерве, вышел наконец из-за каменных оград и двигался вперед, яростно соблюдая боевой порядок.

То были люди, которые лежали на площадях в день мятежа казармы Ла-Монтанья, когда их обстреливали из всех окон; те, у кого было по одному пулемету на каждый километр и которые «брали пулеметик взаимы» друг у друга, когда начиналась атака; те, кто штур-

мовали Алькасар, вооруженные охотничьими ружьями; те, кто бежали при виде самолетов и плакали в госпитале, потому что «наши о них забыли», те, кто бежали от танков, и те, кто предпочитали иметь дело с динамитом; все те, кто знали, что каста господ — «сеньорито» — признает «добрый народ» по его раболепству; неисчислимая толпа тех, кому предстоял расстрел и кто в дожде был невидим, как невидимо было орудие, обстреливавшее всю цепь и рокотавшее, словно барабанная дробь.

В тот день фашистам не удастся взять Гвадарраму.

Мануэль, пригнувшись к сосновой ветке, которую держал в руке, смотрел на размытые шеренги аранхуэсских и людей Пепе, словно наблюдая, как стремится вперед первая его победа, вся залепленная грязью под нескончаемым нудным дождем.

К двум часам все фашистские позиции были захвачены; но тем и пришлось довольствоваться. О том, чтобы двинуться на Сеговию, не могло быть и речи: там ждали окопавшиеся фашисты, в то время как республиканская армия центра располагала лишь теми резервами, которые уже были на передовой.

## *Глава            шестая*

Столики, стоявшие вдоль бульвара, были свободны, но внутреннее помещение кафе «Гранха» было переполнено. Дождь, пришедший с гор Сьерры, в Мадриде уже кончился. Теперь взрывы звучали по-другому: глуше, чем взрывы бомб, но на высоте десяти-двадцати метров от земли.

— Наши зенитки прибыли? — спросил Морено, красивый, как никогда.

Никто не ответил. Все, кто здесь пил, более или менее знали друг друга. Стаканы подрагивали от непрерывного рокота орудий, доносившегося из Университетского городка. Был второй час после полудня, электричество в кафе выключили, и в зале стояла подвальная полутьма.

Вошел какой-то офицер, металлические части вращающейся двери блеснули в свете ноябрьского дня, словно зеркальца в ловушке для жаворонков.

— Пожары снова разгорятся. Подбираются сюда.

— Потушат, — сказал чей-то голос.

— Легко сказать! Улица Сан-Маркос, улица Мартин-де-лос-Ихос...

— Проспект Уркихо...

— Дом престарелых Сан-Херонимо, госпиталь Сан-Карлос, дома вокруг «Паласа»...

Вошли еще офицеры. В кафе пахло раскаленным кирпичом.

— Госпиталь Красного Креста...

— Рынок Сан-Мигель...

— Кое-где уже погасили. В госпитале Сан-Карлос, Сан-Херонимо...

— Что это грохочет? Зенитки?

— Мне абсент, — сказал официанту сосед Морено, изможденный, с пышной шевелюрой.

— Не знаю. Не думаю.

— Шрапнель, — сказал офицер, вошедший последним. — На площади Испании она так и сыплется. Но в Гвадарраме наши держатся.

Он сел около Морено, который тоже был в форме и сегодня выглядел молодо, так как тщательно выбрился. Волосы у него теперь были коротко подстрижены.

— Как реагируют на улице?

— Только теперь начали спускаться в убежища. Одни стоят, как каменные, особенно женщины, другие валяются наземь, третьи кричат. Иные бегут сами не зная куда. Все женщины с детьми бегут. Есть и зеваки.

— Все утро у меня было такое чувство, будто в городе землетрясение, — проговорил Морено.

Он хотел сказать, что толпу охватил не страх перед фашистами, а ужас перед стихийным бедствием, ибо о том, чтобы сдаться, не могло быть и речи, точно так же, как не может быть и речи о том, чтобы «сдаться» землетрясению.

Проехала санитарная машина, возвещая о себе звяканьем колокольчика.

Прогрохотало, стаканы, подскочив, как детские мячики, попадали куда попало, среди блюдец, опрокинутых бутылок с аперитивами, треугольных осколков стекла, вылетевших из витрин, которые зияли, словно огромные пустые ящики: бомба разорвалась на бульваре перед самым кафе. По полу катился поднос, выпавший из рук у кого-то из официантов; потом упал с приглушенным звоном, похожим на цимбальный. Половина посетителей под звяканье ложек броси-

лась к лестнице, ведущей в подвал, половина осталась на местах, напряженно выжидая; нет, другого взрыва не последовало. Как всегда, из десятков карманов появились сигареты (но никто не угощал соседа), и десятки спичек вспыхнули одновременно в клубах дыма; когда дым вытек в две огромные дыры с зубчатыми краями, оставшиеся там, где были зеркала, в тамбуре, стекла которого покрылись сетью трещин, поперек турникета лежал убитый.

— Они метят в нас, — сказал сосед Морено.

— Не нуди.

— Вы с ума посходили, ничего не соображаете! Вас же убьют ни за что ни про что! Говорю тебе — они метят в нас!

— Мне плевать, — сказал Морено.

— Нет, слушай, старик, извини! Я воевал, ладно. Готов и дальше, сколько угодно. Но дожидаться, чтобы меня убило бомбой, нет уж. Я всю свою жизнь работал, у меня есть планы на будущее!

— Так что же ты здесь торчишь? Даже не спустился в подвал.

— Я остаюсь, но считаю, что это — идиотизм.

— «Смотри, что я делаю, не слушай, что я говорю», — сказал один философ.

Под грохот снарядов — они летели отовсюду — отблески хмурого дня, застрявшие в стеклянных осколках, которыми были усыпаны столики и пол, неприметно подрагивали в переливающихся лужицах мансанильи, вермута и абсента. Из подвала возвращались официанты.

— ...говорят, Унамуно умер в Саламанке<sup>1</sup>.

Из телефонной кабинки вышел человек в штатском.

— Бомба в метро на Пуэрта-дель-Соль. Глубина воронки — десять метров.

— Пошли посмотрим, — сказали два голоса.

— В метро укрывались люди?

— Не знаю.

— Из санслужбы сообщили, к полудню было больше двухсот убитых и пятьсот человек раненых.

— И это только начало!

— ...говорят, в Гвадарраме шли бои...

---

<sup>1</sup> Унамуно Мигель де (1864—1936) — выдающийся испанский писатель и философ.



Человек, вышедший из телефонной кабинки, сел за свой столик, на котором остались осколки и лужица аперитива.

— Мне обрыдло! — снова заговорил длинноволосый сосед Морено. — И повторяю тебе, они метят в нас. Что мы здесь делаем, в центре города! Идиотизм!

— Смойся.

— Да, в Китай, на острова Океании, куда угодно.

— Рынок Кармен горит! — прокричал кто-то с улицы, но голос сразу же заглушило звяканье санитарного автомобиля.

— Чем ты займешься на островах Океании? Производством ожерелий из ракушек? Реорганизацией племен?

— Уженьем золотых рыбок! Чем угодно! Лишь бы не слышать больше всего этого!

— Тебе же так неловко отмежеваться от всех остальных, что даже не хочется спускаться в подвал. То, что ты говоришь, несчастный, я и сам говорил Эрнандесу, бедняге!

Внезапно в глазах у Морено, обращенных на собеседника, мелькнул страх: сейчас Эрнандесом был он сам; а Эрнандес мертв. Но суеверное чувство размылось, как размылся дым в зале.

— Я чуть не сбежал во Францию; потом заколебался; а потом верх взяла жизнь, сила товарищества. Под бомбами я не принимаю за чистую монету ни рассуждения, ни глубокие истины, ничто; другое дело — страх. Подлинный, не тот, от которого пускаются в разговоры, а тот, от которого обращаются в бегство. Если ты собираешься смыться, мне нечего тебе сказать; поскольку на данный момент ты остаешься здесь, все ясно, так что тебе лучше помолчать.

Когда я был в тюрьме, я видел все до конца, я слышал, как люди загадывали, останутся ли живы, подбрасывая монетку, я ждал воскресенья, потому что по воскресеньям не расстреливают. Я видел, как охранники играют в баскскую пелоту, бросая мяч в стену, к которой прилипли брызги мозга и клочья волос расстрелянных. Я слышал, как звякают медяки, которые подкидывали смертники, их было больше полусотни. Я знаю, о чем говорю, когда говорю обо всем этом. Ладно.

Но только, старик, вот что: есть и другая сторона. Я воевал в Марокко. Там война была все же чем-то вроде дуэли. Здесь на передовой происходит нечто совсем другое. После первых десяти дней ты впадаешь в лунатизм. Слишком много народу гибнет вокруг; артиллерия, танки, самолеты — сплошная техника; все зависит от судьбы. И ты уверен, что тебе не выйти живым. Не только из той переделки, в которой ты оказался сейчас, — из войны. Ты в положении человека, принявшего яд, который начнет действовать через несколько часов, в положении того, кто принял постриг. Твоя жизнь осталась у тебя за спиной.

И тогда жизнь как таковая меняется. Ты внезапно открываешь для себя другую истину, и безумцами оказываются остальные.

— Тебе всегда известна истина!

— Да. Вот что это такое: ты идешь на заградительный огонь, ты больше не думаешь о себе самом и вообще ни о чем. Падают сотни снарядов, сотни людей идут вперед. Ты всего лишь самоубийца, и в то же время тебе даровано все лучшее, что есть у всех этих людей. Тебе даровано... то, что у них есть лучшего, оно как та радость, которая охватывает карнавальную толпу. Не знаю, понятно ли я говорю. Один мой приятель говорит, это миг, когда мертвые начинают петь. Вот уже месяц, как я знаю, что мертвые могут петь.

— Я плоховато их слышу.

— Есть нечто, о чем я, офицер, ставший марксистом одним из первых, никогда не подозревал. Есть разновидность братства, которая существует лишь по ту сторону смерти.

— Одним все это надоело, когда пришлось стрелять из винтовок по самолетам. Другим — когда пришлось выйти с винтовками на танки. Мне — теперь.

— Я был такой же издерганный, как ты, а теперь...

— После смерти ты станешь еще спокойнее.

Да. Только теперь мне на это плевать.

Улыбка Морено открывала его великолепные зубы. Все бутафорские бутылки, красовавшиеся на полке над стойкой, разом обрушились вниз и, гулко громохая, покатались по полу; столы, казалось, напряглись, чтоб устоять под взрывной волной, и реклама вермута упала на спину Морено; улыбка у него на губах стерлась, словно по ним провели рукой. Те, кто высунулись было из подвала, снова убрали головы.

Человек в штатском, бородатый, ринулся с улицы в тамбур: он был ранен; дверь, которую он толкнул что было мочи, ударилась о грудь убитого с глухим стуком, прозвучавшим отчетливо в тишине, наступившей после взрыва, и дверь застряла. Раненый молотил кулаками по разбитому стеклу, тщетно пытаясь пробиться внутрь; затем рухнул наземь.

Со всех сторон снова слышались взрывы.

## *Глава                    седьмая*

Крупнокалиберные снаряды летели между центральной телефонной станцией и проспектом Алькала. Один упал, не взорвавшись, и два милисиано унесли его, придерживая спереди и сзади. Одноцветное предвечернее небо все тяжелее нависало над Мадридом, переполненным искрами и языками пламени, пронизанным запахом пыли и бомбежки, к которому примешивался еще один запах, более тревожный; Лопес впервые узнал его в Толедо и определил как запах горелой плоти. Два полотна Эль Греко и три маленьких картины Гойи, обнаруженные в покинутом особняке и ожидавшие утром в совете по вопросам охраны памятников, при котором состоял Лопес, так и не были доставлены; Лопес собирался лично проследить за их отправкой.

Лопес, от которого в боевых условиях было очень мало толку, оказался незаменимым, когда занялся спасением произведений искусства. Его заботами в толедской неразберихе не пострадало ни одно полотно Эль Греко; и работы величайших мастеров десятками извлекались из равнодушной пыли монастырских чердаков.

Довольно далеко впереди, перед какой-то церковью, разорвался малокалиберный снаряд; голуби, снявшиеся было с мест, сразу же вернулись, с любопытством принялись изучать свежие трещины на знакомом фасаде. Сквозь окна разбомбленного дома, выходящие теперь в бесконечность, виднелась высокая башня центральной станции со своим барочным гербом, блеклая в убывающем свете ноябрьского дня.

Чудо, что этот маленький небоскреб, нависший над Мадридом, еще уцелел. Только один угол обвалился. Что же касается стекла... За башней поднялся столб

дыма — еще одно попадание. «Гром небесный, — подумал Лопес, — еще угодят в моих Греко...»

Обезумевшие от страха люди бесцельно метались по улицам, сознавая опасность, но не зная, где укрыться; другие шли, задрав голову, глядели — кто безучастно, кто с любопытством, кто экзотически. Поблизости разорвался еще один снаряд; дети, которых вели женщины или старики, в ужасе бросились бежать; другие, при которых никаких родичей не было, обсуждали «попадание»:

— Ну, фашисты и дураки! Стрелять не умеют: метят в Каса-дель-Кампо, где наши бойцы, а глянь, куда лупят!

Как-то утром во дворе детского сада на площади Прогресса три мальчугана играли в войну, вглядывались в небо, как те, что стояли сейчас перед Лопесом. «Бомба, — говорит один. — Ложись». Всетрое ложатся: дисциплинированные бойцы. Бомба настоящая. Те, кто в войну не играли и остались стоять, убиты или ранены...

Еще снаряд упал слева; гуськом наискосок пробежали собаки, из соседней улицы им навстречу трусила другая небольшая свора. Бездомные собаки безнадежно кружили по городу, словно предвещая людям ту же участь. Лопес глядел на них привычным оком скульптора-анималиста, любителя зверей; впрочем, сейчас его ожидали другие звери.

Как почти все реквизированные особняки, особняк, куда направлялся Лопес, был в изобилии уставлен чучелами животных. Многие испанские аристократы больше любили охоту, чем фамильные картины; и если они хранили полотна Гойи, то нередко вперемежку с собственными охотничьими трофеями. Опись имущества, оставшегося в домах, владельцы которых бежали — реквизировались только такие дома, — часто включала десяток полотен мастеров (если их не успели вывезти за границу недель раньше, чем начался мятеж) и невероятное количество слоновьих бивней, носорожьих рогов, чучел медведей и других животных.

Когда Лопес вошел в сад, окружавший особняк — его приветствовал грохот бомбы, взорвавшейся в сотне метров, — навстречу вышел милисиано.

— Ну что, черепаха, — заорал Лопес, хлопнув его по плечу, — как там мои Греко, гром небесный?

— Ты о чем, о картинах? Никак не увезти было: громоздко получилось, когда твои ребятки упаковали их так, словно они могут разбиться. Но грузовик уже уехал.

— Когда?

— С полчаса назад. А тех вон зверушек взять не захотел.

Под навесом у входа были тщательно сложены слоновьи бивни, а под деревьями подмигивали в своих «естественных позах» медвежьи чучела; земля то и дело вздрагивала от взрывов, и брошенные на произвол судьбы медведи поднятыми вверх лапами, казалось, то ли благословляют, то ли клянут еще один уходящий день войны.

— Ничего им не сделается, — сказал Лопес безмятежно. Он отказывался брать на себя ответственность за эти коллекции, которыми ведал другой отдел совета по охране.

— Послушай, товарищ, если от снарядов могут пострадать картины, вряд ли от них будет польза бивням... Что, по-твоему, я должен делать со всем этим добром? И дождь вот-вот польет!

От взрыва, прогремевшего совсем близко, весь зверинец подпрыгнул и зашатался, а канарейка, оставшаяся в своей позолоченной клетке времен Вест-Индской компании <sup>1</sup>, исступленно распелась.

— Я позвоню, чтоб забрали твоих медведей.

Лопес закурил сигарету и пошел обратно с клеткой в руке. Он покачивал ею; при каждом взрыве канарейка пела громче, потом успокаивалась... Жилой дом пылал, как в кадре из фильма: за уцелевшим фасадом с вычурной лепниной и распахнутыми окнами без стекол на всех этажах бушевало пламя и, казалось, в доме поселился на жительство Огонь. Чуть дальше на углу выжидал автобус. Лопес остановился; в первый раз с того момента, как он отправился в путь, у него началась одышка. Он стал отчаянно жестикулировать, швырнул в автобус, словно камень, клетку с канарейкой, закричал: «Выходи!» Люди, сидевшие в автобусе, смотрели, как он размахивает руками и мечется, подобный сотням других сумасшедших на сотнях других

---

<sup>1</sup> Вест-Индская компания — голландская торговая компания в 1621—1791 гг.

улиц. Лопес бросился наземь, автобус взлетел в воздух.

Когда Лопес встал, кровь ручьями стекала со стен. Из-под трупов, раздетых взрывной волной, выбирался с криками человек с бакенбардами, он был тоже обнажен, но даже не ранен. Теперь бомбы падали чаще и гуще, все приближаясь к телефонному узлу.

## Глава                    восьмая

Шейд находился на центральной телефонной станции: пора было передавать статью. Снаряды прошивали весь квартал, но здесь каждый знал: метят именно в него.

В половине шестого центральная была задета. Теперь снаряды накрывали ее один за другим; задели цель, потом упустили, сейчас искали снова. Телефонисты, служащие, журналисты, курьеры, милисиано чувствовали себя как на фронте. Снаряды взрывались с минимальными интервалами, не дольше, чем между раскатом грома и его отголоском. Возможно, в игру снова включились самолеты. Вечерело, и облака стояли низко. Но сквозь телефонный перезвон не было слышно гула моторов.

За Шейдом зашел милисиано: майор Гарсиа собирает всех журналистов в одном из кабинетов центральной; корреспонденты всех хоть сколько-то значительных газет уже там и ждут. «Почему именно сейчас?» — спросил себя Шейд. Но у Гарсиа было в обычае, когда он имел дело с представителями печати, встречаться с ними в тех местах, которые они считали наиболее для себя опасными.

В одном из кабинетов прежней дирекции центральной (кожа, дерево и никель) Гарсиа ежедневно просматривал копии статей, посылавшихся из Мадрида. Ему приносили их в двух папках: «Политика» и «Факты». В ожидании корреспондентов он перелистывал материалы из второй, стыдясь, что он — человек: все статьи были переполнены ужасами войны.

Для «Пари-Суар». *«По пути в центральную, — читал он, — я стал свидетелем сцены и пугающей, и прекрасной.»*

Сегодня ночью на Пуэрта-дель-Соль нашли трехлетнего мальчика, заблудившегося в темноте; он плакал. Между тем одна из женщин, укрывавшихся в убежищах на Гран-Виа, не знала, что стало с ее сыном, сверстником ребенка, найденного на Пуэрта-дель-Соль, и тоже белокурым. Ей сообщают о случившемся. Она спешит к людям, подобравшим мальчика, на улицу Монтера. В полутьме лавки со спущенными шторами малыш сосет шоколадку. Мать подбегает к нему с распростертыми объятьями, но вдруг зрочки ее расширяются, взгляд становится до ужаса пристальным, почти безумным.

Это не ее сын.

Несколько долгих минут она стоит не двигаясь. Потерявшийся мальчик улыбается ей. Тогда она бросается к нему, прижимает его к сердцу и уносит, думая о собственном сыне, которого так и не нашли.

Это не пойдет, подумал Гарсиа.

В окнах с выбитыми стеклами стояло красноватое вечернее небо.

Для агентства Рейтер. «Одна женщина несла девочку, которой не было и двух лет, у девочки оторвало нижнюю челюсть. Но она была еще жива, и в ее широко раскрытых глазах читались удивление и вопрос: кто же мог сделать с нею такое? Еще одна женщина пересекла улицу: у ребенка, которого она держала на руках, не было головы».

Гарсиа знал, видел не раз, каким движением — страшно смотреть — мать прикрывает то, что осталось от ее ребенка. Сколько раз повторялось оно сегодня?

Глухо прогремели три дальних взрыва, словно удары театрального гонга, возвещающие о начале спектакля; дверь открылась, вошли корреспонденты. На низком столе стояли стеклянные цветы, покуда уцелевшие; они позвякивали при каждом взрыве. Запах горящего города врывался вместе с дымом в разбитые окна.

— Если какая-то из линий освободится, — сказал Гарсиа, — того, кто ее заказывал, сразу же вызовут. Как вам известно, я собираю вас лишь тогда, когда хочу ознакомить с документами. Прежде чем огласить тот, ради которого я попросил вас о встрече, я хотел бы, с вашего разрешения, обратить ваше внимание вот на какое обстоятельство. С начала войны, согласно фашистским коммюнике, мы уничтожили самолеты про-

тивника на девяти аэродромах. Севилью подвергнуть бомбардировке легче, чем севильский аэродром; так вот, если и есть вероятность, что наши бомбы, не попав в военный объект, ранили кого-то из гражданского населения, то, по крайней мере, мы никогда не подвергали систематической бомбардировке ни одного испанского города.

Документ у меня в руках. Сейчас оглашу его. Прошу каждого из вас ознакомиться с оригиналом. Впрочем, нашими заботами он будет показан в Париже и Лондоне, можете не сомневаться. Это просто-напросто циркуляр, адресованный старшим офицерам мятежников. Данный экземпляр был изъят двадцать восьмого июля у офицера Мануэля Карраче, взятого в плен на Гвадалахарском фронте.

*«Одно из главных условий победы состоит в том, чтобы подорвать боевой дух войск противника. Противник не располагает ни живой силой, ни боевыми средствами в количестве, достаточном, чтобы оказывать нам сопротивление; тем не менее нужно неукоснительно выполнять нижеследующие указания.*

*Чтобы занять Hinterland <sup>1</sup>, необходимо внушить населению своего рода целительный ужас.*

*Правило первостепенной важности; все используемые средства должны быть в высшей степени наглядными и впечатляющими.*

*Любое место, находящееся на путях отступления противника, и, расширительно, любое место, находящееся за фронтом противника, должно расцениваться как часть полосы наступления. В связи с этим не следует делать различия между населенными пунктами, в которых находятся войска противника, и теми, где таковых нет. Паника среди гражданского населения на путях отступления противника весьма благоприятствует деморализации личного состава.*

*Опыт недавней войны показал, что урон, случайно причиненный санитарным автомашинам и средствам эвакуации раненых противника, оказывает сильное деморализующее действие на личный состав.*

*По вступлении в Мадрид командиры частей и подразделений должны немедленно оборудовать на крышах находящихся в подозрительных кварталах зданий, включая здания общественного назначения и каланчи,*

<sup>1</sup> Тыл, внутренние районы страны (нем.).



пулеметные гнезда, которые держали бы под прицелом все прилегающие улицы.

При попытке сопротивления со стороны гражданского населения следует немедленно открыть огонь. Поскольку в рядах противника сражается значительное количество женщин, считаться с их полом не следует. Чем более жесткую позицию мы займем, тем быстрее будет подавлено всякое сопротивление со стороны населения, тем ближе торжество дела обновления Испании».

— Добавлю, — сказал Гарсиа, — что, на мой взгляд, с фашистской точки зрения эти инструкции вполне логичны. По личному моему мнению, террор входит в число средств, к которым мятежники прибегают систематически и целенаправленно с первого же дня, и здесь вы оказались зрителями трагедии, генеральная репетиция которой имела место в Бадахосе. Но оставим в стороне личные мнения.

Журналисты уже направлялись к двери, когда он добавил:

— Вам будет передано также интервью с Франко от шестнадцатого августа, то, которое начинается словами: «Я никогда не подвергну бомбардировкам Мадрид: там есть невинные...»

Снаряды еще падали, но в удаленности около километра; на центральной на них больше не обращали внимания.

Вошел секретарь.

— Звонил полковник Маньен? — спросил Гарсиа.

— Нет, господин майор, интернациональная эскадрилья сражается в Хетафе.

— Лейтенант Скали не появлялся?

— Звонили из Алькала: он заедет около десяти. Но здесь доктор Нейбург.

Доктор Нейбург, возглавлявший одну из миссий Красного Креста, прибыл из Саламанки. В былые времена Гарсиа встречался с ним на двух конгрессах в Женеве. Майору было известно, что Нейбург видел в Саламанке очень немного; но он хотя бы подолгу виделся там с Мигелем де Унамуно.

Недавно Франко отстранил величайшего испанского писателя от должности ректора университета. И Гарсиа знал, какой угрозой стал теперь фашизм для этого человека, который какое-то время был на его стороне.

— Вот уже полтора месяца, — рассказывал медик — он лежит в маленькой комнатке и читает... После отставки он сказал: «Я выйду отсюда только мертвым либо приговоренным». И лег. И не выходит. Два дня спустя после его отставки в Университете воцарилось Сердце Христово...

Украдкой Нейбург разглядывал в единственном зеркале, которое было в кабинете, свое узкое бритое лицо — доктору хотелось бы, чтобы оно дышало умом, но оно казалось развалиной его молодости. В руках у Гарсиа было какое-то письмо, которое он вынул из бумажника в начале разговора.

— Когда я узнал, что вы приедете ко мне, — сказал он, — я порылся в нашей переписке прошлых лет. И нашел вот это письмо десятилетней давности, написанное им в изгнании. Вот что говорится в середине:

*«Есть лишь одна справедливость — истина. А истина, по слову Софокла, сильнее, чем разум. Точно так же как жизнь сильнее, чем наслаждение, и сильнее, чем боль и скорбь. Стало быть, мой девиз — истина и жизнь, а не разум и наслаждение. Лучше жить в истине, даже если придется страдать, чем умствовать в наслаждении либо находить счастье в разуме...»*

Гарсиа положил письмо перед собой на полированную столешницу, в которой отражалось красное небо.

— В этом и состоит суть речи, из-за которой он получил отставку, — сказал врач. — «Возможно, уполитики есть свои требования, сейчас мы не будем этого касаться. Наш университет должен служить истине... Мигель де Унамуно не мог бы находиться на той стороне, где ложь. А что до зверств красных, которыми нам прожужжали уши, знайте, что самая неграмотная милисиана — даже если это, как тут говорят, проститутка — когда она сражается с винтовкой в руках и рискует жизнью во имя того, что избрала, духовно не так ничтожна, как те женщины, которые позавчера у меня на глазах прямо с банкета, на котором красовались в бальных туалетах с оголенными руками, всю жизнь соприкасавшимися с цветами да тончайшим бельем, отправились смотреть, как расстреливают марксистов...»

Нейбург славился даром имитации.

— Да будет мне, как врачу, позволено сказать вам, дорогой друг, что есть нечто патологическое в ужасе, который у него вызывает смертная казнь, — продолжал он, уже своим настоящим голосом. — И вдобавок, его, конечно, вывело из равновесия то обстоятельство, что ему пришлось отвечать не кому иному, как генералу, основавшему терсио<sup>1</sup>. Когда Унамуно заговорил в защиту культурного единства Испании, его стали прерывать выкриками...

— Какими?

— «Смерть Унамуно, смерть интеллигентам!»

— Кто кричал?

— Юные кетины из университета. И тут генерал Мильян Астраи вскочил и заорал: «Смерть разуму, да здравствует смерть!»

— Как по-вашему, что он хотел сказать?

— Вне всяких сомнений: идите к дьяволу! Что касается возгласа «Да здравствует смерть!», может быть, это намек на протест Унамуно против расстрелов?

— В Испании у этого возгласа достаточно глубокие корни: в прошлом то же самое выкрикивали анархисты.

На Гран-Виа упал снаряд. Упиваясь собственной храбростью, Нейбург расхаживал взад и вперед по кабинету Гарсиа, и глянцевитая его лысина смутно розовела под отблесками пылавшего пожаром неба. С боков голого черепа топорщились черные вьющиеся волосы. В течение двадцати лет доктор Нейбург (хоть и был светилом в своей области) полагал, что в его внешности «есть что-то от аббата восемнадцатого века, не правда ли, дорогой друг?», и кое-что от этого в нем еще оставалось.

— И тогда, — продолжал врач, — Унамуно ответил знаменитой фразой: «Испания без Бискайи и без Каталонии стала бы страной, похожей на вас, мой генерал: кривой и однорукой». А после его ответа генералу Моле «вы можете победить, но не убедить», который был всем известен, слова эти никак нельзя было принять за мадригал... Вечером он отправился в казино. Его встретили оскорбительными выкриками. Тогда он вернулся к себе и сказал, что больше не выйдет из своей комнаты.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Хосе Мильян Астраи-и-Террерос (1879—1954) — основатель терсио — марокканского иностранного легиона, рьяный приверженец Франко.

Гарсиа слушал внимательно, хоть и не сводил глаз с давнего письма Унамуно, лежавшего у него на столе. Он стал читать вслух:

*«Откажутся ли поборники реванша и крестового похода от намерения принести риффу<sup>1</sup> цивилизацию в духе цивильной гвардии<sup>2</sup>, то есть антицивилизацию? И удастся ли нам избавиться от этой палаческой чести?»*

*Об Испании знать ничего не хочу, тем более об Испании, которую именуют великой те, кто кричат, чтобы не слышать. Я нахожу себе прибежище в другой Испании — в моей, в малой. И мне бы хотелось, чтобы у меня хватило воли никогда больше не читать испанских газет. Нечто устрашающее. Не слышно даже, как рвется, звеня, струна сердца. Только скрипят блоки, приводящие в движение те деревянные фигуры, те ветряные мельницы, которые и есть наши великаны».*

Снизу, с Гран-Виа, доносился гул голосов. Отсветы пожара подрагивали на стенах, как летом подрагивают на потолках блики от сверкающих на солнце речных вод.

— «Не слышно даже, как рвется, звеня, струна сердца...» — повторил Гарсиа, постукивая трубкой по ногтю большого пальца.

— Что у него в мыслях — вот о чем хотелось бы мне узнать. Я зримо представляю себе, как он ставит на место Мильяна Астрая, вижу выражение его лица — благородное, удивленное и задумчивое, он похож на поседевшую сову. Но это всего лишь внешняя сторона, анекдотическая; есть и другое.

— Потом у нас с ним была частная беседа, мы долго говорили. Вернее, говорил он, я только слушал. Он ненавидит Асанью. Он все еще усматривает в республике, и только в ней, возможность достичь федеративного единства Испании; он противник абсолютного федерализма, но противник и насильственной централизации, а в фашизме он видит теперь именно это.

Сильнейший запах одеколона и пожара ворвался в выбитые стекла кабинета: пылала парфюмерная лавка.

---

<sup>1</sup> Риффы — арабское племя на северо-востоке Марокко, одержавшее ряд побед над испанскими колонизаторами в 1919—1921 гг.

<sup>2</sup> Игра слов: цивильная, то есть гражданская, гвардия — испанская жандармерия (см. примеч. к с. 25).

— Он готов был пожать фашизму руку, не замечая, что у фашизма есть и ноги, мой добрый друг. То, что он остается приверженцем федеративного единства, объясняет многое в его противоречиях».

— Он верит в победу Франко, принимает журналистов и говорит им: «Напишите: что бы ни случилось, я никогда не окажусь на стороне победителя...»

— Они остерегаются писать такое. Что он говорил вам о своих сыновьях?

— Ничего. Почему вы спрашиваете?

Гарсиа задумчиво вглядывался в красное вечернее небо.

— Все сыновья его здесь, двое в рядах сражающихся... Мне не верится, что он об этом совсем не думает. И ему нечасто представляется случай поговорить с человеком, который может ознакомиться с обоими лагерями...

— После своей речи один раз он все-таки вышел. Говорят, в ответ на то, что он сказал о женщинах, его вызвали в комнату с открытыми окнами, под которыми расстреливали республиканцев...

— Об этом я уже слышал, но не очень поверил. У вас есть точные сведения?

— Он со мной об этом не говорил, что естественно. Я с ним тоже, как вы сами понимаете, дорогой друг.

Его тревога существенно усугубилась последнее время в связи с извечным пристрастием этой страны к насилию и к иррациональности.

Неопределенное движение трубкой должно было, по-видимому, означать, что Гарсиа принимает не слишком всерьез такого рода формулы. Нейбург поглядел на часы, встал.

— Вот только, мой дорогой Гарсиа, на мой взгляд, все, что мы говорим, немного не по сути дела. Оппозиционность Унамуну — оппозиционность этическая. Прямо мы об этом не заговаривали, но тема все время сквозила.

— Разумеется, расстрелы не имеют отношения к проблеме централизации.

— Когда я уходил, и он лежал в постели, обложенный книгами, угрюмый, полный горечи, у меня было такое чувство, словно я расстаюсь с девятнадцатым веком...

Прощаясь с врачом, Гарсиа показал ему концом трубки на заключительные строки письма, которое держал в руках:

*«Когда я окидываю мысленным взором последние тревожные двенадцать лет моей жизни с того момента, когда мне пришлось оторваться от сумеречных мечтаний в моем тесном рабочем кабинетике в Саламанке (как там мечталось!), все эти годы представляются мне мечтою о мечте.*

*Читать? Я мало читаю, разве что сидя у моря, дружба с которым день ото дня становится у меня все теснее...»*

— Десять лет н а з а д , — сказал Гарсиа,

## Глава            десятая

Когда наконец дали Париж и Шейда вызвали в переговорный зал, один снаряд упал совсем близко от центральной. Два следующих — еще ближе. Все находившиеся в помещении прижались к той стене, что была напротив окна. Хотя электричества не выключили, угадывалось, какое мощное багровое зарево заполняет улицу, и казалось, сам пожар посылает снаряды в небоскреб, в окнах которого на всех тринадцати этажах не видно было ни единого силуэта. Наконец один из журналистов, усатый, пожилой, отклеился от стены; его примеру один за другим последовали остальные, они оглядывались на стену, словно ища на ней свои отпечатки.

Упали еще снаряды. Чуть-чуть подальше, чем прежде; но никто не сдвинулся с места. Говорят, на всяком людском сборище каждые двадцать минут наступает миг тишины; -сейчас был миг безразличия.

Вскресе Шейд смог приступить к передаче текста. Пока он диктовал одну за другой свои утренние записи, снаряды падали все ближе, и кончики карандашей одновременно подпрыгивали на блокнотах при каждом взрыве. Обстрел прекратился, а тревога усилилась. Может быть, корректируется прицел? Ждали.

Ждали. Ждали. Шейд диктовал. Париж передавал в Нью-Йорк.

«Сегодня утром я присутствовал при массированной бомбардировке госпиталя запятой в котором находилось более тысячи раненых точка пятна крови за-

пятая которые во время охоты оставляют подранки за-  
пятая охотники иногда именуют кровавым следом  
точка так вот запятая тротуар и стены были сплошь  
в кровавых следах...»

Снаряд упал менее чем в двадцати метрах. На сей раз все кинулись в подвал. В почти пустом зале остались телефонисты и корреспонденты «у микрофона». Телефонисты прислушивались к сообщениям, но глаза их, казалось, высматривали, не будет ли новых снарядов. Журналисты, приступившие к диктовке, продолжали диктовать: если связь прервется, то возобновить ее вовремя не удастся, и материалы не успеют в утренние выпуски. Шейд диктовал о том, что видел во круг «Паласа».

«Сегодня после полудня я подошел к мясной лавке, в которую за несколько минут перед тем попал снаряд: там, где недавно стояли в очереди женщины, остались только пятна; кровь убитого мясника стекала с разделочной колоды среди нарубленных кусков говядины, среди бараньих туш, свисавших с железных крючьев, и лилась на пол, где ее размывала вода, хлеставшая из лопнувшей трубы.

И нужно осознать, что все это абсолютно лишено смысла.

Всякого смысла.

Жители Мадрида, и это ясно, испытывают не столько страх, сколько негодование. Один старик сказал мне под бомбами: «Я всегда презирал всякую политику, но можно ли допустить, чтобы власть попала в руки тем, кто подобным образом распоряжается властью, еще не обладая ею?» В течение часа я стоял в очереди в булочную. В очереди было несколько мужчин и сотня женщин. Все считают, что оставаться на одном месте в течение часа опаснее, чем идти. В пяти метрах от булочной укладывали в гробы убитых из разбомбленного дома; это делается сейчас во всех разбитых домах Мадрида. Когда не слышно было ни орудий, ни самолетов, слышалось, как отдается в тишине стук молотков. Около меня какой-то мужчина сказал соседке: «Ей оторвало руку, Хуаните; как вы думаете, не откажется от нее жених?» Все говорили о своих делах. Внезапно какая-то женщина закричала: «Как мы питаемся, это же одно горе!» Другая ответила с достоинством и в стиле, который все испанки отчасти заимствовали у Пасионарии: «Ты питаешься плохо, все мы питаемся

плохо, но раньше мы тоже питались не бог весть как; зато наши дети получают такую еду, какой у нас двести лет не видели». Всеобщее одобрение.

Те, у кого на совести все эти обезглавленные, все эти изувеченные люди, ничего не добились. С каждым новым снарядом народ Мадрида все тверже верит в свою правоту.

Бомбоубежища могут принять сто пятьдесят тысяч человек, а в Мадриде миллион жителей. В кварталах, подвергающихся наиболее интенсивным бомбардировкам, нет никаких военных объектов. Бомбардировки вот-вот возобновятся.

Пока я пишу эти строки, в бедных кварталах ежеминутно рвутся снаряды; в неверном предзакатном небе пожары полыхают с такой силой, что кажется, будто день уходит в ночь, алую, как вино. Судьба приподнимает, как занавес, дымовую завесу над подмостками, где идет генеральная репетиция близящейся войны; друзья американцы, долой Европу!

Мы должны знать, чего хотим. Когда на интернациональной ассамблее выступает коммунист, он кладет на стол кулак. Когда на национальной ассамблее выступает фашист, он ставит на стол сапог. Когда на интернациональной ассамблее выступает демократ-американец, англичанин, француз, — он чешет в затылке и задает вопросы.

Фашисты помогали и помогают фашистам, коммунисты помогали и помогают коммунистам и даже испанской демократии; демократические страны не помогают демократическим странам.

Мы, демократы, верим во что угодно, не верим только в самих себя. Если бы какое-то фашистское или коммунистическое государство было так же сильно, как США, Англия и Франция вместе взятые, мы пришли бы в ужас. Но поскольку сила на нашей стороне, мы в нее не верим.

Мы должны знать, чего хотим. Либо мы говорим фашистам: «Вон отсюда, не то будете иметь дело с нами!» — и при необходимости на другой день повторим это же коммунистам.

Либо же говорим раз и навсегда: «Долой Европу!»

Европа, на которую я смотрю из этого окна, не может больше похвалиться перед нами ни силой, давно утраченной, ни верой, превратившейся в товар, которым торгуют марокканцы, подсовывающие нам под



нос Сердца Иисусовы. Друзья американцы, если вы хотите мира, если ненавидите тех, кто пытается свести на нет бюллетени для голосования, заливая их кровью мясников, убитых на мясницких колодах, отвратите взор свой от этой земли! Хватит с нас европейского дядюшки, который читает нам наставления, а сам утратил разум, одержим дикарскими страстями, и лицо у него — как у отравленного боевыми газами».

Отдиктовавшись, Шейд поднялся на последний этаж, лучший наблюдательный пункт Мадрида. Там уже расположились четверо журналистов, почти оправившихся от напряжения: во-первых, потому что сейчас они находились под открытым небом, а тревога обостряется в замкнутых помещениях; во-вторых, потому что купол центральной, маленький по сравнению с самой башней, казался не таким уязвимым. В этот вечер не было видно ни заходящего солнца, ни признаков какой-либо жизни, кроме жизни огня, словно планета, несущая Мадрид, уже погибла и мир вернулся к первозданному хаосу. Все так или иначе связанное с человеком исчезало в ноябрьском тумане, искромсанном снарядами и порыжевшем от пламени.

Крыша небольшого дома разлетелась на куски, из-под нее вырвался такой сноп пламени, что Шейд удивился, как она до сих пор держалась; но языки огня не взвились вверх, а скользнули вниз и, покончив со стенами, снова подлетели к коньку. Словно в тщательно продуманном фейерверке, когда пожар пошел на спад, туман пронизали вихри искорок; их стайка пролетела над журналистами, которым пришлось пригнуться. Когда огонь добирался до уже сгоревших домов, он озарял сзади их призрачные и угрюмые контуры и долго бродил за развалинами. Зловещие сумерки опускались на Огненный Век. Три самых больших госпиталя пылали. Отель «Савой» пылал. Церкви пылали, музеи пылали, национальная библиотека пылала, министерство внутренних дел пылало, пылал какой-то крытый рынок, пылали деревянные торговые ряды, дома рушились среди разлетающихся искр, два квартала, прочерченные длинными черными стенами, отсвечивали алым, как решетки над угольями; медленно, но с яркой неотвратимостью огня пожар со своей свитой по улицам Аточа и Леон двигался к центру, к площади Пуэрта-дель-Соль, которая тоже пылала.

«И это первый день...» — подумал Шейд.

Теперь лавины снарядов падали левее. И снизу, с проспекта Гран-Виа, которого Шейду почти не было видно, стал подниматься гул, перекрывавший временами позвякивание санитарных машин, которые безостановочно мчались по магистрали; гул этот напоминал какие-то языческие песнопения. Шейд с напряженным вниманием вслушивался в этот гул, пришедший из давних-предавних времен и по-дикарски гармонировавший с миром огня: казалось, после какой-то периодически повторявшейся фразы вся улица в ответ имитировала стук траурных барабанов: бум-бум-бум.

Наконец, Шейд не столько понял, сколько догадался, потому что уже слышал тот же ритм месяцем раньше: в ответ на какую-то фразу, которой он не разбирал, человеческие голоса, звучавшие барабанным боем, скандировали: «No pasarân»<sup>1</sup>. Тогда, месяцем раньше, Шейд видел Пасионарию: в черном, строгая, во вдовьем трауре по всем павшим в Астурии, она возглавляла сумрачную и непримиримую процессию в двадцать тысяч женщин, которые несли красные полотнища со знаменитой ее фразой «*Лучше быть вдовой героя, чем женой труса*» и в ответ на какую-то другую фразу, тоже длинную и неразборчивую, скандировали «No pasarân», но тогда волнение его было не таким острым, как сейчас, когда он вслушивался в голос этой толпы; она была менее многочисленной, чем та, и невидима, но ее упрямое мужество поднималось к нему сквозь дым пожаров.

## Глава

## одиннадцатая

Мануэль с неизменной сосновой веткой в руке выходил из аюнтамьенто, где только что заседал военный трибунал: убийцы и беглецы были приговорены к расстрелу. Резче всех выступали против беглецов настоящие анархисты: всякий пролетарий отвечает за себя; то, что эти были введены в заблуждение фалангистскими лазутчиками, вины с них не снимает. Проехала автомашина, дождь размывал двойной треугольник света от фар.

---

<sup>1</sup> Они не пройдут (исп.).

«Они могут спокойно бомбить Мадрид, — подумал Мануэль, — ни зги не видно»

В тот миг, когда Мануэль проходил мимо дверцы, очертания которой можно было угадать лишь по полоскам света, выбивавшимся из коридора, он почувствовал, как кто-то метнулся к нему и чьи-то руки обхватили его голени. В пронизанном дождем свете электрических фонариков, которые сразу же включили Гартнер и остальные, Мануэль разглядел двух бойцов из своей бригады, они стояли на коленях среди вязкой грязи, обнимая его ноги. Лиц не было видно.

— Нас расстреливать нельзя! — крикнул один. — Мы добровольцы! Нужно сказать им!

Пушки смолкли. Кричавший не поднимал лица, голос его уходил в грязь, размываясь в немолчном шепоте дождя. Мануэль молчал.

— Нельзя! Нельзя! — закричал второй. — Полковник!

Голос был очень юный. Лиц Мануэль все еще не видел. Две пилотки прижимались к его ноге, и вокруг каждой в мутном свете фонариков между частыми дождевыми струями плясали капли, словно взлетавшие с земли. Мануэль все не отвечал, и внезапно один из приговоренных откинул голову, чтобы взглянуть на него: он подался всем телом назад, чтобы поймать снизу взгляд Мануэля, уронил руки и, коленопреклоненный, на фоне ночи и вековечного дождя, был олицетворением тех, кто всегда расплачивается. Лицо его, которое он только что прижимал, словно дикарь, к заляпанной грязью сапогам Мануэля, было все в подтеках: бурый лоб, бурые скулы, и только глазницы мертвенно белели.

«Я не военный трибунал», — чуть было не ответил Мануэль, но устыдился этого поползновения отмежеваться. Он не знал, что сказать, чувствовал, что из объятий второго сможет высвободиться, лишь оттолкнув его ногой, что было ему отвратительно, и стоял неподвижно под безумным взглядом кричавшего, который тяжело дышал и по лицу которого, исхлестанному дождем, стекали струи, словно он плакал всеми порами своей кожи.

Мануэлю вспомнились бойцы-аранхуэсцы, бойцы из пятого полка, как они, залегшие под этим самым дождем за низенькими стенками, удерживали позиции нынешним утром; он долго думал, прежде чем со-

звать военный трибунал, но теперь не знал, что делать; говорить — лицемерие, отталкивать — отвратительно: к чему читать мораль, расстрела довольно.

— Сказать... надо сказать! — крикнул снова тот, что глядел на него. — Сказать им!

«Что ответить?» — думал Мануэль. Оправдание этих людей было в том, чего никому никогда не выразить словами: в мокром лице с открытым ртом, глядя на которое Мануэль понял, что перед ним лицо того, кто извечно расплывается. Никогда еще не ощущал он с такой остротой, что нужно выбирать между победой и милосердием. Нагнувшись, он попытался отстранить того, кто сжимал его ногу; человек вцепился еще отчаяннее, не поднимая головы, словно во всем мире для него реальностью была только эта нога, единственный заслон от смерти. Мануэль чуть не упал и сильней надавил ему на плечи; он чувствовал, что ему не оторвать от себя приговоренного, в одиночку тут не справишься. Внезапно приговоренный уронил руки и тоже поглядел на Мануэля снизу вверх: он был молод, но не настолько, как показалось Мануэлю. Теперь он словно шагнул за грань смирения, словно вдруг все понял — не только на этот раз, но на веки вечные. И с бесстрастной горечью человека, оказавшегося уже по ту сторону жизни, он проговорил:

— Что ж, теперь у тебя и голоса для нас не осталось?

И Мануэль осознал, что до сих пор не произнес ни слова.

Он сделал несколько шагов, и приговоренные остались позади.

Острый запах измокших листьев перекрыл запах солдатской формы — мокрого сукна и ремней. Мануэль не оборачивался. Он спиной чувствовал неотступный взгляд тех двоих, неподвижно стоявших на коленях в грязи под ночным дождем.

## *Глава*

## *двенадцатая*

Яркая вспышка на мгновение залила кабинет подобием дневного света. Электричество было включено, и если Гарсиа и Скали заметили вспышку, стало быть, пламя взметнулось очень высоко. Оба подошли к одному из окон. Похолодало, поднимался легкий туман,

примешивавшийся к дымкам, которые поднимались над сотнями догоравших домов. Сирен больше не было; слышалось только, как проезжают машины пожарных и скорой помощи.

— В этот час валькирии спускаются к убитым, — сказал Скали.

— Мадрид в пламени как будто говорит, обращаясь к Унамуно: «Что мне до твоих дум, если им неподвластна моя беда?..» Спустимся. Нам нужно в военное министерство.

Гарсиа только что пересказал Скали свой разговор с доктором Нейбургом. Из всех, с кем Гарсиа должен был повидаться за эти сутки, Скали был единственным, для кого рассказ Нейбурга значил столько же, сколько для него самого.

— Если интеллеktуал, прежде мысливший революционно, нападает на революцию, — сказал Скали, — то, стало быть, он ставит под сомнение революционную политику с позиций... революционной этики, если угодно. И говоря всерьез, майор, разве вам нежелательна такого рода критика?

— Как она может быть мне желательна? Интеллектуалы всегда считают в какой-то мере, что партия — это люди, объединившиеся вокруг определенной идеи. Но партия — скорее характер в действии, чем идея как таковая! Если не выходить из области психологии, партия, пожалуй, — это организация для приведения в действие... ну, скажем, совокупности чувств, иногда противоречивых, и здесь эти чувства вызываются к жизни бедностью — унижением — Апокалипсисом — надеждой, а когда речь идет о коммунистах, это склонность к действию, к организованности, к созиданию и т. д. ... Выводить психологию человека из средств выражения, которыми пользуется его партия, для меня так же неубедительно, мой добрый друг, как если бы я сам стал притязать на то, чтобы вывести психологию моих перуанцев из их религиозных преданий.

Он взял фуражку и револьвер, повернул выключатель; электричество погасло. И отсветы пламени, которые оно сдерживало, тут же ворвались в кабинет вместе с дымом, медлительным и неотвратимым дымом пожаров, двигавшихся к площади Пуэрта-дель-Соль; и от запаха горелого дерева, принесенного этим дымом, у обоих запершило в горле. Багровое небо давило всей своей тяжестью на комнату без света. Над

центральной, над Гран-Виа теснились кучевые облака, темно-красные с черным и такие плотные, что, казалось их можно потрогать. Скали снова подошел к окну, чихая и кашляя; хоть дым не стал гуще, он только стал заметнее. Мостовые были раскалены; нет, просто асфальт казался красным от бликов пламени, отражавшихся в его блестящей поверхности. Завыли брошенные собаки, сбившиеся в свору — нелепую, жалкую, надрывающую душу; казалось, они властвуют над всей этой скорбью и разрухой агонизирующего мира.

Лифт еще работал.

Они шли к Прадо под рыже-красным небом по черным улицам. В непроницаемой темноте вокруг них слышались те же звуки, что долетали в окно кабинета: Мадрид перевязывал свои раны. А навстречу им двигался другой шум: дробный перестук по асфальту.

— Унамуно не удастся умереть так, как ему бы хотелось, — проговорил Скали. — В Мадриде судьба приготовила ему похороны, о которых он мечтал всю жизнь.

Гарсиа думал о комнате в Саламанке.

— Здесь Унамуно оказался бы перед лицом другой трагедии, — сказала она, — и я не уверен, что он понял бы ее. Великий интеллектуал — человек оттенка, степени, качества, истины в себе, сложности. Ему по сути, по определению чуждо манихейство. Между тем средства действия характеризуются в манихейских категориях, поскольку всякое действие характеризуется в манихейских категориях. И особенно остро, если затрагивает массы; но даже если и не затрагивает, тоже. Всякий истинный революционер — прирожденный манихей. И всякий политик — тоже.

Он вдруг ощутил, что плотно сжат со всех сторон пониже колен. Раненые? В таком количестве — не может быть. Он повел ладонью, стараясь на ощупь выяснить, в чем дело. Свора собак? Как сильно запахло деревней и пылью!

Его сдавливало все плотнее, нельзя было шагу ступить. Цоканье по асфальту было жестче и торопливей, чем от собачьей побежки.

— Что это? — крикнул Скали, уже отставший от Гарсиа метров на пять. — Овцы?

Откуда-то донеслось блеянье. В поднимавшихся снизу волнах тепла Гарсиа нащупал наконец кнопку

фонарика, и пучок пенящегося света выхватил сбоку облако, немногим более плотное, чем облака дыма: в самом деле, овцы. Гарсиа не мог разглядеть, где кончалось окружавшее их стадо: света фонарика не хватало. Но бляенье, перекликаясь, слышалось на расстоянии сотен метров. И ни одного пастуха.

— Сверните направо! — крикнул Гарсиа.

Стада, изгнанные с пастбищ войной, заполняли Мадрид, двигаясь к Валенсии. Пастухи — теперь они шли группами и при оружии — следовали, видимо, позади стада либо по улицам, параллельным бульвару. Но в этот миг стада невидимок, завладевшие Прадо, словно людям уже пришел конец, двигались среди пожаров, сбившись в плотную жаркую массу, и лишь слабое бляенье прорезало время от времени глухую тишину.

— Пойдем поищем машину, — сказал Гарсиа, — это осмысленнее.

Они пошли в обратную сторону, к центру.

— Так вы говорили о...

— Подумайте вот над чем, Скали: во всех странах — во всех партиях — интеллектуалы склонны к диссидентству. Адлер<sup>1</sup> против Фрейда, Сорель<sup>2</sup> против Маркса. Но в политике диссиденты — это те, кто вне игры. Интеллигенция<sup>3</sup> крайне благоволит к тем, кто вне игры: из великодушия, из пристрастия к изощренности. Она забывает, что для любой партии доказать свою правоту не значит быть правой, а значит одержать хоть какую-то победу.

— Те, кто могли бы — и как специалисты, и как люди — попытаться критически подойти к революционной политике, ничего не знают о революции как таковой. Те же, у кого есть революционный опыт, не обладают ни талантом Унамуно, ни даже — зачастую — умением выразить свои мысли...

— Если в России слишком много портретов Сталина, как они говорят, то не потому все же, что так велел злой Сталин, засевавший где-то в Кремле. Посмотрите,

---

<sup>1</sup> Адлер Альфред (1870—1937) — австрийский врач-психиатр и психолог, ученик Фрейда, полемизировавший с ним, считая главным источником мотивации стремление к самоутверждению.

<sup>2</sup> Сорель Жорж (1847—1922) — французский философ-электрик, теоретик анархо-синдикализма.

<sup>3</sup> По-русски в подлиннике: одно из русских слов, вошедших во французский язык.

здесь, в Мадриде, все помешались на значках, и одному Богу ведомо, что правительство для этого пальцем не шевельнуло! Было бы небезынтересно объяснить, почему там столько портретов. Но только чтобы говорить о любви влюбленным, надо самому побывать в шкуре влюбленного, а не провести опрос на тему: «Что такое любовь». Сила мыслителя не в том, что он что-то одобряет или против чего-то протестует, а в том, что он что-то объясняет. Пусть интеллектуал объяснит, почему и каким образом сложился такой порядок вещей; а затем пусть протестует, если сочтет нужным (впрочем, тогда в этом уже не будет смысла). Анализ — великая сила, Скали. Я не верю в нравоучения, не опирающиеся на психологию.

Шумы пожаров до них не доносились. В небе алели огромные пятна того густого и темного оттенка, какой бывает у остывающего послековки железа; и по ним пробегали волны тяжелого дыма, потеки, разодранные в клочья; пятна эти покрывали все небо, словно пламенем был охвачен весь город, и тишина внизу лишь временами нарушалась звуками, не вязавшимися со зловещим заревом, — цоканьем тысяч копыт: со стороны Прадо все шли и шли стада.

— И ведь придется заблаговременно учить заново людей, как жить...

Он думал об Альвеаре.

— Для меня быть человеком не означает быть хорошим коммунистом; для христианина быть человеком означало быть хорошим христианином, и это наводит меня на опасения.

— Вопрос немаловажный, мой добрый друг, по сути, это вопрос о том, быть или не быть цивилизации. Долгое время мудрец — возьмем именно это слово, мудрец, — признавался более или менее открыто высшим типом европейца. Интеллектуалы были духовенством в мире, где политики составляли аристократию — незапятнанную либо запятнанную. Духовенством, права которого не оспаривались. Именно они, и никто другой: Мигель<sup>1</sup>, а не Альфонс XIII, более того, Мигель, а не епископ, должны были учить людей, как жить. И вот политические главари притязают на руководство духовной жизнью. Когда Мигель выступает против Франко — а вчера он выступал против

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Мигель де Унамуно.



на с, — когда Томас Манн выступает против Гитлера, Андре Жид<sup>1</sup> — против Сталина, Ферреро<sup>2</sup> — против Муссолини, то в этой борьбе враждующие стороны оспаривают право друг друга на власть.

Улица пошла наискосок, и над невидимым пожарищем, оставшимся на месте «Савоя», светился большой кусок неба.

— Уж скорее Борджезе<sup>3</sup>, чем Ферреро, — проговорил Скали, подняв в темноте указательный палец. — На мой взгляд, все это крутится вокруг пресловутой и абсурдной идеи тотальности. Интеллектуалы на ней помешаны; в двадцатом веке понятие «тоталитарная цивилизация» лишено смысла; это все равно что сказать: армия — тоталитарная цивилизация. На самом деле единственный, кто ищет истинную тотальность, — это как раз интеллектуал.

— И может статься, лишь он один в ней и нуждается, мой добрый друг. Весь конец девятнадцатого века был бездейственным; сейчас явно создается впечатление, что новая Европа строится на действии. Отсюда неизбежность различий.

— С этой точки зрения для интеллектуала политический руководитель не может не быть самозванцем, поскольку он учит решать проблемы, не ставя их.

Они проходили в полосе тени, которую отбрасывал уцелевший дом. Красное пятнышко раскуренной трубки описало дугу, словно Гарсиа хотел сказать: это заведет нас слишком далеко. В нынешний приезд Скали чувствовал, что Гарсиа во власти какого-то беспокойства, непривычного для этого крепкого майора с заостренными ушами.

— Скажите, майор, как, на ваш взгляд, человек может распорядиться своей жизнью лучше всего?

---

<sup>1</sup> Андре Жид (1869—1951) — французский писатель, побывавший в СССР в 1936 г.; в том же году выпустил книгу «Мое возвращение из СССР» и в 1937 г. — «Дополнение к „Моему возвращению из СССР“», где подвергал критике сталинский режим.

<sup>2</sup> Имеется в виду либо Ферреро Лео (1903—1933) — итальянский драматург и критик, левый либерал, убежденный антифашист, высланный из Италии, либо Ферреро Гульельмо (1871—1943) — криминалист, журналист и социолог, эмигрировавший в 1930 г. в Швейцарию.

<sup>3</sup> Борджезе Джузеппе Антонио (1882—1952) — итальянский писатель и критик, антифашист, эмигрировавший в 1932 г. в США.

Звяканье санитарной машины приближалось на полной скорости, словно сигнал тревоги, потом обогнало их и смолкло. Гарсиа ответил не сразу:

— Претворить в сознание как можно более разносторонний опыт, мой добрый друг.

Они проходили мимо кинематографа, стоявшего на углу двух улиц. В здание попала авиаторпеда, которая обрушила сверху донизу стену, выходящую на ту из улиц, что была поуже. Люди из санслужбы обшаривали развалины, светя электрическими фонариками, — искали пострадавших. В зимнем вечере знобко позвякивал колокольчик, словно сзывая людей посмотреть на поиски погибших, и, доносясь из-за почти целого фасада, звук этот напоминал звонок, который, возвещая начало сеанса, сзывал людей погрезить.

Гарсиа думал об Эрнандесе. И сейчас, когда у него на глазах разбушевался мадридский пожар, он с тоской, которую испытываешь при виде душевнобольных, ощущал, до какой степени похожи одна на другую людские драмы, и им не вырваться из тесного заколдованного круга.

— Дело революции — разрешить проблемы революции, а не наши личные. Наши проблемы зависят только от нас. Если бы не так много русских писателей эмигрировало вместе с белыми, отношения между писателями и советской властью, может быть, сложились бы по-другому. Мигель постарался прожить как можно лучше (я хочу сказать — как можно благороднее) в монархической Испании, которую ненавидел. Он постарался бы прожить как можно лучше и в обществе, организованном не так скверно. Возможно, ему пришлось бы трудно. Никакое государство, никакая социальная структура не формирует ни благородный характер, ни достоинство духа; самое большее, на что мы можем надеяться, — это на благоприятные условия. Уже немало...

— Вы же знаете, партийцы как раз на это и притязают...

— То, на что притязает в этой области какая бы то ни было партия, доказывает лишь ум или глупость ее пропагандистов. Меня интересует, что партия делает. Почему вы здесь?

Скали остановился, удивляясь, что не может ответить с ходу, приподнял пальцем кончик носа, как всегда, когда задумывался.

— Я-то надел эту форму не потому, что ожидаю от народного фронта особого благородства в управлении страной, я надел эту форму потому, что хочу, чтобы изменились условия жизни испанских крестьян.

Скали пришел на ум довод Альвеара, и он повторил этот довод:

— Что, если во имя их экономического освобождения вы создадите государство, которое поработит их политически?

— Что ж, поскольку никто не может быть уверен в том, что не запянтает себя в будущем, остается дать волю фашистам.

Раз уж мы одного мнения по решающему пункту, а именно: мы за активное сопротивление, то сопротивление претворяется в действие, оно налагает на вас обязательства, как всякое действие, как всякий выбор. И в сопротивлении как таковом уже заложены все роковые повороты судеб. В некоторых случаях этот выбор — трагический выбор, и он всегда трагичен для интеллектуала, особенно же для человека искусства. Ну и что? Следовало сидеть сложа руки? Для человека мыслящего революция трагична. Но для такого человека жизнь тоже трагична. И если он делает ставку на революцию лишь для того, чтобы избавиться от собственной трагедии, он мыслит превратно, вот и все. Почти все вопросы, которые вы ставите, я уже слышал от одного человека, вы, может быть, знали его — от капитана Эрнандеса. Они, впрочем, привели его к гибели. Нет пятидесяти способов вести бой, есть лишь один — победить. Ни революция, ни война не состоят в том, чтобы нравиться самому себе!

Кто-то из писателей сказал: «Я населен трупами, как старое кладбище...» Вот уже четыре месяца, как мы населены трупами, Скали, трупы и трупы вдоль дороги, ведущей от этики к политике. Между всяким человеком, который действует, и условиями, в которых он действует, разыгрывается рукопашная (я имею в виду действие, ведущее к победе, заметьте, а не действие, ведущее к утрате того, что мы хотим спасти). Тут все дело в фактической стороне и в... таланте, если можно так выразиться, тут обсуждать нечего. Рукопашная, — повторил он, словно обращаясь к собственной трубке.

Скали вспомнилось, как самолет Марчелино сражался с охватившим его огнем.

— Существуют справедливые войны, наша в данный момент, — продолжал Гарсиа, — не существует справедливых армий. И когда интеллеktуал, человек, дело которого — мыслить, вдруг заявляет, подобно Мигелю: я расстанусь с вами, поскольку вы не блюдете справедливость, я считаю, что это безнравственно, мой добрый друг! Существует политика справедливости, но справедливой партии не существует.

— Вот дверь, открытая для любых махинаций...

— Всякая дверь открыта для тех, кто намерен ее высадить. Достоинство жизни подвластно тем же законам, что и достоинство духа. Порукой за политику в области духа, проводимую народным правительством, служат не теории наши, а наше присутствие здесь и в этот миг. Этика нашего правительства зависит от нашего рвения, от нашей самоотверженности. Духовная жизнь в Испании станет не таинственной потребностью неведомо в чем, она станет тем, чем мы ее делаем.

Неподалеку от них занялся новый пожар.

— Мой добрый друг, — сказал Гарсиа иронически, — освобождение пролетариата будет делом рук самих трудящихся.

## Глава

## тринадцатая

Пожарные, которые на своих лестницах застыли в неподвижности, как наводчики, направив кипящие струи в пламя, охватившее «Савой», внезапно вздрогнули, шланги у них в руках дернулись, как удилица У рыбаков в момент подсечки. И само пламя на миг стало неподвижным: где-то сзади с грохотом взорвалась фугасная бомба.

«Они успевают поджигать быстрее, чем мы успеваем гасить», — подумал Мерсери.

Раньше он полагал, что сможет быть полезным Испании в качестве советника, а то и полковнца; после взятия мыловаренного завода он снова стал начальником пожарной команды. И никогда еще он не был так полезен. И никогда еще его так не любили. И никогда на фронте ему не случалось вести с врагом такие схватки, как та, которую он вел вот уже двадцать часов. «Огонь лицемерен, — говорило он, — но когда есть сноровка, не правда ли...» — и слегка подкручивал ус.

В противопожарной робе он с тротуара напротив вглядывался в скопления огненных языков, как в скопления противника во время атаки. Груды углей снова и снова занимались пламенем: кальциевые зажигательные сегменты было невозможно погасить. И все-таки очаг справа был, бесспорно, потушен, над ним по ветру, который дул со стороны Сьерры, стлались густые белые дымки, подрумяненные отсветами пожара.

Оставалось четыре шланга на три очага, но эти очаги были не более чем в четырех метрах от соседнего дома.

Очаг слева снова ожил.

Покуда огонь в этом очаге не набрал силы, можно было потушить пожар в самой опасной точке — справа. И снова шланги дернулись на фоне окаменевшего пожара: второй фугас, теперь где-то спереди.

Мерсери попытался вслушаться: несмотря на темноту в воздухе было много фашистских самолетов; мадридские пожары служили им отличными ориентирами. Десятью минутами раньше были сброшены четыре зажигалки. Крупнокалиберные снаряды все так же падали в рабочие кварталы и в центр города: издали доносилась канонада легкой артиллерии, к ней примешивался грохот сражения, иногда ее перекрывал вой сирен, звонки санитарных машин и треск пламени, сопровождавшийся каждый раз гейзером искр. Но Мерсери не слышал рева пожарных машин, возвещающего, что прибыло подкрепление.

Третья авиабомба на той же линии. Когда Мерсери сражался с огнем, никакие бомбардировщики, будь их хоть пятнадцать, не вынудили бы его сдвинуться с места и на сантиметр.

Центральный очаг вдруг запылал вширь, но почти сразу же съезжился. «После войны я стану игроком...» — подумал Мерсери. Очаги в левой оконечности были обезврежены. Если подкрепление подоспеет... Мерсери ощущал себя Наполеоном. Он весело подкрутил усы.

Крайний справа пожарный выронил шланг, на мгновение повис на лестнице, между перекладинами которой застряла его нога, затем свалился в огонь; остальные успели спуститься по перекладинам параллельно друг другу.

Мерсери подбежал к тому, который первым ступил на землю.

— Нас обстреливают! — сказал тот.

Мерсери огляделся: ни один из ближайших домов не был такой высоты, чтобы представилась возможность стрелять из окон. Но целиться могли издалека: силуэты пожарных были четко видны, фашистов же в Мадриде хватало.

— Попадись только он мне, подонок! — сказал другой пожарник.

— Мне сдается, больше похоже на пулемет, — сказал третий.

— Ты, часом, не спятил?

— Сейчас увидим, — сказал Мерсери. — А ну-ка, все вместе наверх! Огонь разгорается. За народ и за свободу! Она бессмертна! — добавил Мерсери и полез вверх.

Он занял место пожарного, упавшего в огонь.

Добравшись до верхней перекладины, он обернулся: выстрелов не было слышно, и он не видел места, откуда можно было бы стрелять. Пулемет замаскировать не трудно; но его стрекот оповестил бы патрули... Он нацелил свой шланг; очаг, с которым он сражался, был как раз самым опасным; это был противник, и более живой, чем человек, живой, как никто на свете. Один на один с этим врагом, который потрясал бессчетными щупальцами, словно взбесившийся спрут, Мерсери ощущал себя невероятно медлительным, как бы закаменевшим. И все-таки он одолеет пламя. У него за спиной стекали вниз лавины гранатово-черного дыма; несмотря на треск пламени, он слышал, как раскашлялись люди внизу на улице, человек тридцать-сорок. Он метался в светящемся пекле, обдававшем его сухим слепящим жаром. Очаг погас; когда остатки дыма рассеялись, он увидел внизу, в темном проеме, неосвещенный Мадрид, различимый лишь по дальним пожарам, которые яростно волочили свои красные плащи по его улицам. Он все покинул, даже мадам Мерсери, во имя того, чтобы мир стал лучше. И ему привиделось, как одним мановением руки он останавливает кортеж катафалков с детскими гробиками, нарядными и белыми, словно они были из аксессуаров первого причастия; каждый из взрывов, который он слышал, каждый пожар означал для него эти ужасные маленькие гробики. Он со всей точностью нацелился шлангом в следующее гнездо огня, когда послышался грохот, словно на всей скорости пронеслась гоночная

машина, и еще один из пожарных упал, словно его сбил, яростно хлестнув, поток воздуха. Но на этот раз Мерсери понял: их расстреливали из пулемета с борта истребителя. Двух истребителей.

Мерсери увидел, как они возвращаются, они летели поразительно низко, метрах в десяти от верхней границы пожара. Они не стреляли: летчики могли разглядеть пожарных лишь тогда, когда те выделялись на фоне пожара, и, видимо, обстреливали их сзади. Револьвер был у Мерсери под комбинезоном, Мерсери знал, что от него никакого толку, его не достать, но испытывал отчаянную до безумия потребность стрелять. Самолеты вернулись, еще двое пожарных упали: один в огонь, другой на тротуар. Переполненный отвращением настолько, что впервые за все это время он почувствовал спокойствие, Мерсери глядел, как самолеты разворачиваются по направлению к нему в небе пылающего Мадрида. Они хлестнули его воздухом на лету, затем выровнялись «на правильный курс»; Мерсери спустился на три перекладки и повернулся к ним лицом, выпрямившись на вертикальной лестнице. В тот миг, когда на него пошел снарядом первый самолет, Мерсери поднял шланг, яростно обдал кабину и рухнул на лестницу с четырьмя пулями в груди. Был он еще жив или нет, но шланга из рук не выпустил, тот застрял между перекладинами. Все, кто был на улице, сгрудились в подъездах, опасаясь обстрела с брющего полета. Наконец пальцы Мерсери медленно разжались, тело дважды дернулось, и он упал на опустевшую мостовую.

## *Глава*

## *четырнадцатая*

В холле покинутой виллы, сплошь увешанном картинами, офицеры ждут Мануэля, которого позвали к телефону.

— Один фалангист покончил с собой, — говорит какой-то капитан.

— Но второй выдал всю организацию, — отвечает Гартнер.

— Ты не удивлен? Чтоб докатиться до такого, нужно быть подонком, но и храбрость требуется...

— Нам предстоит еще многое узнать о человеке, дружище. Ты видел, в каком они были состоянии; в тех

случаях, когда, как выражается полковник, «наблюдается крайний упадок духа», предатель всегда найдется.

— Видели немецкие танки? — спрашивает чей-то голос.

Они видели только силуэты под дождем.

— Я забрался в один, он был открыт. Одному из экипажа удалось смыться, другой был убит. Так и остался на своем месте, а карманы вывернуты. Зрелище — никогда не забуду, а тут еще дождь...

Дождь неумолимо поливает оконное стекло.

— Дружки решили пожитьяся?

— Думаю, просто обшарили его, чтобы нам в руки не попали документы, но не успели вправить карманы.

— Я их понимаю: вытащить что-то — куда ни шло, может пригодиться; но вправлять потом карманы...

— Тех расстреляли?

— По-моему, нет еще.

— А среди рядовых какие разговоры?

— Все твердо «за». Особенно те, кто прошел через Толедо. Люди, которые бежали, когда у них не было ни оружия, ни командиров, не прощают бегства тем, у кого было и то и другое.

— Да, у меня тоже такое впечатление: они жестче остальных.

— ...Нынешние напомнили им о том, о чем они больше всего хотят забыть...

— ...Дезертиры смахнули наземь что-то такое, что им стоило большого труда поставить стоймя!

— Они всякого навидались, да и многие из нас тоже... Но не нужно забывать, что история с гадами, которые убили капитана, едва ли смягчит сердца.

Входит Мануэль, в углах рта залегли складки, под мышкой свежееобломанная сосновая ветка.

На стене среди карт стеклянный ящик с коллекцией бабочек. Почти возле самой виллы взрывается снаряд: обстрел возобновился. Еще снаряд; одна из бабочек отрывается, падает на дно ящика, из спинки торчит булавка.

— Товарищи, — говорит Мануэль, — Мадрид в огне...

Он так охрип, что никто не слышит. Накричался за нынешний день, но не до полной потери голоса. Продолжает полусшепотом, обращаясь к Гартнеру; тот громко пересказывает:



— Фашисты атакуют по всей юго-западной линии фронта. Интербригада держится. Теперь они и бомбят, и ведут артобстрел одновременно.

— И как получается? — спрашивает кто-то.

Мануэль поднимает сосновую ветку: про Мадрид говорить нечего.

— Приговор будет приведен в исполнение, — продолжает он. — К нам посылают гражданских гвардейцев.

Гартнер повторяет. Но теперь Мануэль вообще больше не может говорить.

Снаряды взрываются при всеобщем безразличии. При каждом ближнем взрыве в ящике падают одна-две бабочки.

Мануэль пишет какую-то фразу на полях штабной карты, разложенной перед ним на столе.

Гартнер смотрит на Мануэля, смотрит на каждого из своих товарищей; вдруг сглатывает слюну — рот маловат для его плоской физиономии — и наконец произносит тем тоном, которым возвещают победу, поражение или мир:

— Товарищи, русские самолеты прибыли <sup>1</sup>.

## *Глава пятнадцатая*

Противник откатывался к Сеговии. Для того чтобы его преследовать, у республиканцев было слишком мало людей, вооруженных в истинном смысле этого слова, и они не хотели оголять Мадрид. Полк Мануэля и подразделения, приданные ему, на отдыхе поротно направлялись на учения.

Дождь прекратился, но утренние облака, полураспавшиеся на волокна, низко нависали над кастильскими домами, придавая сероватый оттенок камню и черепице. Стоя на пороге аюнтамьенто, Мануэль смотрел, как приближаются люди, за которых он отвечает.

Напротив — огромный замок. Как и в каждой из этих деревень, более чем наполовину разрушенный, он стоял на известняковом взгорке, осыпи которого перемешались с обломками стен; справа ползла вверх

---

<sup>1</sup> Несколько судов с советским оружием выгрузились в республиканских портах на Средиземном море 23 октября 1936 г. 27 октября южнее Мадрида в бой вступили первые советские танки, а неделю спустя — истребители.

по склону улица, по ней-то и двигались войска, которые должны были пройти торжественным маршем по площади, лежавшей между замком и аюнтамьенто. Со времени ночного расстрела Мануэль еще ни разу не проводил смотра.

Первая рота приближалась, сапоги мерно грохотали по неровной мостовой, построение было безупречным, как в регулярной армии; когда бойцы подходили к аюнтамьенто, капитан скомандовал:

— Равнение налево!

Все головы разом повернулись к Мануэлю. В полку эта команда прозвучала впервые, да, может быть, и на всем Мадридском фронте звучала одною из первых. Это приветствие упрочивало единение добровольцев с их командиром; оно было введено капитанами-революционерами, и Мануэль чувствовал, что оно как-то связано с тем, что произошло ночью.

Когда подошла вторая рота, повторилось то же самое; и так было с каждой. Мануэль смотрел, как маршируют сомкнутым строем все эти люди, теперь не уступающие силой противнику. Он ощутил, что обременен долгом защищать их от всех — и от них самих, так же как они защищают испанский народ; но не мог забыть запрокинутые лица, покрытые грязью, фразу: «У тебя больше нет голоса для нас?» И взгляды бойцов, которые он перехватывал, не были безразличными и неопределенными: они были трагически братскими, запечатлевшими всю боль той ночи.

Замок был похож на тот, возле которого Мануэль когда-то слушал Хименеса на фронте Тахо. «Никогда не обольщать, не пускать в ход личное обаяние». Какое там личное обаяние: пришлось убить — и не врагов, а людей, вступивших в армию добровольцами; и сделать это пришлось, потому что Мануэль был в ответе перед всеми за жизнь каждого из тех, кто сейчас проходит мимо него. Каждый человек вынужден расплачиваться тем, за что сознает себя ответственным; он, Мануэль, отныне должен будет расплачиваться жизнями.

И в нарастающей печали, и в нарастающей твердости Мануэль встречал один за другим взгляды тех, кто побратался с ним кровью.

Когда полк прошел, площадь опустела: ни единого человеческого взгляда, несколько бродячих псов да канонада вдали. Гартнер был в бригаде. Никогда еще Мануэль не чувствовал себя таким одиноким.

У него в распоряжении было три часа; и вид замка снова навел его на мысли о Хименесе. Тот был километрах в десяти от Мануэля и тоже на отдыхе. Мануэль позвонил, Старый Селезень был на месте. Мануэль отдал распоряжения на время своего отсутствия и сел в машину.

Деревня, где была расквартирована бригада Хименеса, находилась в тылу той, откуда выехал Мануэль. Там еще шли крестьяне-беженцы, и Мануэль добрался до полковника, миновав шеренги ослов и повозок и заторы из стад крупного рогатого скота.

Оба вышли; из-за сырости Хименес слышал еще хуже, чем обычно. Где-то далеко противник вел артиллерийский обстрел правого фланга, доносилась канонада мадридской артиллерии. Сквозь расселины Сьерры виднелась Сеговийская равнина.

— Думаю, вчера я пережил самый важный день в моей жизни, — проговорил Мануэль.

— Почему, сынок?

Мануэль рассказал о случившемся. Некоторое время они шагали молча. Хименеса с первой же минуты удивило изменившееся лицо Мануэля, его короткая стрижка, его властность. От молодого человека, которого он когда-то знал, осталась только одна привычка: в руках у Мануэля была мокрая сосновая ветка.

По слухам, вблизи от Эскуриала были большие пожары; темно-бурые тучи цеплялись за отроги Сьерры. Дальше, со стороны Сеговии горела деревня: в бинокль Мануэлю было видно, как бегут ослы и люди.

— Я знал, что нужно делать, и сделал. Я решил раз и навсегда, что буду служить партии, и психологические реакции меня не остановят. К самодействию я не склонен. Дело в другом. Как-то вы мне сказали: для того, чтобы быть вожаком, требуется больше благородства, чем для того, чтобы быть личностью. О музыке мы говорить не будем; на прошлой неделе я был с женщиной, которую долго любил напрасно... много лет; и мне хотелось уйти... Я ни о чем не жалею; но если уж расстанусь и с музыкой, и с нею, то во имя че-

го-то. Командовать можно лишь во имя служения, иначе... Я принимаю на себя всю ответственность за расстрел: он был необходим ради спасения остальных, наших. Но только вот что: с каждой ступенькой, на которую я поднимаюсь, овладевая деловыми качествами, умением командовать, я все больше и больше отдаляюсь от людей. Моя человечность с каждым днем понемногу идет на убыль. Вам, конечно, пришлось испытывать то же...

— Я могу вам сказать лишь то, чего вам не понять, сынок. Вы хотите действовать и в то же время не поступаться братством; боюсь, человека на это не хватает.

И Хименес подумал, что такого рода братство обретаемо только во Христе.

— Но, на мой взгляд, человек всегда защищает себя лучше, чем это кажется, и то, что отдаляет вас от людей, должно приближать вас к вашей партии.

Мануэль тоже, случалось, думал об этом; иногда не без страха.

— Но эта близость ничего не стоит, если одновременно отходишь все дальше от тех, на кого партия работает. Как бы партия ни старалась, тесная связь с людьми, возможно, жива лишь стараниями каждого из нас... Один из приговоренных сказал мне: «У тебя для нас теперь и голоса нет?»

Мануэль не пояснил, что и в самом деле потерял голос. Хименес взял его под руку. С высоты Сьерры все, что имело отношение к людям в долине, казалось смехотворно малым — все, кроме медлительных огненных завес, затягивавших небо, по которому так же медлительно ползли бесформенные облака; казалось, взглядам богов люди представлялись всего лишь пищей пожаров.

— Чего же вы хотите, сынок? Выносить смертный приговор с легкой душой?

Хименес смотрел на Мануэля с сочувствием, полным бесчисленных воспоминаний о пережитом, противоречивых и, может быть, горьких.

— Привыкнете и к этому...

Подобно тому, как больной предпочитает говорить о смерти с тем, кто тоже болен, Мануэль говорил о моральной драме с человеком, который был своим в мире таких проблем; но говорил с ним не столько из-за смысла его ответов, сколько из-за их человечности.

Коммунист, он не задавался вопросом, насколько обосновано было принятое решение; он не ставил совершившегося под сомнение; на его взгляд, когда возникало такого рода сомнение, было два выхода: изменить содеянное (об этом не могло быть и речи) или отбросить сомнение. Но особенность неразрешимых вопросов состоит в том, что по мере обсуждения они сходят на нет.

— Настоящий бой, — сказал Хименес, — начинается, когда приходится сражаться с чем-то в себе самом... До этого все слишком просто. Но человеком становишься только в таких боях. Всегда приходится сталкиваться с целым миром в себе самом, хочешь ты этого или нет...

— Вы мне сказали как-то: главный долг командира — внушать любовь, не пуская в ход личное обаяние — не «обольщая». Внушать любовь, не «обольщая» — и не обольщаясь.

В широком распадке между горами стал виден другой склон Сьерры; над Мадридом, почти неразличимым на сером просторе равнины, со скорбной медлительностью поднимались огромные клубы темного дыма. Мануэль знал, что они обозначают. Город исчезал за дымом пожаров, как исчезают за дымом боя военные корабли. Дымные столбы вздымались над бесчисленными пожарищами, алое свечение которых было отсюда невидимо, и распадались высоко-высоко в сером небе; казалось, все облака рождаются в этом единственном очаге, развернутом по направлению их движения, и все муки, скопившиеся за тонкой белой черточкой, которая отграничивала Мадрид от окрестных лесов, заполняли огромное небо. Мануэль вдруг осознал, что медлительный и тяжелый ветер, принесший запах гари с Куатро-Каминоса и Гран-Виа, выгнал у него из памяти то, что случилось ночью.

Подъехала автомашина, в ней сидел один из офицеров Хименеса.

— Подполковника Мануэля вызывают к телефону. Из генерального штаба.

Они поспешно вернулись; Мануэль был слегка встревожен. Он позвонил в штаб.

— Алло! Вы меня вызывали?

— Главное командование благодарит вас за проведение вчерашней операции.

— Служу республике.

— Вам известно, милисиано, бежавшие с поля боя, возвращаются, чтобы снова зачислиться в часть.

— По решению главного командования из этих элементов будет сформирована бригада. Это самые трудноуправляемые из всех наших бойцов.

— По мнению начальника штаба, у вас есть все требуемые качества, чтобы принять командование.

— Вот как!

— Ваша партия того же мнения.

— Таково же мнение генерала Миахи. Вы немедленно примете на себя командование этой бригадой.

— А мой полк? Мой полк!

— Насколько мне известно, он вольется в состав одной из дивизий.

— Но я же знаю в нем каждого поименно! Кто сможет...

— По мнению генерала Миахи, вы достойны принять командование этой бригадой.

Когда Мануэль отошел от аппарата, его уже ждал Хейнрих. Интербригадовцы готовили контрнаступление на Сеговию, и Хейнрих направлялся к Гвадарраме. Они выехали вместе.

Машина съезжала вниз по склону. Мануэль считал, что неплохо знает Хейнриха, поскольку знает его стиль командования; но по мере того как Мануэль излагал ему вкратце события вчерашнего дня и свой разговор с Хименесом, у него складывалось впечатление, что между ним и генералом человеческое общение сводится к той странноватой связи, которая устанавливается между переводчиком и тем, кого он переводит.

Хейнрих сидел, чуть понурившись; на выбритом затылке не было ни складочки, и выражение задумчивости придавало его старому, гладко выскобленному лицу что-то мальчишеское:

— Сейчас мы меняем весь ход войны. Ты ведь не Думаешь, что можно менять ход вещей, а самому при

этом не меняться. В тот момент, когда ты соглашаешься стать одним из командиров в армии рабочих, ты теряешь право на собственную душу.

— А ваш коньяк?

Мануэль видел, как по приказу Хейнриха всем любителям выпить из его бригады было выдано по бутылке коньяку, причем вместо обычной этикетки на них красовалась другая, гласившая: «От генерала Хейнриха. После работы — все, во время работы — ничего».

— Свое сердце ты можешь оставить при себе, это другое дело. Но тебе придется утратить душу. Ты уже утратил длинные волосы. И прежний свой голос.

Словарь был почти как у Хименеса; но тон был другой, жесткий тон Хейнриха, и голубые глаза без ресниц смотрели пристально, как в Толедо.

— Что вы, марксист, имеете в виду, когда говорите «утратить душу»?

На «ты» обращался теперь только старший к младшему.

Хейнрих глядел на сосны, мелькавшие в унылом свете дня.

— Во всякой победе есть утраты, — сказал он. — Не только на поле боя.

Он крепко стиснул плечо Мануэля и сказал тоном, которого тот не понял — то ли горечь в нем звучала, то ли опытность, то ли решимость:

— Отныне ты никогда больше не должен жалеть пропавшего человека.

*Глава*

*семнадцатая*

*Мадрид, 2 декабря.*

Перед окном двое убитых. Раненого оттащили в глубь комнаты за ноги. Пятеро обороняют лестницу, около них ручные гранаты. Человек тридцать интербригадовцев засели на пятом этаже розового дома.

Огромный громкоговоритель из тех, которые возят для пропаганды на республиканских грузовиках (раструб заполняет весь кузов), выкрикивает в зимнее предвечернее небо:

*«Товарищи! Товарищи! Удерживайте свои позиции! у фашистов сегодня вечером уже не будет боеприпасов: колонна Урибарри взорвала утром тридцать два вагона.*

*Товарищи! Товарищи! Удерживайте...»*

Громкоговоритель знает — ответа не будет; он повторяет и повторяет.

Боеприпасов у фашистов не будет, но пока еще они у них есть: фашисты провели контратаку и заняли три первых этажа. Четвертый ничей. Интербригадовцы занимают пятый.

— Подонки! — кричит по-французски голос, доносящийся по дымоходу. — Увидите, хватит у нас боеприпасов, чтобы вас уложить!

Внизу легионеры. Дымоходы — недурные рупоры.

— Шкуры десятифранковые! — отвечает Маренго и тут же падает на четвереньки: даже в глубине комнаты пули свистят над самой головой. Когда-то легион представлялся ему в романтическом ореоле. Бунтари, крутые парни. И вот он двумя этажами ниже, испанский легион, крутые парни явились защищать сами не знают что, во хмелю воинского тщеславия. В ноябре, когда шли бои в Западном парке, Маренго побывал в штыковой атаке. Когда черед терсио? Эта свора, натасканная на кровь, не ведающая, кому служит, ему отвратительна. Интербригадовцы составляют тоже своего рода легион и потому самый ненавистный их противник — терсио.

Республиканские стопятидесятипятимиллиметровки регулярно обстреливают то, что было госпиталем-клиникой.

Квартира, где Маренго и его товарищи выискивают углы прицеливания под мелодичный звон разбивающегося стекла, принадлежала зубному врачу. Одна дверь закрыта на ключ. Маренго такой коренастый, что кажется толстяком, у него густые черные брови над носом-кнопкой на симпатичной ряшке младенца с рекламы детского мыла «Кадом». Дверь высажена, перед Маренго — кабинет дантиста, в кресле для пациентов небрежно развалился марокканец, он мертв. Вчера республиканские бойцы занимали нижнюю часть дома. Здесь окно шире и ниже остальных; непри-



ягельские пули разбили стекла только на высоте трех метров от пола. Отсюда и видно, и стрелять удобно.

Маренго еще не вышел в командиры: в армии не отслужил. Но у себя в роте пользуется определенным влиянием: все знают, что он был секретарем профсоюза на одном из крупнейших оружейных заводов. Итальянцы дали заводу заказ на две тысячи пулеметов для Франко; владелец завода, помешанный на оружии, не позволял упаковывать готовые изделия, поскольку они «не доведены до кондиции». Каждую ночь по окончании работы часть заводских окон светилась над городом, и старик-владелец любовно обрабатывал чеку на миниатюрном станочке, «доводя до кондиции» главнейшую деталь, благодаря каковой его пулеметы станут «пулеметами в полном смысле слова, уж поверьте». А в четыре утра рабочие-активисты, следуя инструкциям Маренго, несколькими движениями напильника приводили в негодность тщательно выделанную деталь. Так продолжалось шесть недель. Более сорока ночей шла на оружейном заводе терпеливая война между влюбленностью в технику (хозяин Маренго не был фашистом, не то что его сыновья) и солидарностью.

Кому, как не бойцам из бригады, и знать, что дело того стоило.

Соратники Маренго располагаются выше линии попадания пуль.

Дом этот — бои здесь ведутся уже десять дней — неприступен отовсюду, кроме лестницы, где посменно дежурят пятеро интербригадовцев с гранатами. Вынести орудие на огневую позицию здесь невозможно, а пули... Остаются мины. Но пока внизу легионеры, дом, если даже и минирован, не будет взорван.

Республиканские орудия калибра 155 миллиметров все ведут и ведут огонь.

Улица пуста. Домах в десяти через дымоходы идет перебранка. Временами то одна сторона, то другая начинает атаку, пытается овладеть улицей, терпит неудачу, откатывается назад; наблюдатели, скучающие без дела, выжидают за окнами: сунься сюда в поисках материала какой-нибудь несчастный журналист, мигом получит свою порцию пуль.

За каждым окном — винтовка либо пулемет, хриплые выкрики из громкоговорителя перекрывают

брань, доносящуюся из дымоходов, и улица опустела, словно навеки.

Но справа находится госпиталь-клиника, лучшая фашистская позиция на Мадридском фронте. Этот коренастый небоскреб, одиноко выступающий из зелени, господствует над целым кварталом вилл. Из окон своего этажа приятели Маренго видят, как по всем улицам ползут в грязи республиканцы; и если б даже им не видно было госпиталя, они догадались бы, где он, по ощущению препятствия, уходящего ввысь и преграждающего путь всему живому.

Как и все дома на этой улице, госпиталь, из окон которого непрерывно ведется пулеметный огонь, кажется необитаемым. Угрюмая и сеющая смерть громада, рушащаяся вавилонская башня, он сонно задумался, словно бык, под снарядами, которые хлещут его собственными его обломками.

Один из интербригадовцев, перерыв все шкафы, отыскал театральный бинокль.

На лестнице рвутся гранаты. Маренго выходит на площадку.

— Все в н о р м е , — говорит один из дежурных интербригадовцев сквозь грохот снарядов.

Легионеры в очередной раз попытались подняться по лестнице.

Маренго берет бинокль. В приближении цвет госпиталя меняется, он становится красным. Четкость его очертаний сохраняется лишь за счет массы: под мощным и непрерывным обстрелом из стопятидесятипяти-миллиметровых после каждого выстрела он прогибается то внутрь, то наружу, то чуть оседает, как раскаленная поковка под молотом. Окна, в бинокль более заметные, придают ему вид улья, покинутого пчелами. И тем не менее к этому рушащемуся бастиону издалика по мокрой мостовой и ржавым трамвайным путям подползают люди.

— Господи! — вопит Маренго, размахивая толстыми руками. — Порядок, порядок! Мы атакуем!

Все сбились в плотную кучу между убитым марокканцем в зубоврачебном кресле и окном. Вокруг госпиталя из-под земли возникают черными точками подрывники и гранатометчики, они заносят руку, снова падают в грязь, снова появляются там, где пять минут

назад рвущиеся мины и гранаты образовали алеющие четки.

Маренго подбегает к камину, кричит в дымоход:  
— На госпиталь гляньте, кретины!

И бегом возвращается на место. Подрывники совсем близко; из обрушившегося улья к фашистским рубежам устремляется целое полчище насекомых, преследуемое своими же пулеметами.

Из дымохода не отвечают. Один из интербригадцев, чех, наклонившись ниже остальных, прикладывает винтовку к плечу, стреляет, стреляет. Огонь ведется и из домов напротив, тоже занятых осажденными интербригадцами: прижимаясь к стене, легионеры бегут из розового дома: дом минирован и вот-вот взорвется.

Негус продвигается в подкопе. Вот уже месяц, как он утратил веру в революцию. Апокалипсис кончен. Остается борьба с фашизмом и вера Негуса в необходимость защищать Мадрид. Некоторые анархисты вошли в правительство; другие, в Барселоне, ожесточенно отстаивают доктрину и позиции. Дуррути мертв. Негус так долго жил борьбой против буржуазии, что без труда стал жить борьбой против фашизма: его всегда влекло ниспровержение и разрушение. Но все уже не то. Он слышит, как его единомышленники призывают по радио к дисциплине, и он завидует молодым коммунистам, которые затем берут слово: последние полгода не перевернули их жизнь... Его напарник здесь — Гонсалес, тот самый толстяк, вместе с которым Пепе громил итальянские танки у стен Толедо. Гонсалес из НКТ, но все, что волнует Негуса, ему глубоко безразлично. Потом будем спорить, сперва надо расколошматить фашистов. «Ты понимаешь, — говорит Негус, — работают коммунисты что надо. Работать с ними я могу, но питать к ним нежные чувства — никак, сколько ни силюсь, не выходит...» Гонсалес был горняком в Астурии, Негус — транспортным рабочим в Барселоне.

После истории с огнеметом в Алькасапе Негус нашел для себя выход в подземной войне; она ему по вкусу, здесь каждый боец — смертник, Негус знает, что сам найдет смерть в этой войне, все еще сохраняющей романтизм, возможность индивидуального дей-

ствия. Когда Негус не может распутать свои проблемы, он всегда находит выход в применении силы либо в самопожертвовании; когда и то и другое сразу, еще лучше.

Тощий Негус продвигается вперед по подкопу, за ним следует толстый Гонсалес; подкоп кончится, видимо, уже за розовым домом, земля становится все более и более гулкой: либо неприятельская мина совсем близко (но стука не слышно), либо...

Он выдергивает из гранаты предохранительную чеку.

С последним ударом кирка вонзается в пустоту, и тот, кто ею орудовал, кубарем летит сквозь широкую дыру вниз. Электрический фонарик Негуса шарит вокруг, словно ладонь слепого: кувшины высотой в человеческий рост. Погреб. Негус гасит фонарик и отскакивает в сторону. Прямо перед ним зажегся другой фонарик, он тоже ищет; тот, кто его держит, не видел лампочки Негуса, Негус успел погасить вовремя. Фашист. Стрелять? Негус не видит противника. Розовый дом почти над ними. Гонсалес все еще в подкопе. Негус метнул гранату.

Когда столб дыма рассеивается, в свете фонарика, который включил Гонсалес, два фашиста распростерты в вязкой луже — то ли масло, то ли вино; из лужи торчат их головы и огромные осколки кувшинов, уровень жидкости в неподвижном свете лампочки все поднимается и поднимается, она заливает их плечи, рты, глаза.

Республиканская контратака окончена; Маренго и его товарищи вызволены. Гонсалес и остальные возвращаются на место постоянного расположения бригады. Надо пройти большой кусок Мадрида.

С обстрелами и бомбардировками свыклись: слышав свист снаряда, прохожие прячутся в подъезде, потом продолжают путь. Струйки дыма, клонящиеся то там, то здесь под мягким ветерком, придают трагедии деревенскую умиротворенность, они похожи на дымки, курящиеся над трубами в пору обеденной похлебки. Поперек улицы лежит убитый, под мышкой у него адвокатский портфель, к которому никто пока

не решился притронуться. Кафе открыты. Из каждого спуска в метро выбираются люди, похожие на обитателей подозрительной ночлежки; целая толпа спускается вниз с матрацами, полотенцами, детскими колясками, тачками, груженными кухонной утварью, со столами, с портретами, с детьми, которые держат в руках бычков из папье-маше, какой-то крестьянин пытается втолкнуть туда осла, осел упирается. Начиная с двадцать первого, фашисты бомбили и обстреливали город ежедневно; в кварталах, прилегающих к Саламанкскому, люди из кожи вон лезут, чтобы добыть себе уголок в подъезде... Иногда гряда обломков шевелится, появляется рука со странно вытянутыми пальцами; но детвора играет в самолеты-истребители чуть не под бомбами среди беженцев с измученными до стертости лицами. Женщины возвращаются в Мадрид, нагрузившись корзинами и тюфяками, словно героини арабских сказок. Какой-то вагоновожатый — он присоединился к бойцам, идет вместе с ними в штаб бригады — говорит Гонсалесу:

— Жить — ну что, жить еще можно; а вот работать, понимаешь, — это уже не работа: выезжаешь в рейс, делаешь что положено, а приехал на кольцо, глядишь — половина пассажиров осталась, остальных укокошило на дороге. Вот я и говорю: это уже не работа...

Вагоновожатый останавливается, Гонсалес останавливается, Маренго останавливается. Все прохожие останавливаются либо разбегаются по подъездам. В мадридском небе появляются пять «юнкерсов», их прикрывают четырнадцать «хейнкелей».

— Бояться нечего, — говорит кто-то, — дело привычное.

И не успели Гонсалес и Маренго разглядеть хоть что-то на сером вечернем небе, как из убежищ, подвалов, подворотен, домов, метро вываливается огромная толпа: кто с сигаретой, кто с инструментами или бумагами в руках, на ком пиджак, на ком куртка, на ком пижама, на ком одеяло.

— Наши летят, — говорит какой-то штатский.

— Откуда ты знаешь? — спрашивает Гонсалес.

— Теперь я опознаю самолеты на слух куда лучше, чем прежде.

С другой стороны в мадридском небе впервые появляются тридцать шесть республиканских истребителей.

Это самолеты, которые продал Советский Союз после того, как разоблачил политику невмешательства; наконец-то их собрали. Часть уже вела воздушные бои над Хетафе, и подштопанные машины интернациональной эскадрильи сбросили на Мадрид листовки, сообщавшие о переформировании республиканской авиации; но эти четыре эскадрильи по девять самолетов в каждой, подлетающие ромбом под командованием Сембрано, впервые выступили на защиту Мадрида.

Головной «юнкерс» уклоняется то вправо, то влево, лавирует. Республиканские эскадрильи на максимальном разгоне стремительно атакуют группу бомбардировщиков. Руки мужчин сжимаются на плечах или бедрах женщин. Со всех улиц, со всех крыш, из всех подвальных окон, из всех спусков метро смотрят те, кто вот уже восемнадцать дней ежедневно ждут бомб. Наконец неприятельская эскадрилья, развернувшись на сто восемьдесят градусов, берет курс на Хетафе, и из пятисот тысяч глоток вырывается вопль освобождения — дикарский, нечеловеческий, — взлетает в серое небо, где идут в атаку самолеты Мадрида.

В сгущающихся сумерках Хейнрих смотрит в окно на толпу бойцов, отставших от своих подразделений и явившихся, чтобы зачислиться снова. Перед ним карта, он наносит на нее изменения в обстановке, которые передает ему Альберт, как всегда, висящий на телефоне. Отовсюду подтверждают, что после того как полковник Урибарри взорвал поезд, фашисты остались без боеприпасов.

— Атака на Посуэло-Араваку отражена, генерал.

Хейнрих отмечает на карте новые позиции. Складки на чисто выбритом затылке сложились в подобие улыбки.

— Атака на Лас-Росас отражена, — докладывает кто-то из штабных офицеров.

Снова телефон.

— Хорошо, спасибо, — отвечает Альберт.

Всем хочется поздравлять друг друга.

— При следующем успехе всем по рюмке коньяка, — говорит Хейнрих.

Военное министерство передает по порядку позиции по телефону Альберта; бригады держат связь по другому аппарату.

— Мне коньяк! — говорит Альберт. — Мы на подходе к Железным Воротам; дорога на Ла-Корунью свободна.

— Вильяверде снова в наших руках!

— Мы движемся на Кемаду и на Гаралито, генерал!

## НАДЕЖДА

Глава первая

8 февраля.

Маньен снова встретился с Варгасом в министерстве военно-воздушных сил в Валенсии, и все было как во время их встречи в Мадриде. Министры были другие, бойцы носили форму, Франко чуть не взял Мадрид, складывалась народная армия; но война была все той же войной, и если многие нашли свою смерть, а многие другие — судьбу, то и Варгас, и Маньен не очень изменились. Как в Мадриде, Варгас распорядился принести виски и сигареты; как в Мадриде, лица у обоих были словно после бессонной ночи.

— Малага потеряна, Маньен, — сказал Варгас.

Маньен не удивился: он считал, что под совместным натиском немецких и итальянских войск республиканцам не отстоять фронты, отрезанные от центра; а Гарсиа говорил ему еще неделю назад: «Я возлагаю все надежды на центр и никаких — на малые фронты: Малага будет повторением Толедо».

— Творится нечто невообразимое, Маньен... Массовое бегство... Сто тысяч беженцев, а то и больше... Ужасно.

На потолке в центре гостиной (раньше особняк принадлежал богатому коммерсанту) красовалась люстра, подвешенная к чучелу орла.

— И над ними неотступно итальянские самолеты. А по пятам — грузовики. Если остановить грузовики, беженцы доберутся до Альмерии...

Маньен — глаза и усы у него погрустнели — сделал движение, означавшее: когда нам вылетать?

— Наши лучшие самолеты должны быть в Мадриде, Маньен, я знаю...



Фашисты энергично наступали на Харамском направлении.

— Для Малагской дороги требуются два бомбардировщика. Истребителей у нас здесь почти нет... Но при этом есть еще задание в Теруэле. Из интернациональной эскадрильи никто не знает Теруэль так, как вы. Мне бы хотелось, чтобы... — Он продолжал по-испански: — Чтобы вы выбрали не то задание, которое самое опасное, а то, где вы могли бы быть всего полезнее. Вам — Теруэль, Сембрано — Малагу. Сембрано здесь.

— Вы ведь знаете, в Теруэле тоже совсем нет истребителей...

Вот уже два месяца интернациональная авиация сражалась на Левантском фронте: Балеары, Южное побережье, Теруэль. Эра «пеликанов» миновала. Эскадрилья, которая поддерживала интербригаду все время, пока длилась Теруэльская битва, теперь, делая в день по два боевых вылета и честно отправляя каждый раз в госпиталь часть летного состава, вела воздушные бои, ремонтировалась, фотографировала собственные бомбардировки; летчики жили в покинутом замке среди померанцев, неподалеку от замаскированного аэродрома; во время Теруэльской битвы они под огнем зениток разбомбили вокзал и фашистский штаб, и увеличенная фотография взрыва красовалась на стене в столовой. Маньен и его летчики знали этот фронт лучше, чем знали его их карты.

— На рассвете? — спросил Маньен.

Они прошли в отдел аэрофотограмметрии.

Хайме и Скали, Гарде и Поль, Атиньи, Сайди — бортмеханик-интербригадoveц и Карлыч пили в городе мансанилью.

За витринами кафе на улице была небольшая ярмарка, откуда доносилась музыка; лотереи, лотки со сладостями, тир. Праздник, устроенный специально для детей. Бортстрелки пришли сюда для того, чтобы пострелять в тирах; они без усталости раскалывали трубки в зубах у курильщиков и подстреливали поросят, падавших сверху копытцами; в одном из тиров приятели и нашли Карлыча, окруженного восторженными зрителями. Гарде и Сайди пришли не столько ради

стрельбы, сколько ради детей. Все деньги они растратили на лакомства, которыми их оделяли: Гарде любил детей так же, как Шейд животных, из горечи; Сайди любил их из мусульманского милосердия и еще потому, что в нем самом оставалось немало детского.

— Американцы — молодцы, — сказал Поль.

Только что прибыли первые летчики-добровольцы из Штатов.

— Что мне в них нравится, — сказал Гарде, — так это то, что они не считают, будто спасают демократию каждый раз, когда включают зажигание.

— И отправили подальше своих наемников, — сказал Атиньи.

Он ненавидел всех наемников без разбора.

— Но вот новый комендант аэродрома, — продолжал Поль, — всего-навсего остолоп местной выделки.

Впервые испанский офицер, ведавший аэродромом вместе с Маньеном, оказался никудышным командиром.

— Не будем о нем, — сказал Атиньи. — Мы ведь не считаем, что у нас все всегда на самом высшем уровне. Это явление временное: Сембрано возвращается. Будем делать свое дело, и достаточно. Испанский капитан, командующий нашими «бреге», на высоте.

— И чтобы каждый день на таких машинах вести бои с современными самолетами, требуется терпение!

— Любопытная вещь, — сказал Скэли, — в водной стране чувство стиля не развито так, как здесь. Вот перед вами крестьянин, журналист, интеллектуал, ему поручают какое-то дело, и он делает его — хорошо или плохо, но почти всегда с таким чувством стиля, что остальным европейцам только учиться. У нового коменданта стиля нет: если испанец утратил стиль, значит, он все утратил.

— В Альгамбре сегодня вечером, — сказал Карлыч, — я видел такую вещь: одна танцовщица — она почти нагишом — проходит по сцене. Совсем близко. Можно тронуть. Один милисиано — он пьяный — бежит, гладит ее ладонью. Публика — она смеется. Тогда милисиано поворачивает лицо к публике, веки сжал, пальцы тоже сжал. Как будто, когда он погладил женщину, он взял всю ее красоту и спрятал в кулаке. И он поворачивается к публике и бросает ей красоту. С презрением к публике. Здорово. Возможно только здесь.

Он говорил по-французски много хуже, чем раньше. Крепко сбитый, с гладкой кожей, он, казалось, только что вышел из ванной, но пахло от него не одеколоном, а камфарой. Когда он снял свою капитанскую фуражку, Скали увидел знакомый хохолок, черный и жесткий.

— Что мне здесь нравится, — сказал Поль, — так это то, что я многому учусь. Честное слово! Но вот комендант наш все-таки остолоп.

— Так о командире говорить нельзя, — резко сказал Карлыч.

Он отпустил усы, лицо у него стало не такое мальчишеское, жестче, и Скали чувствовал, как в нем все заметней прорисовывается бывший врангелевский офицер.

Поль пожал плечами и поднял вверх указательный палец.

— Я сказал — остолоп местной выделки.

«Дело может плохо кончиться», — подумал Атиньи.

— Как ты попал сюда? — обратился он к Сайди.

— Когда я узнал, что марокканцы воюют на стороне Франко, я сказал у нас в социалистической секции: «Надо что-то делать, а иначе что будут говорить об арабах наши товарищи рабочие?»

— Я вижу огни, — сказал Хайме, скручивавший проволочку. Он делал проволочные самолеты с действующим управлением, пользовавшиеся среди летчиков огромным успехом.

Вот уже месяц каждый день он видел огни. Первое время его друзья искали, что бы это могло быть, но находили не огни, а все ту же грусть. Около Хайме сидели Гарде и Скали, остальные сидели напротив.

— Тогда, — сказал Карлыч, — Альбаррасин мы взяли. Был один фашист, из самых главных. Совсем молодой, может быть, двадцать лет. Он прятался. Мы пошли, там было только две старухи. Молодой, он выдал, может быть... пятьдесят наших. И других, которые даже не были за нас. Все расстреляны.

— Юнцы всех опасней, — сказал Скали.

— Одна старуха, она говорит: «Нет-нет, никого нет, только тот, другой, племянник...» Это были его тетки. Тогда произошла такая вещь: выходит мальчик, на нем носочки и шляпа...

Карлыч пальцем обвел вокруг своей головы круг, долженствовавший изображать бескозырку.

— И матросский костюмчик, короткие штанишки... «Вот видите, — говорили старухи, — вы же видите?» Это был наш каналья, они его одели в одежду младшего, чтобы мы подумали...

— Огни кружатся, — сказал Хайме, еще раньше снявший черные очки.

Карлыч засмеялся тем же смехом, от которого Скали было не по себе в августе.

— Расстрелян.

Все знали, что Карлыч дважды выходил искать раненых товарищей под вражеским огнем. И что его убьют. Служба была его страстью, и для него само собою разумелось, что страсть эта присуща и тем, кто служит у него под началом; когда он впервые увидел раненых, которых пытали марокканцы, он сам пошел добывать их офицеров. Всё вместе тревожило Скали и Атиньи. Другие считали, что Карлыч слегка не в себе. Сайди все это очень не нравилось.

Скали вспомнилось первое появление Карлыча: у него были шикарные сапоги. Он стал чистить их у первого же limpiabotas<sup>1</sup>, но вычистить шикарные казачьи сапоги совсем не то что вычистить пару ботинок; и тридцать специалистов — автобус был общий — полчаса ждали Карлыча, который в раздражении постукивал по столу, пока чистильщик наводил и наводил глянец на второй сапог.

— Огни остановились, — сказал Хайме.

Эта его надежда, беспрестанно возрождавшаяся, вызывала у тех, кто его окружал, мучительную неловкость. Тем более что он почти стыдился своей слепоты и старался острить. На сей раз он пообещал, что угостит всех устрицами, которые рассчитывал раздобыть с помощью фантастических махинаций. Ничего не вышло. И те, кто пришли первыми (Скали и сам он явились последними), нашли в кафе записку: «По здравом размышлении мы решили не показываться. Устрицы».

— Нравится тебе эта жизнь? — спросил Карлыча Атиньи.

— Когда умер мой отец (у меня три брата), я был у... в армии. И мой отец, он уже сказал: «Эти трое пусть будут счастливы, а тот — он должен победить».

---

<sup>1</sup> Чистильщика сапог (исп.).

Скали снова сталкивался с чертами того человеческого типа, который вот уже два месяца вызывал у него беспокойство, — типа, который военные специалисты именуют «воителем». Скали любил бойцов, не доверял кадровым военным и ненавидел воителей. С Карлычем все было ясно, но остальные? А у Франко таких тоже были тысячи.

— Я намерен перейти в танковые войска, — снова заговорил стрелок.

Танкисты, летчики, пулеметчики — неужели в Европе снова появятся рейтары?

— Карлыч, что на войне вызывало у тебя страх?

Он предпочел бы сказать «ужас» или «сострадание», но не следовало слишком изощряться.

— Страх? Вначале — все.

— А потом?

— Я не знаю.

— Вы видите огни? — спросил Хайме.

— Нет, з н а ю, — продолжал Карлыч. — Есть одно, что у меня вызывает страх. Страх. Повешенные. А у тебя?

— Никогда не видел.

— Повезло... Это вызывает страх. Ты понимаешь, происходит такая вещь: когда кровь, все естественно. Повешенные — это неестественно. Когда нет крови, это неестественно. Когда вещь неестественная, тогда страх.

Вот уже двадцать лет, как Скали слышал разговоры о «сущности человека». И ломал себе голову, пытаясь докопаться до оной! Красиво звучит — «сущность человека», когда этот самый человек и живет, и умирает во имя идеи! Скали никак не мог больше разобраться, к чему же он пришел. Были мужество, великодушие — и была физиология. Были революционеры — и были массы. Была политика — и была нравственность. «Я хочу знать, о чем г о в о р ю», — сказал тогда Альвеар.

— Вот огни снова завертелись, — сказал Хайме.

Скали вскочил, разинув рот, ткнув кулаками в стол так, что проволочный самолетик отлетел на три метра; Гарде обнимал Хайме за плечи, и оба глядели в окно кафе на большие электрические фонари карусели, которые опять начали кружиться.

В одной машине были Хайме и его товарищи, совершенно ошалевшие и насвистывавшие, как зяблики, в другой — Маньен: они возвращались на аэродром — на перекличку и в боевой вылет на Малагу. Неприятельская эскадрилья бомбила порт, в шести километрах от города. Мелкий дождик сеял над Валенсией, тихонько скатывался по созревшим апельсинам. К празднику детей профсоюзы решили подготовить невиданное шествие. Делегация детворы изложила свои требования: пускай будут герои мультфильмов; силами профсоюзов были изготовлены из папье-маше гигантские Микки Маусы, коты Феликсы, утята Дональды (но все-таки возглавляли шествие Дон Кихот и Санчо). На праздник, посвященный детям, эвакуированным из Мадрида, собрались тысячи детей со всей провинции; у многих не было крова. По окончании триумфального шествия повозки с фигурами остались стоять с внешней стороны бульвара, и на протяжении двух километров фары автомашин выхватывали из темноты говорящих зверей из современной феерии, из мира, где все, кого убили, воскресают... Бездомные дети пристроились на пьедесталах, между лапами мышей и котов из папье-маше. Неприятельская эскадрилья все бомбила и бомбила порт; и под охраной ночного Дон Кихота звери, дрожавшие под дождем, в такт взрывам покачивали головами над уснувшими детьми.

Атиньи был бомбардиром в самолете Сембрано. Экипажи на двух машинах были смешанные: на этой из интернациональной эскадрильи были Польш, бортмеханик, и сам Атиньи. Вторым пилотом при Сембрано был, как всегда, Рейес, баск. На последнем южном аэродроме они обнаружили бомбы, которые пришлось заменить, и неразбериху, достойную Толедо; немного не долетев до Малаги, обнаружили на дороге, пролегающей вдоль морского побережья, шествие беженцев — сто пятьдесят тысяч человек, а в море — фашистские крейсера, державшие курс на Альмерию под чистым утренним светом, пронизанном высокими столбами дыма; еще они обнаружили первую из итало-испанских мотоколонн; с самолета казалось, что мотоколонна догонит беженцев через несколько ча-

сов. Атиньи и Сембрано переглянулись, и самолет пошел на снижение. От колонны не осталось следа.

Чтобы вернуться поскорей, Сембрано пошел напрямик над морем.

Когда Атиньи обернулся, бортмеханик вытирал руки, замаслившиеся о рукоятки бомбосбрасывателей. Атиньи снова поглядел прямо перед собой в небо, полное четких кучевых облаков: двумя группами подлетали — запоздало — восемнадцать вражеских истребителей. А за ними, возможно, следовали другие.

Пули прошли носовую турель.

Правую руку Сембрано ожег мощный удар дубинкой, и она бессильно повисла. Сембрано повернулся ко второму пилоту: «Берись за ручку!» Но ладони Рейеса не касались ручки управления, они были прижаты к животу. Если бы его не удерживал ремень, он упал бы на Атиньи; тот лежал навзничь, одной ногой в луже крови. Скорей всего вражеский истребитель, зайдя с тыла, начнет обстрел сверху; и никакого прикрытия: при таком численном превосходстве противника пять республиканских истребителей должны прикрывать второй бомбардировщик, который еще может уйти, у него боевая позиция лучше. Отверстия в кабине были пробиты малокалиберными снарядами: у итальянцев были скорострельные пушки. А как кормовой стрелок, тоже ранен? Когда Сембрано повернул голову, взгляд его упал на правый мотор: мотор пылал. Сембрано убрал газ. Бортовые пулеметы молчали. Машина круто снижалась. Атиньи склонился над Рейесом; тот сполз с сиденья и непрерывно просил пить. «Ранен в живот», — подумал Сембрано. Новая пулеметная очередь хлестнула машину, задев только правое крыло. Сембрано пилотировал ногами и левой рукой. По щеке у него стекала тонкая струйка крови; наверное, он был ранен и в голову, но боли не чувствовал. Машина все снижалась. Позади — Малага, внизу — море. Дальше, за песчаной полосой шириною метров в десять, цепь скал.

О парашютах не могло быть и речи: неприятельские истребители не отставали, и машина была слишком низко. Снова набрать высоту невозможно: руль высоты почти не слушался, видимо, был прошит разрывными пулями. Вода теперь оказалась так близко,

что стрелок нижней пулеметной установки убрал свой лоток и растянулся в кабине; и у него тоже ноги были в крови. Рейес закрыл глаза и говорил по-баскски. Раненые не смотрели больше на вражеские самолеты, откуда долетали последние одиночные пули; они смотрели на море. Не все умели плавать — и как поплывешь с разрывной пулей в ноге, в руке, в животе. Они были в километре от берега и в тридцати метрах над уровнем моря; внизу четыре-пять метров глубины. Неприятельские истребители вернулись, снова обстреляли их из всех своих пулеметов; трассирующие пули заштриховали небо вокруг самолета красной паутиной. Внизу, под Сембрано, утренние волны, светлые и спокойные, светились под солнцем безмятежным счастьем; самое лучшее — закрыть глаза и перевести машину в режим медленного снижения, пока она не... Внезапно взгляд Сембрано встретил глаза Поля; лицо у него было встревоженное, все в крови и все-таки, как всегда, с виду веселое. Красные штрихи пуль вычерчивались и вычерчивались вокруг залитой кровью машины; Рейес сполз с сиденья; кажется, он хрипел, над ним склонился Атиньи; кровь стекала и по лицу Поля, единственного, кого Сембрано видел прямо перед собой; но в этом щекастом лице массивного весельчака еврея чувствовалась такая жажда жизни, что пилот последним усилием попытался действовать правой рукой. Руки не было. Изо всей мочи, ногами и левой рукой, он заставил самолет скабрировать.

Поль выпустил было колеса и теперь убрал их: фюзеляж скользнул на воду, словно фюзеляж гидроплана; машина на миг замедлила движение, погрузилась в пенистые спокойные волны и опрокинулась. В самолет хлынула вода, люди забарахтались, как тонущие котятка: кабина, перевернувшаяся вверх дном, оказалась залитой не полностью. Поль бросился к дверце, попробовал открыть, как обычно, снизу вверх, ничего не вышло, и он сообразил, что самолет ведь опрокинулся, а потому ручку надо искать наверху; но дверцу заклинило — в нее попала разрывная пуля. Сембрано, приподнявшись в перевернутой кабине, пытался нашарить в воде свою руку, ловил ее, как собака кончик собственного хвоста; от раны по воде, стоявшей в кабине и уже розоватой, расплывались красные пятна, Рука была на месте. Стрелок носового пулемета высадил плексиглас своей турели, раскрывшейся, когда са-



молет капотировался. Сембрано, Атиньи, Поль и стрелок кое-как выбрались из машины; они стояли по пояс в воде, а перед ними по дороге тянулось бесконечное шествие беженцев.

Опираясь на плечо бортмеханика, Атиньи звал на помощь, но рокот волн заглушал его голос; беженцы-крестьяне разве что видели его жесты, и Атиньи знал: каждый в толпе считает, что зовут не его. Какой-то крестьянин шел вдоль самого уреза воды. На четвереньках Атиньи стал выбираться к песчаной полосе. «Помоги и м ! » — закричал он, как только крестьянин оказался от него на расстоянии голоса. «Не умею плавать», — отвечал тот. «Там неглубоко». Атиньи подбирался все ближе. Крестьянин не двигался. Когда Атиньи приподнялся в воде совсем близко от него, он проговорил: «У меня дети», — и ушел. Может, так оно и было; да и на какую помощь надеяться от человека, который терпеливо дожидается фашистов, в то время как другие бегут, не помня себя? Но, возможно, он просто остерегался: энергичные черты и светлые волосы Атиньи слишком соответствовали представлению о внешности немецкого летчика, которое могло составить у крестьянина из-под Малаги. На востоке, над самым гребнем гор, исчезали республиканские самолеты. «Будем надеяться, они пришлют авто...»

Поль и Сембрано успели вытащить раненых из самолета и вынести на песок.

Из потока людской лавы вышли несколько милисиано; неподвижно стоявшие на краю насыпи и потому казавшиеся гораздо выше ростом, чем люди в толпе, они словно бы принадлежали к тому же миру, что скалы и тяжелые кучевые облака, а не к миру живого, как будто то, что не участвовало в бегстве, не могло быть живым; они не сводили глаз с самолета, который все больше уходил на дно и опознавательная раскраска которого была не видна под язычками пламени, полыхавшими над водой, и фигуры их господствовали над лавой, что текла позади: плечи развернуты, ладони воздеты к небу, как у стражей из древних преданий. Позади, за их ногами, широко расставленными, чтобы устоять на морском ветру, катились головы, словно сухие листья; наконец милисиано спустились по склону вниз, к Атиньи. «Помогите раненым!» Шаг за шагом милисиано добрались до самолета, их остановила вода.

Один остался с Атиньи, закинул руку летчика себе на плечо.

— Ты знаешь, где есть телефон? — спросил тот.

— Да.

Милисиано составляли охрану селения; без орудий, без пулеметов они собрались защищать от итальянских мотоколонн его сложенные из галечника стены. По дороге шли те, кто по-своему были с ними заодно, сто пятьдесят тысяч безоружных людей — из двухсот тысяч жителей Малаги — те, кто готовы были на смерть, лишь бы уйти от «освободителя Испании».

Добравшись до половины склона, Атиньи и милисиано остановились. «Хватает же наглости утверждать, что пулевые раны не болят», — думал Атиньи; и от морской соли легче не становилось. Над насыпью сгорбившиеся люди все двигались к западу, кто шагом, кто бегом. Некоторые держали в кулаке у самых губ что-то непонятное, словно играли на беззвучных рожках: они ели. Короткие широкие стебельки — сельдерей, похоже. «Тут по ле», — сказал милисиано. Какая-то старуха с воплями сползла по склону вниз, протянула Атиньи бутылку. «Бедные мои сынки, бедные мои сынки». Потом увидела других внизу, и прежде чем Атиньи успел ухватить бутылку, отняла ее и скатилась вниз со всей доступной ей скоростью, выкрикивая все ту же фразу.

Атиньи снова стал карабкаться вверх, опираясь на милисиано. Мимо пробегали женщины, останавливались, вскрикивали при виде раненых летчиков и догоравшего самолета, снова пускались бежать.

«Воскресный бульвар», — подумал с горечью Атиньи, выйдя на дорогу. Сквозь топот беженцев, ритм которому словно задавал рокот моря, теперь пробивались другие звуки, знакомые Атиньи: вражеский истребитель. Толпа рассеялась: эти люди уже побывали и под бомбами, и под пулеметным огнем.

Истребитель летел по прямой к бомбардировщику, догоравшему в воде. Милисиано уже несли раненых; они успеют выбраться на дорогу раньше, чем подлетит неприятель. Надо было бы крикнуть толпе «ложись!», но никто ничего не слышал. По указаниям Сембрано милисиано укладывали раненых вдоль невысокой стены. Истребитель спустился очень низко, покружил над бомбардировщиком, выставившим из воды колеса и потрескивавшим под язычками пламени, как цыпле-

нок на вертеле, видимо, сфотографировал и полетел обратно. «Но так вот, вверх колесами, лежат теперь и их грузовики».

Проезжала повозка. Атиньи остановил ее, снял руку с плеча милисиано. Молодая крестьянка уступила ему свое место, села у ног старухи. Повозка поехала дальше. В ней было пятеро крестьян. Никто не задал ни единого вопроса, Атиньи не сказал ни слова: все живое на земле в этот миг стремилось в одном направлении.

Милисиано шагал рядом с повозкой. Через один километр дорога отклонилась от моря. По обеим сторонам в полях горели костры, от костров пахло тревогой, как пахло ею от людей, сидевших или лежавших в округ, — от неподвижных так же, как от тех, кто двигался по дороге. Обреченная масса бездомных в отчаянии продолжала миграцию, держа курс на Альмерию. Дорогу все плотней и плотней забивал транспорт. Повозка уже не продвигалась вперед.

— Далеко еще? — спросил Атиньи.

— Три километра, — ответил милисиано.

Их обгонял крестьянин, ехавший на осле: так было куда быстрее, можно и срезать по полю, и пробиться сквозь толчею.

— Одолжи мне осла. Верну в деревне около почты. Для раненых летчиков.

Крестьянин спешил, не сказав ни слова, и сел в повозку на место, которое освободил Атиньи.

Осла обгоняла молоденькая пара: юноша и девушка, возможно студенты, почти нарядные, без вещей. Они шли, держась за руки. Атиньи осознал вдруг, что до сих пор видел только нищенски одетый люд: иногда рабочих, по большей части крестьян. И у всех на плечах мексиканские накидки. Никаких разговоров: выкрики и молчание.

Дорога нырнула в туннель.

Атиньи поискал свой фонарик. Карман промок, не стоит и вытаскивать. Бессчетные огоньки — всякого рода фонари, спички, факелы, угольки — вспыхивали и потухали, желтые и красноватые, либо светились в смутных нимбах по обеим сторонам от потока, состоявшего из людей, животных, повозок. Здесь, между двумя отверстиями, в которых голубел далекий дневной свет, жил подземной жизнью лагерь великого переселения, укрытый от неприятельских самолетов. Вокруг неподвижных фонарей и ламп сновало племя те-

ней, силуэтами мелькали головы и туловища, ноги увязали в темноте; и под каменными сводами грохот повозок раскатывался подземной рекою в тишине, такой всевластной, что ей подчинились даже животные.

В туннеле Атиньи укутало жаром: то ли надыхала толпа, то ли поднималась температура. Нужно добраться до телефона, само собой, нужно добраться до телефона; но разве он, Атиньи, не умер в дороге? Разве повозка и осел не примерещились ему во время агонии, относительно спокойной? Из воды, которая заливала его в самолете, он ускользнул в этот наглухо законопаченный подземный мир. То была самоочевидность, более убедительная, чем заверения живых, ибо о ней свидетельствовали и кровь, так недавно заливавшая кабину, и душный туннель; все, что было жизнью, растворилось, словно жалкие клочья воспоминаний, в этом глубоком и сумрачном оцепенении; светящиеся точки жили в прогретой тьме своей особой жизнью глубоководных рыбешек, и сонное забытие, словно течение большой реки, относило политкомиссара Атиньи, неподвижного и невесомого, далеко за грань смерти.

Дневной свет все время приближался и внезапно при резком повороте дороги хлынул потоком, разбудил все его физическое существо, словно окатив ледяным холодом. Он был потрясен, когда снова ощутил бока осла между ног, колющую боль в ступне, все ту же навязчивую идею — добраться до телефона. Из самолета он вышел, словно из битвы, а теперь, перед тайной жизни, чувствовал, что возвращается с того света. Над лавиной беженцев до самого Средиземного моря снова простиралась охряная земля Испании, и на скалах стояли черные козы.

Показалось первое селение, толпа бурлила вокруг, оставляя у стен всевозможные предметы, подобно тому как морская волна, откатываясь, оставляет на песке гальку и обломки. Казалось, люди в самых разнообразных одеждах, изредка при оружии, заперты между стен, словно стадо в загоне. В селении шествие беженцев утратило мощь лавины — осталась всего лишь толпа.

С помощью милисиано Атиньи на осле добрался до телефонного пункта. Провода были перерезаны.

Когда раненых уложили вдоль стены, Поль стал расспрашивать оставшихся с ними милисиано, где можно найти грузовики. «На хуторах, но бензина нет!» Он добежал до ближайшего, увидел грузовик; бак был пуст. Прихватив ведро, он вернулся, все так же бегом, умудрился нацедить в ведро бензина, который оставался в уцелевшем баке самолета. На хутор он возвращался медленно, в обход нескончаемого потока крестьян-беженцев, стараясь не расплескать бензин и с минуты на минуту ожидая появления фашистских грузовиков, наверняка высланных вдогонку тем, которые они разбомбили утром. На хуторе он попытался завести грузовик: стартер был сломан.

Он побежал на второй хутор. Сембрано думал, что Атиньи нелегко будет выйти из положения среди всей этой неразберихи, а потому больше надеялся на то, что грузовик удастся найти, а не на то, что его пришлют. На втором хуторе, смахивавшем скорее на загородный дом, мебели не было; фаянсовые плитки в мавританском вкусе и псевдоромантическая стенная роспись с попугаями, казалось, дожидаются пожара; топот беженцев доносился сюда, словно из-под земли, угрожая с минуты на минуту появлением противника. Теперь Сембрано, придерживавший левой ладонью свою правую руку, которую стрелок-испанец перехватил жгутом, пришел в себя и действовал вместе с Полем. Как только они отыскали грузовик, Сембрано поднял капот; бензомагистраль была выломана. Крестьяне методично приводили грузовики в негодность, чтобы фашисты не могли их использовать. Сембрано разогнул, открыв рот и прижмурив глаза, похожий на замученного Вольтера; и походкой вставшего из нокаута боксера он, не сомкнув губ, направился к следующему хутору.

Среди поля он расслышал свое имя: к нему вприпрыжку подбегал стрелок-испанец, кругленький, похожий на ликующее яблочко, и при этом весь в крови. Атиньи уже вернулся с машиной. Республиканские истребители успели предупредить госпиталь. Сембрано и Поль устроили раненых на полу и на заднем сиденье; стрелок поместился с ранеными.

С машиной приехал врач, возглавлявший канадскую службу переливания крови.

После падения самолета ни один из летчиков словом не обмолвился о том, что вот-вот могут появиться фашисты; и скорее всего каждый из них ни на миг не забывал, подобно Атиньи, о мотоколонне, которую они разбомбили под Малагой.

Снаружи казалось, что, хотя переднее сиденье машины перегружено, заднее свободно; на каждом километре машину останавливали милисиано, хотели посадить женщин, затем, вскочив на подножку, видели раненых и спрыгивали на землю. Вначале толпа подумала, что это спасаются бегством комитеты; но, убедившись, что каждая пустая с виду машина набита ранеными, люди привыкли провожать их сумрачно-дружелюбными взглядами. Рейес хрипел. «Попробуем сделать переливание, — сказал врач Атиньи, — но надежды у меня мало». Вдоль обочины лежало столько людей, что не отличить было спящих от раненых; часто поперек дороги ложились женщины; врач выходил, говорил с ними; они заглядывали в машину, безмолвно пропускали ее и снова ложились на дорогу в ожидании следующей.

Старик, состоявший из одних сухожилий и нервов — кажется, только крестьяне бывают такие жилистые в старости, — звал на помощь, на согнутой левой руке он держал грудного младенца. Вдоль дороги немало было людей в столь же отчаянном положении; но, может статься, беспомощность детства действует на душу человека сильнее, чем любая другая беспомощность: врач приказал остановить машину, хоть Рейес и хрипел. Поместить крестьянина внутри было невозможно; он пристроился на крыле, все так же держа ребенка на левой руке, но ухватиться было не за что; Поль, устроившийся на другом крыле и державшийся правой рукой за ручку дверцы, протянул крестьянину левую, и тот за нее уцепился; водителю пришлось вести машину, привстав, потому что руки Поля и крестьянина смыкались перед ветровым стеклом.

Врач и Атиньи не могли отвести взгляд от этих рук. Во время любовных сцен в кино и театре врачу всегда становилось неловко, словно от собственной бестактности. Сейчас у него было то же ощущение: его смущало это зрелище — иностранец-рабочий, которого ждут новые бои, держит за руку старого андалузского крестьянина на глазах у толпы беженцев; врач старал-

ся не смотреть на них. И все-таки самая глубинная его суть влекла его взгляд к этим рукам — та человеческая суть, которая заставила их только что остановить машину, та, которая опознает и признает под самыми жалкими обличьями материнство, детство и смерть.

«Стойте!» — заревел какой-то милисиано. Водитель не притормозил. Милисиано взял машину на прицел. «Раненые летчики!» — крикнул водитель. Милисиано вскочил на подножку. «Стойте, проклятый!» — «Раненые летчики, говорят тебе, кретин! Слеп, что ли?» Еще две фразы, которых раненые не поняли. Милисиано выстрелил, водитель повалился на баранку. Машина чуть не врезалась в дерево. Милисиано нажал на тормоз, соскочил с подножки и зашагал по дороге.

В машину сунулся какой-то анархист в красно-черном кепи, с саблей на боку. «Почему он остановил вас, этот скот?» — «Не знаю», — ответил Атиньи. Анархист соскочил наземь, бегом догнал милисиано. Оба скрылись под деревьями, темно-зелеными в солнечном свете. Машина стояла. Никто из раненых вести не мог. Анархист появился снова, словно выйдя из-за кулис, сабля у него в руке была красной. Он подошел к машине, вынес убитого водителя, положил на обочине, сел на его место и повел машину, не задав ни одного вопроса. Минут через десять он обернулся, показал окровавленную саблю.

— Сволочь. Враг народа. Больше не будет.

Сембрано пожал плечами, он устал от смерти. Анархист, оскорбленный, отвернулся.

Он вел, подчеркнуто не глядя больше на своих соседей; вел не только осторожно, но стараясь, чтобы машину подбрасывало как можно меньше.

— Ничего себе, милисиано местной выделки! — сказал по-французски Поль; лицо его за стеклом было совсем близко от черно-красного кепи. — Когда кончит дуться, он еще выскажется!

Атиньи глядел на лицо анархиста, неприязненное и замкнутое перед ветровым стеклом, на котором смыкались две руки.

Наконец они добрались до госпиталя.

До госпиталя, в котором уже не было людей, но оставалась аппаратура, перевязочные материалы, всяческие свидетельства недавних человеческих мук. В расстеленных, часто окровавленных койках, сейчас

не занятых, но со свежими следами присутствия, казалось, еще недавно лежали не люди — живые или умирающие, каждый со своим лицом, — но сами раны: там, где лежала рука, голова, нога, осталось пятно крови. Тяжелый стоячий электрический свет придавал большой палате ирреальность, ее монотонная белизна казалась бы приснившейся, если бы пятна крови и три человеческих тела не заявляли — жестоко и непреклонно — о присутствии жизни: трое нетранспортабельных ожидали фашистов, у каждого под рукою был револьвер.

Эти люди могли ждать только смерти от своих ран или от рук врага, если не прилетят санитарные самолеты. Они молча глядели, как входят крупный курчавый Поль, Сембрано с выпяченной губой, остальные, лица которых превратились в маски боли; и палату наполнило братство потерпевших крушение.

## *Глава            вторая*

*Гвадалахара.*

Сорок тысяч итальянцев — полностью моторизованные подразделения, танки и самолеты — прорвали у Вильявисьосы республиканский фронт. Они намеревались спуститься долинами рек Ингрия и Тахуна и, захватив Гвадалахару и Алькала-де-Энарес, соединиться с южной армией Франко, остановившейся в Арганде; в этом случае Мадрид оказался бы отрезанным от всех коммуникаций.

Итальянцы, еще не остывшие после взятия Малаги, обнаружили, что против них не наберется и пяти тысяч человек. Но в Малаге было ополчение и воевало оно, как в Толедо; здесь была армия и воевала она, как в Мадриде. Одиннадцатого числа испанцы, поляки, немцы, франко-бельгийские батальоны и гарибальдийцы из первой бригады — один против восьми — приостановили натиск итальянцев с двух сторон: на Сарагосской дороге и на Бриуэгской.

Как только из-под снеговых туч выскользнул первый проблеск тусклого света, снаряды пошли крошить рощицы и редколесье, где залегли немцы из батальона Эдгара-Андре и новички-добровольцы, спешно отправленные на Мадридский фронт. Оливковые деревья, вырванные с корнем от взрыва одного-единст-



венного снаряда, целиком взлетали в воздух, устремляясь к тучам, откуда вот-вот посыплется снег, и, словно ракеты, падали вниз ветвями вперед, шелестя, как бумага, когда ее комкают.

Нахлынул первый эшелон итальянцев. «Товарищ и , — сказал кто-то из политкомиссаров, — в ближайшие десять минут решится судьба республики». Все пулеметчики из взвода станковых пулеметов погибли у своих огневых средств, успев за миг до смерти снять замки. Республиканцам удалось выстроить под огнем оборонительный рубеж и укрепить фланги.

Иногда фашистские снаряды не взрывались.

Комиссар новой роты поднялся на ноги.

— Рабочим, расстрелянным в Милане за саботаж при производстве снарядов, — ура!

Все встали, рабочие-оружейники без убежденности: они-то знали, что снаряды взрываются не всегда.

И тут появились фашистские танки.

Но интербригадовцы и подрывники привыкли к танкам со времени битвы на Хараме. Когда боевые машины вышли на открытую местность, немцы залегли в подлеске, и выбить их оттуда было невозможно. На танках имелись пулеметы, но и у республиканцев тоже они имелись; танки, словно гигантские собаки, впустую тыкались то туда, то сюда перед тесными рядами деревьев; время от времени к снеговому тучам взлетал молодой дубок.

Из непрерывно простреливавшегося леса бельгийские пулеметы ряд за рядом укладывали наземь наступавших фашистов. «Пока хватит свинцового гороха, будет порядок!» — орал командир пулеметчиков под грозовой грохот орудий, выстрелов, пулеметных очередей, разрывных пуль, под пронзительный свист танковых снарядов и тревожное гуденье самолетов, которым не удавалось выбраться из слишком низких туч.

Вечером итальянцы пустили в ход огнеметы, но толку от них было не больше, чем от танков.

Двенадцатого итальянская ударная группа снова пыталась атаковать противника и наткнулась на части пятого полка, на бригаду Мануэля, на французов и немцев. К концу дня итальянцы сгруппировались на небольшом участке местности, их подъездные пути были

закупорены; доставка тяжелых снарядов и продовольствия была прервана, и начался снегопад. Дорога оставалась под угрозой, но и сама итальянская армия была отнюдь не в лучшем положении.

Тринадцатого снегопад прекратился; теперь бойцы погибали от холода.

Ночью прибыло подкрепление: испанские бригады из Мадрида, интербригадовцы, карабинеры Хименеса. Теперь на одного республиканца приходилось только два итальянца. Интербригадовцы выходили на линию огня, если не хорошо вооруженными, то хотя бы экипированными; параллельно, по другой стороне дороги, к фронту двигались люди из бригады Мануэля и из бригады Листера<sup>1</sup> — они были в альпаргатах. За три месяца совместных боев Сири и Маренго (теперь служившие во французско-бельгийском батальоне) ни разу еще не чувствовали такой близости к испанцам, как в тот ледяной мартовский вечер, когда народная армия сквозь снежную тьму в изодранных альпаргатах шагала к горизонту, сотрясаемому взрывами. Иногда слышался более торопливый лай тяжелого орудия; ему отвечало множество других — так некогда перелаявались собаки на гвадалахарских хуторах; чем громче грохотали орудия, тем теснее жались друг к другу люди.

Четырнадцатого марта войска пятого полка и Мануэля атаковали и захватили Трихузке. На другом фланге противник укрылся во дворце Ибарра, за каждым окном дворца был ручной пулемет. С двух часов пополудни дворец атаковали бойцы из французско-бельгийского батальона и гарибальдийцы.

Шестьдесят процентов гарибальдийцев были старше сорока пяти.

В надвигавшихся сумерках сквозь посыпавшийся снова снег им видны были между деревьями только язычки пламени, вырывавшиеся из приземистого здания дворца Ибарра. Темп стрельбы замедлился; они снова слышали отдельные выстрелы. И невероятной силы голос, соотносившийся с человеческим, как орудийный выстрел с винтовочным, загремел по-итальянски:

---

<sup>1</sup> Листер Энрике — один из известнейших республиканских командиров и организаторов пятого полка.

«Товарищи, рабочие и крестьяне Италии, почему вы сражаетесь против нас? Когда вам не слышен больше этот громкоговоритель, любой грохот, который его перекрывает, означает смерть. Неужели вы будете умирать за то, чтобы помешать рабочим и крестьянам Испании жить свободно? Вас обманули. Мы...»

Интенсивный огонь артиллерии перекрыл голос республиканского громкоговорителя. Четырехугольный, похожий на лежащую на боку нефтяную вышку, размерами превосходивший грузовик, на котором он был установлен, громкоговоритель стоял почти в одиночестве за частоколом леса, покинутый, но живой, ибо он говорил. И голос этот, гремевший на два километра, голос, которым впору было бы возвещать о светопреставлении, до крайности тягучий, чтобы легче было разбирать слова, выкрикивал в безлюдье сквозь сгущавшуюся тьму, сквозь деревья, ветки которых были срезаны пулями, сквозь нескончаемый снег:

«Товарищи, те из ваших, кто попал к нам в плен, скажут вам, что «красные варвары» открыли им объятия, еще в крови от ран, вами же нанесенных...»

Сквозь снег и лес, заполненный голосом из громкоговорителя, шагал фашистский патруль. Очередной залп — один из фашистов упал.

— Бросайте оружие! — закричали по-итальянски в момент затишья.

— Прекратите огонь, болваны чертовы! — заорал офицер. — Этомы!

— Бросайте оружие!

— Говорят вам, это мы!

— Знаем. Бросайте оружие!

— Сами бросайте.

— При счете «три» стреляем.

До патруля стало доходить, что итальянцы, отвечавшие им, — не «свои».

— Раз. Сдавайтесь!

— Никогда!

— Два. Сдавайтесь!

Патруль побросал оружие.

Гарибальдийцы атаковали дворец с одной стороны, французы и бельгийцы — с другой. Над лесом взмыла ракета, высветила черные сучья среди снежных вихрей. Деревце с низкой плотной кроной подскочило

вверх. Пока оно опускалось вдали, шурша ветвями, Сири увидел, что пятеро его товарищей перешли на бег, четверо упали, у соседа справа исчезла голова, пули изрешетили землю, тип, показывавший на что-то пальцем, отдернул окровавленную руку. Сири не успел еще осознать, что с исчезновением дерева оказался под огнем из одного дворцового окна, а ноги уже уносили его, и мышцы спины напряглись, словно в попытке защититься от пуль. Внезапно в голове у него просветлело, и он упал ничком; перед ним лежал какой-то лейтенант, приподнялся было и снова повалился с удивленным стоном: «О-о...» — «Что с ним? — спросил Сири, ни к кому не обращаясь. — Ранен?» — «Убит», — ответил чей-то голос. Вместе с товарищами Сири добрался до стены дворца; но взрыв, вырвавший из земли дерево, обнажил основательный кус местности, на котором и сосредоточился огонь из двадцати окон, украшенных ручными пулеметами. Бойцы отползали назад, прижимаясь к земле, словно все, как один, были ранены в живот. Один из них волочил другого, неуклюже, медлительно, словно майский жук — добычу, с гримасой ужаса на лице, но все-таки не бросал. Сири полз, прижимаясь головой к левой руке, и слышал сквозь грохот орудий, винтовок, пулеметов и разрывных пуль почти неразличимое тиканье своих часов; пока он слышит эти звуки, он не убит. У него было смутное ощущение провинности, которую нужно скрыть; оно было сродни страху перед сельским полицейским, который Сири испытывал в детстве, когда отправлялся воровать груши. Наконец он дополз до укрытия одновременно с бойцом, волочившим раненого.

Маренго был в десяти метрах от стены, прикрывавшей дворец, оттуда можно было метать гранаты. Во тьме и в снегу вражеские выстрелы сновали над гребнем стены, по земле, за окнами, словно язычки пламени во время пожара. Толстый Маренго стрелял, стрелял туда, где сновали рыжие светляки и откуда слышался треск, и ему казалось, что он спокоен. Кто-то уклонился к нему сзади, это был капитан. «Не ори так, ты выдаешь себя». Один из интербригадцев привалился к стене дворца, прижимая к ней обе ладони: скорее всего, убит. Маренго стал двигаться вперед, стреляя на ходу; товарищи справа от него тоже двигались вперед сквозь треск ручных пулеметов, грохот гранат и снарядов, бессмысленные выкрики. Еще одна

ракета среди деревьев; под нею судорожные прочерки гранат, ветки, чья-то оторванная рука с растопыренными пальцами. Винтовка Маренго раскалилась. Он положил ее на снег и стал метать гранаты, которые передавал ему раненый интербригадовец. Рядом был еще один раненый, он то закрывал, то открывал рот, словно выброшенная на берег рыба. Трое бойцов стреляли. Еще два метра, и он оказался у самой стены — в руках гранаты, в зубах сигарета: он думал, что курит.

— Что они там копаются слева? — крикнул сквозь снегопад чей-то властный голос. — Стреляйте по-прежнему!

— Убиты о н и , — ответил другой голос.

Фашисты похрабрее пытались защищать стену, а снайперам их казалось, что они дают промах за промахом, потому что гарибальдийцы и бойцы из французско-бельгийского батальона, разъяренные, осатаившие от боя и от снегопада одновременно, бросались на стену и, подстреленные, падали не сразу, а лишь несколько секунд спустя после выстрела. То из лесу, то из дворца доносился вдруг тревожный гомон; а потом наступило секундное затишье, и при вспышке ракеты фашисты и подонки, на вербованные по сицилийским закоулкам, увидели сквозь снежную синеву, что на них идут самые старые из гарибальдийцев, седоусые ветераны. Затем снова начался грохот. И то ли наступившие добрались наконец до стены, то ли на войне тоже бывает иногда таинственный миг безмолвия, которое внезапно охватывает, например, всех посетителей кафе или участников какого-то собрания, но, казалось, неистовство взрывов взмыло куда-то вверх вместе со снежными вихрями, которые гнал в черное небо разъяренный ветер. И вот (люди при громкоговорителе выжидали, когда наступит эта тишина) фашисты, гарибальдийцы и бойцы французско-бельгийского батальона услышали:

«Слушайте, парни. Нам наврали! Нам наврали! Анджело говорит. Есть у них танки, сам видел! И пушки есть! И генералы, они нас допрашивали!

И не расстреливают они нас. Это я, Анджело! Не расстрелян я! Как раз наоборот. Нас посадили в лужу, и всех перебьют! Переходите, ребята, переходите!»

Сири, прижавшийся к стене, слушал. Гарибальдийцы слушали; Маренго и бойцы из французско-бель-

гийского батальона угадывали. Ответом были очереди из всех пулеметов дворца. Ветер спал, снова тяжело повалил безучастный снег.

Сири стоял у самого угла стены. Дальше, под деревьями, виднелись сторожки. Те, что справа, принадлежали республиканцам, те, что слева, — фашистам. И Сири слышал голоса вчерашних пленных, сражавшихся теперь вместе с гарибальдийцами; после громкоговорителя голоса эти казались слабыми, как у раненых, и они кричали сквозь снегопад:

— Карло, Карло, не валяй дурака, не оставайся там. Это я, Гвидо. Тебе нечего бояться, я все устрою.

— Банда подонков, банда изменников!

Команда, пулеметная очередь.

— Бруно, свои, не стреляй!

Грохот взмыл ввысь, снова обрушился на землю вместе со снежными вихрями, словно ветер, заправлявший полетом хлопьев, заправлял и ходом боя. Маренго бросил последнюю свою гранату, снова схватил винтовку, но ее вырвало у него из рук, и в тот же миг трое его товарищей взлетели в воздух, охваченные пламенем, и руки их были прижаты к телу. Маренго подбежал к стене, прижался к ней, подобрал винтовку товарища, обеими руками вцепившегося в камни.

Снегопад прекратился.

И снова внезапно воцарилась тишина, словно стихии были сильнее войны, словно умиротворенность, которая нисходила с зимнего неба, уже освободившегося от снежной пелены, передалась бою. В широком проеме между тучами появилась луна, и снег, казавшийся голубым при вспышках ракет, оказался белым. Следом за интербригадовцами по местности, перегороженной низенькими уступчатыми стенами, шли в штыковую атаку польские добровольцы. Не массивованно, а небольшими отдельными группами, хоронясь за низенькими стенами, полузанесенными снегом. Бойцы французско-бельгийского батальона и гарибальдийцы не могли разглядеть их, но когда те открывали огонь, ясно слышали выстрелы; люди эти были почти невидимы, но выстрелы звучали все ближе, упрямо вплетаясь в грохот залпов и взрывов, словно сквозь занавес из снежных хлопьев, умиротворенно просвечивавших под луной, пробивалась потаенная атака, и холм казался широкой снежной лестницей, по которой поднимают-

ся, словно в легенде, таинственные ратники, посланцы богов.

Издали до Сири доносился непонятный лай испанского громкоговорителя, теперь говорил старик Барка, давний приятель Мануэля и Гарсиа.

И вдруг Сири, и Маренго, и бойцы французско-бельгийского батальона, и сражавшиеся бок о бок с ними гарибальдийцы подумали, что сходят с ума: из дворца доносился гимн, хорошо им знакомый. Интербригадовцы вели атаку с трех сторон, и, возможно, несколько их рот пробилось во дворец в то время, когда остальных приостановила стена; но все помнили, как во время битвы на Хараме пели «Интернационал» фашисты, которые затем внезапно обрушились на траншеи республиканцев. «Сперва бросьте оружие!» — крикнули нападавшие. Ответа не последовало: обстрел продолжался, плотность огня пошла на спад, снег снова повалил гуще. Но за снежной завесой красные огоньки во дворцовых окнах погасли, а пение продолжалось. По-французски, по-итальянски? Не разобрать ни слова... По дворцу больше не стреляли. И громкоговоритель крикнул по-испански сквозь деревья без ветвей: «Прекратить огонь! Дворец Ибарра взят!»

Всем казалось, что уже наступило утро следующего дня.

### *Глава третья*

*Следующий день к вечеру,  
Левантийский фронт.*

Полевой телефон был установлен в укрытии. Маньен, прижимая к уху трубку, глядел, как «Селезень» заходит на посадку в пронизанной закатным солнцем пыли.

— Говорит оперативное управление. Есть у вас две машины в боевой готовности?

— Да.

Машины, каждодневно совершавшие боевые вылеты в Теруэль и ремонтировавшиеся скверными запчастями, становились такими же ненадежными, как во времена Талаверы; аварийной команде приходилось все время возиться с карбюраторами.

— Майор Гарсиа посылает к вам крестьянина из северной части Альбаррасина, он нынче ночью перебрался через линию фронта. Говорит, около их деревни вроде есть аэродром и полно самолетов. Подземных ангаров нет.

— Не верю я в их подземные ангараы. Да и в наши не верю. О чем и написал во вчерашнем донесении. Аэродром на Сарагосской дороге мы бомбили впустую не потому, что самолеты под землей, а потому, что они на закамуфлированных аэродромах.

— Посылаем к вам крестьянина. Продумайте задачу и звоните нам.

— Алло!

— Алло!

— Кто ручается за крестьянина?

— Майор. И его профсоюз, насколько я знаю.

Через полчаса появился крестьянин в сопровождении унтер-офицера из управления. Взяв крестьянина под руку, Маньен зашагал вместе с ним вдоль аэродрома. В закатном свете завершались пробные полеты.

До самых холмов над безлюдными просторами было мирное вечернее небо, мир царил над морем и над аэродромами. Где Маньен уже видел это лицо? Повсюду: такие лица были у испанских карликов. Но крестьянин был крепкого сложения и ростом выше Маньена.

— Ты перешел линию фронта, чтобы предупредить нас; спасибо от всех.

Крестьянин улыбнулся мягкой улыбкой горбуна.

— Где находятся самолеты?

— В лесу.

Крестьянин поднял указательный палец.

— В лесу.

Он поглядел на пустые рвы между оливковыми деревьями, где обычно укрывались самолеты интернациональной эскадрильи.

— В таких же рвах, точь-в-точь. Но там они поглубже, лес-то настоящий.

— Опиши аэродром.

— Это откуда они взлетают?

— Да.

Крестьянин огляделся.

— Не такой, как здесь.

Маньен вытащил блокнот. Крестьянин нарисовал аэродром.



— Очень узкий?

— Не широкий. Но солдаты работают днем и ночью. Расширяют.

— В каком направлении?

Крестьянин зажмурился, вытянул руку, как флюгер.

— Восточного ветра.

— А-а... Тогда вот что: лес, он западнее аэродрома? Ты уверен?

— Будь спокоен.

Маньен посмотрел на ветроуказатель над оливковыми деревьями: сейчас ветер дует с запада. На маленьком поле самолеты должны взлетать против ветра. Если в Теруэле ветер тоже западный, в случае атаки эти самолеты должны были бы взлетать по ветру.

— Ты помнишь, откуда ветер дул вчера?

— С северо-запада. Говорили, будет дождь.

Значит, самолеты еще на месте, скорее всего. Если ветер не переменится, все пройдет как надо.

— Сколько там самолетов?

У крестьянина на лоб спадала прядь завитком, как у попугая. Он снова поднял указательный палец.

— Я-то — сам понимаешь, я про себя говорю — насчитал шесть маленьких. Ну и другие из наших приглядывались. Из них кто что говорит, но, самое малое, столько же больших. Самое малое. Может, и побольше.

Маньен подумал. Достал было карту, но, как он и предполагал, крестьянин не умел ее читать.

— Это не мое дело. Но ты возьми меня к себе в машину, и я тебе покажу. Честь по чести.

Маньену стало понятно, почему Гарсиа поручился за крестьянина.

— Ты уже летал в самолете?

— Нет.

— Не по себе не будет?

Крестьянин не очень понял.

— Боязно не будет?

Крестьянин подумал.

— Нет.

— Поле узнаешь?

— Я двадцать восемь лет прожил в этой деревне. И в городе работал. Ты мне найдешь Сарагосскую дорогу, я тебе найду поле. Будь спокоен.

Маньен отправил крестьянина в замок и снова позвонил в оперативное управление.

— Судя по всему, там у противника около десятка машин. Самое лучшее, конечно, было бы бомбить на рассвете; но завтра утром у меня будет два бомбардировщика и ни одного истребителя: все задействованы над Гвадалахарой. Район я знаю неплохо, на карту ставится многое. В это время погода там редко бывает ясной... Мое предложение: в пять утра звоню в Сарьон на метеостанцию, и если погода хоть сколько-то облачная, выйду в воздух.

— Полковник Варгас предоставляет вам право принять решение самостоятельно. Если вы выйдете в воздух, он придаст вам машину капитана Мороса. Кстати, учтите, возможно, в Сарьоне есть истребители прикрытия.

— Хорошо, спасибо... Да, вот что: ночной вылет — это превосходно, но на нашем аэродроме трасса не освещена. Есть у вас фары?

— Нет.

— Вы уверены?

— У меня весь день их требуют.

— А в министерстве?

— То же самое.

— Н-да... Может, есть автомашины?

— Все задействовано.

— Ладно. Попробую выкрутиться.

Он позвонил в военное министерство: тот же ответ.

Итак, нужно вылетать ночью с маленького неосвещенного аэродрома. Если поставить с трех сторон автомашины с включенными фарами, еще куда ни шло... Оставалось раздобыть машины.

Маньен взял свою и помчался сквозь наступившую темноту в комитет ближайшей деревни.

Помещение комитета находилось на первом этаже и было завалено всевозможными конфискованными предметами: тут были швейные машинки, картины, люстры, кровати, какая-то непонятная груда, из которой торчали рукоятки разных инструментов, и в свете ламп, стоявших на столе в глубине помещения, все это придавало ему вид аукционного зала, где аккуратно разложенные вещи всегда кажутся награбленными. Перед столом один за другим проходили крестьяне. Кто-то из членов комитета подошел к Маньену.

— Мне нужны машины, — сказал тот, пожав ему руку.

Крестьянин безмолвно воздел руки к небу. Маньен хорошо знал этих деревенских комитетчиков: чаще всего пожилые, серьезные, ушлые (половину своего времени они тратили на то, чтобы защитить комитет от любителей погреть руки) и почти всегда дельные.

— Дело вот какое, — сказал Маньен, — мы оборудовали новое летное поле. У нас пока нет осветительной аппаратуры, то есть нет света для ночных взлетов и посадок. Есть только один выход: обозначить границы поля с помощью автомобильных фар. В управлении автомашин нет. В военном министерстве — тоже. У тебя машины есть. Вот и одолжил бы мне на нынешнюю ночь.

— Мне бы самому нужно дюжину, а у меня пять штук, из них три — малые грузовички. Одалживать-то нечего. Одну — еще куда ни шло...

— Нет, одной мало. Если наши самолеты окажутся над Терузлем, они остановят фашистов. Иначе там будут фашисты, а ополченцев сотрут в порошок. Понятно тебе? Вот мне и нужны машины, хоть грузовички, хоть что угодно. Для товарищей, которые там воют, это вопрос жизни и смерти. Слушай, как используются твои машины?

— Да не в этом дело!.. Понимаешь, мы не имеем права давать взаймы машины без водителей, а водители сегодня отработали по пятнадцать часов, ну и...

— Пускай отсыплются в машинах, я не против. Посажу за руль наших механиков. Если ты хочешь, чтобы я поговорил с ними, поговорю, уверен, они согласятся; и согласятся, если ты сам объяснишь, как обстоит дело.

— В котором часу тебе понадобятся машины?

— В четыре утра.

Крестьянин отошел, посоветовался с двумя другими у стола с керосиновыми лампами, вернулся к Маньену.

— Сделаем, что сможем. Обещаю три. Удастся больше — больше.

Маньен отправился в путь: одна ночная деревня за другой; помещения, заваленные всякой всячиной, и просторные помещения, выбеленные известью; стоявшие там крестьяне в черных блузах отбрасывали на стены причудливые тени; площади, колоритом напоминавшие театральные декорации и час от часу все более безлюдные, освещались окнами таверн да последними газовыми рожками, выплескивавшими на фиолетовые купола покинутых церковей светящиеся

блики. Всего в деревнях было двадцать три машины. Маньену обещали девять.

Когда он снова оказался в первой деревне, было полтретьего ночи. В слабом свете из окон комитета он увидел людей, тащивших мешки; они двигались цепочкой, как докеры, загружающие судно углем, и пересекали дорогу, направляясь в аюнтамьенто; водителю Маньена пришлось остановить машину. Один из них прошел у самого капота, согнувшись под половиной освежеванной бычьей туши.

— Что это? — спросил Маньен крестьянина, сидевшего у двери.

— Добровольцы.

— Для какой работы?

— Доставка продовольствия. Пришлось вызывать добровольцев. Наши машины уехали к летчикам, надо помочь Мадриду.

Когда Маньен вернулся на аэродром, появились первые машины. К половине пятого на месте было двенадцать легковых машин и шесть полугрузовых и при них водители. Некоторые захватили с собой фонари — на всякий случай.

— Может, еще какая работа требуется?

Один, из добровольцев сыпал бранью, непонятно почему.

Маньен расставил машины, распорядился, чтобы водители включили фары только тогда, когда услышат гул самолетных моторов, и вернулся в замок.

Его ждал Варгас.

— Маньен, Гарсиа сказал, на том поле больше пятнадцати машин.

— Тем лучше.

— Нет: значит, они для Мадрида. С позавчерашнего дня бои ведутся на гвадалахарском направлении, вам известно. Они прорвали фронт у Вильявисьосы; мы сдерживаем их на направлении Бриуэги. Они хотят Ударить по Арганде.

— Кто — они?

— Четыре итальянских мотодивизии, танки, самолеты, все!

В прошлом месяце, с шестого по двадцатое, в самой кровавой за всю войну битве немецкий штаб попытался захватить Арганду ударом с юга.

— Я вылетаю на рассвете, — сказал Варгас.

— До скорой встречи, — ответил Маньен, притро-  
нувшись к деревянной рукоятке своего револьвера.

Стоял тот холод, какой бывает в пять утра, холод, предшествующий рассвету. Маньену хотелось кофе. Он поставил машину перед замком, беленые стены которого во тьме казались синеватыми, и ее фары освещали фруктовый сад, где уже мелькали между деревьями фигуры «пеликанов», подбиравших апельсины, выбеленные росой, словно инеем, и блестящие. На краю взлетного поля в темноте ждали автомашины.

На поверке Маньен объявил боевое задание командирам самолетов, приказав передать его экипажам, когда машины будут в воздухе. Убедился, что у всех стрелков есть перчатки. За его автомашиной — только что ее фары освещали апельсины в саду, теперь ей предстояло до самого вылета обеспечивать связь между самолетами — по полю, еще хранившему последние запахи ночи, шли члены экипажей, неуклюжие, как щенята, в своих летных комбинезонах.

Самолеты ждали, в ночи видны были только крылья, и то неотчетливо. Люди, которых внезапная вспышка света застала врасплох, а ветер, исхлеставший им лица водой во время умыванья, не столько разбудил, сколько раздражил, брели безмолвно. В стыни ночного вылета каждый знает, что идет навстречу своей судьбе.

При свете карманных фонариков механики, уже приступившие к работе, гоняли моторы первого самолета. В глубине поля под безучастным ночным небом зажглись две фары.

Потом еще две: водители услышали гул моторов. Маньен не столько видел, сколько угадывал холмы вдалеке, а над собою высокий нос бомбардировщика; рядом, над синеватым кругом винта, торчало крыло еще одного самолета. Зажглись еще две фары: три машины обозначили одну сторону поля. За полем были мандариновые рощи, за ними, в том же направлении — Теруэль. Там, где-то возле кладбища или в горах, где лед сковал быстрые речки, ждали атаки колонны анархистов и интербригада, кутались в свои полумексиканские одеяла.

Стали загораться высохшие апельсины. По сравнению с фарами эти шальные рыжие огоньки светились

слабо, но временами ветер проносил через все поле их горьковатый запах, словно струйку дыма. Одна за другой зажигались остальные фары. Маньену вспомнился крестьянин, тащивший на спине половину освеженной бычьей туши, вспомнились остальные добровольцы, загружавшие склад, словно трюм корабля. Теперь фары включались сразу с трех сторон, их соединяли огоньки пылавших апельсинов, вокруг сновали люди в шинелях. Когда на мгновение моторы выключились, со всех сторон послышалось нестройное урчанье восемнадцати деревенских автомашин. Внезапно взревели одновременно моторы всех самолетов, которые укрывались в огромном сгустке тьмы, не тронутым световой штриховкой, и которые нынче ночью, казалось, посылали на защиту Гвадалахары все крестьянство Испании.

Маньен ушел в воздух последним. Три теруэльских самолета покружили над полем, каждый высматривал ориентирные огни остальных, чтобы занять свое место в строю. Внизу трапеция взлетной площадки, теперь совсем крохотная, размывалась в ночной бескрайности полей, которая, казалось Маньену, вся устремлялась к этим жалким огням. Три бомбардировщика разворачивались. Маньен включил карманный фонарик, чтобы перенести набросок крестьянина на карту. Из люковой пулеметной установки несло холодом. «Через пять минут придется надеть перчатки: не смогу держать карандаш». Три машины выстроились в линию полета. Маньен взял курс на Теруэль. В кабине, где все еще пахло горелыми апельсинами, было по-прежнему темно, восходящее солнце высветило развеселую багровую физиономию стрелка верхней пулеметной установки.

— Привет, начальство!

Маньен глаз не мог отвести от этой пасти, широко раззявившейся в улыбке, от зубов со щербинами, странной розовых в свете зари. В самолете становилось светлее. На земле еще стояла ночь. По мере приближения самолетов к первой горной цепи прорезывался робкий рассвет; внизу стали вырисовываться разводы примитивной карты. «Если их самолеты еще не в воздухе, мы прилетим как раз вовремя». Теперь Маньен уже различал крыши крестьянских домов: на земле занимался день.

Маньен столько раз вылетал с боевыми заданиями на Теруэльский фронт, Малаккским полуостровом вытянувшийся к югу, что курс был у него в кончиках пальцев, и он сверялся с навигационными приборами лишь для очистки совести. Бортстрелки и бортмеханики, напряженные, как всегда перед боем, глядели то вниз на Теруэль, то — исподволь — на крестьянина, и глаза их схватывали то хохолок на упрямо опущенной голове, единственной непокрытой среди шлемов, то выражение тревоги у него на лице, когда он вдруг поднимал голову, покусывая губы.

Неприятельские зенитки молчали: самолеты были прикрыты облаками. На земле, должно быть, совсем рассвело. Справа от Маньена в его поле зрения был «Вольный Селезень», которым командовал Гарде, слева — испанский бомбардировщик капитана Мороса; в безмятежном пространстве между морем облаков и солнцем они летели, чуть поотстав от «Марата», но в строю составляли с ним единое целое, как руки с туловищем. Всякий раз, когда под машиной проносилась стая птиц, крестьянин поднимал указательный палец. Там и сям черными кряжами возникал Теруэльский хребет, справа виднелся массив, который летчики окрестили Снежной горой, в свете зимнего солнца белизна его отливала блеском над более матовой белизной облаков. Маньен уже привык к этой первозданной умиротворенности, царившей над людским неистовством; но на сей раз люди не потерпели поражения. Безучастное море облаков было не сильнее, чем эти самолеты, бок о бок ушедшие в воздух, бок о бок летевшие сражаться с одним и тем же противником, объединенные дружбой так же, как опасностью, скрывавшейся повсюду под безмятежным небом; море облаков было не сильнее, чем эти люди, все как один готовые умереть не за себя, а за других, ведомые стрелкой компаса к одной и той же по-братски разделенной неотвратимости. Возможно, под облаками Теруэль просматривался бы лучше; но Маньен не хотел снижаться, чтобы не поднимать тревогу. «Сейчас полетим над твоими местами!» — прокричал он в ухо крестьянину; он догадывался, что тот не представляет себе, как указывать путь, если ничего не видно.

До самой гряды Пиренеев, поблескивавшей вдали, виднелись чередовавшиеся удлинненные пятна, похожие на темные озера в снегу; пятна все приближа-

лись: это была земля. И снова оставалось только ждать.

Самолеты кружили с грозной неспешностью боевых машин. Теперь они были над неприятельскими позициями.

Наконец на облака словно бы напоззло серое пятно. Пятно это пропоролы какие-то кровли, они тоже скользнули от одного края пятна к другому, словно неподвижные золотые рыбки; затем прожилками вычертились тропинки; все это не имело объема. Еще несколько крыш — и огромный мертвенно-белесый круг: арена для боя быков. И тотчас разрыв между облаками заполнился множеством чешуек, желтых и рыжих в свинцово-бледном свете: это были крыши. Маньен схватил крестьянина за плечо.

— Теруэль!

Тот не понимал.

— Теруэль! — проорал Маньен ему в ухо.

Город все ширился в сером разрыве, одинокий под облаками, курчавившимися до самого горизонта между рекою, полями и ниткой железной дороги, все более четкой.

— Это и есть Теруэль? Это Теруэль?

Потряхивая хохолком, крестьянин вглядывался в это подобие карты, размытое и жеваное.

На потемневшем фоне полей к северу от кладбища, которое атаковали силы республиканцев, выделялась Сарагосская дорога, тусклая под низким небом. Удостоверившись, что идет правильным курсом, Маньен снова вывел машину за облачный слой.

Выдерживая курс, самолеты летели над невидимой теперь Сарагосской дорогой. Деревня крестьянина была правее, в сорока километрах. Тот фашистский аэродром, который впустую бомбили вчера, — в двадцати. Возможно, они летят как раз над ним. Маньен мысленно высчитывал пройденное расстояние по времени полета с точностью до секунды. Если они не отыщут второй аэродром очень быстро, если будет подан сигнал тревоги, им сядут на хвост неприятельские истребители из Сарагосы и Каламочи, те, что базируются на закамуфлированных аэродромах, а если самолеты есть и на здешнем, они преградят им обратный путь. Единственное прикрытие — облака. Тридцать один километр от Теруэля, тридцать шесть, тридцать восемь, сорок. Самолет спикировал.



Как только машина вошла в молоко, возникло ощущение, что бой вот-вот начнется. Маньен смотрел на высотомер. В этой части фронта холмов уже нет, но не выжидают ли истребители под облачным слоем? Крестьянин прижимался носом к плексигласу. Полоса дороги стала заметнее, она была словно бы прочерчена по туману, затем появились рыжие деревенские дома, словно пятна крови, засохшие на корпии облаков. Ни истребителей, ни зениток еще не было видно. Но восточнее деревни виднелось несколько удлинённых полей, и все они с одной и той же стороны были окаймлены небольшим лесом.

На разворот времени не оставалось. Все вытянули головы вперед. Самолет пролетел мимо церкви. Он шел параллельно главной улице. Маньен снова схватил крестьянина за плечо, показал на кровли, мчавшиеся под ними, словно стадо. Крестьянин вглядывался, напрягая все свои силы, рот его был приоткрыт, слезинки одна за другой скатывались по щекам: он ничего не узнавал.

— Церковь! — крикнул Маньен. — Улица! Сарагосская дорога!

Крестьянин узнавал места, когда Маньен их показывал, но сам ориентироваться не мог. Лицо его, по которому текли слезы, было неподвижно, но подбородок судорожно дергался.

Остався единственный выход: выбрать перспективу, которая была бы для него привычной.

Земля завалилась справа налево, словно утратив равновесие, и резко приблизилась к самолету, выпустив ему навстречу стаи птиц: Маньен снизился до тридцати метров.

«Селезень» и испанский самолет последовали за ним.

Местность была плоская; наземной обороны Маньен не опасался; что же касается пристрелочных орудий, даже если поле прикрывается зенитной батареей, она не может бить так низко. Он чуть было не приказал стрелкам открыть огонь, но побоялся, что крестьянин совсем растеряется. На бреющем полете они шли над лесами, перспектива была, как из окна гоночной машины. Внизу в панике разбежался скот. Если бы можно было умереть оттого, что вглядываешься и выискиваешь, крестьянин был бы уже мертв. Он дергал Маньена за комбинезон, тыча куда-то пальцем.

— Что? Что?

Маньен сорвал с головы шлем.

— Там!

— Что? Господи!

Крестьянин толкал его влево изо всех сил, словно Маньен был самолетом, и, вода согнутым пальцем по плексигласу фонаря, показывал на щит слева от них, черно-желтый, рекламировавший вермут.

— Который? — орал Маньен.

В шестистах метрах впереди пятнами виднелись четыре леска. Крестьянин все толкал Маньена влево. Лесок, что левее всех остальных?

— Тут?

Взгляд у Маньена был безумный. Крестьянин, часто моргая, вопил что-то нечленораздельное.

— Тут?

Крестьянин утвердительно затряс головой и плечами, не меняя положения вытянутой руки. И в то же самое мгновение на опушке на темном фоне листвы ослепительно засверкал круг — вращался самолетный винт. Из лесу выруливал неприятельский истребитель.

Бомбардир обернулся: он тоже увидел. Но слишком поздно, чтобы сбросить бомбу, да и шли они слишком низко. Стрелок носовой пулеметной установки огня не открыл — он ничего не видел.

— Огонь по л е с у ! — заорал Миньен стрелку люковой пулеметной установки и тут же увидел незащищенный бомбардировщик.

Стрелок, нажав на педали, развернул свою установку и открыл огонь. Истребитель был уже невидим за деревьями.

Но Гарде успел сообразить, что эта импровизированная атака может удалиться, лишь если проявить максимум внимания; несколькими минутами раньше он занял место у носового фюзеляжного пулемета «Селезня» и не сводил глаз с «Марата». Заметив, что люковый стрелок «Марата» открыл огонь, он сразу увидел блестящий винт на черно-зеленом фоне леса, пробормотал: «Минуточку!» — и начал стрельбу.

Его трассирующие пули показали «фиат» Скали, который был теперь на «Селезне» стрелком люковой пулеметной установки. С тех пор, как его проблемы стали мучительно неотвязными, он больше не сбрасывал бомбы, он стрелял из пулемета: теперь роль бомбардира была для него слишком пассивной. Мир не

мог стрелять из хвостовой турели: хвостовое оперение закрывало цель; но самолет Мороса смог открыть огонь из всех трех своих пулеметов.

Маньен, который делал разворот, набирая высоту, увидел, что винт неприятельского истребителя замер. Несколько человек затапливало бомбардировщик под деревья. В этот момент фашисты, надо думать, звонят из своего леса на другие аэродромы. «Марат» спиралью уходил в высоту, чтобы не получить повреждений от взрыва собственных бомб, когда он их сбросит, но надо было увеличить диаметр окружности, чтобы бомбардир успел прицелиться и чтобы Даррас не промазал, когда пройдет над лесом. Пройдет всего один раз, подумал Маньен: лес — очень заметный объект, и если, как можно предполагать, там находится склад горючего, все взлетит на воздух. Он подвинулся к бомбардиру, с сожалением вспомнив об Атиньи.

— Все бомбы разом!

Самолет дважды качнулся с крыла на крыло, оповещая своих о порядке бомбометания; набрав четыреста метров высоты, он прекратил подъем и на полном газу полетел по горизонтали над лесом; все его пулеметы открыли огонь. Бомбардиры успеют прицелиться, приняв в расчет высоту. Крестьянин, скорчившийся подле бортмеханика, старался никому не мешать; бортмеханик, держа ладони на рукоятках бомбосбрасывателей, не сводил глаз с поднятой ладони бомбардира, а тот выжидал, когда в его прицел войдет лес.

Ладони и того и другого опустились.

Маньену пришлось заложить разворот на девяносто градусов, чтобы увидеть результат; оба ведомых следовали за ним, и, казалось, три машины наискосок вертятся в карусели; над лесом взметнулся высокий столб черного дыма, всем хорошо известный: так горит бензин. Дым вздымался мелкими, частыми клубами, словно в этом спокойном лесочке, похожем в начале серого утра на любой другой, начался подпочвенный пожар. Около десятка человек бегом выскочили из-под деревьев, через несколько секунд выскочило еще около сотни, они бежали такой же неверной и растерянной побегой, какую только что бежали стада. Дым, который относил ветром в поля, начал развора-

чиваться мощной волной, как всегда, когда горит бензин. Теперь неприятельские истребители наверняка уже в воздухе. Бомбардир вел фотосъемку, глядя в глазок видеоискателя, как только что глядел в глазок прицела; бортмеханик, сняв ладони с рукояток бомбосбрасывателей, вытирал руки; крестьянин, крупный нос которого стал багровым, оттого что слишком крепко прижимался к плексигласу, притопывал — от радости и от холода. Самолет вошел в облака и взял курс на Валенсию.

Как только Маньен снова оказался над облаками и поле зрения расширилось, он понял, что дело плохо.

Облака распались. И над Теруэлем в огромном просвете небо и земля просматривались на глубину в пятьдесят километров.

Чтобы возвращаться, не выходя из облаков, пришлось бы лететь далеко в обход над позициями фашистов, причем облака и там могли размыться в ближайшее время.

Оставалось надеяться, что истребители из Сарьона прилетят раньше неприятельских.

Маньен, радовавшийся успеху и отнюдь не жаждавший умереть именно в этот день, считал минуты. Если враг не подоспеет на двадцатой...

Они входили в совершенно чистое небо.

Один за другим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь неприятельских самолетов вынырнули из облаков. Республиканские истребители были одноместные с низко расположенными крыльями, их нельзя было спутать с «хейнкелями»; убедившись, Маньен отложил бинокль и дал приказ всем трем самолетам идти на сближение. «Были бы у нас сносные пулеметы, мы бы продержались», — подумал он. Но у них были все те же «льюисы», старые, не спаренные. «Восемьсот выстрелов в минуту на три пулемета — две тысячи четырехста. На «хейнкеле»: тысяча восемьсот в минуту на четыре пулемета — семь тысяч двести». Он знал эти цифры и так, но повторять их все же доставляло удовольствие.

Фашисты шли на группу из трех бомбардировщиков, но забрали влево, намереваясь для начала атаковать один. В небе не было ни единого республиканского истребителя.

Под боевыми машинами мелькнули перепела, совершавшие ежегодный перелет.

Гарде был на самолете слева.

Пюжоль, первый пилот, только что вручил Сайди жевательную резинку для раздачи экипажу, чтоб отпраздновать успех. Первый пилот хранил верность славным традициям Леклера: выбритый только с одной стороны (во исполнение некоего любовного обета), двадцатичетырехлетний, с крупным вздернутым носом, в широкополой соломенной шляпе с пунцовыми перьями, которую надел, как только отбомбился, и в фуляре Иберийской федерации анархистов (в которой он не состоял), Пюжоль в достаточной мере соответствовал тому образу красного бандита, который в ходу у фашистов. Остальные выглядели как все люди, за вычетом чулок, натянутых кое у кого под шлемом, да ружьеца Гарде. Сам же Гарде, поддерживая с твердой, хоть и не явной властью порядок, без которого нет боевого успеха, допускал любые фантазии, к числу которых принадлежало и его деревянное ружье; а Маньен был подчеркнута снисходителен ко всяческим прихотям воображения, когда они не вредили боееспособности, особенно если чувствовал, что такая прихоть — дань суеверию.

Гарде тоже сразу раскусил, в чем смысл немецкого маневра. Он увидел, что Маньен просигналил обоим ведомым, скомандовав им поднырнуть под «Селезня»: когда немцы начнут атаку, такой боевой порядок обеспечит возможность вести огонь из всех пулеметов одновременно. Гарде проверил пулеметные установки на своей машине, занял место в носовой турели, подумал в очередной раз, что на «льюисы» смотреть тошно, и повернул турель в сторону «хейнкелей», все разставшихся над точкой прицеливания.

Несколько пуль царапнули фюзеляж.

— Не горюйте, что м а л о ! — крикнул Гарде. — Будет еще!

Пюжоль змейками вел машину вперед. Впервые неприятельские истребители атаковали его в лоб на всей скорости, и он ощущал горечь, которую испытывает каждый пилот, когда управляет тяжелым и неповоротливым самолетом, а его атакуют скоростные. «Пеликаны» знали, что лучшие из республиканских истребителей сбили бы такой бомбардировщик в два счета. И, как перед каждым боем, всем вдруг вспомнилось, что под ними — пустота.

Скали, наводя пулемет, внезапно заметил слева от себя тяжелую бомбу: во время бомбардировки она не отцепилась.

— Вон они!

Маньен правильно рассчитал расстояния: «хейнкели» не могли окружить «Селезень». Два сверху, два снизу, три сбоку, они подошли так близко, что можно было разглядеть шлемы пилотов.

«Селезень» встряхнуло — все его пулеметы застрочили разом. В течение десяти секунд стоял адский грохот, трещали деревянные части, расщеплявшиеся под неприятельским обстрелом, трассирующие пули летели сплошной массой.

Гарде увидел, что один из нижних «хейнкелей» сорвался в крутое падение: Скали подбил либо стрелки других бомбардировщиков. В очередной раз Гарде ощутил, что внизу — пустота. Миро выбирался из хвостовой турели; рот его был приоткрыт, одна рука бессильно свисала, и кровь капала из раны, как из носика лейки, окропляя кабину. Скали выбрался из своего лотка, лег плашмя: у него было ощущение, что один ботинок взорвался.

«Перетянитесь!» — проорал Гарде, метнув Миро бортовую аптечку, как диск, и спрыгнув в лоток. Сайди перебрался к пулемету Гарде, бомбардир — к пулемету Миро: пилоты, кажется, остались невредимы.

«Хейнкели» возвращались.

Теперь они летели ниже: те, которые пытались вести атаку «свечой», были под огнем нижней стрелковой точки, а также шести пулеметов «Марата» и машины Мороса, трассирующие пули которых, перекрещиваясь, оставляли под «Селезнем» вязь из дымков. Когда был сбит первый «хейнкель», его напарник прошел поверху. Пюжоль вел машину на полном газу, все удлиняя и удлиняя восьмерки.

Снова трассирующие пули, снова грохот, снова треск деревянных частей. Сайди молча вылез из хвостовой турели, притулился над Скали, подле которого вытянулся Миро. «Если у них хватит нахальства притереться к нам сзади маятником, а не атаковать заходами...» — подумал Гарде. В полутьме кабины сквозь пробоины, оставленные неприятельскими пулями, мелькали, словно язычки пламени, проблески дневного света. Левый мотор отказал. «Марат» и испанец прикрыли «Селезня» с двух сторон. Пюжоль высунул

в кабину лицо в крови, шляпы с перьями он так и не снял.

— Драпают!

«Хейнкели» уходили. Гарде взял бинокль: с юга приближались республиканские истребители.

Он выскочил из лотка, открыл аптечку, к которой остальные не притронулись, перетянул руку Миро (три пули в левой и одна в плече: угодил под очередь) и ногу Скали (разрывная в стопе). Сайди был ранен в правое бедро, но особой боли не испытывал.

Гарде заглянул к пилотам. Самолет летел под углом в тридцать градусов на единственном моторе. Ланглуа, второй пилот, показал пальцем на счетчик оборотов: тысяча четыреста вместо тысячи восьмисот. Скоро рассчитывать придется только на возможность спланировать. А они подлетали к Снежной горе. Внизу над чьим-то домом стоял спокойный дымок, безупречно вертикальный.

Пюжоль в крови, но раненный легко, чувствовал, что штурвал стал частью его тела, он ощущал его, как другие — свои раны. Счетчик оборотов перешел с тысячи двухсот на тысячу сто.

Самолет терял высоту со скоростью метр в секунду.

Внизу — отроги Снежной горы. Машина грохнется в ущелье, расплющится, как ошалелая оса об стену. За горю — снег широкими волнистыми полотнищами. А что прямо под ними?

Они прошли сквозь облако. В сплошной белизне кровавые отпечатки подошв, испятнавшие весь пол кабины, виднелись особенно четко. Пюжоль пытался выйти из облака, набирая высоту. Им удалось выйти именно потому, что машина падала: до горы оставалось шестьдесят метров. Земля надвигалась на них, но эти мягкие снежные горизонталы... Теперь, когда они успешно отбомбились и ушли из-под обстрела, им чертовски хотелось выпутаться.

— Б о м б а ! — крикнул Гарде.

Если и на этот раз не отцепится, всем конец. Сайди нажал на обе рукоятки с такой силой, что они сломались. Бомба упала, и всем обдало туловища снегом, словно она притянула самолет к земле.

Пюжоль соскочил со своего кресла и вдруг очутился под открытым небом. Оглох? Нет, просто после грохота падения горная тишина воспринималась особенно остро; но Пюжоль слышал карканье вороны и голоса, звавшие на помощь. Теплая кровь тихонько стекала у него по лицу и падала в снег, протаивая красные ямки у него перед ботинками. И нечем — руками разве что — отереть эту кровь, которая слепила его и сквозь которую он смутно видел черную металлическую купину, полнившуюся криками, ту невообразимую гору металлолома, которая остается от разбитого самолета.

Маньену и Моросу удалось вернуться. Из управления позвонили на аэродром, сообщили, что раненых принял маленький госпиталь в селении Мора. Нужно было проверить состояние самолетов: завтра снова в воздух. Маньен отдал необходимые распоряжения и сразу же отправился в путь. Санитарная машина должна была выехать следом.

— Один погиб, двое ранены тяжело, остальные — легко, — сказал по телефону дежурный офицер.

Имена погибшего и раненых были ему неизвестны. Донесения о результатах бомбардировки он еще не получил.

Машина Маньена катилась между нескончаемыми померанцевыми рощами. Деревья, в изобилии увешанные плодами и перемежавшиеся кипарисами, тянулись на долгие километры, а где-то вдали был Сагунто<sup>1</sup> и развалины его крепостей, христианские валы под римскими валами, римские валы под карфагенскими валами: война... Над ними в уже очистившемся небе подрагивал снег Теруэльских гор.

Померанцы сменились дубами: начиналось взгорье. Маньен снова позвонил в управление: на аэродроме, обнаруженном крестьянином, было шестнадцать боевых машин; все сгорели.

Госпиталь Мора расположился в школе; о раненых летчиках там даже не слышали. В этом же округе был еще один госпиталь; там о них тоже не слышали. В ко-

---

<sup>1</sup> Сагунто — один из древнейших испанских городов; в 218 г. до н. э. в начале второй Пунической войны город, осажденный войсками Ганнибала, погиб в пламени, ибо жители его отказались сдаться карфагенянам.



митете народного фронта Маньену посоветовали позвонить в Линарес: оттуда, оказывается, вызвали одного врача в Мору, чтобы посмотрел раненых. Маньен отправился на почту вместе с одним из комитетчиков, они ехали под деревянными балконами по улицам с голубыми, розовыми и фисташковыми домами, по мостам со стрельчатыми сводами, над которыми при каждом повороте нависали развалины замка из романсеро<sup>1</sup>.

Почтой заведовал старый активист-социалист. Его мальчонка сидел на столе около аппарата Морзе.

— Тоже хочет стать летчиком!

На стене виднелись следы пуль.

— Мой предшественник был из НКТ, — сказал заведующий почтой. — В день мятежа он без конца телеграфировал в Мадрид. Фашисты про это не знали, но все-таки расстреляли его: вон следы пуль...

Наконец Линарес ответил. Нет, летчиков там нет. Они упали близ горной деревушки Вальделинарес. Выше, там, где снег.

В какую еще деревню звонить? «Выше, там, где снег!» И все-таки по тону ответов Маньен острее, чем когда-либо, ощущал вокруг присутствие Испании, словно в каждом госпитале, в каждом комитете, на каждом переговорном пункте ждал брат-крестьянин. Наконец зазвонил телефон. Заведующий почтой поднял руку: Вальделинарес отвечает. Послушал, обернулся.

— Один из летчиков держится на ногах. За ним пошли.

Мальчонка теперь не смел шевелиться. По окну беззвучно скользнул силуэт кота.

Заведующий протянул Маньену старую трубку, оттуда доносилось смутное бормотание:

— Алло! Кто у телефона?

— Маньен. Это Пюжоль, верно?

— Да.

— Кто погиб?

— Сайди.

— Раненые?

— Гарде, скверное дело: зрение под угрозой. У Тайфера сломана левая нога, тройной перелом. Ми-

---

<sup>1</sup> Романсеро — сборник романсов, традиционной формы испанского фольклора; впервые романсеро был опубликован в 1550 г.

ро ранен в руку, четыре пули. У Скали разрывная в стопе. Мы с Ланглуа еще ничего.

— Кто может передвигаться?

— Чтоб спуститься?

— Да.

— Никто.

— На мулах?

— Мы с Ланглуа. Может, еще Скали, если поддерживать, хотя вряд ли.

— Какой за вами уход?

— Чем раньше будем внизу, тем лучше. Они-то делают все, что могут...

— Носилки есть?

— Здесь нет. Погодите, врач хочет что-то сказать. Голос врача.

— Алло! — сказал Маньен. — Все раненые транспортбельны?

— Да, если у вас есть носилки.

Маньен спросил заведующего почтой. Толком не известно; может, в госпитале есть; шесть точно не наберется. Маньен снова взял трубку.

— Можете распорядиться, чтобы смастерили носилки из жердей, ремней и тюфяков?

— Я... да.

— Доставлю вам столько больничных носилок, сколько сумею раздобыть. А вы сразу же распорядитесь, чтоб начали мастерить носилки из подручных средств и приступали к спуску. Я жду санитарную машину, она доберется на ту высоту, на какую сможет.

— Как быть с погибшим?

— Организуйте спуск для всех. Алло! Алло! Пожалуйста, передайте летчикам, что уничтожено шестнадцать самолетов противника. Не забудьте!

Машина снова понеслась по улицам с разноцветными домиками, по площади с фонтанами, по горбатым мостам; под небом, по-прежнему низким, поблескивали камни мостовых, еще влажные после утреннего дождя. Удалось раздобыть пару носилок, их приторочили к крыше автомашины.

— Не высокогато для деревенских ворот?

Наконец Маньен выехал в Линарес.

Здесь начиналась вековечная Испания. Миновав первую деревню с домами, чердачные окна которых выходили на галереи с перилами, машина добралась до ущелья, на тусклом фоне которого под серым не-

бом сонно маячил силуэт боевого быка с широко расставленными рогами. Первобытной враждебностью веяло от этой земли, которую испятнали, словно ожоги, деревни, похожие на деревни курдов, и враждебность эта ощущалась еще жестче оттого, что Маньен, каждые пять минут сверявшийся с часами, смотрел на скалы тем же взглядом, каким на них смотрели, снижаясь, раненые летчики. Негде приземлиться: повсюду поля уступами, утесы, деревья. Каждый раз, когда машина съезжала с откоса, Маньену виделось, как самолет близится к этой неприветной земле.

Линарес — маленький городок, окруженный крепостной стеной; на валы по обе стороны ворот взобрались дети. Возле постоянного двора полно было повозок с задранными оглоблями, стояли мулы. В комитете ждали врач из долины и молодые парни, человек пятнадцать. Они с любопытством разглядывали этого высокого иностранца с висячими усами, на котором была форма испанской авиации.

— Нам не потребуется столько носильщиков, — сказал Маньен.

— Они настаивают, — сказал комитетчик.

— Ладно. Как там санитарная машина?

Комитетчик позвонил в Мору; машина еще не пришла. Погонщики мулов сидели во дворе, окруженные своими повозками, и ели из котла, огромного перевернутого колокола, в котором булькало оливковое масло; из-за копоти надписи на колоколе было не разобрать. Над дверью постоянного двора стояло: 1614.

Наконец караван пустился в путь.

— Сколько добираться до вершины?

— Четыре часа. Вы встретите их раньше.

Маньен шагал, опередив остальных метров на двести, его черный силуэт — форменная фуражка и кожанка — четко выделялся на фоне гор. Слякоти почти не было, идти мешали только россыпи камней. За Маньеном верхом на муле следовал врач, затем шли носильщики в свитерах и баскских беретях (местные костюмы приберегались для праздников или на старость); затем мулы и носилки.

Скоро из глаз исчезли и поля, и быки: повсюду только камень, характерный камень Испании, желтый и красный на солнце, но под белым небом казавшийся

тусклым, отливавший свинцом на затененных вертикальных поверхностях; двумя-тремя ломаными уступами они спускались от снегов, срезанных плоскостью неба, в глубину долины. С горной дороги из-под ног сыпались камушки, побрякивали, падая со скалы на скалу, и звуки терялись в безмолвии ущелий, где шум горного потока словно зарывался в землю, мало-помалу удаляясь. Через час с лишним долина, в чаше которой ютился Линарес, скрылась из виду. Как только она спряталась за утесом, Маньен перестал слышать шум воды. Утес, под которым проходила тропа, вертикально вонзался в небо, по временам нависая над нею, а в том месте, где тропа резко меняла направление, росла яблоня, японским силуэтом вырисовывавшаяся на фоне неба посреди крохотного поля. Яблоки не были сняты; они попадали на землю и лежали вокруг яблони плотным кольцом, медленно зараставшим травой. Одна только эта яблоня была чем-то живым среди камня, жила непрерывно обновляющейся жизнью растения среди безучастности минералов.

Чем выше поднимался Маньен, тем острее отзывалась у него в мышцах плеч и ног усталость; мало-помалу напряжение овладело всем его телом, вытеснило все мысли; самодельные носилки сейчас перемещаются по этим же непроходимым тропам, а на носилках забинтованные руки и сломанные ноги. Взгляд его переходил с той части тропинки, которая была ему видна, на снежные гребни, втыкавшиеся в белое небо, и с каждым новым усилием он все глубже проникался ощущением братской связи с людьми, командиром которых был.

Крестьяне из Линареса, никогда не видевшие ни одного из этих раненых, безмолвно следовали за ним, строго и спокойно приемля очевидное. Маньен думал о деревенских автомобилях.

Он поднимался уже самое малое два часа, когда дорога вдруг кончилась. Теперь тропа шла по снегу вдоль очередного ущелья к горе, которая была выше первой, но не такая отвесная. Эту гору летчики видели рядом с той, когда брали курс на Теруэль. Здесь все горные речки стояли подо льдом. У поворота дороги, такой же неподвижный, как яблоня, которую недавно видел Маньен, ждал маленький конник-сарацин, черный на фоне неба; Маньен увидел его в той же перспективе, в какой видишь статую на высоком цоколе:

конем был мул, сарацином — Пюжоль в шлеме. Он повернулся в профиль, как на гравюре, и крикнул: «Вот и Маньен!» — в полнейшей тишине.

Затем на фоне неба прочертились две длинные ноги, палками вытянувшиеся по бокам крохотного ослика, и копна волос, малярной кистью торчавшая над бинтом: второй пилот Ланглуа. Пожимая Пюжолю руку, Маньен заметил, что кожанка летчика выше пояса до такой степени забрызгана спекшейся кровью, что спереди вся она в потрескавшихся потеках и рябит, словно крокодилова кожа. Какова же должна быть рана, чтобы так окровавить грудь? Струи перекрещивались, образуя сетку, такие ровные, что можно было предоставить себе, как хлестала кровь.

— Это кожанка Гарде, — сказал Пюжоль.

У Маньена стремян не было, и приподняться он не мог; вытянув шею, он поискал взглядом Гарде; но носилки были еще по ту сторону утеса.

Маньен не мог оторвать глаз от кожанки. Пюжоль уже рассказывал.

Ланглуа, легко раненный в голову, сумел выбраться из самолета, хотя одна нога у него была вывихнута. В длинном перекорезенном ящике, прежде бывшем кабиной, лежали Сайди и Скали. Под грибом перевернувшейся турели — Миро, из-под стояка торчали его руки и ноги, верхняя часть рамы давила ему на сломанное плечо, как на гравюрах, изображающих старинные пытки; среди обломков — распластавшийся бомбардир. Летчики помнили, что пожар неминуем, и те, кто были в силах кричать, кричали во всезаполняющей горной тишине.

Пюжоль и Ланглуа вытащили тех, кто лежал в кабине; затем Ланглуа начал вытаскивать бомбардира, а Пюжоль тем временем пытался приподнять турель, придавившую Миро. Наконец она покачнулась, снова загремели железо и плексиглас, раненые, лежавшие в снегу, вздрогнули, и турель скатилась вниз.

Гарде еще раньше увидел какую-то хижину и направился туда, опираясь сломанной челюстью о рукоятку своего револьвера (он не решался поддерживать челюсть рукой, и кровь лилась ручьями). Крестьянин, завидев его издали, поспешно скрылся. В хижине, находившейся более чем в километре от места катаст-

рофы, был только жеребец; жеребец взглянул на Гарде, потом после недоуменной паузы разразился ржанием. «Похоже, видуку меня тот е щ е , — подумал Гарде . — Ладно, жеребчик с норовом, стало быть, из народного фронта...» В хижине, затерянной среди снежного безлюдья, было тепло, и Гарде хотелось лечь и уснуть. Ни души. В углу стояла лопата, Гарде взял ее в одну руку — пригодится, чтобы вытащить Скали, когда он доберется до самолета, и заодно на ходу можно опираться. Со зрением у Гарде становилось все хуже, он видел только то, что под ногами; верхние веки набрякли. Гарде вернулся, ориентируясь по каплям собственной крови в снегу и по своим следам, удлинявшимся и рыхлым в тех местах, где он падал.

По дороге ему вспомнилось, что «Селезень» на треть состоял из частей самолета, который был приобретен на средства, собранные иностранными рабочими; самолет этот был сбит под Сьеррой, он назывался «Парижская коммуна».

Когда Гарде был уже почти у самого самолета, к Пюжолю подошел какой-то мальчонка. «Если мы угодили к фашистам, — подумал пилот, — пиши пропало». Куда делись револьверы? Из пулемета не застрелишься.

— Кто здесь? — спросил Пюжоль . — Красные или Франко?

Мальчонка — мордочка, увы, плутоватая, оттопыренные уши, вихор на маковке — глядел на него, не отвечая. Пюжоль вдруг осознал, какой, должно быть, невыносимый у него вид: шляпа с красными перьями так и осталась на голове, а может, он бессознательно надел ее снова; борода выбрита только с одной стороны, а кровь течет и течет на белый комбинезон.

— Кто здесь, скажи?

Он шагнул к мальчонке, тот попятился. Угрозами ничего не добьешься. А жевательная резинка вся вышла.

— Республиканцы или фашисты?

Издали доносились плеск горной речки и воронья переключка.

— Здесь, — ответил мальчонка, глядя на самолет, — всяких хватает: и республиканцев, и фашистов.

— Про ф с о ю з ! — заорал Гарде.

Пюжоль понял.

— Какой самый большой профсоюз? Всеобщий союз трудящихся? Национальная конфедерация труда? Католики?

Гарде подходил к Миро справа от мальчонки, который видел его только со спины и разглядывал деревянное ружьецо.

— В С Т, — ответил мальчик, улыбаясь.

Гарде обернулся: лицо его — он все еще придерживал челюсть рукояткой револьвера — было расплосовано от уха до уха, кончик носа свисал, и кровь, вначале выхлестнувшаяся сильной струей, все еще текла, запекаясь на летчицкой кожанке, которую Гарде носил поверх комбинезона. Мальчонка взвизгнул и бросился бежать наискосок, словно кот.

Гарде помог Миро подтянуть к туловищу раскинутые руки и стать на колени. Когда Гарде наклонялся, лицо у него горело, и он пытался помочь Миро, держа голову прямо.

— Мы с в о и х! — сказал Пюжоль.

— Полностью изуродован на этот р а з, — сказал Гарде. — Видал, как пацан драпанул?

— Ты спятил!

— Искромсан!

— Вон ребята на подходе.

Действительно, появились крестьяне, их привел тот, который скрылся было при виде Гарде. Теперь он был не один и отважился возвратиться. При взрыве бомбы все повыскакивали из домов, и те, кто посмелее, сейчас приближались к летчикам.

— Frente popular! <sup>1</sup> — крикнул Пюжоль, швырнув шляпу с красными перьями в стальной хаос.

Крестьяне перешли на бег. Почти все были без оружия — видимо, предполагали, что летчики из разбившегося самолета — свои, а может, пока самолет падал, кто-то успел различить красные полосы на крыльях. В мешанине обломков Гарде разглядел зеркало обратного наблюдения: оно висело, где и положено, перед креслом Пюжоля. «Посмотрю на себя — застрелюсь».

Когда крестьяне подошли так близко, что увидели груды искореженной стали, ошетилившуюся обломками крыльев, увидели расплюснутые моторы, согнувшийся пополам винт и лежавшие на снегу тела, они

---

<sup>1</sup> Народный фронт (исп.).

остановились. Гарде направился к крестьянам. Женщины в черных косынках и мужчины стояли, сбившись кучей и не шевелясь, словно в ожидании беды. «Осторожно!» — сказал один, заметив, что сломанную челюсть Гарде подпирает стволом пистолета-пулемета. Женщины, при виде крови вспомнившие старое, крестились; потом один из мужчин поднял кулак, адресуя приветствие не столько Гарде и Пюжолю, который тоже пошел им навстречу, сколько телам, распростертым на снегу; и один за другим все в молчании подняли кулаки, салютуя разбитому самолету и лежащим летчикам, которых крестьяне считали погибшими.

— Не до того сейчас, — проворчал Гарде. И добавил по-испански: — Помогите нам.

Они с Пюжолем вернулись к раненым. Едва крестьяне поняли, что из лежащих мертв только один, началась неумелая и трогательная суэта.

— Минуточку!

Гарде начал наводить порядок. Пюжоль суетился, но его никто не слушал; Гарде был командиром не потому, что и в самом деле был им, а потому, что был ранен в лицо. «Приперлась бы Смерть, вот кого бы слушались, обалдеть!» — подумалось ему. Одного человека за врачом. Очень далеко, что поделаешь. Транспортировать Скали, Миро, бомбардира явно будет непросто; но для горцев переломы — дело привычное. Пюжоль и Ланглуа могут двигаться. Сам он тоже, на худой конец.

Они стали спускаться к деревеньке, на снегу мужчины и женщины казались совсем крохотными. Перед тем как потерять сознание, Гарде в последний раз взглянул на зеркало обратного наблюдения; стекло во время падения разлетелось вдребезги: среди обломков самолета зеркала не было и быть не могло.

Навстречу Маньену показались первые носилки. Их несли четверо крестьян, жерди лежали у них на плечах; следом шла еще четверка. На носилках был бомбардир.

Казалось, у него не переломы, а давний-предавний туберкулез. Щеки глубоко запали, отчего взгляд стал небывало интенсивным, и лицо с усиками, характерное лицо коренастого пехотинца, превратилось в романтическую маску.



Лицо Миро, носилки которого появились следом, изменилось не меньше, но по-другому: страдание придало ему детскость.

— Когда нас уносили, снег пошел! — сказал он Маньену, пожимавшему ему руку. — Смехота!

Он улыбнулся и снова закрыл глаза.

Маньен двинулся вперед, носильщики из Линареса за ним. На следующих носилках был несомненно Гарде: бинты скрывали лицо почти полностью. От живой плоти остались на виду только веки: набухшие до предела, тускло-сиреневые, они слиплись от отека между шлемом и плоской повязкой, которую шлем удерживал на месте и под которой носа как будто совсем не было. Два передних носильщика, видя, что Маньен хочет говорить с раненым, опустили носилки прежде, чем их сотоварищи сзади, и какое-то мгновение тело лежало наклонно, в ракурсе, характерном для старых картин на сюжет «Снятие с креста», словно символизируя муки войны.

Жесты были невозможны: обе руки Гарде лежали под одеялом. Маньену показалось, что между веками левого глаза осталась щелка.

— Видишь что-нибудь?

— Не особо. Ладно, тебя вот вижу!

Маньену хотелось обнять его, встряхнуть.

— Можно как-то тебе помочь?

— Скажи старухе, пускай не пристаёт со своим бульоном! В госпиталь когда?

— Машина внизу, через полтора часа. В госпитале будешь вечером.

Носилки снова двинулись в путь, за ними следовала половина Вальделинареса. Когда с Маньеном поравнялись носилки Скали, к ним подошла старуха в черном платке, прикрывавшем волосы; она поднесла к губам раненого чашку с бульоном. У нее была корзина, а в корзине термос и японская чашечка, все ее богатство, должно быть. Маньен представил себе, как край чашки приподнимает повязку Гарде.

— Тому, который ранен в лицо, лучше не давать, — сказал он старухе.

— Это была последняя курица в деревне, — ответила та со сдержанным достоинством.

— И все-таки.

— У меня ведь тоже сын на фронте...

Маньен пропустил вперед носилки и крестьян, пропустил и замыкавших шествие: они несли гроб — его смастерили быстрее, чем носилки, привычное дело... К крышке гроба крестьяне прикрутили искореженный бортовой пулемет.

Каждые пять минут носильщики сменяли друг друга, но при этом носилки наземь не опускали. Маньена ошарашил контраст между нищенской одеждой крестьянок и термосами, которые некоторые из них несли в корзинах.

К нему подошла еще одна женщина.

— Сколько ему лет? — спросила она, показав на Миро.

— Двадцать семь.

Несколько минут она следовала за носилками, слишком суетливая в своем желании быть полезной; но при этом такая нежность была в ее чутких и точных движениях, в том, как она поддерживала плечи раненого на особенно крутых участках, когда носильщики должны были нащупывать ногами почву, что в нежности этой Маньен узнавал извечное материнство.

Спуск в долину становился все отвеснее. По одну сторону к небу, утратившему и цвет, и соотнесенность со временем суток, вздымались снега; по другую над гребнями гор скользили хмурые облака.

Мужчины не произносили ни слова. К Маньену снова подошла какая-то женщина.

— Кто они? Иностранцы?

— Один бельгиец. Один итальянец. Остальные французы.

— Из интернациональной бригады?

— Нет, но это одно и то же.

— А тот, у которого...

Она неопределенно повела рукою перед своим лицом.

— Француз, — сказал Маньен.

— Погибший тоже француз?

— Нет, араб.

— Араб? Вон что! Араб, значит?..

Она отправилась пересказывать новость.

Маньен, оказавшийся почти в самом конце кортежа, вернулся к носилкам Скали. Скали был единственным из раненых, кто мог лежать облокотившись: тропа перед ним спускалась вниз почти одинаковыми зигзагами до того места, где виднелся Ланглуа, ослик кото-

рого остановился перед узенькой замерзшей речонкой. Пюжоль вернулся в арьергард. По ту сторону речонки тропа сворачивала под прямым углом. Расстояние между носилками было метров в двести; гротескный первопроходец верхом на осле и с шевелюрой в виде малярной кисти находился примерно в километре от них; в сгущавшемся тумане он походил на призрак. Позади Скали и Маньена был только гроб. Носилки за носилками перебирались через речонку: процессия двигалась вперед, вычерчиваясь в профиль на фоне широкой плоскости горы, по которой перемещались вертикальные тени.

— Знаете, — сказал Скали, — у меня когда-то была книга...

— Погляди, какая картина!

Скали проглотил свою историю: возможно, она вызвала бы у Маньена такое же раздражение, какое у самого Скали вызывало уподобление того, что они видели, картине.

При первой республике<sup>1</sup> один испанец, ухаживавший за своей сестрой, которой он не то чтобы нравился, не то чтобы не нравился, увез ее однажды в свой загородный дом, куда-то под Мурсию. Дом был капризом во вкусе конца XVIII века: кремовые колонны на фоне бледно-оранжевых стен, лепные тюльпаны из штукатурки под мрамор, в саду карликовые самшиты, вычерчивавшие узоры в виде пальметок под высокими кустами темно-алых роз. Один из владельцев усадьбы построил там крохотный театрик теней, всего на тридцать мест; когда они вошли в театрик, волшебный фонарь был уже включен, и на крохотном экране подрагивали силуэты. Испанец добился своего: в тот вечер она была его любовницей. Подростком Скали завидовал столь романтическому подарку судьбы.

Сейчас, спускаясь к речке, он думал о четырех ложах театра, бледно-розовых с золотом, которых никогда не видел. Комнаты, обитые шелком с узором из букетов, гипсовые бюсты среди темной зелени померанцев... Носильщики перенесли носилки через речку, свернули. Впереди снова виднелись боевые быки. Ис-

---

<sup>1</sup> Первая республика была провозглашена в Испании 11 февраля 1873 г. в результате революции 1868—1874 гг. и просуществовала до 29 декабря 1874 г. История, которую вспоминает Скали, — типичный образчик эстетско-декадентской беллетристики конца XIX — начала XX в., нередко обыгрывавшей тему инцеста в красивых декорациях.

пания его отрочества, декорации и любовь, убожество! Испания — вот этот искореженный пулемет на гробу араба и вот эти иззябшие птицы, каркающие в ущельях.

Головные мулы сворачивали и исчезали снова, выходя на прежнее направление. После очередного скося дорога спускалась прямо к Линаресу: Маньен узнал яблоню.

Что за лес по ту сторону скалы, что за ливень хлещет по деревьям? Маньен пустил мула рысцей; обогнав остальных, выехал к повороту. Никакого ливня: то был шум потоков, которых раньше Маньену не было видно, потому что их, как и всю панораму, загоразивала скала; и плеска с той стороны тоже не было слышно: протяжный, похожий на шум листьев от сильного ветра, плеск поднимался со стороны Линареса, словно возвещая из глубины долины, что санитарные машины прибыли и жизнь продолжается. Вечер еще не наступил, но дневной свет становился тусклее. Маньен — недвижимый, словно конная статуя, всадник, криво восседавший на неоседланном муле, — смотрел на яблоню, обведенную кольцом гниющих плодов. На фоне веток мелькнул окровавленный хохол Ланглуа. В тишине, внезапно заполнившейся журчанием живых проточных вод, кольцо из паданцев, в которых зерна прорастали сквозь гниль, казалось, символизирует, — где-то за пределами жизни и смерти людей — круговорот жизни и смерти земли. Взгляд Маньена переходил от яблони к вековым ущельям. Мимо него проносили одного за другим раненых. Как только что над головой Ланглуа, ветви простирались над поскрипывавшими носилками, над мертвенным оскалом Тайфера, над детским лицом Миро, над плоской повязкой Гарде, над растрескавшимися губами Скали, над всеми кровоточившими телами, покачивавшимися в носилках, которые несли руки братьев. Вот и гроб с пулеметом, искривленным, словно сук. Маньен снова двинулся в путь.

Глубина ущелий, куда они спускались, словно в глубь самой земли, в сознании Маньена как-то связывалась с вечной жизнью деревьев, он и сам не понимал, почему. Ему вспомнилось, что некогда пленных держали в каменоломнях, обрезаая на смерть. Но и

в готовности встретить любую опасность, какова бы ни оказалась расплата — нога, изломанные кости которой кое-как скреплены мышцами, повисшая плетью рука, раскромсанное лицо, пулемет на крышке гроба, — и в первозданной торжественности этого шествия была властная непререкаемость, такая же, как та, которая была в тусклых скалах, упиравшихся в тяжелое небо, которая была в вечной жизни, уготованной раскиданным на земле яблокам. Снова где-то под самым небом раскричались хищные птицы. Сколько ему еще осталось жить? Лет двадцать?

— Почему он приехал, арабский летчик?

К Маньену снова подошла женщина, за нею еще две.

В небе кружили птицы, крылья их казались неподвижны, как крылья самолетов.

— Верно говорят, что нос теперь можно восстановить?

По мере того как ущелье выводило караван все ближе к Линаресу, дорога становилась все шире; крестьяне шли по обеим сторонам носилок, спереди и сзади. Женщины в черном, с платками на головах и с корзинами в руках хлопотали возле раненых, перемещаясь в одном и том же направлении — справа налево. Мужчины, те шли за носилками, никогда не обгоняя; они шли, глядя вперед, держась очень прямо, как свойственно людям, которые только что несли на плече тяжести. Сменяя уставших, новые носильщики переставали чеканить шаг; в движении, которым они брались за носилки, были нежность и осторожность, и они пускались в путь, крикнув, как во время обычной работы, словно хотели поскорее скрыть чувство, которое выказали этим движением. Не сводя глаз с камней на тропе, думая лишь о том, как бы не встряхнуть носилки, они шагали в ногу, мерной поступью, замедлявшейся при каждом уклоне; и мерные их шаги, в течение такого долгого пути подстраивавшиеся под муки раненых, казалось, заполняли все огромное ущелье, над которым кричали последние птицы, подобно тому как его заполнял бы торжественный бой барабанов похоронного марша. Но сейчас голосу гор вторила не смерть, а воля людей.

В глубине горловины уже стал виден Линарес, и расстояние между носилками сократилось; гроб теперь следовал сразу же за носилками Скали. Пулемет

был прикручен в том месте, где обычно закрепляют траурные венки; этот кортеж можно было уподобить похоронной процессии настолько же, насколько можно было уподобить венку этот пулемет. Там, близ Сарагосской дороги, деревья в черном лесу догорают под закатным небом вокруг фашистских самолетов. Эти самолеты уже не полетят на Гвадалахару. И вереницы крестьян в черном, женщин, волосы которых были прикрыты извечными косынками, казалось, не столько следовали за ранеными, сколько спускались в долину в торжественной суровости триумфального шествия.

Теперь спуск был пологим: горцы сошли с дороги, взброс двинулись прямо по траве. Из Линареса побежали ребятишки; за сотню метров от носилок они сторонились, пропуская их, затем шли следом. Дорога, вымощенная уложенными встык булыжниками, и более скользкая, чем горные дороги, поднималась вдоль крепостных валов до самых ворот.

За зубцами стены сгрудился весь Линарес. Дневной свет шел на убыль, но вечер еще не настал. Хотя дождя не было, камни мостовой блестели, и носильщики двигались с осторожностью. В домах, верхние этажи которых виднелись над крепостными валами, уже зажглись тусклые огни.

Первым, как и раньше, пронесли бомбардира. Во взглядах крестьянок, стоявших на валу, была суровая печаль, но они не были потрясены: одеяло оставляло на виду только лицо раненого, и оно было невредимо. Скали и Миро — тот же случай. Ланглуа, смахивавший на Дон Кихота в окровавленной повязке и с босой ступней, торчавшей кверху (нога у него была вывихнута, и он снял ботинок) вызвал удивление: неужели самое романтическое сражение — сражение в воздухе — могло завершиться подобным образом? Напряженность усилилась, когда проехал Пюжоль: было достаточно светло, чтобы внимательный взгляд увидел на кожанке большие пятна засохшей крови. Когда появился Гарде, в толпе, и до того тихой, воцарилось такое безмолвие, что внезапно стал слышен дальний шум потоков.

Все остальные раненые видели, и при виде толпы все они, даже бомбардир, постарались улыбнуться. Гарде не смотрел. Он был живой; с крепостной стены люди различали темный гроб, замыкавший шествие.

Но этот раненый, укрытый одеялом до самого подбородка и перебинтованный пониже шлема так плоско, что под повязкой не могло быть носа, олицетворял войну — такую, какую она веками представлялась крестьянам. И никто не принуждал его воевать. Мгновение они колебались, не зная, что делать, но исполненные решимости что-то сделать; затем так же, как крестьяне Вальделинареса, безмолвно подняли кулаки.

Заморосило. Последние носилки, горцы, мулы двигались вперед, и с одной стороны дороги высились могучие горы, над которыми тучи набухали вечерним дождем, а с другой стояли сотни неподвижных крестьян с поднятыми кулаками. Женщины плакали, не шевелясь, и, казалось, шествие торопится уйти от странной тишины гор, нарушая ее топотом мулов, а с двух сторон слышались вековечные крики хищных птиц и сдавленные рыдания.

Санитарная машина тронулась.

В оконце, позволяющее переговариваться с водителем, Скали видит квадратики ночного пейзажа; то там, то здесь развалины крепостной стены Сагунто, плотные черные кипарисы в лунном свете, насыщенном туманом, тем самым туманом, который прикрывает бомбардировщики во время ночных вылетов; призрачные белые дома, дома мирного времени; светящиеся апельсины в черноте плодовых садов. Шекспировские сады, итальянские кипарисы. «В такую ночь, о Джессика...»<sup>1</sup> В мире существует еще и счастье. Каждый раз, когда машину встряхивает, у Скали над головой стонет бомбардир.

Миро ни о чем не думает: у него сильный жар; он с трудом плывет в обжигающих водах.

Бомбардир думает о своей ноге.

Гарде думает о своем лице. Гарде любит женщин.

Маньен, прижав к уху телефонную трубку, слушает, что ему говорит Варгас:

— Это решающая битва, Маньен. Используйте все, что можете и как можете...

— На «Марате» тяга руля высоты перебитая...

— Все, что сможете...

---

<sup>1</sup> Строка из комедии В. Шекспира «Венецианский купец».

Гвадалахара, 18 марта.

Итальянцы снова наступали на Бриуэгу: если проврут, атакуют с тыла всю совокупность республиканских сил. В таком случае Гвадалахара снова окажется под угрозой, армия Центра будет отрезана от Мадрида, город останется почти без защитников, батальоны имени Димитрова, Тельмана, Гарибальди, Андре Марти, Шестого февраля — без путей отступления, весь смысл захвата Трихуэке и Ибарры сойдет на нет, Кампесино<sup>1</sup> застрянет в занятом им лесу.

Батальоны имени Тельмана и Эдгара-Андре снова закрепились на местности.

В батальоне Димитрова были хорваты, болгары, румыны, сербы, представители других балканских стран и югославские студенты, учившиеся в Париже; для них фашисты были убийцами их братьев, во время битвы при Хараме они залегли в лесу и сутки выжидали появления итальянских танков, осыпая их ругательствами; они продвинулись вперед на целый километр и вынуждены были отступить вне себя от ярости, чтобы не ломать линии фронта; они спали, прижимаясь друг к другу, как мухи, от холода, и шли в атаку под шрапнелью, Один из взводных, черногорец, придерживая правой рукой сломанную левую и направляясь в санчасть, ревел: «Занимайтесь своими делами, а не мной, олухи!» — когда разрывная пуля разнесла ему череп в вихре снега.

Снег пошел снова, и по всему фронту люди, которые двигались вперед, вжимая голову в плечи и напрягая мышцы живота в ожидании ранения, прорывались сквозь двойную метель — свинцовую и снежную.

В батальоне имени Тельмана слышались только две фразы: «Пожрать бы!» и «Старина, войны без жертв не бывает». Комиссар пулеметной роты, раненный в живот, кричал в бреду: «Высылайте наши танки! Высылайте наши танки!» Батальон только что отбил очередную атаку, одиннадцатую по счету с начала битвы. Стволы деревьев еще держались, но ветвей на них уже не было.

---

<sup>1</sup> Кампесино (исп. campesino — крестьянин) — прозвище Валентина Гонсалеса, одного из республиканских военачальников, командира 46-й дивизии.



— Какая это война! — орал Сири во французско-бельгийском батальоне. — Триппер, одно слово! Конца нет!

И давай насвистывать песенку дрозда-бедолаги. Винтовки уже обжигали пальцы.

В батальоне Мануэля у людей Пепе оставалось по семьсот пятьдесят пуль на пулемет, выпускающий шестьсот пуль в минуту. Половину пуль раздали стрелкам. При виде не годных в дело винтовок новички плакали — сдавали нервы. «Пулемет сюда!» — крикнул взводный. Когда дым от взрыва первого снаряда рассеялся, взводный лежал там, куда только что показывал пальцем: он был убит. Но боеприпасы были доставлены, наскребли и сколько-то винтовок.

Но вот гул голосов раскатился над лесами и долинами, спускавшимися к Бриузге, он был явственно слышен, хотя обстрел возобновился; он поднимался над оливковыми рощами, над низкими стенками, к которым республиканцы прилипали, как насекомые, над хуторами и раскисшими полями; линия горизонта, казалось, натянулась до предела под яростным напором всех фашистских батарей: появились республиканские танки.

Они шли в наступление по всей линии фронта — более пятидесяти в ряд — от края до края горизонта, по временам невидимого за хлопьями снега. Те, кто сумели поспать двадцать минут беспокойным и мучительным сном под обледенелыми оливами, те, кто сумели поспать, укутавшись в собственную усталость, и проснулись одеревеневшими, пустились бегом за последними танками, периодически исчезающими за снежной завесой.

В пятом полку командир первой роты был убит первым. Несколько минут спустя один из республиканских танков взорвался, озарив зловещим синеватым светом заснеженное поле, над которым зависли белые хлопья. Под перекрестным огнем пулеметов люди распластывались за пнями; они окапывались, пуская в ход каски либо патронные диски (чтобы воспользоваться штыком, пришлось бы выпрямиться), залегали, вскакивали на миг, чтобы метнуть гранату, и снова приникали к земле под огнем пулеметов, поливавших поле. Из шести добровольцев, вызвавшихся подобрать раненых, четверо пали. Соседи-интербригадовцы слышали только свист разрывных пуль, да иногда чей-то

выкрик: «Как там, порядок?» и чьи-то ответы: «Ничего, а у вас?» И все это перекрывал трагический хор, доносившийся отовсюду: «На помощь! На помощь!»

Тем не менее в четвертом часу переутомленных людей охватила сонливость; снова был выдан кофе; бойцы побаивались ночного холода. Нахлобучив капюшоны, они вспоминали траншеи под Мадридом, где стрелки временами открывали огонь, не прекращая еды, где шутники приручали мышей, где в ожидании снарядов бойцы молча рассматривали детские фотографии; и траншеи Харамы, где они с тыла атаковали фашистские танки, расстрелявшие весь боезапас, и где пулеметчики орали, предлагая мочиться на перегревшиеся стволы пулеметов, чтобы те остыли.

— На каждый танк — одну пулю, на каждую пулю — один танк, — говорил, смакуя формулу, Пепе своим бойцам, двигавшимся вперед.

Справа от них наступали бойцы из пятого полка; воздух загустел от пуль, и бойцы шли следом за огнем артиллерии, отлично скорректированным офицером-испанцем. Пацифисты из спасательных групп, сняв нарукавные повязки, атаковали танки гранатами, чтобы расчистить себе доступ к раненым.

Несколько голосов затаили «Интернационал», но его тут же перекрыл яростный рев, раздавшийся со стороны испанцев, и короткий выкрик на десятке языков, раздавшийся со стороны интербригадовцев: «Вперед!»

— Наступление фашистов не поддержано авиации и ей, — сказал за час или два до этого один из офицеров главного штаба ВВС.

Тучи висели в двухстах метрах от земли, вот-вот должен был возобновиться снегопад.

— Все их базы по ту сторону Сьерры, — ответил тогда Сембрано. — Вряд ли они пройдут.

Рука у него висела на перевязи, вести самолет он не мог. Между республиканцами и Сьеррой были итальянские войска.

Варгас не произносил ни слова.

— Если исходить из обычной логики, — сказал еще один офицер, — в случае воздушной вылазки мы рискуем потерять всю нашу авиацию: достаточно снегопаду перейти в бурю... Никакое командование не

решилось бы взять на себя ответственность за подобную катастрофу...

Варгас вызвал адъютанта.

— Их теруэльские самолеты могут обогнуть Сьерру даже в такую погоду, — проговорил Сембрано.

— Сомневаюсь, чтобы у них остались самолеты, — ответил Варгас.

— Алло! — кричал адъютант в телефонную трубку у . — Алькала? Немедленно отправляйте все, что у вас есть, на аэродром семнадцать, Гвадалахара. Алло, аэродром. Отправляйте все, что у вас есть, на аэродром семнадцать, Гвадалахара. Алло, Сарьон? Отправляйте все, что у вас есть, на аэродром семнадцать, Гвадалахара.

— Если мы проиграем эту битву, — сказал тогда Варгас, — мы проиграем всю войну. В конечном счете за нашу авиацию мы в ответе только перед испанским народом. Фашистам отчитаться сложнее... Поехали.

И впервые за много месяцев он снова натянул шлем.

Новички атаковали. Этот батальон, бойцы которого еще не были расписаны по национальным ротам, включал в основном добровольцев, только что прибывших из отдаленных стран: греков, евреев, сирийцев из США, кубинцев, канадцев, южноамериканцев, ирландцев, мексиканцев; было даже несколько китайцев. Поначалу они палили направо и налево: редко встречаются люди, которые во время первого боя не испытывают потребности производить как можно больше шума. В первой же схватке почти все вообразили, что ранены, поскольку когда-то слышали, что в первый момент раненые не чувствуют боли; при свисте первых пуль некоторые из них утверждали, что это «поют испанские птицы». Им мешали каски, при каждом их выстреле сползавшие то на глаза им, то на затылок; ирреальность убитых вызывала у них смятение; они умолкали при виде первых раненых; и они дожидались приказа на наступление с одинаковой деланной улыбкой, застывшей на всех лицах. Затем они услышали приглушенный гул, означавший, что батальон Эдгара-Андре справа от них выходит на открытую местность; и они посыпались следом за танками, швыряя гранаты.

На оконечности левого фланга бойцов Мануэля изумила скорость перемещения пулеметов, из которых вел огонь противник, и тут на их окопы и траншеи вылетела марокканская конница, вооруженная ручными пулеметами. Эффект последовал незамедлительно: бойцы, впервые столкнувшиеся с этим оружием, готовы были обратиться в бегство. Но Мануэль заранее догадался разбавить новобранцев подрывниками, прошедшими выучку у Пепе. Они-то знали, что кавалеристы на скаку не могут целиться; и сами они находились в укрытиях. Они встретили атакующих гранатами. Затем сразу же залегли за плотной баррикадой из убитых лошадей и вместе с теми новобранцами, которые разобрались в ситуации и теперь стреляли по всадникам, пытавшимся сбиться в кучу, поползли между лошадиными телами, подбирая ручные пулеметы. Медлили только новобранцы из крестьян: они готовы были драться с людьми, но не решались убивать таких справных лошадок. Гартнер, стоя за танком, говорил с ними и старался жестикулировать так, чтобы руки не мелькали за бронебашней.

По всему фронту ладони у санитаров стали красными.

И тогда, словно проскользнув между грязно-бурыми от снега тучами и чисто-белой от снега землей, появился первый республиканский самолет. Затем, такие же странноватые с виду, как раненые ополченцы, появились старые самолеты, которых не видели с августа: авиетки, принадлежавшие некогда разным сеньорито, и транспортные самолеты, почтари и самолеты связи, ветхий «Орион», на котором летал Леклер, и учебные самолеты; и испанские войска встречали их с пасмурной улыбкой, которую, возможно, вызывали у них теперь тогдашние их чувства. Когда эта делегация из времен Апокалипсиса атаковала на бреющем полете — бреющем снега — итальянских пулеметчиков, все батальоны народной армии, которые еще выжидали, получили приказ выступить. И хотя небо было обложено и грозил снегопад, сначала тройка за тройкой, затем эскадрилья за эскадрильей, ударяясь о тучи, словно птицы о потолок, и снижаясь, занимая все обозримое пространство, теперь целиком отданное битве, полня воздух гуденьем, от которого подрагивал снег,

покрывавший землю и мертвых, заслоняя скорбные очертания скошенных долин, темных, как леса, нахлынули лавиной восемьдесят республиканских самолетов в боевом порядке.

Внизу, кутаясь в шинели, пряча головы под капюшонами, остроконечными, как у марокканцев, шли вперед бойцы республиканской армии. Между волокон снежной корпии, порхавшей перед самолетами, мелькала рябь дороги, затем дорога становилась итальянской мотоколонной; и поскольку ветер дул со стороны республиканских рубежей, Маньену с борта «Ориона» было не разглядеть, от капюшонов ли спасается колонна или от танков, крохотных в просторах полей, или от самолетов, или ее уносит ветром — так же, как бесконечные облака и все, что есть в мире.

И все же никогда еще он не чувствовал во время боя такого напряжения: казалось, облака и мотоколонна были порождением одной и той же таинственной воли; казалось, зенитки, фашизм, ураган действовали заодно; казалось, забортная мертвенная белизна встала преградой между ним и победой. Огромная туча, такая густая, что у летчиков возникало ощущение слепоты, надвинулась на туристские самолеты: плоскости запылило снегом, машины болтали в отчаянной круговерти хлопьев, хлопья облепляли их, прятали от них небо и землю, теснили справа и слева и, казалось, обрекали на вечную неподвижность самолеты, которые трещали по всем швам, силясь выдержать напор ветра. Ориентируясь по темно-серому — почти черному — пятну, Маньен понял, что машина развернулась на сто восемьдесят градусов. Компас заклинило, указатели горизонтали вышли из строя еще раньше. Даррас, несмотря на холод, стянул с головы шлем, волосы его, белые, как все вокруг, свесились над высотомером, который тоже не работал: похоже, самолет идет на снижение со скоростью триста в час, а отделяет его от земли меньше четырехсот метров.

Нет, они вынырнули из облака вверх.

Между распадавшимися облаками, сыпавшими на землю снежную корпию, и вторым, верхним облачным слоем — необозримой Гренландией, плоской и мертвенно-белесой, — строем шли вперед все боевые машины республиканцев.

Даррас качнулся с крыла на крыло, чтобы сбросить снег.

— Осторожно, бомбы, черт возьми!

Даррас снова спикировал, не обратив особого внимания на восклицание Маньена.

«Хороши мы будем, если в такой буря начнется бе й!» — подумал Маньен. Пусть его самолеты разметало по всем ветрам Испании, пусть его товарищей разметало по всем ее кладбищам — это было не напрасно; и пусть сам он, Маньен, нужен теперь не больше, чем нелепый этот «Орион», который яростно мотает снежная буря, чем смехотворные эти самолетки, которые дрожат в воздухе, как листья, наконец-то создан республиканский военно-воздушный флот. Четкие и неостановимые ряды капюшонов под сумятицей облаков отвоевали не только позиции, еще накануне занятые итальянцами, — они отвоевали минувшую эпоху. То, что видел ныне Маньен, которого трясло в «Орионе», словно в обезумевшем лифте, имело название, и Маньен его знал: то был конец партизанщины, рождение армии.

Кампесино выходил из своего леса, гарибальдийцы и франко-бельгийцы спускались следом за батальоном Домбровского, карабинеры поднимались вдоль Тахуны. По всему фронту пулеметчики, менявшие стволы пулеметов, бессознательно выпрямлялись, обжегшись, и сразу же падали, подкошенные пулями. По всему фронту двигались вперед танки, и бойцы позади сновали взад-вперед, унося в одеялах нескончаемый урожай раненых. На фоне низкого неба вычертился в профиль республиканский танк, вздыбившийся над оврагом. Карлыч, теперь командовавший бронетанковым взводом, двигался вперед, безостановочно обстреливая противотанковые подразделения противника — безглазые пригнувшиеся человеческие фигуры с гранатами в руках.

Пролетая над Теруэлем, Маньен видел между огромных земельных угодий, где среди гор, помнивших столько войн, паслись поодиночке быки, то апатичные, то упрямые; здесь сквозь снег он тоже видел между, но менее четкие, иногда они шли вдоль низеньких каменных стенок, которые там, внизу, брали с бою интернационалисты и мадридские бригады; вдоль низеньких каменных стенок, совсем недавних — он видел такие в Теруэле и на юге: приземистые и крепкие, они

стояли среди бесконечно длинных старых межей, и пока еще им грозила опасность. Маньену вспоминались залежные земли: батраки, которых нищета наградила базедовой болезнью, не имели права их обрабатывать... Крестьяне, ожесточенно сражавшиеся там внизу, сражались за право ставить эти низенькие стенки — первое условие, позволявшее им обрести человеческое достоинство. И в лавине всех людских чаяний, которая столько месяцев его захлестывала, Маньен ощущал то, чего не выразить никакими городскими словами, но что так же просто и первоначально, как роды, радость, скорбь и смерть, — извечную борьбу того, кто возделывает землю, против наследственного землевладельца.

Когда «Орион» со своей эскадрильей из былых времен вернулся в пятый раз, республиканская авиация, вынырнувшая из-под облаков, летела в атаку, опережая ряды капюшонов. Фашистская авиация едва успела появиться. Внизу республиканские танки в боевом порядке, безупречном, как парадный строй на Красной площади, бросались в атаку, откатывались, атаковали снова. В глубине впадины монастыри и церкви Бриузги уже едва проступали сквозь вечерний туман, в котором вспыхивали бомбы. Теперь взрывы обрисовывали вокруг города подкову республиканской армии; на обеих ее оконечностях заходились в пальбе батареи, полыхая, словно огненные заграждения от снегопада, который грозил начаться снова. Если обе оконечности сойдутся, итальянцы отступят по всему гвадалахарскому фронту.

Перед просветом между оконечностями размещали сигнальные полотнища, но теперь туман заполнял все; не разглядеть форму на бойцах. Если ночь позволит итальянцам спастись, они перейдут в контратаку на Трихузке. «Орион» потряхивало (впрочем, все бомбы были сброшены), в бою он уже не участвовал — висел над полем, покачиваясь, отбиваясь от тьмы, надвигавшейся на судьбу Испании, как некогда на возвращение Марчелино. Республиканская авиация мощным заграждением лавировала менее чем в двухстах метрах над полем боя. Ее боевые машины тоже двигались вслепую и тоже не улетали. Туман из долины Тахуны полз и полз вверх.

В этом тумане все пробивались вперед добровольцы, пробивались в отчаянном рывке, от которого зави-

село, быть или не быть армией республиканскому войску. И авиация — возможно, уже выигравшая эту битву, — не улетала, а ходила над полем, не высматривая противника, а дожидаясь победы; и пилоты, загнипнотизированные надвигающейся ночью, забывали об аэродромах без освещения.

Маньен летал над просветом между оконечностями подковы: внизу была одна из дорог на Орку, довольно широкая в этом месте; вдоль обочин стояли покинутые грузовики. Он круто бросил машину вниз, пошел на бредущем, как в тот раз с крестьянином над Теруэльским аэродромом; и пока республиканские войска, обознавшись, поливали пулями плоскости «Ориона», Маньен узнал сигнальные полотнища анархиста Меры<sup>1</sup>, карабинеров и Кампесино.

## *Глава      пятая*

Вдалеке гроыхали последние раскаты боя. Мануэль, разместив войска, шел по деревне с намерением прибрать к рукам трофейные грузовики; следом за ним трусил его пес. Пес, тоже трофейный, четыре раза раненный, уже давно принадлежал Мануэлю; это была великолепная немецкая овчарка. Чем острее ощущал Мануэль, как увеличивается дистанция между ним и его людьми, тем сильнее он любил животных: быков, кавалерийских коней, немецких овчарок, бойцовых петухов. При отступлении итальянцы побросали множество грузовиков, и пока их не распределили официально, каждый командир части (утверждая не без хитрости, что если он будет дожидаться появления Кампесино, ничего не останется) пытался присвоить как можно большее их количество. Временно грузовики ставили во всех зданиях, где они могли поместиться: в церквях, амбарах, аюнтамьенто. В этой деревне, занятой карабинерами, грузовики помещались в церкви. Но Мануэля предупредили, что Хименес уже на месте и с такими же точно намерениями, как у него самого.

Церковь была высокая из красного камня, ее украшали пальметки из штукатурки под мрамор, изрешеченные пулями. Под кафедральными сводами ко-

---

<sup>1</sup> Мера Сиприано — один из республиканских военачальников, в то время командовал колонной.



сые лучи дневного света расплющивались о груды разбитых в щепу скамей и о грузовики, аккуратно поставленные посреди нефтяного моря. Ополченец, охранявший церковь, шагал следом за Мануэлем и Гартнером.

— Полковника видел? — спросил Гартнер у ополченца.

— Там, за грузовиками.

— Плохо дело! — проворчал Гартнер. — Небось уже наложил лапу.

Взгляд Мануэля, еще не свыкшийся с темнотой, остановился на какой-то раззолоченной махине, поблескивавшей над главными воротами, словно неподвижный пожар; дрыгавшие ножками ангелочки облепляли всю стену вокруг косо срезанных труб: орган, и необычный. Мануэль заметил винтовую лестницу и, заинтригованный, поднялся по ней.

Ополченец последовал за Мануэлем. Гартнер остался внизу; словно охраняя грузовики, пес сел позади него.

— Как удалось сохранить его в целости? — спросил Мануэль у ополченца.

— Революционный комитет по культурным ценностям. Приехали их ребята. Сказали нашим комитетским: «Орган и хоры — ценность». (Правильно сказали, вон, как сработано!) Мы и приняли меры.

— А итальянцы?

— Здесь особых боев не было.

В Мадриде над могилой Сервантеса<sup>1</sup> какой-то анархист угольком от факела, которым он собирался поджечь часовню, начертил длинную стрелу, указывавшую на распятие, и написал: «Тибя спас Сервантес».

— А сам ты что думаешь? — спросил Мануэль.

— Тот, кто понаделал этих ангелов, любил свою работу. Я-то всегда был против разрушений. Одно дело — попы: я, само собой, против; другое дело — церкви. Есть у меня одна мысль, я считаю, церкви нужно отдать под театры: богатое убранство, слышно хорошо...

Мануэлю вспомнились ополченцы, которых они с Хименесом расспрашивали на фронте Тахо. Он обшарил глазами неф и близ одной из колонн увидел коротко обстриженную седую голову: в полутьме воло-

---

<sup>1</sup> Принято считать, что Сервантес похоронен на территории мадридского монастыря Святой Троицы, возможно, в часовне.

сы отсвечивали, как цыплячий пух. Мануэль знал, что Хименес разбирается в музыке. Он поглядел с нежностью на белый ореол Старого Селезня, улыбнулся, словно в предвкушении шутки, и сел за орган.

Первое, что пришло ему на память из церковной музыки, было «Кирие» Палестрины<sup>1</sup>. В пустом нефе полились звуки священного песнопения, строгие и твердые, как складки на одеяниях готических статуй; эти звуки никак не вязались с войной, но слишком хорошо вязались со смертью; вопреки войне, грузовикам в нефе, изломанным скамьям, голос из иного мира снова завладевал церковью. Мануэль ощутил волнение — не столько из-за музыки, сколько оттого, что вспомнилось прошлое. Ополченец, ошарашенный, глядел на подполковника, играющего духовную пьесу.

— Стало быть, в порядке штуковина, — сказал он, когда Мануэль кончил.

Мануэль спустился вниз. Он погладил пса, который за все время ни разу не залаял. Он часто гладил пса; теперь в правой руке у него ничего не было. Гартнер ждал внизу, у начала лестницы. Близ грузовиков на плитах пола чернели большие пятна. Мануэль давно уже не спрашивал себя о происхождении таких пятен.

— Великолепное «Кирие», — сказал он смущенно, — но во время игры я думал о другом. С музыкой я покончил... Помнишь дом, где мы квартировали на прошлой неделе, там на фортепьяно лежали ноты, целая стопка Шопена, самое лучшее. Я полистал, все это было из другой жизни...

— Может быть, они попались тебе слишком поздно... или слишком рано.

— Может быть... Но не думаю. Мне кажется, для меня с войной началась другая жизнь; настолько же абсолютно другая, как та, которая началась, когда я впервые переспал с женщиной... На войне становишься целомудренным...

— Это как сказать.

Они подошли к полковнику, следившему за проверкой двигателей.

— Так это вы вознесли меня на седьмое небо, сынок? Спасибо. Вы ведь для меня играли, верно?

---

<sup>1</sup> Палестрина Джованни Пьерлуиджи (ок. 1525—1594) — итальянский композитор, глава римской полифонической школы.

— Мне было приятно играть.

Хименес смотрел на него.

— Вы станете генералом до тридцати пяти, Мануэль...

— Я испанец XVI в е к а , — сказал Мануэль со своей серьезной и горьковатой улыбкой.

— Но, послушайте, вы ведь не профессиональный музыкант. Как, черт возьми, вы научились играть на органе?

— В результате шантажа. Латыни меня учил один аббат: час посвящался латыни, час — тому, что доставляло мне удовольствие. Вначале, правда, удовольствие получал аббат: он вставлял иголку слоновой кости — великая роскошь в те времена — в допотопный граммофон с ратрубом и слушал Верди. Я выучил «Африканку» наизусть. Затем я потребовал, чтобы он учил меня тактике (тактике, господин полковник!). Он возразил, что это не входит в его компетенцию и не соответствует характеру, но все-таки принес коробку изпод ботинок с солдатиками из картона.

В носилках и на одеялах мимо пронесли солдат из плоти — живой или мертвой.

— Потом появились пластинки Палестрины. Аббат подсовывал их под иглу слоновой кости в коварной надежде отделаться от тактики. Полный успех: я забросил тактику и потребовал, чтобы меня учили играть на органе. На фортепьяно я играл недурно.

— Что ж, сынок, не все священнослужители — скверные люди , — сказал иронически Старый Селезень.

Мануэль изобретательно перевел разговор на грузовики, но, едва он приступил к теме, Хименес прервал его:

— Вся стратегия бесполезна: покуда не поступило приказов, эти грузовики священны.

— Разумеется: их обнаружили в церкви. Но у ваших карабинеров есть полуторки.

Хименес фыркнул, прижмутив один глаз, как в старину.

— Ничего не попишешь. Вы станете генералом в тридцать лет, но моих грузовиков вам не видать. Впрочем, мне этого количества недостаточно. Пойдемте вместе поищем еще.

— В Сьерре я сказал одной девушке из ополчения, что у нее красивые волосы, и попросил подарить мне

волосок, она послала меня пройтись. Вы так же скупы, как она.

— Обзаведитесь гаечным ключом, и кончим разговор.

Они отправились в путь; еще не доехав до Бриузги, оба уже раздобыли по три грузовика. Водители, которых взяли с собой Гартнер и Хименес, садились за руль и следовали за командирскими машинами.

— Точь-в-точь андалузская свадьба, картинка мне нравится, — сказал Мануэль.

— Мы на восемьдесят восьмом километре! — крикнул им нарочный.

В воздухе пахло победой.

На площади Бриузги, перед командным пунктом (все офицеры, занимавшие ответственные должности, должны были явиться туда в течение утра) Гарсиа и Маньен слушали разглагольствования старого фанфарона с многодневной щетиной, в галстук, повязанном пышным бантом; по всей видимости, он только что вылез из подвала.

— Когда они отважились выпустить нас на волю, они все привели в порядок, только оставили проволоку, на которой мы трусы развешивали. И гиды не знали, как же объяснить, зачем проволока. Только один придумал. Старый мой приятель, человек искусства...

Он провел ладонью вдоль головы, словно приглаживая длинные волосы.

— Он и акварели писал, и стихи, словом, человек искусства. И он говорил туристам, когда водил их по Алькасару там, в Толедо: «Дамы и господа, у Сида Кампеадора дел, естественно, было по горло; и вот, когда он, бывало, покончит со своими подвигами, и писаниями, и приказами, и походами, сразу отправляется в этот зал. Один-одинешенек. И тут, как вы думаете, что он делал, чтобы отдохнуть? Подпрыгнет, схватится за проволоку и — оп-ля — давай раскачиваться.

— Этот товарищ был гидом в Гвадалахарском дворце, а до этого — в Толедо, — объяснил Гарсиа Мануэлю и Маньену.

Рассказчик был старик с узкими бакенбардами, с мимикой и жестикуляцией прирожденного актера, из тех, для кого нет жизни вне игры.

— Я тоже любил все это, всякие занятные штуки, пока была жива моя первая жена... Служил в цирке, поездил по свету. Если где было на что посмотреть, я уж тут как тут. Но здесь вся эта древность...

Большим пальцем он ткнул в сторону Гвадалахары, откуда ветер под низкими облаками приносил запах бойни и куда шли итальянские военнопленные.

— Вся эта древность, все эти кардиналы, даже все эти картины Эль Греко и все эти штуковины, когда ты видишь их двадцать пять лет, и война, когда видишь ее полгода...

Он помахал рукою все в том же направлении — Гвадалахара, Мадрид, Толедо — равнодушно, словно отгоняя мух.

К Мануэлю подошел офицер, сказал ему что-то.

— Мы на девяностом километре! — крикнул Мануэль, звонко шлепнув по спине своего пса. — Они бросают всю матчасть!

— Хотите, сударь, скажу вам одну вещь? — снова начал гид.

Он пожал плечами и проговорил, словно подытоживая опыт всей своей жизни:

— Камни... Старые камни... И все. Если копнуть поглубже, еще ладно, хоть найдется что-то стоящее из времен древних римлян! Больше чем за тридцать лет до Рождества Христова. *До* — обратите внимание! Это уже нечто. В развалинах Сагунто есть величие. Хотя и новые кварталы в Барселоне — тоже нечто. А памятники? Как и война: одни камни...

Вместе с пленными итальянцами прошли несколько марокканцев.

— Вот в ы, — сказал Гарсиа Маньену, — чем дальше сражаетесь, тем глубже проникаете в Испанию; я же, чем дальше работаю, тем больше отдаляюсь от нее. Все нынешнее утро я допрашивал пленных марокканцев. Здесь их было немного, но все-таки были. Они всюду есть. Помните, Маньен, Варгас мне говорил: марокканцев всего двенадцать тысяч? Ладно. Здесь довольно много марокканцев из французских владений. В настоящее время ислам как таковой, ислам как духовная община почти полностью в руках у Муссолини. Французы и англичане еще держат в руках правящую верхушку Северной Африки, но итальянцы за-

владели верхушкой духовенства. И вот непосредственный результат: здесь, в Бриузге, к нам в плен попали марокканцы и итальянцы. Волнения во французском Марокко. Пропаганда в Ливии, пропаганда в Палестине, Египте, обещание Франко вернуть исламу кордовскую мечеть...

Гарсиа любил поговорить: и всем остальным хотелось его слушать. Все газеты, которые они читали, проходили военную цензуру, а Гарсиа был информирован. Но ни Мануэль, ни Хименес не забывали про грузовики.

Гида позвала женщина, вышедшая из дверей дома, где он скрывался, пока город был занят итальянцами.

— Теперь, — сказал он Гарсиа, — мы ждем, когда за дело возьмется Асанья. Что он сделает? Великая загадка...

Воздев к небу указательный перст, он внезапно перешел от патетического тона к совершенно равнодушному:

— Ничего. Ничего он не сделает. И сделать ничего нельзя. Франко — горилла, это ясно. О нем нечего говорить, но кто там ни придет к власти, Асанья или Кабальеро, Всеобщий союз трудящихся, или Национальная конфедерация труда, или вы, теперь, когда я вылез из подвала, я буду обслуживать туристов и показывать достопримечательности идиотам — и так до конца своих дней...

Женщина снова позвала его, и он ушел.

— Хорош гусь, — сказал Маньен.

— Во время самой ожесточенной гражданской войны, — ответил Гарсиа, — всегда найдется немало равнодушных... Знаете, Маньен, вот уже восемь месяцев, как идет война, и все-таки есть одна вещь, которая остается для меня достаточно таинственной, — мгновение, когда человек решает взяться за оружие.

— У нашего друга Барки были на этот счет серьезные соображения, — сказал Мануэль.

Овчарка одобритительно тявкнула.

— Да, по поводу причин, побуждающих человека сражаться; но меня-то интересует само мгновение как таковое, первый толчок. Можно подумать, сражение, апокалипсис, надежда — приманки, на которые ловит людей Война. В конце концов, сифилис начинается

с любви. Сражение — неотъемлемая часть комедии, которую почти всякий человек разыгрывает перед самим собой, — и оно заставляет человека участвовать в войне подобно тому, как почти все комедии, которые мы разыгрываем, заставляют нас участвовать в жизни. И вот начинается война.

Об этом же размышлял на борту «Ориона» Маньен и, наверное, многие другие. Маньену вспомнился разговор между ним, Варгасом и Гарсиа в тот вечер в Медельине; и он снова с горечью ощутил, что интернациональной авиации больше нет.

— В самом ближайшем времени в игру включится Япония... — сказал Гарсиа. — Там создается империя, почти равная Британской...

— Подумайте, чем была Европа, когда нам было по двадцать лет, — проговорил Маньен, — и чем стала она сейчас...

Мануэль, Гартнер и Хименес снова отправились на охоту за грузовиками; Гарсиа взял Маньена под руку.

— Как там Скали?

— Ранен в стопу над Теруэлем, разрывная пуля. Останется без стопы...

— Как он настроен политически?

— Гм-м... да, пожалуй, вот: все больше склоняется к анархизму, все отчетливее следует за Сорелем, почти антикоммунист...

— Он не против коммунизма настроен, а против партии.

— Скажите, майор, что вы думаете о коммунистах? «Опять!» — подумал Гарсиа.

— Мой друг Гернико, — ответил он, — говорит: «У них есть все достоинства, необходимые для того, чтобы действовать, — и никаких других». Но сейчас как раз необходимо действовать.

Он понизил голос, как всегда, когда подытоживал горький опыт:

— Сегодня утром я был у пленных итальянцев. Один, в годах уже, плачет в три ручья. Спрашиваю, в чем дело, — знай себе разливается... Наконец: «У меня семеро детей...» — «Ну и что?» В конце концов до меня дошло: он убежден, что мы расстреливаем пленных. Объясняю, что ничего подобного; в конце концов он решается поверить. Вдруг в ярости вскаки-

вает на скамейку, выдает речь — десяток восклицаний: «Нас в Италии обманывали» и т. д. и кричит: «Смерть Муссолини!» Реакция слабая. Он начинает сначала. И пленные вокруг отвечают: «Смерть!» почти неслышно, безгласным хором, и со страхом поглядывают на двери... А ведь они находятся у нас...

Они не полиции боялись, Маньен, и не самого Муссолини: они боялись фашистской партии. А у нас здесь... В начале войны самые убежденные фалангисты умирали с криком «Да здравствует Испания!» Затем стали кричать: «Да здравствует фаланга!» Вы уверены, что из числа ваших летчиков коммунисты того типа, представители которого вначале кричали: «Да здравствует пролетариат!» или «Да здравствует коммунизм!», не крикнут теперь при тех же обстоятельствах: «Да здравствует партия!»?

— Им больше не придется кричать, поскольку почти все они в госпитале либо в земле... Думаю, кто как. Атиньи, тот, наверное, крикнул бы: «Да здравствует партия!», другие — что-то другое...

— Впрочем, слово «партия» сбивает с толку само по себе. Весьма непросто подогнать под одну этикетку группировки людей, объединенных лишь тем, что они одинаково голосуют, и партии, основные корни которых уходят в самые иррациональные и глубинные людские сущности... Наступает эпоха партий, мой добрый друг.

«А все же, — думал Маньен, — было время, Гарсиа уверял меня, что Советский Союз не может вмешаться. Он занятый собеседник, но не пророк».

Гарсиа, в начале разговора взявший Маньена под локоть, сжал ему руку.

— Не будем преувеличивать масштабы победы: это отнюдь не битва на Марне<sup>1</sup>. Но какая-никакая, а победа. Здесь против нас были в основном безработные, а не чернорубашечники, вот я и пустил в ход устную пропаганду, громкоговорители. А все-таки, как бы то ни было, офицерский состав был фашистский. Так что мы можем созерцать это захолустье, вздернув

---

<sup>1</sup> В битве на Марне (сентябрь 1914 г.) во время первой мировой войны англо-французские войска остановили продвижение германской армии; в июле 1918 г. французские войска одержали на Марне еще одну крупную победу.



брови, это для нас Вальми<sup>1</sup>. Здесь две настоящие партии впервые встретились лицом к лицу.

Из командного пункта выходили офицеры, похлопывая друг друга по плечу.

— Девяносто второй километр! — крикнули они Гарсиа и Маньену.

— Вы были в Ибарре? — спросил этот последний своего собеседника.

— Да, но во время боя.

— Там повсюду миски с рисом. Рис на молоке; кажется, гарибальдийцы давно его требовали (они терпеть не могут испанское оливковое масло), вот им, наконец, и приготовили. Ну, так рис в мисках припорошило снегом. Тех, кто умер от холода, тоже припорошило. Их вырыли из снега, чтобы похоронить; у всех мертвых счастливые лица, славные улыбки, улыбки людей, которых ждет лакомое блюдо...

— Да, жизнь — мастерица шуток шутить... — сказал Гарсиа.

Маньен думал о крестьянах. В мире идей он чувствовал себя далеко не так непринужденно, как Гарсиа, но ремесло летчика придавало его манере мыслить привкус чисто физической относительности, временами заменявший глубину. Он неотступно размышлял о крестьянах: о человеке, которого послал к нему Гарсиа, о людях, у которых он просил машины по деревням, о тех, кто спускался с гор, сопровождая раненых летчиков, о тех, кого он видел с воздуха, когда они сражались.

— А крестьяне? — спросил он коротко.

— Перед приездом сюда в Гвадалахаре я зашел в кафе выпить кофе с анисовой (сахара там, естественно, тоже нет). Хозяин слушал внучку, читавшую ему газету (она-то читать умеет). Либо Франко — там, где он победит, — сделает то, что делаем мы, либо ему грозит вечная партизанская война. Торжество Христа стало возможным лишь благодаря Константину<sup>2</sup>; при

---

<sup>1</sup> В битве при Вальми 20 сентября 1792 г. революционные французские войска одержали победу над прусскими войсками.

<sup>2</sup> Константин I Великий (ок. 285—337) — римский император с 306 г.; поддерживал христианскую церковь, сохраняя также языческие культы.

Ватерлоо Наполеон был раздавлен, но отменить Декларацию прав человека и гражданина не удалось. Что меня больше всего смущает, так это, среди прочего, то, что я вижу, как много во время войны любой ее участник заимствует у противника, хочет он того или нет...

Гарсиа и не заметил, как снова вернулся гид, теперь стоявший у него за спиной. Гид поднял указательный палец и прищурился, из-за таинственного выражения лицо его казалось тоньше, хоть нос был самый запьянцовский.

— Главный враг человека, господа, — это лес. Лес сильнее нас, сильнее республики, сильнее революции, сильнее войны... Если б человек перестал сопротивляться, через каких-нибудь шестьдесят лет лес снова покрыл бы всю Европу. Деревья росли бы на улицах, в покинутых домах, ветки высывались бы в окна, фортепьяно застряли бы в корнях — слышите, господа, слышите...

Кое-кто из бойцов, забредавших в распотрошенные дома, одним пальцем наигрывал на фортепьяно.

— Девяносто третий километр! — крикнул из окна чей-то голос.

По площади шла новая партия пленных.

— Подонки! — сказал гид. — Дома им не сиделось, что ли?

Он опустил глаза, увидел свои новые башмаки.

— Мои башмаки и то от них мне достались! Чего только не побросали! Хотя есть среди них и славные ребята. А ну, пойте! — крикнул он, замахав руками пленным, проходившим поблизости. Один из итальянцев ответил фразой, которой гид не понял.

— Что он сказал?

— Несчастные не поют, — перевел Гарсиа.

— Так пой про свое несчастье, идиот! — ответил гид по-испански.

Пленные удалялись; он провожал их взглядом.

— Все это пустяки, бедолага! Пустяки!

Вдалеке в батальоне Гарибальди играли на аккордеоне.

— Сущие пустяки!.. В Гвадалахаре я состою сторожем в одном саду. Там полно ящериц... Когда я с цирком был в Индии, я выучился одной индийской мело-

дии; я начинаю ее насвистывать, и ящерицы приползают и лнут к моему лицу. Нужно только глаза закрыть. И знать мелодию. А тогда — что все это? Война, война, пленные, убитые... Вот когда все это кончится, я, как обычно, разлягусь на скамейке, начну насвистывать, и ящерицы прильнут к моему лицу...

— Хотелось бы мне когда-нибудь поглядеть на это, — проговорил Маньен, теребя усы.

Гид посмотрел на него, снова поднял указательный палец:

— Никому нельзя, сеньор, никому.

Он ткнул пальцем в направлении дома, откуда только что вышел.

— Даже моей второй жене.

— Девяносто четвертый километр! — крикнул еще один нарочный.

## *Глава            шестая*

Из штаба соединения поступил приказ о реквизиции итальянских грузовиков, а потому Мануэль и Хименес разошлись. Мануэль пешком направился в расположение своей бригады, овчарка с достоинством шествовала рядом. Гартнер пошел сдавать уже захваченные грузовики.

Бойцы слонялись по городу, непривычно праздные, не зная, куда девать руки, Главная улица с ее желтыми и розовыми домами, с хмурыми церквами и большими монастырями, была так завалена обломками, столько распотрошенных домов выплеснуло сюда свое добро, она была настолько помечена войной, что когда война приостановилась, улица стала ирреальной и нелепой, как храмы и кладбища чужих племен, как эти бойцы без винтовок, расхаживавшие по ней с видом безработных.

Другие улицы, наоборот, казались нетронутыми. Когда-то Гарсиа рассказывал Мануэлю, что в Джайпуре, в Индии, все дома прячутся за раскрашенными ложными фасадами, нищету каждой глинобитной лачуги скрывает розовая маска. Бриузга не была городом, полностью отданным во власть нищеты, она была городом, отданным во власть смерти за этими фасада-

ми, которые наводили на мысли о послеполуденном сне и летнем отдыхе и приоткрытые окна которых глядели в скорбное небо.

До слуха Мануэля доносилось только журчанье. Началась оттепель; вода струилась под каменными конными статуями, стекала по желобам; потом разливалась по всем ручейкам, бежавшим по булыжным мостовым старой Испании, резвилась, поплескивая, как горные речушки, среди выброшенных на улицу фотографий, обломков мебели, кастрюль и развалин. Все домашние животные куда-то делись; в заполненной плеском нежилой тишине ополченцы, молча бродившие по улицам, двигались по-кошачьи бесшумно. Чем ближе к центру города подходил Мануэль, тем отчетливей слышал он другие звуки, примешивавшиеся к плеску воды, такие же прозрачные, как этот плеск, звеневшие ему в лад: то были звуки фортепьяно. В ближайшем доме, фасад которого обвалился и все комнаты были на виду, какой-то ополченец одним пальцем подбирал песенку. Мануэль прислушался: сквозь журчанье воды до него доносились звуки трех фортепьяно. На каждом наигрывали одним пальцем. Отнюдь не «Интернационал»: каждый медленно подбирал одним пальцем песенку — как будто единственным слушателем была бесконечная печаль дорог, поднимавшихся от Бриуэги к белесому небу и усеянных разбитыми грузовиками.

Утром Мануэль сказал Гартнеру, что с музыкой он покончил; а сейчас, в этот миг, когда он был один на пустой улице города, отбитого у неприятеля, он чувствовал, что больше всего на свете ему хочется музыки. Но играть ему не хотелось; и хотелось побыть в одиночестве. В бригадной столовке было два граммофона. Пластинки, которые он взял с собой в начале войны, не уцелели, но в коробке большого граммофона пластинок хватало: Гартнер был немец.

Мануэль нашел симфонии Бетховена и «Прощание». Бетховена он любил умеренно, но сейчас это не имело значения. Граммофон поменьше Мануэль унес к себе и завел.

Музыка, снимая волевое напряжение, полностью возвращала его в прошлое. Он вспомнил, как протянул револьвер Альбе. Может быть, прав был Хименес, и он

обрел тогда свое место в жизни. Он принял как призвание ратное ремесло, ответственность перед лицом смерти. Как лунатик, внезапно просыпающийся на краю кровли, лишь при этих звуках, басовых, нисходящих, он ощутил и осознал всю чудовищность равновесия, которое сохранял, — равновесия, утрата которого неизбежно влечет к падению в кровавое месиво. Ему вспомнился слепой нищий, которого он видел в Мадриде в ночь Карабанчеля. Мануэль был в машине начальника госбезопасности; фары внезапно выхватили из темноты ладони, которые слепой выставил перед собой и которые казались огромными из-за оптического эффекта, вызванного наклоном Гран-Виа; казалось, эти ладони искровянились обо все мостовые, истерлись обо все тротуары, казалось, по ним пронеслись все — немногие — машины, которыми располагало ополчение, и пальцы слепого были длинные, словно пальцы Судьбы.

— Девяносто пятый километр! Девяносто пятый километр! — прокричали по городу голоса — разные, но с одинаковой интонацией.

Мануэль чувствовал, что вокруг него — живая жизнь, полнящаяся предвестиями, словно по ту сторону низких облаков, теперь недвижимых, ибо пушки молчали, беззвучно подстерегают какие-то незрячие судьбы. Овчарка слушала, растянувшись, как на барельефе. Когда-нибудь наступит мир. И Мануэль станет другим человеком, человеком, которого сам еще не знает, подобно тому как молодой инженер, купивший малолитражку, чтобы кататься на лыжах в Сьерре, не знал нынешнего боевого командира.

И, наверное, то же самое происходит со всеми этими людьми, которые слоняются по улицам или упрямо выстукивают одним пальцем свои песенки под открытым небом и которые сражались вчера под намокшими остроконечными капюшонами. Раньше Мануэль познавал самого себя, размышляя о себе; теперь он размышлял о себе лишь тогда, когда случай отрывал его от действия и швырял ему в лицо его прошлое. И подобно Мануэлю, подобно всем этим людям, истерзанная Испания начинала наконец осознавать самое себя, словно человек, в миг смерти спрашивающий себя, кто же он. Войну открываешь для себя лишь единожды, но жизнь открываешь многократно.

Аккорды, следуя друг за другом, накатывая из прошлого, говорили с Мануэлем, как мог бы говорить с ним этот город, некогда остановивший мавров, и это небо, и эти вековечные поля; и в первый раз Мануэль слышал голос того, что могущественнее, чем кровь людей, и тревожит мучительней, чем дела их на земле, — голос судьбы человеческой во всей беспредельности ее возможностей; и Мануэль слышал этот голос, примешивавшийся к журчанию талых вод и к шагам пленных, голос неизбывный и глубинный, как биенье его сердца.

# СОДЕРЖАНИЕ

<i>Е. Кушкин. Надежда — первый враг абсурда</i> . . . . .	5
---	---

## НАДЕЖДА <sup>1</sup>

Часть первая

### ЛИРИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

I. Лирическая иллюзия . . . . .	22
II. Апокалипсис в действии . . . . .	119

Часть вторая

### МАНСАНАРЕС

I. Быть и действовать . . . . .	245
II. «Кровь левых» . . . . .	311

Часть третья

### НАДЕЖДА

Надежда . . . . .	383
-------------------	-----

---

<sup>1</sup> Часть первая. Лирическая иллюзия. I. Лирическая иллюзия — перевод *Е. Кушкина*; Часть первая. Лирическая иллюзия. II. Апокалипсис в действии; Часть вторая; Часть третья — перевод *А. Косс*.

## **Мальро А.**

**М21** Надежда: Роман / Пер. с фр. А. Косс и Е. Кушкина; Предисл. Е. Кушкина. — Л.: Худож. лит., 1990. — 464 с. Зарубежн. роман XX в.

ISBN 5-280-00944-X

Роман А. Мальро (1901—1976) «Надежда» (1937) — одно из лучших в мировой литературе произведений о национально-революционной войне в Испании, в которой тысячи героев-добровольцев разных национальностей ценою своих жизней пытались преградить путь фашизму. В их рядах сражался и автор романа.

**М** 4703010100-062 144-90  
028(01)-90

**ББК 84.4Фр**

**АНДРЕ МАЛЬРО**

**НАДЕЖДА**

Роман

Редактор *Г. Орёл*

Художественный редактор *В. Лужин*

Технический редактор *М. Шафрова*

Корректор *А. Борисенкова*

ИБ № 5248

Сдано в набор 31.05.89. Подписано в печать 17.04.90. Формат 84 X 108<sup>1/32</sup>. Бумага типограф. № 1. Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 24,98. Тираж 50 000 экз. Изд. № ЛVI-203. Заказ 148. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.